ОЛЬГА
ФОРШ

3

Ольга
ФОРШ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Ольга
ФОРШ

СОЧИНЕНИЯ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА
1956

Ольга

ФОРШ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ

III

РОМАНЫ

Государственное издательство
Художественной литературы
МОСКВА
1956

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Глава первая

В 1798 году Наполеон мимоходом, направляясь в Египет, захватил остров Мальту. Несмотря на боевые запасы артиллерии, магистр Ордена сдался без всякого сопротивления и скрылся в Триест. Достоинство великого магистра предложено было русскому императору Павлу Первому. Мечтая о воскрешении древнего рыцарства, Павел не только принял предложение кавалеров Ордена, но дал приказ: «Повелеваем опубликовать о сем во всей империи нашей и новый титул внести в прочие титулы наши». Тотчас дана была аудиенция в Зимнем дворце депутации капитула Ордена, которая торжественно поднесла императору корону и регалии великого магистра. На Новый год Павел явился перед изумленными придворными в короне, супервесте и великолепной мантии и объявил, что впервые будут сожжены в Павловске в канун Иванова дня знаменитые костры Мальтийского ордена.

Преувеличенный восторг, с которым русский император отнесся к протекторату над Мальтийским орденом, вызвал в Европе насмешку, и с лукавой иронией записал аббат Жоржель: «Русский император, не принадлежащий к католической церкви, но исповедующий схизму Фотия, сделался гроссмейстером Ордена, религиозного и военного, имеющего первым своим начальником папу. Император Павел поразил Европу».

Однако кроме этой, забавной аббату, стороны дела, возникновение постоянных сношений с Мальтой было

серьезным по своим последствиям расчетом Павла и продолжением умной политики Екатерины. Упрочив свое влияние на Мальте, Россия могла на Ближнем Востоке успешней бороться с Англией.

Накануне Иванова дня Павел ушел из дворца один в дальнюю прогулку. В конце липовой аллеи, на парадном плацу, уже сложены были в клетку и белели серебряной корой молодой березы девять костров. Гирлянды из редких оранжерейных цветов и прочие украшения плаца поручены были молодому ученику придворного живописца Бренны — Карлу Росси. Мать его была знаменитая прима-балерина, «мадам Гертруда Росси», отчим — не менее знаменитый постановщик балетов Лепик, а настоящий отец его был неизвестен.

Император задумался, приближаясь в своей одинокой прогулке к любимой им Старой Сильвии. Было здесь безлюдно и не парадно. Под июньским солнцем особой свежестью пахли травы, еще не кошеные, блестевшие после недавнего дождя. На этих вот лужайках, бывало, отроком, в сопровождении любимого воспитателя Порошина, собирал он цветы и травы для гербария. Порошин, душою преданный, — был бы жив — охранял и сейчас...

Впрочем, к чему теперь охрана, если завтра ночью вспыхнут девять мальтийских костров? Иезуит патер Грубер, которому разрешено в любой час дня и ночи входить в императорскую спальню, сказал сегодня особо торжественно:

— Едва запылают девять костров во имя святого Иоанна, как охранительная стена, незримая глазу, будет воздвигнута вокруг вас, помазанника и духовного главы рыцарства всего мира.

Как всегда, в минуты, когда он верил всей душой в могущество охраняющих его сил, Павел вдруг освобождался от подозрений, страхи отступали от него, и он был счастлив тем простым счастьем, как в памятный день, когда царица-матушка подарила ему это сельцо — Павловское.

И, молодо оглянувшись вокруг голубыми глазами, прекрасными, когда не затемняло их безумие, отбросив докучные мысли, Павел с любопытствующим восхищением новичка, попавшего впервые в эти прелест-

ные места, стал осматривать извилистые берега веселой речки Славянки.

Двадцать лет тому назад Екатерина подарила ему эти земли, но полюбил их он много раньше. Сюда, в этот густой сосновый бор, когда здесь еще было всего два охотничьих домика, смешные Крик и Крак, спасался он, бывало, из Петербурга, оскорбляемый фаворитами.

...Все дальше шел Павел, любуясь цветущим своим парком. Вспоминал, как начинал разбивку его вдоль речки Славянки к старому шале и от него к мосту Крика. По модному английскому образцу вели посадку кустов, искусно пользуясь красивыми склонами речки. Давно забытая детская радость охватила, когда узнал места самых первых наивных построек: вот хижина монаха, трельяж, там беседка на китайский манер, и другая подальше — подражание Piранези — построена в виде полуразрушенной башни-руины...

А какие были узорные цветники на многочисленных островках, какие шаловливые между островками каскады! Камерон давал указания на устройство просек. И хотя все, что напоминало царство и вкусы матушки, было непереносимо и наполовину уже уничтожено, Павел сейчас воздавал должное Камерону, вызывая в памяти им одним созданную особую легкость, изящество и прелесть планировки.

Когда под именем «князей Северных» он с женой путешествовал по Европе, построен был большой дворец, начата колоннада Аполлона, храм Дианы, большой каскад, вольер и дворцовая баня. Всё заботы ее, матушки-царицы.

Пока сын отсутствовал, Европы ради строила напоказ, чтобы крепко держалась молва об ее материнской заботе. О каждом пустяке писала своим друзьям за границу, забрасывала их подарками, они же ее — хвалой. Все для видимости... А скуповата была для истинных нужд семейных! Выписан был знаменитый Гонзаго для росписи дворца, а приехал — платежей нет. В необходимом, в белье и платье нуждались. Зато сейчас его время, его право.

Едва мать умерла шестого ноября, как уже двенадцатого император переименовал сельцо Павловское в город. И судорожно, с раздражением, стал по-своему

переделывать парк: Славянку приказал запрудить, часть островов уничтожить...

Павел дошел до мыльни и Пиль-башни и присел на скамью.

Да, не тот теперь Павловск — подтянулся. А при матушке-то сколько фальшивого сентимента вызвал приказ его о прекращении нищенства? Правда, случился некий пересол — на цепь посадили одного инвалида... Так ведь не помер же он с того!

И с удовольствием Павел подумал о своих последних приказах директору парка: воспретить строжайше в парке свист, зряшные разговоры, непотребный хохот... не матушкин, чай, дом распутства. В городе Павловске пребывает он, самодержец, гроссмейстер Мальтийского ордена.

Впрочем, приличному веселью и он не препона: кавалькады, прогулки, завтраки в молочном домике, вечерний чай в шале. Но императору и отцу необходимо всегда знать, куда именно, надолго ли и зачем ушли от него его близкие. Придумал лотерею, чтобы прикрыть свою тайную подозрительную настороженность: вынимали как бы шутя билетики, куда именно идти сегодня, — он же записывал.

Прогулки, им одобренные, были: в зверинец, в охотничью будку, по пограничной просеке и назад, по аглицкой дороге и через Звезду — семь верст. Самая длинная прогулка.

Любил, чтобы приходили назад точно, по часам. Все концы были выверены. Дышал спокойно, когда знал, что никуда зайти не могут, что некогда им пошушукаться, — только и дела, что прошагать туда и обратно.

Вдруг Павел налился кровью, побагровел, сильней забилось сердце. Вспомнил, как недавно наткнулся на Александра, который записан был как ушедший на просеку. Александр с книжкой в руках сидел в беседке и в вытянутой руке держал большие карманные часы. На просеку он с прочими, видимо, не пошел, а сидел тут один и следил по часам, когда ему явиться к отцу.

Оттого что тогда сдержался и сына не обличил — тем тяжелее запомнил ему эту обиду.

Мысль о сыне повела в те места, которые с такой любовью украшала царица-матушка для любимца своего и — тайно мнила — наследника.

Павел двинулся к Александровской даче и с горечью думал:

«Неужто матушка, столь разумная и в многих государственных случаях справедливая, не понимала, что, минуя отца для преимущества сына, она сеет в сердце моем страшные семена?»

Вот она — Александрова дача — воплощение сказки императрицыной о «розе без шипов и царевиче Хлоре», написанной для любимого внука.

Встали в памяти слова пиита:

И отрок с самого начала,
Когда рассудку мысль его внимала,
Научится быть осторожным здесь...

Дом на крутом берегу, а в долине театр с золотым верхом. Недлинная аллея, обсаженная цветами, ведущая к дому, неожиданно обрывается, и восхищенному взору предстают раздолья полей и синева дальних лесов.

Павел не мог удержаться от зависти к сыну, когда попадал в царство его счастливого детства. Сколько внимания и нежности шло к внуку от той, которая обидно пренебрегала им, родным сыном. Таков ли был он сейчас, выпади ему в детстве жребий Александров?

«И отрок с самого начала... научится быть осторожным здесь». Да, осторожности Александр научился!

И вдруг неудержимо и больно пронзила сознание одна мысль — так огненная змейка, вновь возникшая на пожарище, которое, сдавалось, потушено, вырастает вмиг в злое пламя: Екатерина вовлекла Александра и Константина в постройку дворца. Ребята, забавляясь, клали фундамент. А что, если заложили туда и такое, что может взорваться? И оно взорвется?

Долго в оцепенении стоял, прислонясь к статуе Амура. В смертной тоске глядел, как Амур, на веки вечные обреченный натягивать лук свой, медленно розовел, словно оживал под лучами летнего солнца. Стоял неживой, пока совсем простая, здоровая мысль не пришла сама на выручку: да ведь дворец-то уже много лет тому назад строили, ребятишками сыновья были... Вздор это!

Вздор и безумие! Сам дьявол взбудоражит вдруг подозрениями, спутает сроки, навеет бессмыслицу...

Павел пугливо оглянулся: не видал ли кто, не угадал ли его постыдные мысли? Вдруг посветлел и весело крикнул:

— Полкашка, сюда!

Стремглав летел к нему через кусты и тропинки большой лохматый пес. В собачьем восторге, что донюхался, где его хозяин, Полкан неистово прыгал, норовя лизнуть прямо в губы.

Ребячливо смеясь, Павел сам обнимал собаку, усаживал рядом с собой на скамейку. Полкан с сознаньем исполненного долга высунул красный язык и спустил пышный хвост со скамьи.

Павел рассмеялся, вдруг что-то вспомнив, и сказал Полкану, доставая из кармана вчетверо сложенную бумажку:

— А ты, братец Полкан, — знаменитость. Адмиралы про тебя пишут. Вот послушай-ка...

И он стал читать собаке вслух то, что давеча досрочно списали из записок гостившего в Павловске адмирала Шишкова:

«Забавы наши в Павловске однообразны и скучны».

— Ну и поскучай, коли хочешь быть при дворе. Так, Полкашка?

«После обеда степенно, мерными шагами прогуливаемся по саду. После шести шествуем на беседу весьма утомительную. Государь с великими князьями садится рядом, мы подпираем стены, как безмолвные истуканы. Государь ведет с детьми сухие разговоры, мы же не смеем ни говорить между собой, ни вставать со стульев. На длинном шлейфе императрицы лежит всегда простая дворная собака».

— Это же ты, Полкашка! — мазнул Павел собаку листом по морде. — И простая и дворная, а мне сего адмирала милей.

«Неизвестно, откуда явилась сия собака. Но она не отстает от императора...»

— И не отставай, Полкан, охраняй меня!

«И скоро со всеми прочими сия собака стала предерзкая, государь может один ее гладить, и его она не кусает. Однажды она залаяла во время вахт-парада

Государь рассердился и крикнул: «Уберите ее от меня!» Но она не далась никому на руки и просила прощения, повалившись на спину, четыре лапы вверх, и махала хвостом, — он простил ее».

— А ведь и точно, было дело, — смеялся Павел. — Ну и дурак же этот Шишков, такое записывать! Как с ровней, с тобой, Полкашка, считается. Если бы римский безумец Калигула не произвел своего коня в сенаторы, я бы тебя, Полкан, пожаловал в адмиралы.

«Сия собака любит театр. Во время действия сидит в партере на задних ногах и смотрит на актеров, будто понимает их речи и действия».

— Донос на тебя, — веселился Павел. — Ай да адмирал Шишков! Завтра, на зависть ему, посажу тебя с собой рядом в ложу!

Павел спрятал бумажку в карман, решив еще посмеяться вечером вместе с Аннушкой Гагариной, и, веселый, пошел в сопровождении Полкана через мост, украшенный трофеями, к храму Цереры, рядом с которым высокой струей бил ключ, посвященный Марии Федоровне.

Император и пес напились студеной воды и, поднявшись на высокий холм, вошли в храм «Розы без шипов».

У храма был крутой купол на семи колоннах. Посреди алтарь, на нем ваза. В вазе прекрасная роза с гладким блестящим стеблем без единого шипа. На плафоне торжественная фреска: Петр с высоты небес смотрит на блаженствующую Россию — дородную женщину в сарафане. Она же, окруженная наукой и промышленностью, опирается на щит с изображением Фелицы. Внизу орел когтями разламывает рога луны.

Павел вспомнил, что граф Литта вручил ему статут Ордена, требующий неукоснительного выполнения всех правил, отчего крепла сила охраняющего действия ритуальных костров, которые зажгут завтра на парадном плацу. Он вынул записную книжку, посмотрел который раз параграфы и сделанные к ним собственные отметки. Между прочим была и такая:

«Справиться у Винцента Бренны, кто истинный отец ученика Карла Росси? Если не дворянин, обладавший грамотой, восходящей к десяти предкам, личное присутствие оного Росси на сожжении костров допустить нельзя».

Кроме Росси, записаны были и другие...

Вдруг Полкан с веселым лаем кинулся со всех ног к небольшой открытой беседке, и Павел увидал там рисующим в альбоме того самого юношу, о котором только что думал.

Карл Росси так был охвачен своей работой, что, погладив мимоходом Полкана, даже не оглянулся на императора, хотя не мог не знать, что лохматый пес неотлучен при царе.

Павел большими шагами направился к беседке, он готов был разгневаться. Мария Федоровна, супруга, не нахвалится изяществом рисунков этого Росси, только по ним и режет свою слоновую кость, а намедни донесли, что в городе болтают — Михайловский-де замок воздвигается дарованием сего юного Карла, его учитель Бренна только проекты подписывает...

Тем более столь доблестному юнцу не след манкировать своему императору. Всем существом обязан он чувствовать его приближение.

Подойдя вплотную, Павел хлопнул Росси по спине. Тот, испуганный, вскочил:

— Ваше величество?..

— Хвалю, сударь, хвалю, — мгновенно смягчившись, скороговоркой проговорил Павел, — у вас чистый взгляд, чистый!

Росси недоумевающе смотрел на императора широко расставленными глазами, еще весь поглощенный своей работой.

— Дышать забываете, сударь, когда рисуете, — смеялся Павел, — не то что салютовать во-время своему императору. А ну, покажите.

— Эскизы украшений для завтрашнего празднества, — протянул Росси альбом.

Он был очень молод, прекрасной внешности. Соразмерность частей его стройного тела давала впечатление особого изящества. Волосы вились, усиливая приветливость лица, глаза, светлые, с ярко отмеченным зрачком, доверчиво, не страшась, смотрели в глаза императора.

— Ваши рисунки отменного качества, сударь. А известно ли вам символическое содержание завтрашнего таинства костров?

Павлу отрадно было думать, что никакой задней, скрываемой мысли у этого юноши нет, он полон одним беззаветным увлечением своим искусством. И горько мелькнуло: «Вот такого б мне сына... такому б я верил».

Полуобняв Росси, облизанного мохнатым Полканом, Павел пошел с ним обратно к Большому дворцу. Дорогой он давал Карлу последние указания, как надлежит распределить гирлянды и венки, какую постепенность требует сожжение костров и фейерверка. Подойдя к плацу, где сейчас производилось учение, Павел нахмурился, заложил руки за спину, что всегда у него было началом гнева. Вдруг он оттолкнул Полкана и один проскочил далеко вперед, бросив Росси. Ему показалось, что сын Александр, командовавший марширующими гатчинцами, потушил мгновенную усмешку, увидя отца с молодым архитектором. К тому же и гарнизон шагал не по артикулу. Хотя это были любимые гатчинцы, под командою Александра они с неряшеством, неточно печатали шаг.

Вмиг рассердившись на сына, на гатчинцев и неимоверным усилием воли сдержав этот гнев, Павел круто повернулся к оторопевшему Росси и неприятным, повизгивающим голосом прокричал ему:

— О вашем происхождении, сударь, не имею чести знать в точности! Матушка ваша — прима-балерина, вотчим — Лепик, ну-с, а собственно родной ваш батюшка кто будет?

Павел попал в больное место. Росси покраснел до слез, однако, не теряя достоинства, отчетливо вымолвил:

— Я не знаю сам, ваше величество, кто мой родной отец.

Опять юноша стал приятен.

— Бы-ва-ет... — с мягкой насмешкой протянул Павел, вспомнив, как сам немало страдал от пересудов досужих придворных, что он не сын Петра Третьего, а всего-навсего Сергея Салтыкова.

— Учителю вашему, Бренне, передайте, что прожекты я ваши одобрил. А точные сведения об отце — добыть от матери и представить мне наутро.

Павел, стуча каблуками, держа за ошейник Полкана, зашагал быстро к дворцу, а Карл Росси, потрясенный

происшедшим, избегая ненужных встреч, пошел темными аллеями на почтовый двор.

Тройка отличных коней быстро домчала Карла до города. Он взял ялик и, перед тем как увидеться с матерью в театре, поехал кататься по Неве. Как спасательный круг утопающему, чтобы выбраться из захлестнувшей пучины, необходимо было Карлу в охватившей его лютой тоске убедиться, что все так же незыблем вознесенный над Невой монумент Фальконета, все так же великолепны творенья Растрелли, усыпанные украшениями, залитые золотом, дремотно мерцающие под нежным, нежарким северным солнцем.

Карл мысленно вызвал в памяти своей и то, чего сейчас не было перед глазами: вот усилием воли, под мерный плеск весел, перенесся он в здание изящного Камерона, и тотчас знакомой, утешающей лаской коснулось его разбитых чувств это ожившее в новой форме чудесное искусство древней Помпеи. От Камероновой галереи перешел он мыслями к строгим, величественным колоннадам Кваренги, этой души воскрешенного Рима, и ему стало легче, отпустили горечь и боль.

Эти воображаемые, мгновенные, по желанию вызванные путешествия по творениям великих мастеров зодчества были ему привычны с детства, как его сверстникам слова молитв. В минуту душевного упадка они просто спасали. Выхватывали по волшебству из тяжелой действительности и, как на ковре-самолете, вмиг переносили в область навеки незыблемого и прекрасного.

Яличник налег на весла, и Карл погрузился в бездумный отдых, глядя на студеную и летом сине-стальную воду Невы, на чаек, белых и легких, как большие хлопья снега.

Чайки, занесенные на многоводную красавицу реку с моря, казалось, приносили с собой и его освежающий морской запах.

С освобождающей душу отрадой смотрел Карл на гранит, одевший Неву, на Мраморный дворец Ринальди, на изумлявшую каждый раз заново своей воздушной красотой Фельтенову сквозную решетку Летнего сада...

Далеко отступило, выпало из памяти лживое придворное общество Павловска, и потухли обиды, нанесенные безумным царем и легкомыслием родной матери.

В углах средней башни Адмиралтейства, рядом с флагами, вдруг зажглись фонари, — так повелела Екатерина после наводнения, — и Карл, боясь опоздать в театр, к матери, приказал яличнику причалить к берегу.

Ему повезло. Сегодня дежурили служители, знавшие его с детства, они беспрепятственно пропустили в уборную матери. Она была одна.

— Мадама гримируется,— сказала горничная, — но вы пожалуйте...

— О, сынок мой маленький, хотя уже большой, — с нежной лаской пропела Гертруда, не отрываясь от зеркала, перед которым она кончала накладывать грим. — Ты сейчас увидишь мать крылатой Психеей. Я буду сегодня чудесно танцевать. О, я уничтожу Настасью Берилеву, уничтожу!

Гертруда постучала заячьей лапкой по столу.

— Настасье сбавят столовые и квартирные, и на башмаки и на чулки. Не ей равняться со мной!

Карл съежился, онемел. Как далека была от него эта мать, полная закулисных интриг. И даже свои ласковые слова говорила она ему без всякой мысли, как говорят любимой комнатной собачке.

Карл встал, подошел к Гертруде, сказал жестоко, не глядя:

— Я требую от вас правды, пора мне узнать... кто собственно мой отец?

— О, зачем так сердито, — простонала Гертруда, — ты ранишь мое сердце этим голосом.

Она не сказала — словами...

— Император мне задал вопрос, и я должен узнать про отца. Понимаете: кто тот человек, от которого я рожден?

Гертруда жеманно хихикнула и, как в балете, погрозила игриво пальчиком:

— Неприлично говорить о таком со своей матерью!

— Мать должна открыть тайну моего появления на свет.

Росси подошел к выходной двери и загородил ее собою, чтобы Гертруда не упорхнула без ответа на сцену.

Мадам Гертруда, все еще прекрасная, неистребимо молодая, подбежала к сыну, высокому ростом. Поднявшись

на носки; туго обтянутые розовыми туфельками, она пригнула голову Карла обнаженными душистыми руками к своей груди и с очаровательной грацией прошептала:

— Сын мой, дитя... ведь я не ведаю и сама, кто твой отец! Но я люблю тебя за двоих. И сейчас я буду танцевать для тебя... только для тебя.

В дверь постучали. «Иду!» — весело крикнула Гертруда и, еще раз прильнув к сыну, сказала с мольбой:

— Не надо нам ссориться, дорогой, не надо!

Прима-балерина была права. Едва сын увидел ее на сцене театра легкокрылой, поистине воздушной Психеей, он все ей простил. Точность рисунка ее танца, волшебный полет, совершенство движений восхитили его, освободили, унесли. Прославленный танец Гертруды Росси был совершенной силой искусства, снимавшей бремя вседневных тягостей. Недаром писали про нее, что она вызывает благодарные слезы восторга.

А когда, минуя жадные взоры гвардейцев-балетоманов, ловивших ее улыбку, ему одному, возлюбленному сыну, она послала воздушным шарфом приветствие и скрылась за кулисами, — Карл выбежал из театра.

Он боялся, что мать позовет его ужинать. Он уже не хотел утратить свое разнеженное дивным танцем благодарное к ней чувство. На сцене мать — совершенный художник, в жизни — неумная, тщеславная женщина. Какие с ней счеты!..

Была лунная ночь. В зеленоватом прозрачном свете стоял город. Росси, не отдавая себе отчета, не глядя по сторонам, почти без сознания мчался по непривычным ночным улицам к великому утешителю своему, бессмертному всаднику Фальконета. Перед ним замер.

Глядя на Петра, юноша испытывал великое удовлетворение.

Его охватило настроение совершенного бескорыстия. Ничего он для себя не хотел и вместе с тем сейчас впервые узнал — он свершит в своей жизни великое, для всех нужное.

Он глядел неотрывно на освещенного лунным светом скакуна, который откуда-то, из недр, вихрем взлетел на самую вершину скалы.

Невиданный этот конь нес на себе всадника, увенчанного лаврами. Всадник простер над городом отеческую десницу. Он звал вперед.

И Карл ощутил всем своим существом, что несокрушимая, всепреодолевающая воля к созданию еще никем не угаданных зданий до конца дней стала ему второй природой.

Глава вторая

Согласно ритуалу мальтийских рыцарей, Карл Росси не был включен в число гостей, имеющих право присутствовать при сожжении девяти костров. Необходимых по статуту предков у него не оказалось.

— Как художнику вам даже будет любопытнее охватить все зрелище сразу, с вершины ближайшего холма...

Так, с любезной улыбкой, желая смягчить удар его самолюбию, сказал Росси церемониймейстер Ордена.

Но Карлу было только дело до того, что скажет ему его Психея, Катрин Тугарина.

Воспитанная отцом-вольтерьянцем, веселая насмешница — кто лучше ее способен подметить неумное чванство придворных, их фальшь, ханжество? Как мило, наверное, она посмеется над тем, что у него не хватило предков, тогда как у нее их излишек.

Но сейчас искать встречи с Катрин невозможно, работы еще по горло. Придется отложить свидание до позднего вечера, уже после сожжения знаменитых костров. Любопытно, прочтет ли Катрин без ошибки его любовный мадригал на гирляндах? Подбором разнообразных оттенков живых цветов Карл собирался окончательно выразить Катрин свои чувства. Ему уже удалось послать ей предупреждающую записку:

«Возобновите в памяти «язык цветов», чтобы прочесть на гирляндах костров предназначенные вам слова».

Хотя император Павел строго преследовал все забавы, которые были в обычае при дворе его матери, у каждой девицы хранился в тайничке вместе с толкователем снов и «язык цветов».

Карл отправился в оранжерею, где он должен был дать последние указания помощникам. Дорогой он еще

раз осмотрел воздушные зеленые беседки, затейливые павильоны, боскеты, сооруженные по его рисункам, и остался доволен. Хотя ему давно хотелось на чем-то громадном развернуть свой дар, которому, чувствовал он, уже пора найти достойное применение, — эти легкие, веселые работы из живого материала самой природы восхищали его. Он был как первый создатель мира, располагая по собственному вкусу купы дерев и кустов, нагромождая скалы и камни в излучинах речки, вознося лиственные арки, низвергая каскады...

В оранжерее подручный Митя рассказал Карлу, что и наследник Александр по поводу запрета художникам, как не имеющим достаточного количества предков, присутствовать на празднестве вместе со двором, прищурясь, вымолвил: «И дело. Всяк сверчок знай свой шесток. Иные из молодых уж слишком подбираются к государю...»

— Это он на вас намекал, Карл Иванович, — бережно сказал Митя, — все отметили, наследник вроде вам завидует, потому что государь особливо к вам ласков.

— Для ученика Лагарпова такие чувства едва ли подходящи, — улыбнулся Росси, — но меня Александр и вправду не слишком жалует.

Карл вспомнил, как он недавно принес в кабинет Марии Федоровны заказанные ею рисунки для чернильницы, а она, восхищаясь, протянула их наследнику и сказала:

— Хорошо, если бы вы так умели для меня рисовать.

— Но я ведь в художники не готовлюсь, — вспыхнул Александр.

— Очень помню, мой сын, — вы готовитесь царствовать, — уязвленная его тоном, подчеркнула мать.

И намедни как нехорошо на него глянул Александр, когда с обнявшим его императором он подошел к марширующим гатчинцам.

— Самолюбив очень, — неодобрительно сказал Митя, — и фронтом задерган, и отцом запуган, и глухоту свою скрывает. А у вас так все выходит легко и свободно.

— Наследнику, конечно, живется невесело, но довольно о нем. Нам с тобой, Митя, сейчас дело кончать. И домой мне еще заглянуть, переодеться...

Карл быстро и точно сделал последние распоряжения; не в силах сдержать счастливую улыбку, перечислил Мите, какие оттенки цветов еще необходимо доставить из самой дальней оранжереи. Наконец он двинулся к проспекту Лепика — так, по приказу Павла, именем его отчима окрещена была близлежащая прямая улица, в конце которой возвышалась затейливая дача знаменитого танцовщика.

Митя догнал Карла и, шагая с ним в ногу, застенчиво сказал:

— Просить вас хочу об одном деле...

— Проси, Митя, только шаг не задерживай.

— Узнайте у господина Лепика про Машеньку. Она ведь всегда при вашей матушке в кордебалете танцует. Сильфидой ее прозвали... а сольной партии все не дают. Очень ей это обидно. Проведать бы у господина Лепика, есть ли скорая надежда?

— Спрошу, Митя, — улыбнулся Карл, — Машенька — твоя невеста?

— Выкупить мне ее надо раньше, — грустно ответил Митя. — Я, Карл Иванович, на это жизнь свою положу. Сумма немалая, но благодаря вашей помощи и господина Бренны, я кое-что уже скопил. Годика через два-три авось...

— Будет ли Машенька так долго ждать? Соблазнителей много в балете.

— Она верная, — прервал, вспыхнув, Митя. — Она давеча мне сказала: «Лучше умру, а бесчестьем сольной партии не возьму».

— Хорошо, Митя, что ты веришь Машеньке. Вот и я верю...

Карл запнулся и покраснел. Митя сам деликатно закончил:

— Вашей избраннице, Карл Иванович, тоже вполне можно верить. Умница какая, красавица... Уж я вам для мадригала все как есть подберу. Куда мне доставить цветы?

— Всю охапку неси прямо к кострам, я туда скоро приду. А просьбу твою, будь покоен, исполню. Ну, беги.

Митя был племянник и крестник замечательного литейщика Хайлова, который спас при отливке монумент Фальконета от гибели. Он был сероглазый юноша, почти

с белыми льняными волосами, младший ученик Бренны, который употреблялся больше для работ подготовительных, нежели живописных. Как мастера Возрождения, Бренна почитал приличным иметь штат подростков-помощников при выполнении больших заказов и работ, требуемых двором.

Росси сразу отличил Митю за недюжинные способности, прямодушный ум и, узнав про мечту его выкупить свою невесту, стал ему передавать доходную работу.

Митя нравился ему и сам по себе и тем, что был племянником человека, который вызывал особое уважение. Бецкий передал отливку памятника Петра самому Фальконету, а надзор за работой — русскому мастеру Хайлову. Меди заготовили триста пятьдесят пудов, и когда она, растопленная, была уже пущена в нижние части формы и заполнила их, произошел прорыв, и медь разлилась по полу.

Фальконет в отчаянии, что его труд рушится и честь погибает, выбежал вон из мастерской. Его примеру последовали все рабочие, кроме Митиного дяди. Один он, не потерявшись, заделал отверстие и стал, с опасностью для жизни, зачерпывать медь и вновь заполнять ею формы.

Отливка вышла на славу, только лишних два года пошло на шлифовку изъяна. За спасение памятника Хайлов получил денежную награду и первым долгом выкупил из крепостного состояния родную сестру с Митей, его крестником. Литейный мастер был крепкий, умный, вольный человек, и Митя, подрастая, наследовал его независимый нрав. Карла Росси он преданно любил, восхищался его талантом и мечтал в будущем, когда женится на свободной Машеньке, строить под его началом.

Карл Росси подходил к даче своего отчима, очень приметной благодаря большой террасе, затканной сверху донизу яркокрасным турецким бобом.

Павел не выносил танцующих мужчин, считая, что самим богом они предназначены быть только воинами. Но для Лепика император сделал исключение: кроме того, что Лепик был европейски признанный танцовщик, он писал балеты на модные классические темы, среди которых попадались и военные — балет «Дезертир».

Феликс Лепик вместе с Гертрудой Росси и ее маленьким мальчиком Карлом — после триумфов в Париже и Лондоне — из Италии приехал в Россию.

Карл значился в бумагах — пасынок Лепиков; так он был записан и дальше на службу при дворе.

После особого успеха поставленных Лепиком балетов собственного сочинения — «Амур и Психея», «Прекрасная Арсена» — ему предоставлена была, к зависти всех прочих актеров, «безденежно» ложа третьего яруса и наивысший оклад.

Феликс Лепик дремал в большом кресле на собственной террасе, а несколько поодаль стоял мальчишка-казачок с длиннейшим чубуком в руках. Вся фигура казачка выражала большое напряжение. По опыту он знал, что если промедлит минуту, чтобы поднести барину, едва он проснется, раскуренную трубку, — размашистый удар по спине этим самым, вырванным из рук, чубуком будет ему назиданием. Казачок не переставая дул на тлеющие угольки, Лепик мирно похрапывал, и черные усы его, отпущенные за лето, пока он не танцевал, а только писал балет, вздрагивали, как у таракана. Нос был горбатый, римский, а брови, как намазанные густой черной краской, полукружием обегали закрытые веками глаза. Одет Лепик был пестро, словно фазан: шелковый халат с разводами, на голове красная феска, узорные шитые туфли на босу ногу.

Сон отчима был чуток. Еще сладко храпел его римский нос, как внезапно приоткрылся карий глаз, с любопытством оглянул Карла, и Лепик прокричал тенорком:

— Пасынка бог послал! С чем поздравить?

Он вскочил с кресла, легко подбежал к Росси и скороговоркой насмешливо сказал:

— Веночки, беседки, гирлянды цветов — дамское занятие, дамское... Не вижу для вас в том много чести — не в садовники вас готовили.

Карл что-то хотел возразить, Лепик не дал, сам продолжал, махая руками:

— Говорят, ваш учитель Бренна, как на осле, на вас воду возит... Вашими руками жар загребает. Постоять за себя не умеете. Ну, с чем пришли? Есть до меня дело? Говорите скорей, я сейчас примусь за работу.

Лепик выхватил у подскочившего казачка свой чубук, кинулся обратно в кресло и скоро исчез в клубах дыма, как сказочный волшебник.

Воспользовавшись минутой, когда отчим, занятый делом, принужден был помолчать, Росси, памятуя просьбу Мити, сказал:

— С моей матерью танцует в вашей постановке некая Машенька, именуемая за грацию Сильфидой. Она в кордебалете...

— Знаю Сильфиду и первый ее одобряю, — сказал важно Лепик. — Ну и что же, ты влюблен?

— Она невеста моего приятеля Мити, одного из младших учеников наших. Он просил меня узнать, есть ли надежда получить ей вскорости сольное выступление.

Лепик вынул изо рта чубук и рассмеялся.

— Как раз вчера получила. Из-за ее упрямства твоя мать разбила два хороших стеклянных стакана, пока, наконец, убедила Сильфиду. Маша свое счастье поняла и сделала то единственное, чего не хотела делать: по приглашению нашего князя Игреева с ним поужинала наедине. А сегодня я получил предписание дать ей партию Амура. И если твой приятель не будет дурить, эта Маша от щедрот князя скорее добудет себе вольную сама, нежели ожидая до седых волос выкупа от жениха. Убеди этого Митю... Жизнь есть жизнь!

— Как можете вы так говорить? Вы ничего не понимаете в таких людях, как Митя...

Лепик заклектал опять птичьим смехом, потом выпучил страшно глаза и крикнул:

— Умная рыба ищет, где глубже, умный человек — где лучше. Здешняя русская пословица есть истина, а жизнь есть жизнь. Это надо понимать, а вы тоже не понимаете. Почему вы наотрез отказались учиться танцам? Вы отказались от своей фортуны. О, если бы вы танцевали!

Лепик ловко бросил подскочившему казачку свой потухший чубук.

— Если бы вы танцевали, вы могли бы стать наследником славы вашей матери и моей... да, моей славы.

Лепик хлопнул небольшой растопыренной рукой по шелковым разводам выпиравшей грудной клетки и поднял голос, как актер высокой трагедии:

— Если бы вы танцевали, я бы мог вас вполне назвать своим сыном. Но молодой человек, рисующий беседки, цветочки, веночки, вместо того чтобы посвятить себя благородному богу движения, — мне не может быть сыном.

— И желания особого к тому не имею, — сказал холодно Росси.

— Предерзкий негодяй! — вскричал гневно Лепик. Брови его, черные и толстые, как пиявки, вздернулись кверху, щеки побагровели, римский нос побелел.

Карл круто повернулся и пошел в свою комнату переодеваться.

— Осел!.. — крикнул ему вдогонку отчим, кидая на пол ноты, пепельницу, черешковый чубук, вырванный у перепуганного казачка, и с нарастающим гневом продолжал: — Пудель любит танцевать... Лошадь любит танцевать... Одного осла надо стегать, чтобы он танцевал. Но и осел танцует... Вы — хуже осла.

Не найдя больше достойных для утишения своего гнева предметов, Лепик дрыгнул ногой и послал далеко в коридор, через незакрытую дверь, свою туфлю с босой ноги.

Казачок, как собачка, стремглав кинулся к туфле и водворил ее снова на ногу барина.

Вдруг Лепик сразу охладился, взял в руки карандаш и, как ни в чем не бывало, стал им выстукивать такт и напевать что-то, черкая в нотах.

А Карл, нарядный, красивый, полный мечтаний о восхитительной Катрин, желая, чтобы его не увидел отчим, черным ходом направился к парадному месту.

Карл шел и думал о том, как он встретится с Катрин. Вероятно, она уже знает, что его не будет на парадном торжестве. Конечно, она не сочтет это для него унижением. Сколько раз сама ему говорила, что таланты выше всякого происхождения. Да, одной ей, восхитительной Психее, хотел Карл рассказать о том, что пережил недавно ночью у памятника Петра. Рассказать, как ему, великому всаднику, и самому себе дал обет — сделаться первым в мире зодчим.

И, взяв ее прекрасную руку, он ей скажет:

— Быть может, вы, Катрин, никому не отдадите вашу свободу, пока я этим зодчим не стану?

Или нет... зачем так долго ждать? Быть может, довольно ему только вернуться из двухлетней поездки в Италию, куда повезти его хочет Бренна. И когда он, как Баженов, привезет из Рима и Флоренции признание его высоких успехов, — с ее умом, свободой взглядов, ужели она сама не скажет смело отцу:

— Я люблю этого художника. У него большое будущее...

И отец-вольтерьянец благосклонно ответит:

— Как вы оба можете сомневаться в моем согласии?

Так юношески мечтая, наслаждаясь медовым запахом лип, Карл вдруг приметил в конце темной старой аллеи два белых платья. Как узнать, кто эти гуляющие так близко от дворца? Карл, чтобы остаться самому незримым, когда белые платья с ним сровняются, спрятался за скамью, укрытую кустами жасмина. В просветы ветвей вдруг мелькнули голубые ленты, как дымок завился белый газовый шарф, и обе женщины, смеясь, кинулись вперегонки к скамье. Это была Катрин со своей замужней подругой Адель.

Насмеявшись, они продолжали прерванный разговор, и вдруг Катрин назвала его по имени. Она сказала:

— Какое же благополучное разрешение судьбы любезного Карла Росси вы придумали, дорогая Адель?

Адель, смеясь, вынула из ридикюля книжку в сафьяновом переплете:

— Это наш женский оракул. Здесь советы на все случаи жизни и на самые тайные наши желания. Откроем заветную главу...

— Я хочу прочесть сама. — Катрин потянула книжку.

— Только читайте вслух, ведь в вашем деле заинтересована и я, — лукаво сказала Адель. — Начинайте отсюда. Это подходящий для наших разговоров анекдот прошлого времени.

И Катрин прочла:

— «С некоей мадемуазель Дюшатель случилась беда, неприятная для девицы высокого положения в свете. Она влюбилась без ума в красивого гувернера своего младшего брата. Молодой человек отвечал ей пламенной взаимностью. Каролина — так звали девицу — таяла на

глазах своих родителей и знакомых, молодой человек, на ее счастье, был робок».

— Ну, разве это не ваш случай, Катрин? — всплеснула руками Адель. — Но продолжайте, разрешение ваших мук через несколько строк.

— «Старшая сестра Каролины, опытная в сердечных делах баронесса Д., приласкав сестру, ей тихонько сказала: «Я вижу все, дорогая, но помочь вашему горю вы легко можете сами. Скорей примите предложение старого маркиза де Зет, вы станете несметно богаты, и, так как сейчас у нас в моде книжки Жан-Жака Руссо, вы даже подниметесь во мнении света, если вашим любовником станет красавец-бедняк. У меня же для вас и для вашего милого всегда найдется уютный приют...»

— Но ведь это решение времени прошлого, — сказала Катрин, — и я думаю...

— Это решение бессмертно, — прервала Адель. — Время только вносит маленькие внешние изменения. Сейчас не только вам надо выйти замуж, но и Карлу жениться на какой-нибудь титулованной, чтобы быть принятым в нашем обществе по праву; руссоизм не в моде, и бедный зодчий списка ваших побед не украсит. Я, конечно, возьму свою долю, — тонко улыбнулась Адель, — но зато отлично сосватаю вашего Карла...

— Хорошо, если б на глупом уроде, — подсказала насмешливо Катрин. — Но как вы мыслите вашу долю?

— О, я не оригинальна, помирюсь как раз на том, чего хочет от своей младшей сестры предприимчивая баронесса Д. Прочитайте...

— «Чтобы все между нами было без облачка и претензии, — сказала старшая сестра, привлекая в объятия свои младшую, — уговоримся сейчас: иногда вместо тебя встречать его буду в гнездышке — я».

Карл, сдерживая дыхание, смотрел на мелкие золотистые кудри Катрин, на ее детскую шею... Психея. Что ответит она?

Катрин сказала тем спокойным, чуть насмешливым тоном, который всегда — так казалось Росси — таил в себе и свободу ума и благородство поступков:

— Я принимаю все ваши условия, мудрая Адель.

Она тихо засмеялась, и ее голубая лента, заметнувшись далеко за куст жасмина, шаловливо чуть скользнула по щеке Карла.

Карл рванулся, толкнул нечаянно дерево, под которым сидели Катрин и Адель. На них посыпались листочки и сучья, они вскрикнули и, как лани, помчались далеко по аллее.

Карл, не прибавляя шагу, по внешности спокойно двинулся к месту сожжения костров, но, погруженный в странное оцепенение, вдруг спутал тропинки и, не зная как, очутился перед крепостью Бип.

Там шла какая-то возня. Он вздрогнул, сразу не понял, потом сообразил: после вечерней зори подымают игрушечный подъемный мост.

Несуразная средневековая подделка. Как сравнить эту безвкусную нелепицу с той совершенной Камероновой постройкой, которую Павел приказал здесь разрушить? Это грубое зачеркивание произведения большого мастера, эта возведенная на его месте тяжелая, как солдатский прусский сапог, крепость сейчас вдруг до слез оскорбила его.

Не так ли все в жизни? Не так ли она, Катрин, его Психея, растоптала его любовь? Она, конечно, выйдет замуж с расчетом и спокойно отдаст руку тому, с кем выгодно вступит в сделку ее вольтерьянствующий отец. А после того, как все... заведет салон и займется игрой в любовь. Неужто эти умные глаза, этот рот, сладостно изогнутый, эти движения, полные грации, — одна оболочка, прикрывающая пустое и грубое сердце?

Карл стоял, недвижно прислонившись к большой березе. Ему казалось — оборвалась его жизнь. Час тому назад он в полноте радости и надежд погружался мечтами в воображаемый, полный чувств, разговор с Катрин, и вот через миг, как при землетрясении, пред ним вдруг разверзлась на месте цветущего сада бездонная пропасть. Страшные речи возлюбленной, которые он только что услыхал, обличая холод ее сердца и раннюю развращенность, убили его любовь. Карл плакал и не замечал, что плачет. Он пришел в себя, когда вблизи пробили башенные часы, и привычка к ответственности за работу заставила вспомнить, что нельзя терять времени.

Глава третья

Карл Росси, слегка запыхавшийся от быстрой ходьбы, но подтянутый, точный, каким всегда был в работе, появился на парадном плацу у костров, сложенных в клетку, из чистых, стройных березок. Белоснежные, с черными отметинами, они издали казались мантией из горностая.

Рабочие подкатили целые тачки великолепных цветов: во множестве были здесь розы, орхидеи и стойкие декоративные циннии...

— А я уже боялся, что мы запоздали, — сказал Митя, — увлеклись с садовником. Вот принимайте, Карл Иваныч, тут все оранжерейные богатства на выбор для вашего мадригала. Затем... Но что с вами? Не случилось ли чего? — с беспокойством глянул Митя на вдруг побледневшего, как от сильной внезапной боли, Карла.

— Нездоровится что-то, — отрывисто сказал Росси.— Сейчас не до разговоров, Митя, как бы нам не опоздать.

И Росси стал распоряжаться окончательным украшением костров. Когда окончили, Митя отбежал, чтобы прочесть по цветам обещанный Катрин мадригал, но, хотя он отлично проштудировал «язык цветов», — ничего не получилось.

— Как же у вас тут построен стишок, Карл Иваныч, — постичь не могу... Либо эти лилии не у места, либо шарлаховый тон тех бутонов... Уж нет ли ошибки?

— Читать здесь совершенно нечего, Митя, — спокойно ответил Росси, —мадригала нет и не будет.

И, поймав безмолвный вопрос в глазах друга, предупреждая его нескромное любопытство, поспешно добавил:

— Я навсегда желаю забыть имя той, кому были предназначены стихи.

Митя слушал и укоризненно молчал. Росси, вспыхнув, поспешно добавил:

— Поверь, Митя, основание есть... Не спрашивай, не поминай мне ее...

Карл вдруг смешался. Он вспомнил, какой ценой Маша-Сильфида, невеста Мити, получила, наконец, сольную партию. Неужто сказать ему?.. Нет, он не мог нанести другу сердечную рану, так схожую с той, которую

только что в аллее старых лип нанесла ему Катрин. Не глядя на Митю, он смог только вымолвить:

— Твоя Маша, сказал отчим, сегодня танцует с моей матерью в здешнем театре. Кажется, роль Амура...

— Извещен уже ею... — блаженно улыбаясь, сказал Митя. — Умудрилась цидульку мне прислать — назначила свидание после танцев, у Аполлона... И просьба моя к вам, Карл Иваныч: придите туда же, когда зажгут фейерверки. Нам оттуда все будет видно превосходно, а я хочу в вашем присутствии взять торжественное обещание с Маши, что она будет меня ждать непоколебимо среди всех соблазнов. Чай, теперь их у нее прибавится... Не подумайте плохого о Маше, Карл Иваныч, я попрежнему в ней уверен. Но именно ваше присутствие как свидетеля — это новый шаг, закрепляющий пока духовные наши узы. Мы оба вас ценим безмерно, вы мне — как старший брат.

Росси глянул в добрые восторженные глаза Мити, крепко пожал руку и горько подумал: еще немного часов — и конец его радости.

— Да, Митя, я непременно приду к Аполлону.

— Карл Иваныч, я оставшиеся белые розы отдам вечером Маше — ведь можно?

— Конечно, Митя, отдай...

Послышался звук трубы — сигнал для общего сбора на празднество. Росси и Митя быстрым шагом пошли к дворцу.

Эскадрон конной гвардии был уже размещен по пути следования на парадный плац. Кавалеры и командоры, приехавшие из Петербурга, в супервестах прошествовали по два в ряд.

Павел под звуки труб и литавр в большой тронной зале дворца занял вместе с женой места на троне. Великий сенекал Нарышкин, чья должность соответствовала гофмаршальской, поднес Павлу на золотом блюде факел. Пажи вручили факелы всем прочим, и процессия двинулась к кострам.

Росси хорошо видел издали всю церемонию сожжения костров. Процессию открывал церемониймейстер Ордена, тот самый, который его вычеркнул из списка. Сейчас его незначительное, мелкое лицо было важно,

и сам он в нарядном облачении как будто стал выше ростом и дороднее.

За ним, по два в ряд, начиная с младших чинов, шли капелланы. Кто-то из толпы людей, стоявших сзади Росси, скрытый уже наступившей темнотой, отчетливо называл чины и достоинства, с особенным удовольствием выговаривая трудные, никому не понятные звания.

— Вот эти расшитые, с лентами — кавалеры Большого Креста, а те — конъюнктуальные капелланы... кавалеры по праву российского приорства — свои, русские, они от государя направо, а католики с левой стороны.

И заспорили, что почетней: правая рука, десница, старше левой, но зато левая ближе к сердцу.

Вся процессия, торжественная и нарядная, три раза обошла вокруг девяти костров. Росси знал, что для большинства придворных эта церемония была смехотворна, и даже вечный страх пред внезапностью гнева государя сейчас не мог сдержать то тут, то там насмешливых улыбок и перемигивания.

Но большинство пыталось истово исполнять ритуал, как службу, как новый вид фрунтовой повинности. И только один император, в роскошном облачении, в тяжелой короне на полысевшей голове, высоко подняв курносое лицо, с вдохновенной молитвой смотрел в небо. Он веровал в спасительную силу обряда мальтийских рыцарей.

Когда император остановился, великий сенекал взял из рук его факел, зажег его и вручил ему обратно. Камергеры подошли к членам совета, и когда огни вспыхнули у всех, Павел возжег первый костер.

Мария Федоровна, княжны, придворные девицы и дамы смотрели на торжество из роскошной палатки черных, белых и красных полос.

Вечер был прелестной нежности, без ветерка, и с веселым треском горели костры. Купы дерев, искусно расположенных Камероном, живописно освещались живыми языками пламени. Вдруг взвились разноцветные ракеты и, добежав до середины потемневшего, но еще прозрачного неба, как бы завидя оттуда покинутую отчизну, стремглав упали в веселые воды Славянки. Император, отстояв сколько полагалось по ритуалу

перед пламеневшими кострами, пошел садиться в золотую карету. Сквозь стекла ее, в которых дрожали багровые отсветы, Росси видел все то же лицо, застывшее в экстазе, и золотую корону в бриллиантах.

Росси в раздумье тихо шел по тропинке к храму Аполлона и невольно остановился, когда ему путь пересекла Катрин. Она была одна и, видимо его давно заприметив, с намерением здесь поджидала.

— Ваши цветы на гирляндах ни по какой азбуке мне ничего не сказали. Отчего же вы не держите обещания? — сказала Катрин кокетливо, но с заметной досадой.

Карл ответил ей холодным, отстраняющим голосом, сам себе дивясь, куда вдруг ушло недавнее чувство:

— По вашей вине у меня пропала охота сказать вам что-либо не только на языке цветов, а простыми словами...

— Какая немилость, — насмешливо сморщила губы Катрин. — Что же, в вашем сердце другая?

— Во всяком случае — единственной в моем сердце больше никогда не будет. Вы меня излечили навсегда. Как у всех, у меня отныне будут многие... но не одна.

— Что за дерзости... чем они вызваны?

— Извольте, скажу — и на этом мы кончим. Несколько часов тому назад я в старой липовой аллее собственными ушами слышал, как вы с вашей подругой торговали моей персоной. Вы с ней условились поочередно играть со мною в любовь, предварительно женив меня на титулованном уроде...

— Так это вы обрушили на нас целый водопад листьев и сору?.. — Катрин несколько смущенно засмеялась, все еще не веря серьезности Карла. — Месть дикаря. Ваш вкус надо развить... Хотите, я этим займусь?

Карл церемонно поклонился:

— Я предпочитаю руководиться вкусом собственным.

— Но, Карл, вы не так меня поняли...

Катрин впервые и очень нежно назвала его по имени, но Росси, поклонившись ей еще раз, не оглядываясь, направился к колоннаде Аполлона.

Статуя Аполлона стояла в двойном круге благородных дорических колонн. Мягкое журчание каскада,

большие камни, поросшие мохом, — все вместе, овевая поэзией, переносило в древние века оживленной богами природы.

Карл Росси шел и думал, что, как у него, так вот сейчас рушится и первая любовь его друга — Мити. Успел ли он отдать белые розы невесте?

Развалины Аполлонова храма освещены были луной, и не мог Карл не подумать, насколько этот серебряный вкрадчивый свет благородней разноцветных огней только что отгоревшего фейерверка.

Чуть голубели, светились фосфорным светом колонны старого дорического ордена, и среди них на высоком цоколе стоял юный бог, совершенство соразмерности и гармонии. От лунного света бронза, из которой Аполлон отлит был Гордеевым, не утратив точности контуров, как бы окуталась легчайшей дымкой и утратила свой вес и плотность. Дополнить чудесную картину могли только звуки какой-нибудь воздушной золотой арфы. И Карл болезненно вздрогнул, услыхав чье-то отчаянное, полное большого горя рыдание...

Митя лежал на скамье, зажав в ладони лицо, и плакал, как ребенок. У ног его на каменных плитах, особенно ярко освещенные луной, белели не поднесенные невесте розы.

Карл приподнял со скамьи и безмолвно обнял друга.

— Все кончено между нами, — сказал Митя. — Она получила свободу из рук князя, меня слишком долго ей ждать... О, проклятая наша жизнь!..

— Не кляни ее, Митя, — сказал твердо Росси, — наша жизнь только что начинается... И, может быть, хорошо, что начинается с такой горькой личной утраты. Искусство ревниво... отдадимся ему без оглядки. У нас с тобой одна судьба...

Митя горячо прервал Карла:

— Нет, Карл Иванович, у нас не одна... У нас с вами разные судьбы. Вы — великий талант, им вы ответите миру. А я — человек обыкновенный. Я в художники пошел ради невесты, соблазнился скорей ее выкупить. Настоящего призвания у меня нет. Мне суждено другое...

Митя совсем оправился. Теперь он шагал взад и вперед, освещенный луной. От ее света он сам стано-

вился серебряным, а попадая в тень, внезапно потухал. Митя остановился перед другом:

— Карл Иванович, пока людей возможно продавать, как скотов, пока можно отнять невесту, потому что нет денег для ее выкупа на волю, я душу мою положу, чтобы с этим бороться. Не знаю как, не знаю где, но я путь найду.

Карл обнял Митю, и долго молча стояли два друга перед цоколем бесстрастного бога гармонии.

Глава четвертая

Двадцать девятого июня, на Петра и Павла, как обычно, была блестящая иллюминация в Павловске — день ангела императора.

Укрытые цветущими кустами придворные певцы и певицы распевали стихи Нелединского-Мелецкого:

Сторона, как мать родная,
О возлюбленно Павловско...

И еще другой стишок, полный детской преданной любви, исторгавший из очей чувствительной Марии Федоровны слезы и умилявший самого государя:

Наш надежа государь
Нас скрывает в свою пазушку:
Отирайте, мои детушки,
Вы с очей горячи слезушки,
Подбивайтесь, мои милушки,
Под мои ли теплы крылушки.

Защитительные костры Ивановой ночи всё еще оказывали на Павла свое благодетельное влияние. Непоколебимой пребывала в нем уверенность в особой охране и личной безопасности. Патер Грубер, ежедневно вручая искусно им приготовленный «иезуитский шоколад», проникновенно напоминал, сопровождая слова ласковым внушающим взором, что отныне вокруг гроссмейстера Мальтийского ордена, главы рыцарей всего мира, незримо присутствует небесная стража.

Павел, получив долгожданный покой, отогнал от себя подозрительность. С благожелательным вниманием слу-

шал он доклады своих вельмож — то ли на террасе в саду, то ли в Камероновом изящном павильоне Трех граций.

Однако в начале августа злая судьба словно позаботилась замутить его недолгие светлые дни.

Распустил некто слух, что будет тревога, солдатам она вдруг почудилась, и с примкнутыми штыками они ринулись вверх по горе со стороны трельяжа. Здесь их остановил сам Павел, катавшийся неподалеку верхом. Слегка побледневший, но вполне владея собой, он похвалил за порядок семеновцев и отечески пожурил преображенцев за то, что бежали вразброд.

Мария Федоровна плакала. Ее губы, еще сохранившие свежесть, дрожали, и жалобным, тонким голосом, который в первые годы брака заставлял Павла исполнять немедля желанья супруги, а сейчас раздражал, словно писк комара, Мария Федоровна просила:

— Запретите, мой друг, собираться толпе. Когда эти люди мчатся вперед, как бизоны, я их ужасно страшусь. Сигнал к тревоге исходить должен только от вас. От монарха...

Государь любезно согласился с женой. Благодарил за усердие окружившие дворец столь поспешно войска и в причину тревоги углубляться не стал. Но удалившись в свою опочивальню, внезапно охвачен был приступом оставившей было его подозрительности.

Можно ли было верить Марии Федоровне, жене, которая могла в свое время скрыть от него, супруга, что Екатерина принуждала ее дать свое согласие на лишение его насильственно престола?

После смерти матери сам он нашел этот документ. Когда Мария Федоровна после родов младшего сына, Николая, еще оставалась одна в Царском Селе, матушка потребовала у нее подписи на заготовленном акте его предполагаемого отречения. Правда, самой подписи жены не стояло, было только обозначенное, заготовленное для нее место, — и Мария Федоровна уверяла, что Екатерина сильно разгневалась по поводу ее отказа, а она сама все это дело скрыла от него, Павла, из великой к нему любви, оберегая его чувства к матери.

Отказалась... Павел горько усмехнулся. Свои расчеты у нее: участвовать в лишении престола отца ради сына

не захотела, но, при ее тщеславии, о престоле для себя самой мечтает. Пример не за горами — ведь тридцать четыре года царствовала незаконно, после смерти Петра Третьего, его матушка. Россия слишком привыкла к правлению женщин... И Павел не выполнил просьбы Марии Федоровны, не запретил сбираться по неизвестно кем данной тревоге, указал только место для сбора.

Загадочное происшествие вскоре опять повторилось; царская семья, вся бывшая на прогулке, поражена была криками, суматохой, вразброд устремившимися к замку гусарами и казаками. Павел кинулся к назначенному пункту, произвел дознание — оказались сущие пустяки: рожок почтаря ошибочно приняли за сигнал, барабанщики ударили в барабан, полки двинулись.

Но окружавшие его солдаты с неподдельным простодушием такое выразили о нем беспокойство, что Павел до слез был растроган. Вот солдатам он верил, а жене, едва глянул в ее глаза, изображавшие верность до гроба, — не поверил. И как делал раньше, не желая слушать придуманных ею домыслов, убежал скорее вглубь парка.

Нет, сколь ни борется он с собой, нет больше здоровья душе! Видать, неизлечимым осталось то глубочайшее потрясение, которому был подвергнут родной матерью почти в день смерти его первой, так беззаветно, так молодо любимой жены, Натальи Алексеевны.

Видать, навеки разбил его сердце и помрачил разум тот страшный миг, когда матушка сочла нужным сообщить ему с неотвратимыми доказательствами об измене ближайших ему людей — любимой жены и друга ближайшего Андрея Разумовского...

Быть может, этой внезапностью потрясения она хотела свести с ума нелюбимого сына, вечного наследника, как звала его рассердясь Мария Федоровна, и уже на основании законном объявить его лишенным престола...

Вот она — незаживающая рана. Порой сдается, что затянулась, что все в прошлом, все позади. Но вот малейший повод — и все горше прежнего. Ведь если Мария Федоровна еще так недавно, хоть сгоряча, но могла ему сказать: «пожилой вечный наследник», — сколько чувствует она как женщина к нему в своем сердце презрения! И поставить себя на его место, захватить трон, как

сделала его мать с его отцом, — ужели не приходит ей в голову?

Если первая, любимейшая жена, первейший друг могли так предать, а родная мать нанести смертельный сердцу удар, что ждать от этой весьма тщеславной спутницы жизни?

А ведь основой чувства его было с юности — великодушие, щедрость, любовь. Да еще недавно... разве не эти качества толкнули его обласкать своего врага лютого — Платона Зубова? Тронулся рыданием его над телом покойной царицы, поднял его, с неистовым чувством при всех вскрикнул:

— Кто старое помнит — тому глаз вон!

Дворец подарил Зубову. Из кабинета двора приказал заплатить тайному советнику Мятлеву за тот дом сто тысяч. За обедом здравицу врагу лютому возгласил:

— Сколько капель в сем бокале, столько лет тебе здравствовать!

— Ни в чем меры не знаю... — горько прошептал Павел и погромче сказал:

— Нет, не прошла обида на Зубова. Внутрь загнал ее, а она вдвое лютей.

Вот они, старые охотничьи домики. Сюда спасался в тот страшный день, когда Зубов за обедом у матушки оскорбил, а она не вступилась.

Забавно рассказал что-то за обедом Зубов, и Павел, позабыв свои злые с ним счеты, весело засмеялся, а тот, приняв несносный свой чопорный вид, дерзко вымолвил: «Сморозил я глупость, что наследник изволит веселиться?» Не оборвала мать фаворита, напротив, своим молчанием подтвердила мнение, что сын — дурачок и до сознания его доходить могут одни глупости.

Воскрешенная памятью обида что снежный ком: двинулся невелик, а докатился до подножья горы — сам горой стал.

Плетей достоин тот Зубов, а он, император, дон Кихот наших дней, дворец ему жалует, придворную ливрею, чтобы покрепче запомнили: через матушкину спальню Зубовы с ним породнились, одного корня стали.

И вот не удержался, гневный приказ вырвался сам собой: генерал-фельдцехмейстера графа Платона

Зубова — вон из службы. Вон из России, за границу, в свои литовские именья пусть убирается.

Черт его веревочкой с этим фаворитом матушкиным связал. Несет проклятье его судьбе этот человек. Вот сейчас кабы новой беды не накликал.

Самый выезд Зубова за границу вплел зловещее звено. На его путь императорский бросил черную предостерегающую тень: вызвал бешеный гнев на барона фон дер Палена. Роковой этот гнев, ибо он вызван в самый день закладки Михайловского замка, последней твердыни, оплота от предателей.

Через Ригу должен был въехать польский король Станислав-Август, ему готовилось торжество, встречи, парадный обед. Но король чего-то замешкался, вместо него объявился в Риге Зубов. И вот ему как русскому важному генералу рижские бюргеры воздали королевскую честь, — не пропадать же закупленным на парадный обед яствам и винам.

Павлу обо всем последовал донос, а от него немедля приказ: выключить со службы барона фон дер Палена.

Но по тайному учению масонскому, ему известному, если при закладке нового здания омрачен дух закладчика гневом, нет и не будет делу успеха. Ничто, предпринятое в гневе, на пользу не пойдет. Еще хорошо, что не кто иной — свой, верный человек под его гнев подвернулся.

Фон дер Пален сейчас — граф и военный губернатор города и человек ближайший, доверенный. Этот не предаст.

Сейчас Мария Федоровна на очереди, она всех больше мучает. Но когда же собственно с ней началось?

Оглянувшись, увидал вблизи скамью Оленьего мостика: вот на этом месте еще в прошлом году впервые сам себя испугался, потому что назвал свою болезнь. Имя ей — безумие. До тех пор носил в себе и не называл и не ведал, что это болезнь.

Павел не сопротивлялся воспоминаньям, и они влекли его неумолимой своей постепенностью...

Прошлой осенью были большие маневры в Гатчине — любимые угрюмые места, верные гатчинцы. Все вышло удачно, всем остался доволен. Отдохнул душой и при-

ехал обратно веселый к своей семье в Павловск. Радовался всех увидать, и даже наследника Александра.

Первенец, любящий сын, кто смеет на него клеветать?

И почему ему не быть любящим сыном? Разве претерпел он от отца то, что самому Павлу пришлось претерпеть от матери, великой императрицы? Нелюбовь ее, оскорбительная скупость, в то время как на очередного фаворита миллионы бросала. Кто был он при матери? Незаконно лишаемый трона, преследуемый призраком убитого отца. Прочь, прочь недоверие к Александру!

После успешных гатчинских маневров поехал в Павловск. Было отменно приятно, спокойно на душе, но вдруг странно поразило, что никто из домашних при въезде его не встречает. Однако не рассердился, а, озабоченный, любопытствовал узнать, не случилось ли чего, здоровы ли все.

А произошло то, что супруга Мария Федоровна, в своей немецкой сентиментальности припомнив, как любили у нее в родном Этюпе всякие нежные сюрпризы, придумала устроить ему встречу в костюмах и гримах. Некий, словом, затейливый домашний маскерад.

Когда, уже не на шутку встревоженный, он далеко впереди свиты почти побежал ко дворцу, вблизи Крика раздалось пенье, чудеснейший хор. И тотчас некий авантажный мужчина, вроде хозяина дома, стал, низко кланяясь, приглашать почтить его посещением.

— Верно, Нарышкина затеи... посмотрим, чего начудил, — сказал свите император, развеселясь и входя сам в игру.

Тут окружен был он хористами и завлечен ими в хорошенький сельский домик под пение:

Где же лучше, как не в недрах собственной семьи.

И на пороге дома кто-то в сладостных слезах радостной встречи пал ему в объятья.

Батюшки, супруга Мария Федоровна! Отяжелела, сударыня, однако ловко ее подхватил и любезно оглянулся, слушая концерт нарядных маркиз и маркизов. И вдруг всех узнал: скрипач — Александр, певица — его супруга, Елизавета Алексеевна, а дочери — кто за арфой, кто за органом.

— Ловко средь бела дня сумели меня одурачить, — то ли в похвалу, то ли с осуждением вымолвил.

Сразу и не разобрал, кто кем наряжен. Обошли, слов нет, обошли. А в шуточном сумели, сумеют и в главном. В том, чего тайно хотят и сын и жена. Престола хотят...

Схватило удушье, предвестник великого гнева. Того, с которым не справиться. Поражая всех, вдруг вырвался из объятий, выбежал, хриплым голосом крикнул: «Не сметь за мной!»

Сам себя испугался. Убежал, чтобы не отдать приказа Кутайсову: «В крепость тех двух — мать и сына. В Шлиссельбург!»

Вот тут, на этой самой скамье, опомнился. И то, что медлил понять и назвать — свою несказанную муку, назвал: б е з у м и е.

Сейчас тихие над ним мерцали звезды. Всюду в парке был великий покой. Только речка журчала.

Нет, ни патер Грубер, ни костры Мальтийского ордена — ничто ему не в силах помочь. А без конца терпеть безумие на троне кто станет?

Недаром, когда рыли фундамент для возведения Михайловского замка, нашли монету чеканки считанных дней злополучного императора Иоанна Антоновича — плохое предзнаменование. Ужели бывают предначертанные, роковые судьбы? Но помирать, как одураченный, усыпленный всякими там машкерадами, — слуга покорный! Лучше сам я всех обдурю. Буду защищаться — я император, помазанник. Архистратиг Михаил — мой страж.

Павел поспешно вернулся во дворец, призвал архитектора Бренну и, не слушая больше никаких возражений о сырости, вредной здоровью, гневно приказал без проволочек заканчивать Михайловский замок.

Глава пятая

Бренна дал Карлу Росси доверенность на вывоз всех чертежей, планов и рисунков заканчиваемой постройки Михайловского замка. Их надлежало передать на выставку в Академию художеств.

Душевное состояние Карла было отчаянное. Им владело одно желание — хоть на короткий срок бежать от этих мест, где его первое восхищение женщиной, первая юношеская любовь были так грубо поруганы. И казалось ему, это навеки лишило его надежд на счастье. И не отпускало ощущение, что рухнула защищавшая от пропасти цветущая ограда, и вот — под ногами бездна. Такое безудержное горе его охватывало порой, что кружилась голова и дело валилось из рук.

Присутствие Мити сейчас ему было желаннее всего. Оба без слов понимали друг друга. Митя окаменел в своем отчаянии, и Карл, чувствуя себя старшим, находил для него слова бодрости, которые вдруг стали помогать и ему самому. Он стал опять верить, что искусство выведет его из охватившей тьмы душевной...

Выйдя на Охте из экипажа, Карл и Митя сели в ялик и поплыли к Фонтанке, к Михайловскому замку. Яличник налег на весла, Митя взял другую пару. Карл сел за руль, ялик полетел, как чайка.

Высоко над горестями людей, прекрасные в своем бессмертии, стояли творения гениальных зодчих, и Росси невольно подумал, что, быть может, нужны человеку великие личные утраты как исходная точка для создания чего-то большего, чем он сам. Митя снял шапку, и стриженные под скобку волосы, уже выгоревшие на солнце, как густой парик обрамляли загоревшее безбровое грустное лицо.

— Игла адмиралтейская, — слабо улыбнувшись, указал он веслом, — сколь стремительно пронзает она голубую высь!..

— Она — как сверкающий на солнце обнаженный меч, самим Петром подъятый на защиту города, так бы воспеть ее поэту, — подхватил Росси и привычным вниманием скользнул по Коробовскому Адмиралтейству.

— Живая история города и самого основателя навеки связана с Адмиралтейством; сколько великих побед его вспомнит тут всякий, когда они прославлены будут барельефами, — и захват северных морей, и шведы... развитие торговли и промышленности.

Карл широко указал рукой на оба берега Невы:

— Чудеса наших зодчих. Да, если сам хочешь стать мастером, надо принять в себя, выносить в себе, как

мать — ребенка, тоже не меньшее, чем они. Найти новое, подымающее этот чудесный город, пойти еще дальше в соразмерности частей, в гармонии — ведь здание строится навсегда и для всех людей. Непогрешима, как математика, должна быть работа зодчего.

— Куда ж дальше этого? — указал Митя на Мраморный дворец Ринальди.

— Не могу тебе сказать, Митя, сам еще не знаю. Только повторять никого не стану, я найду свое слово в зодчестве, как ты давеча сказал мне, что найдешь в жизни свой путь.

— И послужу им родному городу, — тряхнув кудрями, повеселев, сказал Митя. — Как в сказке, по щучьему веленью воздвиг его здесь великий Петр. Что людей на работе легло! Дядя Хайлов сказывал, дед наш тут в основание тоже залег. На родных мне костях город наш... Дядя Хайлов монумент Петров с опасностью для собственной жизни, как вам известно, спас, ну, а мне уж не украшать город придется, а исправлять в нем великое зло бесправия.

И снова, как раньше, смелый, сильный, вдруг загоревшись румянцем, Митя спросил:

— Про Павла Аргунова ничего не слыхали, Карл Иваныч? Ведь он сюда приехал из Останкина.

— Очень хочу его повидать, — обрадовался Карл. — Большой талант этот Аргунов, с каким вкусом дворец в Останкине построил, а отделка комнат по его указанию восторг вызвала даже за границей. Недавно польский король Останкино посетил, говорят, сказал, что его дворцы много хуже.

— И у нас прославлен этот Аргунов, а сейчас, знаете, он кто? — Митино лицо дрожало от негодования, он отрывисто и гневно сказал: — Сейчас он поставлен своим барином здесь, в Фонтанном доме, надзирать за тем, чтобы гуляющие в саду не обрывали кустов малины и крыжовника. Да вот лучше сами его расспросите, он у Брызгалова сегодня будет, а нам ведь там ключи получать. Да вы меня не слушаете, все свое думаете...

— Запомни, Митя, — сказал Росси с некоторым волнением, — не одно здание, которое строишь, в центре твоего внимания: все пространство надлежит организовать вокруг. Весь окрестный пейзаж, все, что может глаз

охватить. Здание — центр. Все, все связано с этим центром. Если весь город перестроить в новой дивной гармонии, — я уверен, и люди, в нем живущие, найдут в душе своей великий покой. Найдут и порядок и силу самим что-либо сотворить. Ведь все, среди чего мы растем и живем, что видит наш глаз, слышит ухо, — нечувствительно образовывает наши чувства, ум и вкус. А творцом, Митя, каждый человек быть обязан. В чем, как, кем — его дело. Но обязан вырасти из себя самого и создать что-либо.

Карл оборвал речь, задумался. Яличник свернул на Фонтанку. Издали предстала громада яркокрасных, под заходящим солнцем как бы раскаленных, камней Михайловского замка. Митя с озорством воскликнул:

— А все-таки насколько слабее великих зодчих наш с вами учитель, Карл Иванович! Только что государю сумел угодить.

— Ты слишком строго... — прервал Росси. — Можно найти точку, с которой и в постройках Бренны открывается живописная перспектива.

— Вы же сами учили, Карл Иванович, что архитектура удачна, если в ней со всех точек здание хорошо. А уж чего-чего в этом замке не налеплено?

— И все-таки замок — уже необходимая принадлежность города нашего, значит, что-то угадано верно. Правда, трофеев многовато и единой композиции нет.

Винценто Бренна приехал из Варшавы, где занимался росписью плафонов арабесками. По началу он работал живописцем в Павловске, выполняя задачи Камерона. Он оказался незаменимым в украшении придворного быта во вкусе Павла. Рукой мастера сочетал военные трофеи — орлов, венки, колчаны, полные стрел, гирлянды, оружие, — хотя рисовальщик был слабый.

Карл помнил свое старшинство и не хотел соединяться с Митей в осуждении учителя. Однако и ему давно наскучила назойливая напыщенность Бренны: бархатные его занавесы, марсиальные уборы, рыцарские доспехи. Но вслух он выразил только последнюю, обобщающую мысль:

— Русское зодчество сейчас словно в раздумье — вернуться ему к своему прошлому или искать новых форм. Но каких?

Яличник причалил вблизи законченного средневекового замка во вкусе императора Павла.

Росси пошел по узкой аллее между зданиями манежа и сразу наткнулся на расклеенные на столбах афиши сегодняшних спектаклей. Во французском театре шло «Дианино дерево» — перевод с итальянского придворного капельмейстера Мартини. В театре Гритри пела красавица Шевалье. Сводная сестра Карла была замужем за ее братом, и от сестры он знал, что одновременно пользовались успехом у красавицы-певицы император и его камердинер Кутайсов. Мать Карла, Гертруда Росси, сегодня не танцевала, и он решил зайти к ней, чтобы вместе ехать в Павловск.

Карл и Митя вошли в портал на восьми дорических колоннах красноватого мрамора. Трое решетчатых ворот между гранитными столбами, вензель Павла в кресте Иоанна Иерусалимского, орлы, венки, гирлянды из вызолоченной бронзы, — на это Бренна мастер, — так и пестрят в глаза. Средние, главные ворота распахиваются только для семьи императора, — вошли слева в аллею из лип и берез, посаженных еще при императрице Анне Иоанновне. Налево экзерциргауз, направо конюшни. Аллея упирается в два павильона, где живут чины двора.

— Что, мы сразу зайдем к Брызгалову, — спросил Митя, указывая на окно комнаты кастеляна Михайловского дворца, — или обежим постройку?

— Обязательно обежим, давно я тут не был, — задумчиво огляделся Росси.

Прошли через ров укрепления на площадь Коннетабля.

Привычным общим взглядом охватил Росси возвышавшийся перед ним правильный квадрат, со всех сторон окруженный рвами в гранитных одеждах. Пять подъемных мостов переброшено было через рвы.

— Не алый, не пурпуровый, а какой-то сказочный, драконовой крови этот цвет. Точно ли говорят, — спросил Митя, — что это наш император навеки закрепил свою рыцарскую любезность по отношению Анны Гагариной? Будто явилась она на бал в такого цвета перчатках, а он тотчас одну из них послал как образец составителю краски для Михайловского замка, для наружных дворцовых стен.

— Похоже на правду, — усмехнулся Росси, — но лучше бы этот цвет остался только на перчатках Гагариной, — там он много уместнее, чем здесь. Однако вообрази, Митя, сейчас я уже полюбил эту багровую груду камней. Полюбовался как-то этим пламенем среди темнозеленых кущ при закате солнца, полюбовался приглушенными, неожиданно мягкими, теплыми тонами среди серебристого петербургского тумана — и понравилось. И уже неотъемлема от лица нашего города мне вся эта громада.

Росси указал на торчавшие при самом входе в замок два обелиска из серого мрамора. Они вырастали до самой крыши. Но по бокам, в маленьких нишах, стояли несоразмерные с общим мизерные статуи Аполлона и Дианы. Повыше шел фронтон паросского мрамора, работы братьев Стаджи, изображавших Историю в виде Молвы. Еще выше две богини Славы держали герб императора Павла. И опять обилие вензелей, какое-то страстное утверждение своего имени.

— Не по душе мне, Карл Иванович, поверх всего этого железная крыша, выкрашенная, притом, зеленью, — ворчал Митя.

— Да и ряд плохих статуй с коронами и щитами не украшает, а только тяжелит, — запрокинув голову, отметил Росси. И медленно прочел на порфировых плитах фриза:

«Дому Твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней».

— Карл Иванович, — совсем уже шепотом сказал Митя, склонившись к его уху,— знаете, что про эту надпись в народе пущено? Богомолка сказывала... будто юродивая со Смоленского кладбища прорекла: сколько букв сей надписи — такова долгота лет и императора. А ну-ка посчитайте, сколько букв.

— Ерунда, Митя! — воскликнул Карл.

Однако буквы сосчитали оба, проверили — сорок семь.

— Тоже выдумал богомолок слушать, — досадливо сказал Росси и, обойдя замок со стороны Летнего сада, остановился перед круглой лестницей из сердобольского гранита, которая вела в обширные сени с мраморным белым полом и дорическими красноватыми, тоже мраморными, колоннами.

На площадке лестницы по обе стороны стояли великолепные статуи Геракла и Флоры, вылитые из бронзы в Академии художеств.

На гранитных консолях две бронзовые вазы, аттик с шестью кариатидами, обширный балкон над колоннадой и барельеф работы Лебо из белого мрамора. Все это было прекрасно, взятое отдельно, но не давало того общего стиля, единого вздоха, который восхищает в архитектурном совершенстве.

И, пытаясь разъяснить Мите, почему получилось столь путаное нагромождение, Росси извиняющим тоном сказал:

— Бренна не вполне виновен. Он уверяет, что так именно расположить статуи и обелиски ему приказал сам император.

От долгого неудобного положения задранной вверх головы Карл вдруг ощутил, как она у него болит, как вообще он разбит, как устал пред людьми и самим собой делать вид, будто ему совсем легко от погибшей любви, от обидного легкомыслия своей матери.

В мозгу настойчиво, как жужжанье злого веретена, застучали слова: Карло-Джакомо Росси... сын итальянки, отец неизвестен. По-русски без отчества нельзя, и ему из второго личного имени Джакомо сделали Иванович. Никакой отец по имени Иван ему неведом.

Глава шестая

Чертежи и планы, которые надлежало отвезти на выставку в Академию художеств, были сданы на хранение кастеляну Михайловского замка Ивану Семеновичу Брызгалову, человеку примечательному, известному всему городу.

Сын крестьянина Тверской губернии, он поступил в истопники Гатчинского дворца, когда Павел еще был наследником, и привлек его внимание тем, что с неописуемым восторгом, раскрыв рот, следил, как печатали свой шаг гатчинцы. Созвучие родственной души было у него с Аракчеевым, и столь же, как тот, оказался и Брызгалов без лести предан. В скорости он был сделан

камер-лакеем, а затем и гоффурьером. В дни воцарения Павла Брызгалов в своем звании явился в Петербург, где пожалован был уже в обер-фурьеры Михайловского замка.

Как только замок достроился, Брызгалова, как лицо доверенное и проверенное, назначили кастеляном внутренних дворов с обязанностью наблюдать за своевременным поднятием и спуском мостов над каналами, которыми замок был окружен.

Брызгалов женился на дочери одного из придворных служителей Зимнего дворца и немедленно превратил свою жену в боязливую рабыню, неустанно попрекая ее, что цвет красный, присвоенный ливреям Зимнего дворца, где был ее отчий дом, ниже краской, беднее, чем цвет малиновый, который император утвердил за одеянием дворцовой службы Михайловского замка.

Брызгалов, мелкая пылинка, попавшая в орбиту самодержавного солнца, был, как и царственный хозяин его, охвачен болезненной манией величия и, по мере своих возможностей, воплощал ее в свой быт.

Одевался с иголочки, по форме, в руках носил саженной вышины трость для представительства. Двое мальчишек, рожденных от жены-молчальницы, обращены были в рабов и слушались мановенья его бровей.

Когда Росси и Митя постучали в дверь, им открыла молодая, но преждевременно увядшая женщина с грудным ребенком на руках. На вопрос, дома ли Иван Семенович, потупясь, ответила:

— Во дворце они, на приеме. Их двое уже ожидают. Присядьте и вы.

Она провела в комнату, которая окнами выходила на площадь Коннетабля, а сама скрылась в детской.

В приемной действительно сидело двое. Один из них — европейского вида, хорошо одетый человек лет тридцати, с умным и тонким лицом художника.

Завидя Росси, он стремительно двинулся ему навстречу.

— Павел Иванович, дорогой, — ответил Росси дружеским объятием, — до чего рад тебя видеть!

— Да я уж два дня как приехал. Справлялся о тебе у твоего отчима, а он в ответ только рукой машет, словно ты какой стал беспутный. Я грешным делом подумал,

не пустился ли ты зашибать от огорчения какого или по слабости? Да нет, ясен ликом, как некий греческий бог.

— Какие бы огорчения на меня ни сваливались, я никогда не запью, — сказал с твердостью Росси. — Не сдаваться жизни хочу, а ее побеждать.

— Легко тебе гордо чувствовать — ты рожден свободным, — горько усмехнулся Аргунов и указал на сидящего на скамье человека довольно странного вида. — А вот нам с Артамонычем без шкалика хоть в воду!

Сидевший на скамье вскочил и стал весело кланяться. Он был острижен празднично, «под горшок», волосы смочены квасом. Поддевка, хоть из дешевеньких, — новая.

— Вот, рекомендую, — сказал Павел Иванович, — изобретатель. Шутка сказать — самокат выдумал. Из своей Сибири по нашим-то дорогам на нем прикатил.

— Дороги, что говорить, родовспомогательные, — кивнул Артамоныч.

— Полагаю, не везде пехтурой, где и подвозили тебя вдвоем с самокатом? — подмигнул Павел Иванович. И, повернувшись к Росси, отрекомендовал: — Зовется он — Иван Петров Артамонов.

— А ей-богу, не подвозили, — веселой скороговоркой зачастил Артамонов. — Деньги нужны в мошне, чтобы подвозили, а у меня в кармане — вошь на аркане да блоха на цепи. Сейчас в разобранном виде моя машинка, а как соберу ее, просим милости поглядеть. Авось в грязь не ударим!

— Кому-кому, а тебе надо ладиться уж только на победу: сам знаешь, либо пан, либо пропал — перед государем нельзя тебе сплоховать.

Росси с интересом оглядел изобретателя. Был он сухой, среднего роста, с лицом остреньким, как у лисички. Глаза умные, с быстрым, легким взглядом. Глянут — сразу все высмотрят.

— Это, значит, про вас мне на днях говорил Воронихин? — осведомился Росси. — Не у него ли вы и остановились?

— А как же не у него, когда мы с ним во всем городе только и есть земляки. У них и стоим, у господина Воронихина, пока его величество перед свои очи не потребует.

— Император заинтересован его выдумкой, — пояснил Аргунов, — прослышал от кого-то, приказал выписать. Все сейчас ему предоставлено, чтобы он мог свою машину в совершенном виде представить. В случае успеха посулили дать вольную не только ему — всей семье.

— А сорвется дело, — с привычной усмешкой сказал изобретатель, — ежели мы, к примеру, опростоволосимся, — плетьми угостят, не хвались!

Митя взволновался.

— За самокат дадут вольную? И всей семье посулили? Иван Петрович, да неужто?

— Царское слово — закон, — важно сказал самокатчик.

— Такие милости у нас всегда по капризу даются... — Аргунов, видимо волнуясь, подошел к Росси. — Иной талант, за границей прославленный, с отменным образованием, как мой отец и мой дед — знаменитости, да я сам только что королем польским за работу прославлен, — как были рабы, рабами умрем.

— Вы, Павел Иванович, блистательно закончили Останкинский дворец, — деликатно желая перевести разговор в другое русло, сказал Росси. — Я от самого императора слышал: феерия — не дворец. И какие великолепные празднества завершили окончание.

— А кончил я дворец строить, меня граф откомандировал сюда сопровождать обоз мебели. Дни свои проводить стану подручным у Кваренги по перестройке Фонтанного дома. Ну это еще терпимо: понижение в работе. Но торговаться с вашим отчимом насчет продажи его павловской дачи графу — много хуже. Горячий и, простите меня, грубоватый человек ваш отчим, Лепик. Вам, конечно, о продаже дачи известно?

Карл вспыхнул, но тотчас утвердительно кивнул головой. Ему о продаже дачи мать и отчим еще ничего не сказали. «Ну, что же, — подумал он, — отличный случай окончательно отделиться от родных и начать вполне самостоятельную жизнь. Давно нет родного дома...»

Росси овладел собой и, отстраняя досадные мысли, с искренним восхищением стал хвалить убранство Останкинского дворца:

— Все свидетельствует о совершенстве вашего вкуса, Павел Иванович, о вашем великом таланте декоратора...

— А вот ихний граф, знать, невысоко ценит талант, — неожиданно тонким голосом сказал самокатчик, — простую баньку им по-черному для людей заказал выстроить, это после расчудесного их дворца! Да это же так, словно б цветистую бабочку запрячь воду возить!

Он захохотал, но тут же застыдился, умолк, из угла стал глядеть волком.

— Должность крепостного архитектора таит в себе большие опасности, — мрачно проговорил Аргунов, — и чем он даровитей, тем горше его судьба. Пройдет у барина каприз строить, и он вчерашнего творца, которым восхищалась хотя бы и Европа, повернет, не моргнув, в лакеи, в свинопасы.

Аргунов прошелся по комнате и стал перед Росси.

— Вот бегаю я сейчас, как мальчишка, достаю для дачи образцы обоев, чиню мебель, которую любой столяр лучше меня чинить может. А как подрядчик ремонт затянул, мало считаясь с моими только что признанными заслугами, через канцелярию прислал граф мне лично позорный выговор с наложением смехотворного наказания, заставившего меня вспомнить детство, когда за шалости мать без сладкого оставляла.

— А ну-ну, какое такое наказание? — с веселым любопытством спросил Артамонов.

— Граф приказал снять меня со «скатертного стола», то есть с улучшенного довольствия, и перевести на харчи, общие с прислугой. Самое же обидное, что ничего я не строю с той самой минуты, как зарекомендовался первоклассным строителем.

Аргунов сел на место рядом с Росси и, невесело ухмыляясь, сказал:

— До нелепости сужен сейчас круг моей деятельности. Приставлен я, кроме всего прочего, к наблюдению за гуляющими в Фонтанном саду, дабы они фруктов, вишен, малины не рвали...

— Вот тут и запьешь горе водочкой, — щелкнул изобретатель себя по горлу, доканчивая речь Аргунова.

— Но ведь граф Шереметев не невежда, — возмутился Росси, — он учился в Лейденском университете,

в искусстве несомненно понимает. Как же так грубо третировать художника?

— Понимание искусства не препятствует собственных крепостных художников считать своей вещью и распоряжаться ими как мебелью. Брат мой, Николай, прославленный своими портретами фельдмаршала Шереметева и прочими, который на правах друга жил с барином за границей, — разве отпущен им на волю? Да о чем говорить, если сам Андрей Никифорович Воронихин вовсе недавно получил вольную.

Все минуту молчали, изобретатель убежденно сказал:

— Самокатами надо свободу себе добывать. Позабавишь барина, повеселишь, — он и размякнет. Господ потешать надоть, чтоб от них резону добиться, аль как наши сольвычегодские...

Самокатчик вскинул волосами, плотно сжал губы и страшновато подмигнул.

— А как же сольвычегодские? — насторожился Митя.

Самокатчик быстро оглянулся, пригнулся к Мите и шепнул:

— Митрополита Иакинфа тюкнули... Еще при покойной царице дело вышло. Несуразную барщину налагал монастырь. Терпели мужички, сколько хватило терпенья, впоследок времени — тюкнули.

В дверях выглянуло испуганное лицо жены Брызгалова, и, словно на пожар, она крикнула:

— Паша, Саша, тятеньку встречать!

К изумлению присутствовавших, из-под ног, как собачонки, выкатились мальчишки-погодки. Они под скамейками играли в карты. У обоих были громадные головы в кудрях, круто завитых наподобие парика, желтые канифасовые панталончики, заправленные в желтые сапожки с кисточками на кривых, обручем, ногах. Нацепив на голову один — игрушечную казацкую шапку, другой — кивер, они, как были, в одних пунцовых шпензерах, кинулись на двор.

— Хозяйка, дети ваши простудятся, — крикнул женщине Митя.

— Они привычные, — равнодушно отозвалась хозяйка.

Через некоторое время мальчики вновь появились в сопровождении папаши Брызгалова. Паша нес его

огромную бамбуковую трость с темляком на золотом шнуре, другой — Саша — нес треуголку с широким галуном.

У Брызгалова было сухое, морщинистое буро-красное лицо, с крючковатым, узким, как клюв, синеватым носом. Из-под напудренных широких бровей блестели черные быстрые глаза, костлявый подбородок начисто выбрит. Он походил на какую-то беспокойную нарядную птицу. Брызгалов важно поклонился и сел в кресло, а сыновья стали по сторонам. Отец отпустил сыновей мановеньем руки и осведомился у Росси, зачем пожаловал. Услышав, что за чертежами, встал, прошествовал в комнату. Долго там возился, так что мальчишки, шмыгнувшие опять под скамейку, успели, к забаве всех присутствующих, подраться, помириться и снова начать игру.

Брызгалов, переодетый в домашнее платье попроще, вынес чертежи и подал их Карлу.

— Все в сохранности, как было мне препоручено господином Бренной. Почтенный он зодчий по возрасту, и не к лицу б ему спешка. По пословице: поспешишь — людей насмешишь. А то и похуже, как у него с надписью над главным входом вышло. Читали вы?

— А что особенного в этой надписи?.. — уклончиво ответил Росси, желая послушать, что скажет сам Брызгалов.

— А то, что юродивая со Смоленского не сдуру о ней изрекла, вот что.

— И по-моему в надписи ничего необыкновенного нет, — нарочно подзадоривал Брызгалова Митя.

— В обыкновенном исчислении букв — вся необыкновенность, — тоном открывающего великую тайну, понизив голос, сказал Брызгалов. — Ваш учитель приобвык за эти годы тащить на стройку замка что ни попало. Ухватил, не разобрав, изречение, заготовленное для собора святого Исаакия, и водрузил в замке над главным входом. Число букв надписи — сорок семь, столько же и годков нашему государю. Вернее — сёмый еще не ударил. Идет сёмый... в феврале ему стукнет.

Брызгалов обернулся на одни двери, на другие и, сильно труся, но и горя желанием поразить воображение слушателей, произнес значительно:

— Хорошо, коль благополучно сойдет ему этот годик. Плохие предзнаменования насчет этого дворца прорекла юродивая!

— Иван Семенович, уважаемый, поведайте нам... кто же мудрее вас в таких тонких делах разберется? — подольстился Аргунов.

— Только, чур, язык держать за зубами! — погрозил пальцем польщенный лестью Брызгалов и торжественно продолжал:

— Из предзнаменований перво-наперво виденье солдатово. Известно, что стоявшему на карауле в Летнем дворце явился в сиянии некий юноша и сказал: «Иди к императору, передай мою волю, дабы на сем месте заместо старого Летнего дворца храм был воздвигнут во имя архистратига Михаила». Донес солдат по начальству, довели до императора. Он солдата расспросил и сказал: «Мне уже самому известна воля архистратига, она будет исполнена». А кто есть оный архистратиг? — обвел всех строгим вопрошающим оком Брызгалов и сам себе важно ответил:

— Сей архистратиг изгнал из рая первых грехопавших людей, и самого дьявола поразил он мечом. Ему положено являться с той поры в местах, где готовится особливо злое дело... Ох, недаром великий предок царь Петр Алексеевич о своем правнуке тревожится. Всем известно виденье, которое было императору. Князь Куракин свидетелем. За границей сам государь про это рассказал — публично. Не раз, дважды сказал великий царь: «Бедный, бедный Павел!»

— А и впрямь — бедный, — сказал вдруг пришедший в волнение самокатчик. — Не ведает, что творит, сам себе яму роет — врагов с друзьями путает. Аракчееву, слыхать, потакает, когда он над покойной матушкой-царицей насмешки строит... Шутка ль, победные знамена екатерининского славного полка назвал во всеуслышание — царицыны юбки? В Херсоне-городе сокрушен памятник Потемкину. В Новороссийскую губернию пришло, говорят, секретное предписание — до нашей Сибири молва донесла — тело светлейшего князя из склепа вынуть и псам кинуть...

— Уж это едва ли правда, — сказал Аргунов, — а что царствование он начал с великого кощунства над прахом матери и отца — это уж всенародно было...

— Даром не пройдет, говорят в народе, что вырыл прах отца, короновал и силком с матерью соединил, — подтвердил самокатчик.

— Расскажите, как вышло дело, Иван Семенович, — попросил Аргунов, — меня в городе не было, а из очевидцев кто ж лучше вашего изобразит?

— Для потомства запомнят молодые.

— Очень просим, — вежливо поклонился Росси.

Брызгалов не стал ждать, чтобы его упрашивали. Он любил рассказывать, когда хорошо слушали. Превыше всего почитал ритуал, фрунт, правило — за что взыскан Павлом, а к странному поступку императора у него было совершенно особое уважение. И в то время как все Павла осуждали за то, что он, вырыв прах Петра Третьего, облек его мантией, водрузил на голый череп корону и, в издевку над родной матерью, похоронил его заново с нею рядом, — Брызгалова поступок этот восхищал необычайно.

— Уж ежели рассказывать, так все по порядку, — сказал он, — и чтобы не было мне от вас никакой перебивки. Мать! — крикнул он по направлению комнаты, где находилась жена с маленьким, и стукнул своей длинной палкой в дверь. — Убери сейчас ребят!

— Пашенька, Сашенька, — молила женщина, но отроки забились глубоко и не обнаруживали признаков жизни.

Брызгалов пошарил своей тростью под скамьей, должно быть задел хорошо мальчиков, потому что оба, взвизгнув истошными голосами, тотчас прожелтели нанковыми панталонами и на четвереньках убрались к матери.

Засунув в нос понюшку табаку и основательно прочихавшись, Брызгалов начал:

— Всем вам известно, что императору Петру Третьему смертный час приключился в Ропше, как свыше объявлено было, «по причине гемороидальных колик». В народе же сильно болтали, будто Алексей Орлов ему саморучно жизнь прекратил и прочее тому подобное. Словом, тело его привезли в Лавру в бедном гробу, четыре свечи возжены были по сторонам гроба. На императоре всего облачения — поношенный голштинский мундирчик. Ручки в белых перчатках больших, на которых,

многие тогда приметили, тут и там кровь запеклась — следы, сказывают, неаккуратного вскрытия тела. Предан земле был без пышности, с одной лишь малой церковной обрядностью. Матушка-императрица не почтила своим присутствием погребения супруга. Да-с, как некоего разжалованного, лишенного короны и державы российской, хоронили горемычного Петра Федоровича...

И сколь похвальна сыновняя справедливая ревность об отце императора Павла! Ревность к восстановлению, хотя бы посмертному, прав отчих.

Тридцать карет, обитых черным сукном, запряженных цугом, каждая в шесть лошадей, выступали чинно одна за другой. Лошади с головы по самый хвост в черном сукне, при каждой свой лакей с факелом, опять-таки в черной епанче с длинным воротником, в шляпе с широченными полями с крепом. И лакеи, с обеих сторон кареты, в таком же наряде, и кучера...

И в сих черных каретах сидели черные кавалеры двора и на бархатных черных подушках держали на своих коленях регалии.

Семь часов вечера в этом месяце — это мрак ночной. И смертный страх обуял, когда двинулась эта могильная чернота из Зимнего дворца в Невскую лавру за два дня до вырытия из могилы Петра Третьего.

Не забыть этой страшной картины. Багрово горящие дымные факелы, зеленоватые от их света перепуганные люди.

Наконец тело императора Петра Третьего вырыто из могилы и купно с его старым гробом положено в богато обитый золотым глазетом новый гроб. И выставлено посреди церкви.

Брызгалов задумался, как бы заново созерцая все, о чем вспоминал...

— А дальше, Семеныч, — вымолвил просительно Аргунов, — ужели сегодня не докончите?

— А дальше, согласно церемониалу, вот что последовало: в пять часов дня император прибыл в храм в сопровождении великих князей, придворных, жены. Вошел в царские врата. С престола взял приготовленную корону и возложил на себя. Подошел затем к останкам родителя, снял корону с себя и возложил на него. Пусть осуждают, кто посмеет, я же полагаю, сим поступком сын

восстановил упущенное пред отцом. Из останков же уцелели следующие предметы, — обстоятельно перебрал их Брызгалов: — кости, шляпа, перчатки, ботфорты.

— Какой ужас! — поеживаясь, заговорил Аргунов. — Коронованный скелет с его оскалом зубов, пустотой глазниц, в перчатках и ботфортах. Какой сюжет для картины!

Брызгалов, увлеченный последовательностью воспоминаний, не отвечая, продолжал:

— В карауле по обеим сторонам гроба стояли шесть кавалеров в парадном уборе. В головах два капитана гвардии, в ногах четыре пажа. И пребывало тело Петра Третьего в этой роскоши с девятнадцатого ноября по второе декабря. Дежурили непрерывно особы первых четырех классов. Все это было сделано в посрамление первоначальному нищему и безлюдному погребению.

Император Павел самолично был пять раз на панихиде. И всякий раз, открывая гроб, он прикладывался к руке покойного. Особо же торжественный церемониал был при перенесении праха.

Брызгалов встал и широко отставил руку с бамбуковой тростью:

— Все полки, все как есть полки армии и гвардии, которые находились в столице! — сказал торжественно, с такой важностью, как будто сейчас ему предстояло этими полками командовать. — Войска стояли шпалерами от Лавры до дворца. Произведен был троекратный беглый огонь. Пушечная пальба, колокольный звон по всем как есть церквам. Алексею Орлову, убийце, повелено свыше нести в собственных руках императорскую корону. Тут прилично случаю вспомнить... — Брызгалов таинственно понизил голос: — Ведь именно он, сей Орлов, и лишил Петра Третьего этой короны. Ищут его везде, дабы принял свою искупительную пытку, — нигде не находится. Исчез, растаял, словно сквозь землю от позора и стыда провалился. Вообразите, обнаружила его убогая старушка нищая. Коленопреклоненный и рыдающий, укрылся он в темном углу за колоннами церкви. Вывели, принудили принять в руки корону. Плакал, шатался, а шел. Принял казнь.

Мороз был страшенный, один рыцарь печальный в латах, в кольчуге и забрале насмерть замерз. Но гроб

Петра Третьего отвезли в Зимний дворец и поставили рядом с гробом Екатерины. Наконец оба гроба проплыли по нарочито наведенному мосту — от Мраморного дворца прямо в крепость.

Да, уважительный государь и не гордый! Давеча ко мне с каким делом прибег. Очень мучается он, что графа Палена в самый день закладки замка изругал, ногами на него топал, мучается, что в гневе закладку сделал. Хоть сейчас и возвеличен им Пален, но как государь во всякие приметы верит, то опасается, кабы вред от того гнева его не произошел ему в новом замке. Вот намедни призвал он меня и говорит: «К обедне сходи, Брызгалов, да вынь за него, за фон дер Палена, за раба божия Петра, просфорку, чтобы мне от него какой беды не вышло». — «Помолиться, говорю, завсегда рад, ваше величество, а только просфору вынимать неподобающе, как граф фон дер Пален, говорю, вроде нехристь — лютеран он, и нашей просфоры евонная душа не признает». Расхохотался, однако милостиво сказал: «Ну как хочешь, дурак...»

А разве я неправильно разъяснил? Нехристь — может, слово излишнее, а все же, если он лютеран, значит, не по нашему приказу числится на небе.

— Затейник наш царь-батюшка, слов нет, затейник, — то ли одобрительно, то ли с укором сказал самокатчик, когда Брызгалов по знаку выглянувшей в двери жены для чего-то ушел в соседнюю комнату. — Над покойником покуражиться легко, когда помер, а вот, слыхал я, в городе говорят, рабочих-строителей замка отблагодарить знатно приказано — всех сюда вселить, и с семьями. Пущай своими боками сырость обсушат!

— Медики всячески удерживают императора от переезда в Михайловский замок и вселения туда кого бы то ни было — сырость его смертоносна, — сказал Росси.

Брызгалов, входя, услышал эти слова и рассудительно добавил, обводя всех совиным взором из-под напудренных широких бровей:

— И я государю императору осмелился доложить, что рабочих потому вселять нежелательно, что у них произойти могут от лютой здешней сырости повальные болезни, почему заместо осушения стен дыхание их расточать будет одну лишь заразу. Но его величество уперлись в своей мысли о скорейшем въезде: хочу, сказали,

помереть на том месте, где родился. И точно, когда стоял здесь Летний императрицын дворец, там и народились они двадцатого сентября 1754 году.

— И что же торопятся сорок сёмый именно тут проводить, ежели юродивая остереженье дала?.. — подмигивая Брызгалову, сказал самокатчик. — Довести надо до государя слова юродивой.

— Вот ты и доведи, когда с твоим самокатом пойдешь, — буркнул Брызгалов, — все одно, тебе путь — обратно в Сибирь. А мне, браток, туда ехать неохота...

Все засмеялись. Росси сказал Мите, чтобы тот, забрав чертежи, ждал его в Академии внизу, у Ватиканского торса, он же на минутку зайдет по дороге к матери.

— Поговорить мне с тобой желательно, Иван Петрович, — сказал Митя, выходя с самокатчиком от Брызгалова, — зайти удобно ль к тебе?

— А ты заходи, не сумлевайся, чайку выпьем. Андрей Никифорович хоть и большой барин, а с земляком свой, не чванливый.

Глава седьмая

Росси пошел к матери, чтобы узнать подробности про Лепикову дачу и объявить о своем намерении жить совершенно отдельно. Как обычно, едва он вошел в затемненную тяжелыми драпировками прихожую, его охватил слегка удушливый, пропитавший, казалось, самые стены, запах французских духов, неразлучных с его матерью.

— Мадамы нет дома, но у них в гостиной господин Воронихин рисуют госпожу Сильфидину, — глупо превращая в фамилию прозвание Маши, сказала краснощекая, так называемая непарадная горничная матери.

— Где матушка?

— Уехали в Павловск — дачу продавать.

Росси передернуло: и девка, черная горничная, знала про дачу, а он, родной сын, даже уведомлен не был. Пожалуй, и вещи его — рисунки, чертежи, картоны — засунут куда ни попало, а то и в печке спалят, — надо самому озаботиться об их сохранности. Мать, как и отчим, кроме танца, иных искусств ценными не почитала. С досадой

Росси шагнул в гостиную, но, увидя Воронихина, которого очень почитал, любезно ему поклонился.

— А, Шарло, приветствую тебя, очень рад видеть!

Воронихин положил на стол палитру с кистями и, повернувшись к позировавшей ему женщине, сказал:

— На сегодня, Машенька, довольно. Спасибо тебе — танцуешь как Сильфида, а сидишь как мраморная богиня.

Маша привстала, спокойно поклонилась Росси и пересела в глубокое кресло. Взяв книжку со стола, она, казалось, погрузилась в чтение.

Росси внутренне рассердился: Маша отлично знала о дружбе его с Митей, и естественно было бы ей смутиться, вспыхнуть, смешаться при встрече с человеком, которому, наверное, уже известно ее гнусное коварство. И, не удостаивая Машу вниманием, Росси отошел с Воронихиным к окну.

Архитектор был, как обычно, одет щегольски, с красиво причесанной головой и белоснежным батистовым жабо, от которого холеное его лицо казалось еще значительнее. Но вместо свойственной ему тонкой иронической усмешки и несколько скованной сдержанности, все существо его выражало какое-то нежданно радостное удовлетворение.

— Счастлив увидать вас в столь добром здоровье, Андрей Никифорович, вы словно именинник сегодня, — восхитился им Росси. — Счастлив за вас, если у вас радость.

— Именинник и есть, — засмеялся Воронихин. — Веря твоим искренним ко мне чувствам, Шарло, — Воронихин посмотрел ему в глаза своим внимательным, твердым взглядом, — тебе одному из первых рад я сказать, что мне фортуна весьма улыбнулась. Сегодня граф Строганов приказал мне готовиться к конкурсу на составление проекта большого Казанского собора.

— Как! Разве эта постройка уже не поручена императором Камерону?

— Камеронов проект, как и следовало ожидать, императору не понравился. На минуту удалось ему заглушить в себе нелюбовь к великому зодчему екатерининского времени, но вот новая внезапная вспышка гнева против всех любимцев его матери, — и проект уже не принят,

осужден. Требуется нечто весьма грандиозное, не совсем в духе гения Камеронова. Дан пока негласный приказ о конкурсе — я включен.

— И выйдете победителем! — восторженно сказал Росси. — От души вам желаю...

— И сам я себе желаю того же, — чарующе улыбнулся Воронихин, словно осуждая нескромность своего пожелания. — Но почему ты, Шарло, не спрашиваешь у меня разрешения взглянуть на портрет Сильфиды?

— Разрешите, Андрей Никифорович? — и Росси покраснел, как мальчик, чья злая мысль вдруг обнаружена.

Воронихин вывел на свет мольберт с большим поясным портретом. Несколько суховато, но как-то глубоко, изнутри выразительно подчеркнут данный в теплых вечерних тонах характер Маши. Не в балетном, в простом домашнем платье. Строго, как у молодой монахини, только что принявшей постриг, смотрели ее большие невеселые серые глаза. Очень молодое лицо носило печать душевной зрелости, которая дается только способностью глубоких постижений. Рот пленительной формы, с чуть поднятыми в неразрешенной улыбке губами, выражал характер незаурядной непреклонности.

Замечательное лицо Маши, рассказанное большим искусством Воронихина, вдруг глубоко взволновало и тронуло Карла, между тем как к живой женщине, оригиналу портрета, к Маше, разбившей жизнь его друга, он продолжал относиться враждебно. И потому, когда Воронихин спросил: «Каково впечатление, Шарло?» — Росси горячей, чем было пристойно, ответил:

— Вы чрезмерно опоэтизировали натуру.

— Ну, это, братец, ересь чистейшая! — улыбнулся Воронихин. — Машу опоэтизировать нельзя, ибо она есть сама поэзия. Не смущайся, Машенька!

Маша встала, подошла — легкая, тонкая, прямая Сильфида — и голосом, дрогнувшим от сдерживаемого волнения, сказала:

— Как благодарить вас, Андрей Никифорович? Век не забуду вашего внимания.

— Не тебе, мне благодарить тебя, Машенька.

И Воронихин поцеловал Маше руку так почтительно и бережно, что Росси глазам не поверил и злобно подумал: «Протекции для чего-то ищет у новой княжеской

содержанки», но тотчас устыдился таких мыслей. Воронихин, показалось, их прочел и опять, пристально глядя ему в глаза, веско сказал:

— Я не только ценю Машу как дивную балерину, но уважаю ее как прекрасного человека. А тебя, Шарло, прошу зайти ко мне после посещения Академии, у меня сегодня проведет вечер столь почитаемый тобой Василий Иванович Баженов. Он передает сегодня Академии свой проект об издании многотомной «Архитектуры Российской», а потом — ко мне.

— Счастлив видеть и слышать Баженова! — воскликнул Росси. — Не разрешите ли прийти вместе с другом моим, Митей Сверловым? — сказал он громко и вызывающе глянул на Машу — покраснеет ли?

Но Маша не покраснела, а подошла близко и сказала ему вежливо, но с твердостью, не допускающей отказа:

— Попрошу вас, Карл Иванович, уделить мне немного времени, у меня дело есть к вам.

— А я исчезаю, — сказал Воронихин. — Итак, Шарло, мы встретимся с тобой в Академии.

Воронихин ушел. Маша, как хозяйка, предложила Карлу сесть. И вдруг он почувствовал, что смущается сам, и, чтобы оттянуть время волнующего разговора, сказал:

— Я и не знал, что вы так хорошо знакомы с Андреем Никифоровичем.

— Знаком он мне давно, а особенно близок стал сейчас... ближе всех на свете. Ведь у нас с ним одно горе. У него, как у меня, отнята была любовь всей жизни оттого, что мы рождены крепостными...

— Позвольте, — вспыхнул Росси, — частная жизнь Воронихина мне неизвестна, но у вас... Кто же у вас отнимал Митю? Сами вы от него отказались, найдя для себя нечто более подходящее.

Маша и тут не смутилась, не разгневалась, она с горьким достоинством сказала:

— Обстоятельства, которых не побороть, жестокость жизни, вот кто отнял у меня Митю. Думайте обо мне что хотите, я ведь вижу ваше отношение ко мне, но как друга Мити прошу вас, выслушайте меня. Когда-нибудь передадите ему.

Маша села на диван и, как дама равного ему круга, указала Карлу жестом маленькой руки сесть рядом.

Он покорно опустился на кресло и приготовился с любопытством слушать Машу. Его мысли путались. Он так был уверен, что когда встретит ее, то, полный презрения и гнева, отчитает за измену Мите, за корыстолюбие, низость души, продажность и предательство... И вдруг эта спокойная, печальная женщина оказалась совсем не легкомысленной, тщеславной и пустой девчонкой, как его коварная Психея.

Перед ним сидела умная, зрелая характером, ни на кого не похожая своей благородной простотой, почти светская женщина.

— Я прошу вас, Карл Иванович, запомнить для Мити то, что я сейчас вам скажу. — Маша заговорила ровным голосом, без жестов, крепко сжав руки, словно боясь выраженным чувством затемнить смысл своей речи. — Человек, который называется моим барином, призвал меня на днях и сказал: «Тебя хочет выкупить на волю князь Игреев, мой большой приятель. Ведь вот какое большое счастье тебе улыбнулось! Кроме него, говорит, никому никогда я тебя не продам, твердо запомни. И если о ком мечтаешь, оставь свою надежду навсегда. Но князю — что поделать! — уступлю. Иди, до завтрашнего вечера обдумай — либо вольной у князя, либо навечно моей крепостной. Впрочем, думать-то не о чем: если, по дурости, князя отвергнешь, все равно попадешь к нему же, моим изволением. Говорю тебе обо всем этом потому, что блажит князь Игреев — хочет твоей непринужденной любви... и я ее ему обещал».

Сутки я думала — хотела было умереть. Не смогла. Убежать с Митей некуда. Да и счастья не выйдет ни мне, ни ему. Все как в пропасть низринулось. Одна осталась мечта — воля. Князь Игреев мне ее обещал. Я думаю, остальное понятно. Мите я прошу эту историю передать для того, чтобы не осталось у него из-за меня злобы и презрения ко всем женщинам. Ведь не от низости души я так поступила, не сольная партия, предложенная князем, не особняк и богатство его меня соблазнили — одна воля. Конечно, честнее было бы мне умереть... но я не смогла умереть...

Маша так трогательно, с такой прелестной виноватой улыбкой посмотрела в глаза Карлу, что он в порыве

нежного сострадания взял ее за руку и с раскаянием вымолвил:

— Простите меня, я о вас несправедливо подумал плохо.

Маша слабо улыбнулась:

— Имеете все основания. Я, как видите, — не героиня. Героиня в таком случае погибает. Но я не могу... я не хочу сдаться перед жестокостью жизни.

Маша встала с пылающим лицом. Оно было вдохновенно, прекрасно той особой внутренней красотой, когда человек идет на сжигающий его подвиг.

— Скажите Мите, я выбрала вместо смерти волю не для того, чтобы наслаждаться богатством, которое мне предлагается, но лишь для того, чтобы все свои силы отдать искусству. И в нем я достигну совершенства! Вот что дает мне силу вынести... невыносимое.

Маша закрыла глаза рукой, чтобы скрыть слезы.

Росси глубоко понял ее состояние и с великим сочувствием в голосе сказал:

— Я верю вам, Маша. Когда Митя в состоянии будет справедливо оценить ваш поступок, я ему передам ваши слова.

— Берегите Митю, любите его, Карл Иванович, — прошептала Маша, и крупные, уж не сдерживаемые слезы закапали из глубоко печальных глаз. — Если Митя точно по-настоящему любит меня, он должен понять, что не я низка душой, а выхода, поймите, выхода иного мне не было! Не дала жизнь выхода, загнала меня в тупик. — Маша вытерла платочком глаза, они горели, как в лихорадке. Она заговорила горячо, отрывисто, торопясь все скорей высказать. — Ну, допустим, что скопил бы Митя денег на выкуп, — да ведь барин согласен продать меня только под нажимом сильнейшего, чем он. У князя Игреева он в долгу как в шелку... Ох, сколько бессонных ночей я провела! Сколько думала все о том же, и так и этак примеряла — один конец! А князь все настойчивей. И невесть что сулит. Я же одно лишь ставлю условием своего бесчестья и горя — отпускную вольную. И вот намедни принес он мне эту вольную, издали показал, говорит: «Перейдешь ко мне в особняк — получай ее из рук в руки! Пройдет мой любовный каприз — иди с этой вольной на все на четыре, и твоя балетная карьера при тебе.

Но если о женихе своем мечтаешь, — слыхал я, жених у тебя есть, — мечтания брось. Кроме меня, никому твой барин тебя не продаст. И главное, — как своей судьбы, ты меня не минуешь. Все равно ко мне попадешь. Но если не по доброй воле, уже не посетуй, на ином окажешься у меня положении. Сейчас я твой раб. Ну а там — ты моя раба. И твою вольную я сам на глазах твоих разорву, и останешься крепостной ты навек». Еще раз скажу — умереть надо бы мне. — Маша чуть улыбнулась опять трогательно и виновато. — Пусть меня Митя вот только за это и простит.

Глава восьмая

Баженов был только что назначен Павлом вице-президентом Академии художеств. С присущим ему огненным вдохновением принялся он исправлять ложную педагогическую систему недалекого и упрямого Бецкого.

Приказано было набирать сирот от трех- до пятилетнего возраста, сдавать их классным дамам-француженкам и в принудительном порядке обучать рисованию.

— Насильно Аполлону мил не будешь, — говорил Баженов, превращая классы малолетних, умученных дрессировкой, в веселое общежитие маленьких художников.

Кроме реформы воспитательной, было еще одно дело, и надо было с ним торопиться, потому что здоровье ему изменяло... Надлежало ему настоять на издании многотомного труда под общим заглавием «Архитектура Российская», куда должны были войти как построенные здания, так и здания, оставшиеся только в «прожектах».

Большинство работ Василия Ивановича Баженова, ценителями искусств всего образованного мира признанных гениальными, осуществлено не было.

Уже несколько раз за последнее время Баженов назначал день для передачи Академии папок со своими творениями, но, от волнения чувствуя себя худо, сам создавал своему делу отсрочку.

Наконец вечером, в середине марта, он сказал жене:

— Грушенька, я завтра решил передать Академии

мои папки. Уж извини, милый друг, шагать буду ночью. Чаю крепкого наготовь...

— Наготовлю, Васенька, — отозвалась Аграфена Лукинична, и в простые эти слова ею было вложено столько понимания и чувства, что Баженов, обняв ее, вымолвил:

— Ну и спасибо ж тебе!

У них теперь редко бывали длинные разговоры — объяснять было нечего. За долгую жизнь любви и согласия они как бы стали одним существом. Слова могли быть случайные, как сказанные сейчас, и невольному свидетелю их разговора было бы невдомек, за что Баженов мог вдруг наполниться такой благодарностью к жене.

Но Груша знала, что если Баженов вынул из тайника свою папку с надписью «Большой Кремлевский дворец», его ночь будет без сна, и в свои обыденные слова лишний раз вложила неустанную готовность делить с мужем до гроба всю горечь его необыкновенной судьбы.

Василий Иванович шагал по комнате далеко за полночь, погруженный в свои думы, когда Аграфена Лукинична внесла ему на подносе крепкий чай и графинчик водки. Скользнув по нему взглядом, Баженов улыбнулся:

— Поторопилась, Груша, навстречу событиям, — ан графинчика-то мне и не надо.

Груша много страдала, когда Баженов после приказа Екатерины прекратить постройку Большого дворца горько запил и потом сделал своим обычаем при всякой несправедливости прибегать к этому исконному утешению оскорбленных талантов.

Все понимающая жена, без укоров и осужденья, одной неистребимой любовью, перешедшей уже в материнскую, делала то, чего не достигла бы упреками: Баженов запивал все реже. И сейчас, когда ему надлежало пересмотреть, как чужую, работу всей своей жизни и отобрать то, что достойно стать вечным памятником русской архитектуры, — никакого подкрепления сил, кроме напряжения собственной воли, ему уже не было нужно.

Как давно, больше полвека назад, уехал он мальчиком из родного села Калужской губернии, чтобы попасть в «архитектурную команду» в Москву... Около Охотного ряда была та команда, и заведовал ею князь-архитектор Ухтомский. Он же своего «гезелия» Баженова за особые успехи записал в только что учрежденный

университет, где на парте с ним оказались Потемкин, Фонвизин и Новиков Николай Иванович... С последним большие события связаны в его жизни... но это потом. А тогда, в юности, по капризу судьбы, Новиков и Потемкин как неспособные исключены были из университета.

Ему же в те годы словно бабушка ворожила: удача за удачей. Вот уж он в Академии художеств, где превознесен за таланты и отличен командировкой в Париж. И дальше... такая щедрая ему выпала юность, такое беспрепятственное погружение в искусство ему предложила судьба. Жили с живописцем Лосенкой где-то в мансарде, не слишком сытно, — Академия была скуповата, — но какая свобода, какие сокровища живописи и зодчества навсегда сделались составной частью его души! Учитель его, придворный архитектор де Вальи, привил ему тонкий вкус к обилию остроумных деталей без лишнего нагромождения, чему великим примером был чудесный Лувр. В Париже научился он давать простор своей безграничной фантазии, организуя ее неослабным расчетом математика.

— Вы овладели той тайной, благодаря которой архитектор себе может позволить необычайное, — говорил ему с восхищением де Вальи, когда Баженову присудили первую награду за проект «Дома инвалидов».

В Риме как ученик Академии св. Луки он был также отличен перед всеми за свою «лестницу Капитолия», а вернувшись домой, на родину, поразил воображение современников своей моделью Большого Кремлевского дворца.

Если бы дворец этот был выполнен, ему пророчили место среди чудес мирового зодчества — виллы Адриана, форума Траяна...

Когда модель была готова, Екатерина показала ее иностранным дипломатам и своей цели достигла. Была война с Турцией, и надлежало показать Европе, что Россия нимало не затруднена в финансах, о чем уже шла досадная молва. Хотя Баженов представил смету в двадцать пять миллионов, разнесли по всей Европе, что Екатерина отпускает все пятьдесят.

«Легко было ей накидывать лишнее, — горько подумал Баженов, — когда она строить и вовсе-то не собиралась. Только меня, дурака-мечтателя, морочила, чтобы из

кожи лез, старался... И разве не берег я работу свою больше жизни: пять лет все мысли о ней... Когда же налетела чума и разъяренный народ пошел все сносить, в Модельный дом кинулся, чтобы защитить, либо вместе с моделью погибнуть».

Уцелела модель, а дворец не построен.

Баженов прошелся к окну, отворил его. Густая мартовская сырость вошла в комнату и стала в ней, как туман. Еще тяжелей стало дышать. Закрыл окно, опять стал шагать.

Как торжественна была закладка дворца! Какой фейерверк, музыка, славословие! Молодой поэт Державин сложил в честь его стихи, а сам он с великим волнением произнес свою лучшую речь. На месте закладки храма зарыта медная доска с надписью; вот она, точная копия. Баженов подошел к высокой конторке, выдвинул ящик, вынул погнувшийся золотообрезанный лист, прочел, хотя надпись знал наизусть:

«Сему зданию прожект сделал и практику начал Российский архитектор, москвитянин Василий Иванович Баженов, Болонской и Флорентийской Академии и Петербургской Императорской Академии Художеств академик. Главный артиллерии архитектор и капитан...»

Это все его титулы. Пониже в углу стояло: «От роду ему 35 лет».

— А сегодня уже шестьдесят один, — прошептал Баженов, — двадцать шесть лет со дня закладки прошло. — Если бы не выгравированная эта доска, не модель, чья память удержала бы для потомства его могучий замысел? Необходимо, пока еще жив, закрепить все работы в чертежах и планах, скорее издавать том первый.

Опять заметался по комнате. Движение давало порядок толпившимся в памяти мыслям или, верней, образам.

Вот окно того дома на набережной Москвы-реки, перед которым, счастливые, молодые, стояли с Грушенькой и веселились, глядя, как ползут гуськом подводы с лесом, песком, кирпичами к высокому месту постройки дворца. Порой видели из этого же окна, как в бессильном гневе за разрушение священной старины, произведенное по необходимости для возведения неохватного глазом фундамента нового Большого дворца, местные

старики старожилы грозили кулаками и проклинали строителя за «бальзамный» дух, который он выпустил на волю из вековых подвалов взятых на слом приказов.

Василию Ивановичу с Грушей тогда, по молодости лет и прекрасной удаче, все было смех и забава, а между тем этот гнев старожилов был одной из причин, повлиявших на императрицу дать приказ о прекращении постройки.

Скоро деньги для дела стали задерживать, разрослась бесконечная бумажная неразбериха, отписываться приходилось больше, чем строить. Баженов не выдержал и надерзил государыне в отчетном письме: «Опасаюсь, кабы сия переписка не сделалась моей единственной работой».

Шли месяцы, а постройка не подвигалась. Мечтатель-зодчий медлил понять, что Екатерине дворец больше не нужен. Война с Турцией была выиграна, и дальнейшее разорение на «чудо искусства» ей было ни к чему. И вот пробил страшный час.

Генерал Измайлов, заведующий постройкой, призвал зодчего и возвестил ему голосом чиновным, не допускавшим возражений, что ее величество, опасаясь, как бы близость основания нового дворца к Архангельскому собору не повредила священных могил русских царей, а бальзамный дух разоренных подвалов не отравил болезнями воздух, — повелевает строительство нового Большого Кремлевского дворца прекратить.

Баженов, обессиленный, склонил голову на руки: пять лет весь ум и чувства отдавал вдохновенной работе, ею только и жил...

С первоначальной силой воскресла ни с чем не сравнимая боль творца, имеющего талант и силу довести свой труд до конца и грубо лишенного любимой работы.

От сердечной внезапной слабости Баженов задремал. Побледневшее его лицо понемногу озарялось глубоким торжеством: на высоком Кремлевском холме он во сне увидал свой заветный дворец законченным.

Увидал обращенный к Москве-реке величественный главный корпус в четыре этажа и за ним чуть золотевший купол Ивана Великого. Колонны пронзали нижних

два этажа. На них легко и гордо лежали два верхних; большой выступ, выбегающий далеко вперед из центра, лишал холода симметрию и создавал то присущее ему свободное величие, так отличавшее от других зодчих его мастерство.

Ярко освещенные солнцем шестиколонные портики, большие ионические колонны поддерживали антаблемент с плоским аттиком... а вот и они, столь нарядно задуманные, новые выступы на краях корпуса с двойными колоннами, богато украшенные кариатидами, которые как бы подымают карнизы окон. Восхищенным глазом победителя созерцал он свой грандиозный дворец, удостоверяя сам перед собой, что главное дело его жизни ему удалось. Он глубоко изучил памятники мирового зодчества, могуче переработал все своим русским сознанием и своей работой дал свидетельство торжества гения отечественного.

Баженов с удовлетворением проверил, сколь правильно был им задуман и весь гигантский треугольник, куда свободно включалось все лучшее, что было в старом Кремле... а Иван Великий замкнулся мощной стеной с колоннадой, где живописно шли между колонн ложи, а по цоколю — трибуны для зрителей.

Да, он по праву засмотрелся на собственный гениальный размах — величавый полуциркуль с целым полчищем вознесенных над Москвою колонн...

Какой вечный памятник воздвиг он родине и себе!

От бури нахлынувшего чувства горячо встрепенулось сердце, дрогнул лес колонн и стал плавно, как под музыку, наступать на него. Окружили его летящие виктории с венками. Он видел, как они вдруг вспорхнули с пустого пространства над тремя великолепными арками, которые он довел до второго этажа.

Как близко от него зазмеились широкие пересекающиеся лестницы! В своем сложном переплетении они двигались от переднего входа в театр, и ему нужно было внезапно отодвинуться, чтобы пропустить мимо себя беседку из двенадцати колонн розового мрамора.

— Вестибюль дворца... — узнал он и, резко двинувшись, проснулся.

Свой осуществленный грандиозный проект — новый Кремлевский дворец на высоком холме Кремля — Баженов увидел во сне. На самом же деле у него было только то окно в его московском, уже проданном доме, откуда смотрел он с женой, как воздвигали и как разрушали фундаменты его бессмертного замысла.

Вошла обеспокоенная Грушенька, смущенная непотушенной лампой в комнате мужа. Она и сама не ложилась.

— Тебе худо, Васенька, что-то очень ты бледен?

— Это было во сне, Грушенька... — сказал тихо Баженов, — я во сне увидел мой дворец построенным. Нет, не жалей меня, — поспешил он сказать в ответ на проступившие в глазах жены слезы, — я счастлив. Я уверен, что проекты мои будут когда-нибудь изучать. Сейчас я пересмотрел их, и не как свои, а словно чужие, — и я их одобрил. И еще я уверен, что грядущее русское зодчество не обойдется без того, чтобы при всех великих работах вызывать в памяти работы мои... Да открой, Груша, настежь окно — видишь, солнышко...

Раннее, негреющее, но уже ласковое солнце осветило лицо Баженова и всю его легкую, нестарую фигуру. Несмотря на болезнь и без сна проведенную ночь, большая сила жизни была в его удивительных глазах, больших, светящихся, как бы одаряющих своим творческим богатством. Он взял жену за руку и, словно подводя итоги самым затаенным мыслям, сказал:

— Как часто в горькие минуты крушения моих замыслов вставала передо мной высокая оценка моего дарования академиями Флоренции и Рима и особо любезного мне Парижа, где предложено было мне оставаться высоко ценимым придворным архитектором, но, поверь, никогда, даже в день, когда наша русская академия оскорбила меня отказом дать мне звание профессора, уже дважды данное мне за границей, — не пожалел я, что вернулся домой. И сейчас, когда у меня впереди сама смерть, а позади — вместо великих осуществленных зданий одни их проекты, я повторяю перед этим взошедшим солнцем слова, сказанные мною в день закладки Большого Кремлевского дворца: ум мой, сердце мое, знание не пощадят моего покоя, здравия, самой жизни моей ради тебя, моя родина!..

Глава девятая

Когда Росси, по уговору с Митей, подошел к Ватиканскому торсу, который стоял в нижнем этаже скульптурного отдела, оказалось, что Митя давно его тут поджидал.

— Я уже все картоны сдал в канцелярию, — сказал он, — завтра их будут развешивать в конференц-зале.

— Надо бы сперва показать Воронихину, — с досадой вымолвил Росси, — и главное, я его только что видел, а про чертежи и позабыл.

— Воронихин сейчас обязательно будет, такой он почитатель Баженова, — успокаивал Митя, — ужель упустит случай его поздравить. Проект издания принят, весь вопрос в сроках и объеме его...

— Да, конечно, он придет, — отозвался Росси и задумался о намеке, который по адресу Воронихина сделала Маша, говоря о несчастной любви в крепостном звании.

— Ты не слыхивал, Митя, какая была у Андрея Никифоровича в юности история с Наталией Строгановой, которая так рано умерла?

— Как не знать. Все, что касается горемычной доли крепостных, мне особенно теперь близко к сердцу, сами, чай, знаете, почему... История эта такая: строгановская знаменитая на весь мир золотошвейка Настя из любви к Андрею Никифоровичу на убийство этой молодой графини пошла, отчего знаменитый наш зодчий остался навек обездоленным.

— Сейчас пошел слух, что он задумал жениться на англичанке? — осторожно спросил Росси.

— И я слышал. Ну, это, полагать надо, из гордости, чтоб людям и себе доказать, будто ни от какой личной сердечной причины он надолго пасть духом не может. Гордый очень.

— Невесту нынешнюю его я знаю, — сказал Росси, — это чертежница — Мэри Лонг. Она и в архитектуре сведуща, словом, брак рассудительный, что и говорить.

— А тогда, в юности, — перебил Митя, — он любил, как один раз в жизни можно любить! Сам я лично ничего не знаю, но строгановские люди подробно рассказали. Лет десять тому назад была у Воронихина связь с этой первейшей золотошвейкой Настей. Она не только золо-

том вышивала, лучшие французские гобелены копировала — от подлинника не отличить. Воронихин с молодым графом Строгановым в Париж собирался — он уже в силу входил. Натали приходилась ему дальней родственницей с левой стороны; ведь двоюродный брат графа, барон Строганов, всем известно, родной его отец. Недаром Андрея Никифоровича, когда он рос, в деревне «бароненок» прозывали, самокатчик Артамонов давеча рассказал. Так вот какие вышли дела: хоть за талант ему славу пророчили, а все же Строгановых он — вчерашний крепостной. И Натали его на свое горе полюбила. А тут еще эта золотошвейка Настасья... Сперва она с собой порешить хотела, утопилась, ее вытащили, откачали. Оправилась... Но опять сердца не сдержала — отравила на этот раз Натали. Крепостные все это ведали, но до господ смутные слухи дошли, и правду узнать не больно допытывались, сраму боялись. А славный наш зодчий надолго уехал в Париж и вернулся уж не тот: на все пуговицы застегнут — важный, только к простому люду особливо добр.

— А какова судьба Настасьи? — заинтересовался Росси.

— А тут повернулось дело как в сказке: она вышила такой замечательный гобелен, что граф порешил послать его в дар австрийскому императору, а ей вольную дали да еще в обучение за границу отправили...

— Замолчи, Митя, к нам идет сам Воронихин, — сказал Росси, — да не один — чудак с ним какой-то.

— Да это знакомец наш недавний, — улыбнулся Митя, — самокатчик Артамонов; в новую суконную поддевку вырядился и цепочку серебряную выпустил.

Воронихин приветливо поздоровался:

— Вот разъясняю своему земляку искусство древних... Он давно тут плутает один, я его и взял в обучение.

— Да тут и заблудиться немудрено, — сказал Артамонов, — среди этих калечных: все безрукие да безногие, а то и вовсе без головы, небитых совсем мало.

— И часто это не самые лучшие, отметьте себе, — улыбнулся Росси, указывая на Ватиканский торс, мягко освещенный рассеянным светом. — Вот, например, непревзойденная, величайшая скульптура, а между тем у этой статуи нет ни головы, ни рук, ни ног.

Артамонов нахмурился, кольнул быстрым взглядом говорившего, словно справился, не потешаются ли над ним. Воронихин угадал его недоуменье и серьезно сказал:

— Карл Иванович говорит правду. В главном городе Италии, в Риме, в великолепнейшем дворце эта самая статуя помещена в особой комнате. Свет на нее падает сверху, и люди, входя в залу, как в храм, изумляются этому произведению неизвестного гения. Правда, сразу понять его мудрено...

— Чего ж не понять, коли людям понятно, — сметливо ухмыльнулся Артамонов, — глаз тут вострый требуется, а не ученость... Вот, примерно, песню — у кого ухо есть, и безграмотный схватит, а нет уха — наукой ему не вобьешь. У меня родной племяш пастухом, так он из костра уголек вытянет, овечку на камешке, как живую, начиркает. А кто обучал? Босой да сопливый...

— Скажи-ка нам, Артамонов, на совесть, — указал Воронихин на Ватиканский торс, — видится тебе что̀ в этом безголовом?

Артамонов окинул всех умными острыми глазами и проговорил, не смущаясь:

— А вижу я на этом обломе, что спина у мужика согнувши, а живот легко втянут, с боков, как у живого, мускулы явственны, и ребра под ними чуешь и кожу на них. Все без обмана, весело сработано! В столь точном виде, что, прямо сказать, — дальше некуда. И еще скажу, сдается мне, что ничего к этому облому добавлять нет надобности, чтобы цельный человек увиделся... Ну, этого в точности я рассказать, Андрей Никифорович, не сумею, вот разве иной раз заглядишься, как в тихой воде солнышко отражается, и радость тебя возьмет: не велика, кажись, лужица, а солнце в ней как есть целиком.

— Да ведь это в переводе на образованный наш язык звучит так, что важно показать хоть малую дробную часть совершенства, чтобы получить ощущение совершенного целого. Но как это постиг самокатчик? — изумился Росси.

Артамонов вдруг низко поклонился Воронихину:

— Спасибо, Андрей Никифорович, уму-разуму учишь, я сюда еще много раз заверну, а сейчас отпусти —

по базарам охота пройтись, подручного из оброчных выискать, одному всей работы мне не поднять.

— Ну и ловкач, — засмеялся Воронихин, — видать, надоели тебе антики! Да ты знаешь ли, где стоянки оброчных? Могу их тебе перечислить, мы там натурщиков выбираем.

— Не утруждайтесь, Андрей Никифорович, — сказал Митя, — я сам пойду с Артамоновым.

И оба скрылись в гулких коридорах Академии.

— Вот что, Шарло, — сказал Воронихин, кладя руку на плечо Росси, — нам необходимо провести вечер вместе с Баженовым. Я — старый ученик и друг его, ты — новое поколение, подающее великие надежды. Не дадим ему почувствовать горькое одиночество гения среди чиновников и врагов хотя бы сегодня, в этот важный для его жизни день.

— Я счастлив, что вы обо мне вспомнили, — ответил взволнованно Росси, — а сейчас разрешите передать вам чертежи и планы Михайловского замка, они уже в канцелярии.

— Я рассмотрю их один, тебя же прошу посторожить Василия Ивановича у колонн вестибюля; скажешь ему, что я здесь.

Воронихин своим размеренным шагом, с выправкой почти военной, удалился в канцелярию Академии, а Росси занял выжидательный пост у колонн вестибюля. Карл волновался при мысли, что он увидит Баженова и тот может спросить его о привезенных планах и чертежах Михайловского замка. Все они были подписаны одним именем — Бренна, а между тем в городе не смолкали толки о том, что самый первый замысел и проект принадлежали ему, Василию Ивановичу Баженову. Но придворным архитектором и любимцем Павла стал теперь Бренна, угадавший его тайное желание и согласно ему закончивший замок.

Мысли Карла с Баженова перескочили на самого Павла. Конечно, не произведение искусства было ему важно, а прежде всего — крепость, твердыня, где можно укрыться от пули и штыка. Нынешний государь — не Петр Великий, а несчастный человек, которому все сильней мерещится, что он окружен врагами и заговорщиками. Он жадно хватается за каждую новую выдумку,

где ему мнится спасение от опасности. Так было с кострами Мальтийского ордена, так сейчас с этим замком. Как торопил Бренну с постройкой! Разобран для нее чудесный дворец в Пэлле работы Старова, захвачены заготовки для собора Исаакия. И все для того, чтобы укрыться ему поскорее в этом, словно кровью окрашенном, замке, вокруг которого рвы полны воды, подъемные мосты легко вздымаются и летят вниз, где на каждом шагу караулы и тайные лестницы...

Да, велика разница вдохновения зодчего, когда он воздвигает светлый Олимпейон для радостей народных или для одинокого деспота мрачную крепость.

Воображение Карла так было занято этими мыслями, что раздавшийся откуда-то сверху голос Баженова заставил его вздрогнуть. Голос единственный, различимый из тысячи, приподнятый, слегка в интонациях повизгивающий. Голос этот всегда невообразимо трогал Карла.

На ступеньках парадной лестницы столпились вицмундиры академического начальства. Все слушали Баженова, стоявшего несколько повыше на площадке и задержавшего общее движение вниз своей речью. Свет был у него за спиной, и на фоне белой стены рисовался только стройный его силуэт.

В тоне Баженова слышалось с трудом сдерживаемое волнение... Вдруг он сверху увидел подходившего к Карлу Росси Воронихина и, прервав свою речь, стремительно зашагал по ступенькам.

Он несся, словно подлетывал, легкий, изящный человек с лицом, овеянным гением. И вместе с тем это было лицо русского деревенского парня, с многообразным тончайшим налетом европейской культуры.

Несмотря на шестьдесят лет, была юношеская сила, стремительность в фигуре, брови разлетные, приподнятые с особым изумлением, словно это был человек, увидавший какую-то красоту мира, незримую другим. В юности из-за этого восхищенного выражения его прекрасного лица говорили о нем, смеясь, товарищи: «лик архангельский».

Баженов дошел до Воронихина и, обнимая его, быстро сказал:

— Как хочется мне провести с тобой, дорогой Андре, сегодняшний вечер.

— Я сам о том же мечтал, — улыбнулся Воронихин, — вот свидетель, Карл Росси, или, как я его называю, Шарло!

Баженов, сияя чарующей улыбкой, протянул Росси руку.

— Знаю, знаю, подающий большие надежды наш юный преемник и продолжатель, конечно, тоже мой дорогой гость.

Росси, закрасневшись от радости, поклонился.

Форменные вицмундиры спустились вниз с лестницы и опять окружили Баженова. Он выступил вперед и заговорил так, словно начатый вверху разговор не прерывался им вовсе:

— ...Поймите же, предложенный мной проект необходимо привести в исполнение как можно скорее. Он должен войти в преподавание, в живую жизнь для назидания молодым. На этих образцах нашим зодчим надлежит развивать свое дарование...

Баженов остановился, ему не хватало воздуха. С недавних пор, когда приходил в волнение, отказывало вдруг сердце... Однако в минуту преодолел слабость, ярко оглядел всех своими вдохновенными глазами и широко очертил рукой воздух, будто собрал воедино этих грядущих зодчих, и повторил весело:

— Именно в поученье молодым будет это издание работ всех мастеров русских...

Он было умолк, но через миг опять вспыхнул, словно встретил какое-то обидное опровержение. Чиновники молчали, но своей повышенной чуткостью Баженов уловил их внутреннее несогласие и, повысив голос, резко сказал:

— И в первую голову надлежит издать те проекты, кои по превосходным своим замыслам и вкусу достойны были быть выполненными, но...

Снова голос пресекся. Волнение было крайнее. Тяжко было закончить речь признанием неудачи собственной судьбы художника. Однако еще сделал усилие и окончил:

— ...кои остались всего лишь в замысле.

Баженов поднял голову, краска прилила к побледневшим щекам; с гордостью, тихо, но твердо он вымолвил:

— Ежели здания предполагаемые почему-либо построены не были, но по важности своей, по высоте архитектурного знания стоят превыше многих построенных, потомство обязано сохранить их в своей памяти — ради себя самих, ради искусства, ради истории отечественной.

За несколько витиеватыми словами Баженова не только молодой Росси, все одеревенелые в службе академические чиновники и адъюнкты застарелой живописи почувствовали и на миг разделили обиду изломанного жизнью гениального строителя.

Вдруг Росси, подойдя близко к Баженову, сказал, краснея, со слезами на глазах:

— Василий Иванович, поверьте, мы высоко чтим вас, великого зодчего и учителя нашего.

Приветливо встретила гостей жена Баженова, Аграфена Лукинична. Взял ее Василий Иванович, сироту, из дому своего близкого друга — Федора Каржавина, хорошего переводчика и неугомонного путешественника. Грушенька была воспитанница его родителей.

В необыкновенно светлой столовой с обилием благоуханных цветов было радостно. Дикий виноград из трельяжа выбрался высоко над окнами и, путешествуя по стене, заткал ее живым зеленым ковром.

— Прямо зимний сад, — сказал Баженов, обводя жестом стены, — таков вкус моей хозяйки, ее вкусу я радуюсь.

— Еще бы вам не радоваться, — смеясь сказал Воронихин, — ежели благодаря этому вкусу она выбрала в супруги именно вас.

— Претонкий вы комплиментщик, Андрей Никифорович, — чуть покраснела Грушенька, — недаром вы в высшем свете пребываете... А вот я вам по-домашнему напрямик скажу: пересядьте-ка все от стола к камину. И помягче там на диване, и хозяйке дадите простор.

Грушенька вышла из комнаты готовить чай, а Баженов с Воронихиным уселись перед огнем на диване.

Росси сел поодаль, чтобы видеть их обоих и навеки запечатлеть в своей памяти их столь разные, но, каждое по-своему, прекрасные лица.

От безыскусственной доброты Аграфены Лукиничны ему стало так ласково, как будто он попал, наконец, в настоящий родной дом. Тем более, что замечательные два человека, которые сидели перед ним так близко, были для него самыми дорогими на свете. Баженов тихо, с видимым облегчением, сказал:

— Ну вот, если мое последнее желание исполнится и затеянное издание «Архитектуры Российской» выйдет как мною задумано, я буду доволен. Я умру спокойно, потому что, хотя бы в проектах, моя большая работа останется для потомков. — Он сел ближе к Воронихину и обнял его: — Бессонная ночь была у меня нынче, Андре. Вспомнил я все свои огорчения на родине и великую хвалу и признание в Европе... Шутка ли, — весело усмехнулся он, как бы не доверяя своим словам, — ведь я член четырех академий, и король французский предлагал мне остаться у него придворным архитектором. Но нет, не мог я жить вдали от дорогой моей родины, хоть бы и в королевском почете. Только здесь для своих хотел строить... Нечего сказать — много настроил... Воздвигал — разрушали. Истинно злой колдуньей из сказок была царица в моей судьбе. Утешает меня, Андре, пример великого Витрувия — мы с Каржавиным неплохо перевели его, помнишь, ты одобрял?

Воронихин утвердительно кивнул.

— Вот и думаю. Может, мне его жребий выпадет, ежели уж собственный не удался. Жил он до нашей эры в первом веке, а гляди, до нынешних дней его книги не утратили своей цены. Был он невзрачен видом, без придворной хватки, льстивые борзописцы обскакали его при всяких августах-императорах. Но прошли дни. Наступила нелицеприятная для всех история, и кому на пользу соперники Витрувия? Один прах... А сам он еще надолго будет питать поколенья.

Грушенька, внеся самовар, озабоченно взглянула на мужа — он слишком был оживлен. Блестели удивительные его глаза, и румянец не сходил с тонкой кожи его лица.

— Тебе, Васенька, от Казакова из Москвы посылка — тридцать пять чертежей и эстампов твоего Царицынского дворца.

— Очень рад, давно ожидал. Мы потом их рассмотрим, Андре, не так ли?

— Счастливы будем, дорогой Василий Иванович! Вот Шарло давно в Москву рвался, чтобы их раздобыть, — ан, они и сами приехали.

— Я столь восхищен этим дворцом, — сказал Росси, — очень хотел съездить зарисовать его...

— Не много от дворца осталось, — оборвал резко Баженов, — Казаков прислал наилучшее.

И опять, полуобняв Воронихина, ласково обратился к нему, видимо желая стряхнуть подступившую тяжесть:

— Ну как же я рад, дорогой Андре, что ты сейчас у меня, и вы, юный Шарло, — он крепко пожал руку Росси. — Я ведь полюбил тебя, Андре, едва принял тебя в число моих учеников, тогда, в московской школе. Сколько тебе тогда стукнуло годков?

— Да не больше семнадцати, — улыбнулся Воронихин, — и ведь я еще не знал, кем буду, — очень увлекался живописью Возрождения...

Камин разгорелся и картинно осветил сидящих на диване. Между ними было двадцать лет разницы, но они не казались представителями двух разных поколений, а как-то неожиданно дополняли друг друга. Непринужденная грация движений Баженова, нервная стремительность его худощавой фигуры как бы опирались, брали себе пьедесталом твердость рисунка, точную отчетливость Воронихина. Большая сила была в его красивых глазах. Чисто народная смекалка в соединении с надменностью, выработанной обстоятельствами жизни, усвоенной как наилучшая защита самолюбивого характера. Сразу чувствовалось, что этот щегольски одетый человек с вельможными манерами каждую минуту знает твердо, чего он хочет, и желание свое имеет силу осуществить.

— Мне дорого узнать, Василий Иванович, — сказал Воронихин, — каково ваше мнение относительно предложения, сделанного мне Строгановым. Президент нашей Академии привлекает меня, пока негласно, к соучастию в конкурсе на Казанский собор.

— Как я счастлив, Андре, — душевно воскликнул Баженов, — что жребий пал именно на тебя! Как другу и ученику скажу тебе: вот-вот уходя из этого мира, я хотел бы еще пожить в твоей работе.

Баженов улыбнулся и взял за руку Воронихина:

— И вот просьба: возьми за исходную точку твоего собора мой юный французский проект Дома инвалидов. Там неплохо найдено разрешение легкого купола и колоннады... Едва ли не из-за этой удачи, весьма оцененной французами, наш Чернышев мне выдал паспорт на два года в Италию.

— Глубоко чту эту вашу работу, — склонив голову, сказал Воронихин.

— Да поможет она тебе, как мне в свое время помогли работы учителей Суфло, де Вальи и Пейера. В искусстве, как в науке, пламенный факел вдохновения передается преемственно.

— Именно надлежит пересмотреть образцы...

Баженов живо подхватил мысль Воронихина:

— Не только пересмотреть, Андре, пережить их заново. Все вобрать, пропустить сквозь сознание и чувства — и отдать их России. Все истинно великие художники так делали. Даже не будучи по крови русскими, но полюбивши новую родину как свою, они слились с нашим особливым постижением видимого — и что же: итальянец Кваренги создает русскую классику, итальянец Растрелли — русское барокко такого высокого совершенства, что все дальнейшие попытки в этом стиле уже окажутся премного ниже его работ. Царская пышность, изобилие скульптуры, всегда поставленной где ей надлежит, его вкус, праздник, нарядность — их уже не превзойти. Надо искать чего-то нового.

— Как рано вы это поняли, вот что меня удивляет, — сказал с уважением Воронихин. — Ведь как были молоды, когда Растрелли, обер-архитектор, приглашал вас принять участие в постройке Николы Морского, а вы отказались.

— Я сын московского дьячка, — улыбнулся Баженов, — быть может, торжественность великолепной нашей литургии прозвучала мне более родственно в возвышенной мощи классицизма, нежели в изысканной декоративности барокко. Кроме того, громадное значение имели раскопки Помпеи. От строгой красоты греко-римского зодчества повеяло вдруг таким здоровьем, такой свежей силой, возродившейся из древней колыбели, что не соблазниться было нельзя.

— Тем более, что барокко на Западе вырождалось в болезненное рококо, — согласился Воронихин.

— Вот рококо и способствовало больше всего укреплению нового. Простота и мощь, выраженные строгостью линий архитектуры античной, немедленно и заслуженно убили пустую, хрупкую красоту этих ломаных, капризных, скоро утомляющих декораций. — Вы, молодые, — обернулся Баженов к Росси, — должны серьезно задуматься над раскопками в Помпее.

— Я их пристально изучаю, — поспешил ответить Карл, упивавшийся речью учителя.

— Но для нас обоих колыбелью, взрастившею наш талант и давшею ему направление, был все-таки Париж, с непревзойденными луврскими колоннадами, с версальской роскошью, — сказал мечтательно Воронихин.

— Только с той разницей, — продолжал Баженов, — что для меня это еще был королевский Париж Луи Пятнадцатого, а для тебя — Париж Национального собрания, «прав человека» и клуба якобинцев. О, сколь твое время было завиднее моего!

— Оно — счастливейшее в моей жизни.

Сквозь обычную сдержанность Воронихина прорвалось такое глубокое чувство, — будто сквозь плотный покров взметнулось из глубины пламя, — что Карл дрогнул и вдруг по-новому увидал своего наставника.

Воронихин встал, прошелся, стал далеко от камина. Волнение его теперь выражал только голос, необычно размягченный.

— Меня с кузеном моим Полем Строгановым и воспитателем его, замечательным человеком, Жильбертом Роммом, послали в восемьдесят девятом году в Париж. Не встречал я богаче и благороднее характера, нежели этот Ромм. Образованнейший человек, талантливый скульптор, помощник Фальконета, он вместе с тем был пламенным якобинцем. Едва мы приехали, он основал клуб «друзей закона», где библиотекарем сделался Поль, а заведовала архивом красавица Теруань де Мерикур... Потом Поль вступил в клуб якобинцев, и у него на пальце появилось кольцо с девизом: «Жить свободным или умереть».

Росси слушал Воронихина, затаив дыхание, глубоко спрятавшись в тень за выступом камина, — боялся своим

присутствием помешать такому важному для него разговору.

— Поль принимал участие и во взятии Бастилии? — тихо спросил Баженов.

— Он был в первых рядах. Поль Очер, так звался он в Париже. Как сейчас вижу его молодое вдохновенное лицо и слышу слова, которых ни он, ни я не забудем...

Воронихин прошелся по комнате и, подойдя к Баженову, слегка нагнулся и протянул к нему обе руки, словно хотел передать какое-то сохраненное им сокровище:

— Поль сказал после взятия Бастилии: «Лучшим днем моей жизни будет день, когда я увижу Россию обновленной такой же революцией. И, быть может, мне там выпадет та же роль, которую здесь играет гениальный Мирабо».

— Твоему Полю скоро представится прекрасный случай доказать на деле свой девиз и провести в жизнь свои замечательные слова, — сказал, подымая голову, с загоревшимся взглядом Баженов, — он ведь близкий друг Александра, и как только тот станет царем... обширное поле ему для опытов.

— Васенька, — просительно сказала Груша, давно вошедшая и слушавшая разговор, — не надо об этом, опять зря разволнуешься.

Но Баженов отстранил жену, положившую ему на плечо руку, встал, подошел к Воронихину, с горечью сказал:

— Ведь с мечтой о Павле и я соединял в молодости мечту о счастье моей родины. Я пожертвовал этой мечте наибольшим, чем обладал, — моим даром зодчего. Но что за безумие питать надежду о преобразовании деспотизма в разумную власть рукой самого деспота!

— Признаюсь, и у меня такой надежды больше нет, — отозвался потухшим голосом Воронихин. — Я слишком близко и рано узнал, как невозможно людям, стоящим вверху лестницы, где фортуна сыплет дары, добровольно отказаться от своих преимуществ. Прекраснейший человек граф Строганов, я премного ему обязан, однако как трудно было из его рук получить свободу даже мне, его, так сказать, родственнику... Этот барон Строганов, мой отец, когда открыл масонскую ложу

в Перми, желая и меня провести в масоны, настоял, чтобы граф дал моей матери, его крепостной, вольную. Ведь по масонскому уставу только сын свободной матери имеет право стать членом ложи. И масонство для меня прежде всего оказалось свободой — прекращением бытия рабского. Входя в ложу, я действительно был равный с равными.

— Пожалуйте к столу, — сказала весело Грушенька, хлопоча у кипящего старозаветного самовара, еще полученного в приданое, — а потом и Казакова посылку рассмотрим. Любимый это ведь мой дворец в Царицыне, как сказка он из тысячи одной ночи.

— И какой грандиозный у вас получился тут размах, — сказал Воронихин, — какая мощность воображения. Этот переход от кремлевского классицизма к такой необыкновенной пышности.

— Царицына причуда, — пожал плечами Баженов, — ничего она в искусстве не смыслила, а как раньше заладила по-модному — у меня все самое римское, так вдруг — вынь да положь — мавританское. Однако мне эта мысль понравилась: вышло неожиданно в гармонии с пейзажем и в какой-то фантастической связи с древним русским зодчеством... Вот, гляньте, главный фасад, — Баженов раскрыл на свободном краю стола большую папку и вынул прекрасный рисунок тушью.

Два больших квадрата с восьмигранными башнями. Стены красные, изукрашены ажурным из белого камня орнаментом, стрельчатые окна, белые колонны.

— В густой зелени парка это белое на красном было как кружево, — сказала восхищенно Грушенька, — особенно хороша вот эта галерея в два яруса с белыми башенками, островерхими пирамидками, арками. Я входила туда, как в чудный сон, — мечтательно добавила она, и Росси на миг загляделся на ее вдруг помолодевшее, прелестное в своей непритязательной женственности лицо.

Но когда из рук Воронихина до него дошли рисунки и чертежи, присланные Казаковым, он погрузился в них и забыл, где находится. Главное, что поразило его уже требовательный глаз, это было полное отсутствие громоздкости, тяжести при большой и сложной монументальности замысла.

Галерея соединяла большой дворец с особливым корпусом в два этажа для кухонь, приспешень и погребов, и это было так умно рассчитано, что только облегчало массивность центрального здания и хлебного двора, подхваченного двойными колоннами.

— Вот здесь, от дворца к оперному дому, пробегала моя самая любимая «утренняя дорожка», — указала на рисунок Грушенька. — Ах, что за чудесные липы благоухали по обеим ее сторонам! Даже пчелки там только жужжали, а не жалили...

— В какой несравненной пропорции линий взяты арки, зубчатые башни, стрельчатые окна, — восхитился Воронихин. — Русская псевдоготика — явление столь самобытное! Ничего подобного нигде не найти, а у нас стоит под самой Москвой...

— Не стоит, а стояло, — поправил его насмешливо Баженов.

— Но почему, по какой причине это сказочное строение, которому по оригинальности замысла нету равного, подверглось столь жестокому отвержению? — невольно вырвалось у Росси.

— Почему? — с горькой иронией повторил Баженов. — А вот послушайте: Екатерина возвращалась в Москву из знаменитого своего путешествия по Крыму, когда великий льстец, светлейший князь Тавриды, сумел ей показать, подобно хитрому актеру, товар лицом. Одни знаменитые «потемкинские деревни» чего стоили? Словом, императрица возвращалась в окончательно окрепшей уверенности относительно счастья и благоденствия своего царствования. В Москве ее встретили с восторженной пышностью. И вдруг — потрясающая весть — заговор. Посягательство на ее трон, быть может — на жизнь... Так донес ей о неосторожной деятельности масонов московский главнокомандующий граф Брюс. Самая вольнодумная и опасная для монархии часть масонов, иллюминаты, вступила в сношение с заграницей. Императрице представили точные сведения об особом расположении масонов к персоне наследника Павла, связь же с ним установлена через меня, сиречь архитектора Баженова. И вот тут-то назначается день для осмотра Царицына дворца. Все последующее понятно, — закончил, как бы утомившись, Баженов.

— А какой веселый пришел Васенька домой, — воскликнула Груша, — он позвал меня, приказал понаряднее одеться для дня осмотра: «Ведь ты должна быть представлена императрице, — так сказал мне генерал Измайлов, надзиратель за работами»...

— Ну, раз ты начала об этом, — сказал Баженов, хмуро обернувшись к жене, уже испуганной своей непосредственностью, — я не могу не кончить: назавтра, друзья мои, вместо торжества — позор! Страшный, безобразный сон. В парадной карете появление императрицы, ее знакомое надменное лицо, не смягчаемое, как на портретах, искусной приветливой улыбкой, а лицо злое, с угрожающе стиснутым, властным тонкогубым ртом.

«Это острог, а не дворец, — сломать оный до основания!» — И жест маленькой руки, не терпящий возражения, генералу Измайлову. Повернулась, поплыла к своей карете.

— Васенька, дорогой! — воскликнула Грушенька в каком-то странном восторге, беря Баженова за руку. — И все-таки этот день для меня наисчастливейший: он возвеличил меня твоей любовью. Перед всеми ты не побоялся, ее засвидетельствовал, чем гордиться я буду до смерти... Только послушайте, Андрей Никифорович, и вы, Шарло, что он сделал: едва отвернулась разгневанная императрица, Василий Иванович побледнел, как стена, — и за ней следом, чуть ли не дернул за шелковый шлейф: «Ваше величество, — говорит, задыхаясь от волнения, — минуту внимания». Она обернулась, испуганная, подскочили придворные. «Ваше величество, — говорит Василий Иванович и меня тянет за руку, — моей жене сказали явиться, дабы вам быть представленной. Если я имел несчастье не угодить вам своей работой, моя жена тут ни при чем, она не строила»... Императрица такими белыми от гнева глазами глянула на Васеньку, но, должно быть, вспомнила о своем милосердии, прославленном льстецами, и подала мне руку, потом все так же безмолвно прошла к карете. Но Вася-то не испугался гнева царского, не дал перед всеми в обиду свою жену. Даже супруга архитектора Казакова мне завидовала: «Это, говорит, почетнее, чем пара перчаток, присланная от нее мне в подарок».

Баженов благодарно обнял жену:

— Уж ты, Груша, известная позолотчица — и в черной ночи луч солнца найдешь. Дело было в том, что императрица свой гнев лично на мне сорвала, на моей работе. Ей уж были представлены бумаги, взятые у масонов, и могла быть найдена моя записка о разговорах с наследником в Гатчине. Я был в ее руках, но предать суду меня было нельзя, не бросив всенародно тень на самого Павла. К делу Новикова меня не привлекли, но моя карьера русского зодчего была загублена.

Баженов вдруг побледнел и покачнулся.

Воронихин сильной рукой подхватил его. Вместе с встревоженной Аграфеной Лукиничной отвели его в спальню. Через несколько минут Воронихин вышел и сказал обеспокоенному Росси:

— Ничего опасного, ему только необходим покой. Я тут на ночь останусь, в случае чего, доктор в двух шагах, а ты, Шарло, иди домой.

Карл вышел. Предрассветная тьма поглотила его. Он прошел прямо к Неве. Хотя она еще была скована льдом, но уже не было в нем зимней прочности. Особая, предвесенняя мягкая сырость шла от реки.

Карл глубоко задумался, не замечая бегущих часов. Перед ним только что раскрылась жизнь человека замечательного, и он ярко понял, что каждый рожден как бы начерно, условно названный «человек», но по-настоящему большое это имя каждому надо еще заслужить. По праву назовется им не за то только, что растет, множится, умирает, а лишь когда найдет дело своей жизни и вольет в это дело всего себя, всю свою энергию, отдаст ему свое неповторимое, неотъемлемое лицо...

И еще думал он, что, может быть, необходимо судьбе разбить человеку все, что зовется «личное счастье», чтобы он опирался на эти развалины, как на трамплин, для необходимого прыжка в нечто большее своей эгоистически личной природы.

Из великих личных страданий выросли в великих художников Данте, Микеланджело, Леонардо.

И как бы мог справиться со своей горестной судьбой гениального зодчего Баженов, чьи замыслы остались лишь в чертежах и обломках, если бы он не перевел уже свою лучшую силу творца в область совершенного беско-

рыстия, не превратил ее в источник вдохновения грядущих за ним...

Но тут же Карл ощутил величайший протест против этой горестной судьбы Баженова. И со всей страстью нерастраченных юных сил и сознанного дарования он поклялся себе, что добьется своего, оставит после себя не только проекты, но все задуманное выполнит.

В эту лунную мягкую ночь, полную ожиданий весны, Карл до рассвета бродил по великому городу, глубоко принимал его в душу с его великолепными зданиями, уже вознесенными над Невой, и с дворцами и домами новыми, которым, он уже знал наверное, даст когда-нибудь жизнь и воплощение не чья иная — его творческая сила.

Карл не заметил, как дошел до старого деревянного театра Казасси. Придворное ведомство его купило и переименовало в Малый. Карл остановился. В проясневшем небе далеко взором обвел пространство. Мечты охватили его: этот старый театр снести, возвести новый, великолепный в своей гармонии. Перед парадным фасадом с колоннадой развернуть до проспекта партерный цветник, а сзади театра — полукруглую площадь, как в парижском Пале-Рояль, окружить ее сводчатой галереей.

Долго в воображении Карл раздвигал пространство, создавал великолепному зданию своей мечты достойное его окружение.

Совсем посветлело небо, ожил ранний занятой люд. Открылся на Неве последний неопасный переход. Серо-голубое тающее небо над адмиралтейской золотой иглой, бледножелтый с белым орнаментом чудесный фасад — как дивно открыта гармония сочетания красок. Эти тона, эта роскошная простота должны быть неотъемлемы от петербургского зодчества.

Глава десятая

Имя Маши, которую, как это теперь было в моде, князь Игреев одарил новой, звучной фамилией — Яхонтова, появлялось все чаще в афишах, все хвалебней были о ней отзывы ценителей, и даже проскользнуло в газетах, что Психея, которую она как-то танцевала,

заменяя больную мадам Гертруду Росси, в ее исполнении получила новую прелесть и свежесть.

Гертруда рассердилась и в присутствии Карла безобразно кричала, что Маша никак не сильфида, а всего лишь хитрая змея, которая хочет завладеть ее лаврами, и отказалась давать ей уроки. Бедная Маша была в отчаянии. Она в Карле искала поддержку, робко надеясь, что он ей устроит свидание с Митей. Но Карл и сам давно не видал друга и чувствовал, что тот намеренно его избегает. Так оно и было.

Митя, никогда раньше не задумывавшийся о том, что он был рожден крепостным и если бы не доброта дяди-литейщика, то, вероятно, навеки остался б рабом, сейчас болезненно переживал это обстоятельство. Никем не оскорбляемый, здоровый, красивый юноша, он до горестного события, связанного с утратой любимой невесты, был бессознательно эгоистичен, счастлив и полон надежд на будущее благодаря сразу признанным способностям и легкой удаче в живописи.

Все, что пришлось ему испытать из-за Маши, довело в несколько месяцев ум его и чувства до внутренней зрелости.

Тысячи мыслей, одна рождаемая другой, мучили его теперь, не находя себе разрешения и ответа.

Страстное возмущение рабством, которым была полна неистовая книга Радищева, хранившаяся у него как святыня, стало постоянным его состоянием. Легче всего Мите было теперь в доме Воронихина. У него к Андрею Никифоровичу появилось чувство, похожее на обожание, за то, что он был тоже рожден крепостным, немало претерпел унижений на своем пути, но все победил и стал таким могучим человеком. Благодарен был ему и за отношение к его горю, как к своему собственному, чего не мог он ожидать от Карла Росси, при всей его дружбе.

Родным стал Мите и смышленый мужичок-самокатчик, который с необыкновенным спокойствием и уверенностью в успехе мастерил свое мудреное орудие освобождения — удивлявший всех самокат. Чем ближе узнавал его Митя, тем сильней поражался его необыкновенно умными, насмешливыми суждениями прирожденного наблюдателя.

Сегодня Артамонов и Митя опять должны были обойти, как говорил Воронихин, «невольничьи рынки» в поисках подручного, хорошего слесаря, которого они все еще не нашли. Прежде всего оба двинулись к Синему мосту на Мойке, где перед великолепным дворцом Чернышева кишел народ. На скате у самой реки было пестро от людей, закусывавших и отдыхавших в ожидании подходящего наемника.

Кое-кто после хмельной выпивки крепко спал просто на камнях. Эта площадь была главным местом купли-продажи, найма и обмена.

И кого только тут не было! Олонецкие пильщики с отливавшими синью на совесть разведенными пилами чинно стояли целой артелью, как войско с особым видом оружия. Ярославские маляры, тароватые, говорливые мужики в фартуках, сидели при своих ведрах с целым набором больших кистей; кисти малого размера они аккуратно засунули за свои голенища. Ямские кучера в синих суконных армяках, подпоясанные красными кушаками сразу подмышками, казавшиеся оттого великанами, степенно гуторили, выхваляя друг перед другом отличные стати жеребцов, прошедших через их руки, и богатых господ, которыми сейчас гордились, забыв, как те их драли на конюшне. Ямские эти как бы держались без помощи ног — на одних лишь туго простеганных ватных армяках, доходящих до земли. И так велика была их важность от привычки надменно покрикивать на пешеходов с высоких козел, что и сейчас ни один не удостаивал разговором сновавшую вокруг мелкоту, вроде садовника с лейкой и мальчишек-парикмахеров, взаимно завивших друг другу головы бараном, чтобы нанимателю стало наглядным их высокое искусство.

Только появление дородной кормилицы в расшитом кокошнике, богатых бусах и лентах привлекло внимание извозчиков. Все они на нее обернулись, а один даже выкрикнул одобрительную оценку ее дородству:

— Король-баба!

Но кормилица, сопровождаемая строгой женщиной в темном, которая оказалась свекровью, только тихо плакала и просила старуху:

— Уж вы, матушка, бога ради, моему Ванютке молочко-то водой не разводите! Вы ему целенькое...

— Сыт будет, не твой первый на рожке выпоен, — ворчала старуха, — а ты смотри, не больно-то реви. Хорошие господа уважают мамок приятных, да чтобы к родному своему дитю не тянулась...

Лакей, прогнанный за беспробудное пьянство, прихорашиваясь и глядясь в карманное зеркальце, сказал:

— Хорошие господа завсегда имеют в себе бесчувственность. Они этого не потерпят — чтобы убиваться. Им которая из ваших сестер поумней — обязательно соврет, что ребенок ее помер, хотя б он и жил.

— Ванюшка чтоб помер! — завопила мамка и, грозно наступая на лакея, ко всеобщей радости, осыпала его отборнейшей бранью.

Под общий веселый хохот лакей поспешил скрыться в толпе.

— Вот она — взаправдашняя-то жизнь, — глянул самокатчик на Митю, — в хоромах сидеть — вовек правды не узнать.

К ним подошел, поздоровался Павел Иванович Аргунов. Он сюда пришел в поисках штукатуров для Фонтанного дома. Рассказали ему про мамку...

— Этим еще не так плохо, — знающим тоном сказал Аргунов, — они уже обломались в городе, и ночлег верный есть. Вот пришлым плохо, тому, кто впервые сюда залетел оброк барину собирать. Все-то ему чужаки, все звери, всякого-то он боится. Ну и ловят их, сердешных, за грош. Чиновники на это дело особые мастаки. Наймет девчонку одной прислугой, да и навалит весь дом ей на плечи.

— А нужда-то мужичка из избы гонит, — сказал самокатчик. — Хлеба до весны редко где хватит, весной — иди в кусочки, побирайся.

Внезапно поднялась в толпе брань, перешедшая в крики, а вот уже стали стеной, засучили рукава одни на других — и пошли в кулачки.

— Это подрядчики со старостами, выбранными обществом, никак в драку вступают, — пояснил Артамонов. — Наниматели больно ценой их прижали, а у старост еще и к рукам с этой платы прилипнуть должно. Даром все норовят мужицкий труд взять. А ну-ка, пойти разузнать...

Самокатчик и Аргунов пошли к гудящей, как улей, толпе. Митя же оцепенел на месте, наблюдая, как подо-

шедший к пожилой женщине чиновник, словно лошадь, осматривал ее сына, подростка-паренька; он отворачивал ему губу, считал зубы, пока мать его безмолвно плакала.

— Не от нужды наши господа продают — от излишка, — скороговоркой расхваливал паренька доверенный от хозяев. — Больно много этих недомерков у нас в вотчине наплодилось, девать их некуда! А он парнишка тихий, еще вовсе не поротый, — тараторил приказчик, — и в комнатах хорошо обучен и при гардеробе, он на все руки вам будет. В придачу, ваша милость, и матку его берите — тоже кухарка за повара.

Чиновник, оглядев женщину тем же глазом барышника, угрюмо сказал:

— Была, да вся вышла, ты б еще мальчишкину бабку мне сватал, — чиновник стал не торопясь платить за мальчика.

Митя, конечно, знал, что такие сцены происходят ежедневно на вот этой самой площади, да и в книге Радищева довольно было примеров жестокой продажи людей. И все же, когда чиновник вместе с приказчиком стал из объятий матери вырывать парнишку, Митя не выдержал и, подбежав, крикнул:

— Звери вы — не люди! Хоть попрощаться дайте да адрес ваш скажите, чтобы мать сына могла навестить.

— А нам материнских визитов не потребуется, неизвестный молодой человек, — язвительно сказал чиновник. — Себя же вы успокойте, беззаконных дел здесь не производится. А коли вы законами государя императора недовольны, уж это будет иной разговор, и на вас мы найдем управу.

Митя, вне себя, заладил одно — обязаны дать ваш адрес, обязаны!

Подоспевший Аргунов отвел его за руку и шепнул:

— Молчи, они сейчас будочника позовут и такое обвинение на тебя состряпают, что не обрадуешься. И чего ты своим криком добьешься? Ведь они в своем праве. Лучше пусть Артамонов пойдет тихонько за чиновником и своими глазами увидит, где тот проживает. Парнишкину мать, наверное, в отъезд продадут, и необходимо, чтобы она не потеряла своего сына из виду.

Самокатчик тем временем шушукался с матерью мальчика и, узнав, где она живет, обнадежил ее насчет сына,

подмигнул Мите и, как ни в чем не бывало, потихоньку пошел следом за чиновником, уводившим паренька, да так хитро, что тому было невдомек. Митя упорно остался ждать возвращения Артамонова, отдав плачущей кухарке все, что при нем было. На эту историю в толпе и внимания не обратили.

Как улей, все взбудоражены были победой плотницкой артели, которая не пошла в кабалу к нанимателю, устояла и нагнала себе цену.

Оброчные со всех концов России прибывали сюда все новыми партиями. Были тут землекопы из Белоруссии, ярославские штукатуры, печники, галицкие плотники...

— Эй, чухлома! — кричали кожевникам, неразлучным с особым кислым дубильным запахом. — Пойдем на кулачки, погреемся, пока покупатель не клюет, — подступали веселые саечники-хлебопеки к мрачным мужикам.

— Пошехонье, — пренебрежительно отвечали кожемяки, — да рази такой это час, чтобы в кулачки иттить? Эх, неправильный вы народ!

Ростовец-огородник, указывая на победителей, позавидовал:

— У энтих всегда прибыточные дела будут, потому — ловкачи-москвичи!

— Павел Иванович, — сказал Аргунову Митя, — ужели этот народ, который, как скот, набирают на работу и содержат еще хуже скота, неужели он никогда не взбунтуется?

— А Пугачев? — вопросом ответил тихо Аргунов. — Сообрази он тогда свернуть вместо степей на Москву — может быть, о крепостном рабстве только понаслышке б и знали. Да и помимо Пугачева бывали дела... Недалече ходить — при матушке-царице, в 1787 году, богатый подрядчик, купец Долгов, руководил работами по облицовке гранитом набережных Фонтанки и учинял ужасные притеснения находившимся при строении. И вот, помнится, осенью выборные четыреста человек от четырех тысяч двинулись к Зимнему дворцу с челобитной. Они кланялись до земли каждой фрейлине, высунувшейся из окна, по невинности принимая ее за царицу, — много над этим смеялись в свете, слыхал от Шереметевых. Ну что же, сколько-то челобитчиков схватили под караул за «учинение скопа и заговора», только про них и слыхали. Видом

они были от горя и нищеты — краше в гроб кладут, тоже заговорщики!.. Да, Митенька, — закончил печально Аргунов, — дорого плачено за гранитные набережные, за красоту города Санкт-Петербурга. Кровью да потом народными.

Особый интерес был у Мити к судьбе продававшихся крепостных женщин, потому что невольно гвоздила мысль: вот такова была б участь Маши, не пойди она на посулы князя Игреева. Аргунов и о крепостных женщинах мог в подробности рассказать. Кроме продажи по газетным объявлениям рядом с борзыми и дорогой сбруей, были невольничьи женские рынки и в центре города и в преуютных прицерковных двориках. Искусницы разного рода рукоделий ценились подороже, черная рабочая девка шла вовсе дешево.

Рассказал Аргунов и про более затейливые способы сбыта девушек с рук. Так, одна шереметевская знакомая, именитая барыня, отобрав самых пригожих девочек, обучила их танцам и музыке и продала за большой куш предпринимателю «веселого заведения».

— За одной такой — Анетой звали ее — я долго следил, — невесело сказал Аргунов, — дважды ее в карты проигрывали, переходила из рук в руки, пока особо злому издевателю не попала. Заколола его, а потом и себя... Гордая была.

У Мити злобно промелькнуло в голове: а Маша не закололась, в балете сильфидой порхает!

И желая услышать от Аргунова какое-либо косвенное осуждение поступка Маши, в надежде хоть немного разрешить свою сердечную боль, Митя с раздражением спросил:

— Заколоть оскорбителя с пьяных глаз сумела, а заработать на выкуп честно — пороху не хватило? Если она танцы и музыку знала, могла бы в оброк отпроситься.

— Так ее и отпустят! Еще мужчину туда-сюда, да и то пока у барина каприз не прошел. А не то, хоть европейским портретистом считается — домой отзовут, и, бывает, в лакейскую. А непокорливый нрав — на конюшню. Нет, брат, крепостному с талантом впору петлю на шею, либо водку глушить. А девка коль хороша, один путь — в канареечки. Хоть золотой клеткой потешится. А в оброк — не слыхал, чтоб пускали... Наши Шере-

метевы — наилучшие из господ. Уж эти и разбогатевшему оброчному вовек не скажут: сам ты весь мой, значит, и деньги твои — мои. Эти чужого не отберут, напротив того: пользуйся своим миллионом на здоровье, — сказал наш граф одному богатею, принесшему его за себя в выкуп, — а вольной тебе не дам. Своих денег у меня довольно, а владеть тобой, богачом, мне только лестно.

— А как же Шелушин, шереметевский крепостной, получил вольную? — поспешил спросить Митя.

— А за что? За анекдот веселый. Тысячу раз прав наш сибиряк-самокатчик: хохотком да прибауткой, а не честью надо господ брать, всего они объевшись, их только на пряное тянет. А с Шелушиным вышло так: неоднократно просил он отпускную, уже известный богач. Уперся наш — на что тебе воля? Чтò я, богатеть тебе мешаю? Да на здоровье! И вот какая оказия вышла: привез как-то Шелушин в подарок графу устриц бочонок и тут нежданно-негаданно свою фортуну прямо за косы и схватил. Как раз в этот день у графа в Фонтанном доме парадный ужин предполагался, а в устрицах нехватка. Во всем городе, как назло, нет и нет. Шумит граф, у метрдотеля требует — вынь да положь. А тут и принесло к нему оброчника-богатея. Граф ему: вот просил ты у меня не раз вольную; слово мое — отпущу, добудь только нынче к ужину устриц. А у богатея в прихожей — готовенькие. Выкатил он молча бочонок — получайте, ваше сиятельство! Граф тут ему в обмен — свой подарочек. На том самом бочонке и вольную написал.

— То-то я не дурак, что свой самокат затеял, — усмехаясь, сказал недавно подоспевший Артамонов, — не я буду, если мой самокат не обернется тем бочонком с устрицами...

— В добрый час сказано, — потряс ему Аргунов руку, — я уж и сам тебя к слову помянул. Ну, узнал адресок?

— До самой калиточки довел, теперь только маменьку-кухарку порадовать. Она тоже помещена к некоей старушке, видать, не окончательно лютой, и по пути к сыну живет. Проведаю ужо обоих.

— А сейчас пройдемте на Неву, душно мне здесь, — сказал Митя.

День был чудесный. Зима опять перебила начавшуюся было оттепель, но морозец стоял небольшой, сухой при яркосинем небе.

Остановясь на мосту, залюбовались городом и его дальними перспективами.

— Весело тут летом, — тряхнул Митя светловолосой головой, как бы отгоняя тяжелые впечатления дня, — часами, бывало, стою тут и любуюсь на гребные команды, особливо юсуповские. Те, что на длинных веслах, идут по Неве, а коротковесельные — по каналам. Гребцы разукрашены, как в сказке: великолепно по краскам — вишневые куртки, шитые серебром, на шелковой белизне рубах, шляпы с перьями, ну, просто Венеция. А в лодках музыканты, роговая музыка чистейшего звука, какая-то уносящая от земли...

Аргунов зло рассмеялся:

— А каково музыканту, создающему это неземное впечатление, хоть раз пришло тебе в голову? Участник рогового оркестра должен каждый навеки свистать одну и ту же свою известную ноту. Утратив всякое человеческое достоинство, иные из них, слыхивал я, не без гордости величают себя уже не своим именем, а исполняемой нотой: я Нарышкинское дó...

— А сколько палок на таком обломали, пока обмозговал он свою ноту! — сказал самокатчик.

— Да ты сам много ль бит? — хлопнул его по плечу Аргунов.

— Маху дали, — ухмыльнулся сибиряк, — я сызмальства увертливый. Хоть и сказано: душа божья, голова царская, спина барская, — свою спину сумел оберечь. Бывало, возьмут мальчонкой в форейтора. Свалиться — беда: если лошадь не потопчет, на конюшне запорют. Так я старших просить надоумился, чтобы меня ремнями привязывали к седлу. Сомлеешь, бывало, а свалиться — не свалишься. Болтается голова, как кочан на ветру, случалось, водой отливали, зато розгой нет, не трогали. Ну, однакож мне пора и честь знать, за разговорами свое дело забыл. Пойти засветло подручных себе подыскать. Ведь из-за того парнишки я утренних всех упустил.

— Сейчас иди искать только на Вшивую биржу, на угол Владимирского, — сказал Аргунов, — там обжорный ряд торговлю раскинул, и все полдничать кинулись.

На пирогах их настигнешь; кто лихо ест, тот, известно, лих и в работе.

Самокатчик пошел было, что-то вспомнил, вернулся, подошел к Мите, внушительно сказал:

— Нынче вечером к Андрею Никифоровичу приди, Митенька, он мне строго наказывал. Чтоб обязательно...

— Да уж приду, — отозвался Митя.

Его опять захлестнула тоска, и еще горшая, чем поутру. И странная детская злоба на Аргунова — зачем не дал и минуты отдыха, опять повернул мысли на оборотную, мрачную сторону восхищающей чувство красоты. Он раздраженно сказал:

— Дивлюсь на вас, Павел Иванович, так вы беспощадно крепостное зло видите, а хоть бы одного барина уложили?

— Совсем было раз собрался, да во-время одумался, — неожиданно поведал Аргунов.

— Сибири устрашились?

— Не столько Сибири, сколько бессмыслицы такого занятия: одного барина убьешь, другой на его место станет.

— Расскажите, Павел Иванович, как было дело, — устыдившись себя, серьезно попросил Митя.

— Невеселый рассказ, хотя живописный в смысле картины наших помещичьих нравов. Взял меня как-то граф к своему соседу-приятелю — вместо заболевшего художника ему для спектакля домашнего занавес написать. Занавес написал, а декорации не поспели, и лес пришлось изображать, так сказать, домашними средствами. На подмостках тесно уставили мальчиков с кудрявыми березками в руках — чудесный издали молодняк. В этом лесочке, по тексту пьесы, появились охотники и медведь. Актер-медведь, завернувшись в мохнатую полость саней, взревел и, согласно замыслу автора, пошел на охотников. А барин-хозяин тихонечко своему датскому догу как шепнет: ату его! — и спустил с цепочки. Дог — на медведя, впился клычищами, тот ревет благим матом, березовый лес вмиг попадал, ребята врассыпную. Крик, слезы, у медведя кровь ручьем... А я рядом с барином с большим молотком стоял, уйти не успел — последние гвозди в декорации заколачивал. Вот как все заревут, а барин — ну хохотать, у меня сама собой рука с молотком

поднялась. Из последних сил удержался, чтобы его по голому черепу не хватить. Эх, — вздохнул Аргунов, — что за толк в бунтах и убийствах? Запорют — и вся недолга. Раньше срока не повернешь это дело.

— А срок этот будет когда? — спросил гневно Митя.

— Обязательно будет, — строго и веско ответил Аргунов, — только увидим ли мы с тобой — не скажу. Но времечко стукнет.

Воронихин, не говоря о причине приглашения, звал Митю для того, чтобы показать ему законченный им портрет Маши. Он близко принимал к сердцу ее печальную историю и то, как тяжко и бесповоротно осудил ее Митя. Он решил с ним об этом поговорить.

Когда Митя вечером вошел в просторный кабинет Воронихина, он с отеческой лаской усадил его рядом с собой на широкий диван и умело заставил рассказать не только про зрелище «невольничьих рынков», но и про всю ту бурю негодующих чувств и гневных мыслей об ужасе крепостничества, которые оно вызвало.

— Вот теперь по всей справедливости и суди бедную Машу, — сказал Воронихин, беря Митю за руку, — посмотри-ка ее портрет.

Воронихин подошел к мольберту и поставил на него большой подрамок, который стоял перевернутым к стене.

Митя опешил: если б можно, он убежал бы, не взглянув на портрет, но Воронихин подвел его ближе, спросил:

— Ну, как ты находишь, похож?

Воронихин поднял зажженный канделябр, и боковой свет мягко упал на вдохновленное большим талантом и вместе с тем бесконечно печальное лицо Маши.

Нервное напряжение всего этого дня было велико, и сейчас Митя не выдержал: он повалился на диван и зарыдал.

Воронихин бережно, как все понимающий старший брат, обнял Митю и, крепко сжимая его руку, сказал:

— Если попрежнему любишь Машу, все будет хорошо. И горе ваше пройдет, едва она получит свободу.

Митя мигом пришел в себя и спросил с изумлением:

— Но разве не куплена ее свобода ценой нашего счастья? Разве не совершилось непоправимое? Ведь Маша — фаворитка Игреева.

— Нет, — сказал Воронихин, — и, я надеюсь, ею не будет. Князь Игреев, всем пресыщенный, в этом своем новом сердечном капризе желает, чтобы угодить государю, предстать рыцарем. Всем, кроме того, вскружило голову известие, что Шереметев женится на бывшей своей крепостной. И сейчас, согласно модному капризу нашей знати, князь объявил Маше, что будет ждать от нее любви свободной, по склонности сердца.

— Но вольная?

— Вольная действительно имеется, но не у Маши в руках. Игреев взял меня и мать Карла Росси в свидетели, что им совершена формальная отпускная, и он нам ее издали с дьявольской улыбочкой показал. Но при этом прибавил, что испытанию его сердца положен целый год: если Маша в течение его не «снизойдет» к его нежности, то ее вольную он разрывает, а она из балерин может быть разжалована хоть в скотницы. Но дела, кажется, могут повернуться к лучшему. Пока ты, Митя, в тоске всех нас избегал и никому не верил, мы оказались неплохими кузнецами твоего счастья, — любезно улыбнулся Воронихин.

Митя страшно побледнел:

— Этот сиятельный негодяй при вас выговорил свои чудовищные условия, и вы его не убили? Не дали ему пощечины? Ну, так это сделаю я. Я убью его, как собаку...

Митя вне себя рванулся куда-то бежать. Воронихин почти насильно усадил его рядом с собой на диван.

— Если бы я убил Игреева, — сказал он, — меня бы сослали в Сибирь, а Маше навеки быть крепостной. Если сейчас убьешь ты его, будет то же самое. Но вот пока ты с незаслуженным гневом отвернулся от несчастной невесты, об освобождении ее взялись хлопотать другие... Ты же должен одно — повидаться с Машей, вдохнуть в нее новые силы, надежду. Она чахнет, здоровье ей заметно изменяет. Она просто на глазах сгорает. Искусство — единственное, что дает ей забвенье той большой муки, которую терпит она ради тебя. И может случиться то, чего уж, конечно, ты не желаешь. Через год, когда, надеюсь, свободы мы для нее добьемся, — ей она уже не будет нужна.

Митя, впервые забыв свою боль и желая понять только состояние Маши, с беспокойством спросил:

— Больна она? Как ей помочь?

— Об этом позаботятся разные люди с разными личными побуждениями, но, к твоему счастью, направленными к одной цели — вырвать возможно скорее из рук Игреева Машину отпускную. Люди эти: твой друг Карл Росси, его мать, знаменитая балерина, и некая высокопоставленная девица Тугарина.

— Катрин, — воскликнул изумленный Митя, — она-то как здесь?

— Имей терпение дослушать, — учительно, как обычно, остановил Воронихин, — Росси движим чувствами благороднейшей дружбы и бескорыстным восхищением перед Машей, его мать Гертруда — полна бешеной актерской зависти к своей ученице, которая нежданно выросла в ее соперницу. Сын уверил свою тщеславную мать, что едва Маша получит на руки вольную, она бросит сцену и уйдет с тобой куда глаза глядят, подальше от Игреева. Ну, а третье заинтересованное в этом лицо, Катрин Тугарина, — недавно усмотрела в князе Игрееве самую для себя блестящую партию и, выходя за него замуж, очищает свой будущий дом от соперниц.

— Вы уверены, Андрей Никифорович, — сдерживая дыхание, спросил Митя, — что, как сказал своей матери Карл, действительно Маша готова совсем бросить сцену и уехать со мной? — С надеждой и страхом смотрел Митя в умное, сильное лицо Воронихина, привыкшее сдерживать свои чувства и скрывать мысли. — Умоляю вас, одну чистую правду.

— Я скажу тебе эту правду, Митя, — твердо ответил Воронихин. — Если бы Маша в порыве долго таимого чувства и бросила ради тебя свое искусство и сцену, она бы в скорости стала так же заметно хиреть, как мы видим сейчас, когда она живет одним лишь искусством, лишенная твоей любви. И то и другое необходимо сочетать. Но как — пока я не вижу возможности. Как только Маша лишится протекции князя, она в театре окажется у разбитого корыта. Завистницы ее заклюют, и карьера ее как балерины окончена. Все они там держатся связями или имеют очень прочное положение, а она новенькая.

— Значит, остается мне самому завоевывать себе положение, чтобы не лишить Машу возможности делать

любимое дело, не заглушить своего дара. Но как? Где? Ума не приложу.

— Мне кое-что пришло в голову, Митя, — осторожно сказал Воронихин. — Сейчас ко мне придет один, по-моему, очень тебе нужный человек; ты послушай-ка, что он расскажет, а потом и поговорим.

— Загадками говорите, Андрей Никифорович, ума не приложу, кто может быть этот человек.

— Если я скажу тебе, что зовут его Иван Петрович Дронин, что он военный и состоит при Суворове, это ничего тебе нового не прибавит, не правда ли?

— Суворова я высоко почитаю, но к военному делу у меня влечения нет, все-таки путь мой в Академию. Только на днях решил я идти не на архитектурное отделение, а на живописное, думаю, у меня способностей к этому больше.

— И я так думаю, — одобрил Воронихин, — и это обстоятельство как нельзя более кстати для того, что я для тебя придумал. Однако немного терпения.

Воронихин указал на часы:

— Иван Петрович человек военный, как сказал — не опоздает.

И действительно вошедший слуга доложил о приходе майора Дронина.

— Проси прямо в кабинет.

И Воронихин оживленно пошел гостю навстречу. Дронин был человек, по возрасту годившийся Мите в отцы. В жизни у него случилась тяжелая драма: жена, которой он слепо верил, обманывала его с ближайшим другом. Дронин, вызвав оскорбителя на дуэль, убил его, а жена через некоторое время повесилась. Отсидев за дуэль в крепости, он отправился к Суворову в армию с надеждой в первом же деле с турками найти свою гибель. При взятии Измаила он отличился необыкновенной храбростью и умением вести за собой людей, был тяжело ранен и высоко награжден. Суворов его особенно отметил, посещал во время болезни, узнал всю его печальную историю и сумел так на него повлиять, что встал он с больничной койки новым человеком, думающим о победах русского оружия, а не о смерти. С тех пор Дронин сопровождал обожаемого полководца во всех боях, не оставил его и в ссылке.

Сейчас он временно приехал в Петербург хлопотать о своей отставке, чтобы иметь возможность уехать в Кончанское и быть полезным тому, кого в душе своей звал — благодетель навеки и отец.

Однако окончательные шаги для выхода в отставку внезапно приостановило известие, облетевшее все военные круги, о том, что государь весьма милостивым письмом вызвал Суворова из Кончанского.

Сегодня он узнал радостное дополнение к слухам: что государь получил от австрийского императора предложение отпустить Суворова принять командование над союзной армией в предполагаемом итальянском походе против Наполеона.

Дронин не сомневался, что Суворов примет предложение, отмахнув в сторону все нанесенные ему Павлом обиды. Давно он с волнением следил за успехами Бонапартовой армии и горько сетовал, что он не у дел, а бездарные полководцы не могут дать острастки «далеко шагнувшему молодому человеку», как именовал он первого консула. Дронин, конечно, решил следовать за своим полководцем и, переживая вторую молодость, как после измаильского дела, стал, в нетерпеливом ожидании приезда Суворова, готовиться к походу в Италию. С Воронихиным его связывало то, что он был ему земляком, происходя из мелкопоместных дворян Пермской губернии. Посетив как-то знаменитого зодчего по просьбе родных его по матери, оставшихся жить в деревне, соседней с именьицем Дрониных, майор пленился всей душой своим замечательным земляком и уже при каждом своем приезде в Петербург его навещал. Ушедший с головой в свое военное дело, Дронин в общении с Воронихиным находил большое обогащение для ума и всех чувств. Взаимным обменом впечатлений был доволен и любознательный Воронихин. Кроме того, с тех пор как он принял близко к сердцу несчастье Мити, у него возник некий план в в связи с энергичной личностью майора.

— Вот познакомьтесь, Иван Петрович, с моим юным другом, Митей Сверловым, рекомендую — способный художник.

Майор ласково потряс несколько растерянному Мите руку, шумно и весело стал говорить Воронихину о том,

сколь он счастлив сбираться в итальянский поход и не сегодня-завтра встречать дорогого фельдмаршала.

Митя подумывал, как бы ему приличным образом улизнуть: он особенно дичился военных, почитая их за светских людей, которые преимущественно обращают внимание на костюм и манеры, но, прислушавшись к тому, что говорил майор, скоро перестал помышлять об уходе.

Воронихин спросил, точно ли верны слухи о вызове Суворова из ссылки, и майор с восторгом приводил собранные им подтверждения, что от императора австрийского прислано письмо с предложением фельдмаршалу командовать союзной армией.

— Однако для Суворова будет тут плохо, — сказал Воронихин, — придется ему из австрийских рук смотреть.

— Посмотрит он, черта с два, — вспыхнул обидой майор, — да разве ему не привычно без австрийцев дело решать? Он баталию на один собственный страх любит вести. Было дело в восемьдесят девятом, разгромил он турецкий фланг и решил фронт переменить. Нам сказал, австрийцам же ни гу-гу, вот обиделись! Зато баталия без проволочек — победная. И посмеяться над ними умеет. Под тем же Рымником набрали мы турецких пушек. Австрийцы вцепились — к себе, а наши, натурально, — к себе. Как обычно, наш старик в самую гущу ввинтился, кричит: «Нашли о чем спорить! Дари, ребята, все пушки союзнику, где ему, бедному, еще взять? А мы себе получше добудем». — Хохочут ребята: давись, Австрия, турецкими пушками.

Майор хохотом, словно громом, наполнил чопорный кабинет Воронихина, всем стало весело.

— Суворов ни в чем общему порядку не следует, так осудительно говорят про него при дворе, — заметил Воронихин, — то-то загнали его в Кончанское. Без своего дела давно сидит...

— Да не усидел, — подхватил майор, — ему вот семьдесят стукнет, а помоложе-то никого, чтобы русское войско прославить, когда час пробил. Сам государь в карман гонор спрятал, на все суворовские причуды сквозь пальцы глянул — вызывает ведь.

— По всему, что я слыхал про Суворова, — вступил, наконец, и Митя в разговор, — он, помимо гения воин-

ского, и крепостью характера невиданный человек. Откуда только свою силу берет! Невелик, слаб здоровьем...

— А духом-то? — прибавил Дронин и всем существом своим выразил восхищение. — Наш Суворов духом гигант. Во славу России воюет, и весь народ, как земля, его держит. Сам-то, конечно, здоровья хилого, худ, невелик, — воробышек некий, однако ни жара, ни мороз его не берут. Насмотрелись мы в походах — всем пример. Закалил он себя, не жалеючи, — вот и сила его. И в солдатской любви. Не шпицрутеном, своим сердцем он солдатское взял, то-то в его руках тысяча штыков — десятка тысяч стоит. А почему? Из дерева высечь искру умеет, и получает огонь и пламень. У других же полководцев, особливо на прусский манер, живой солдат в дерево обращен. Еще в давности, когда он под Кунерсдорфом воевал, хорошая, говорит наш фельдмаршал, вышла школа на чужих ошибках. «Насмотрелся я там Фридриховых правил, с которыми он чуть Пруссию не упустил. И создал понемногу свои правила, навыворот прусским». И что же, спрошу вас, воспоследовало?

Майор — небольшой, крепкий — круто, как ядрышко, вертелся в кабинете, перебегая от Воронихина к Мите, дополняя жестом пламенность чувства.

— А воспоследовало от применения суворовских правил следующее: военная служба у всех — пугало, а у Суворова служить — превеликое счастье. Он — отец-командир, и семья при нем выходит одна, военная. Каждому она — родной дом. У пруссаков не семья — точный механизм часовой. Заведен — идут часы, но человек из солдат вовсе выхолощен. Истинно тупозрячие. А у Суворова каждый станет героем, потому сам он истинно герой и до себя всех подымает...

Майор подошел к Воронихину, с трогательным доверием сказал:

— Ну, кто я был, когда к нему попал, после вам известной моей несчастной истории? Как узнал, что жена моя себя порешила, ведь поехал я на турецкий фронт одной только смерти искать. А нашел-то благодаря ему не смерть, а воскресение из мертвых. Кисель я был, недоросль балованный, от первой в жизни беды распустил слюни. Суворов — отец он мне оказался — от себя самого

спас. Мои растрепанные силы к новой, благородной и мне доселе неведомой цели собрал. Мозги мне своим примером прочистил, до сознания довел, что нельзя весь смысл в своем курятнике полагать, когда родина твоей доблести ждет...

— И вы под Измаилом дрались? — с загоревшимися глазами спросил Митя.

— А как же, я уж тогда несколько другим человеком стал. Разжег нас Суворов неприступную крепость эту забрать. А Измаил-то рвом широченнейшим окружен и в глубину не мал, водой все полнехонько. А над рвом этим вал, сажени в три. Ну-кась, перемахни. Гарнизон турецкий стянут с окрестных всех крепостей, и приказ дан с угрозой — долой башку, коль сдадут. Над гарнизоном наилучший ихний паша — Айдос-Мехмет. А как на нас в Европе смотрели: не взять нам Измаила, не быть России великой державой. Решающая баталия. А у нас ни осадной артиллерии, ни войск. Большинство — казаки — не тем сильны, чтобы крепости брать. Но раз невозможное дело совершить надлежит, кого выбирают? — Суворова. Потемкин что-что, а приказать умел: атаковать Измаил, взять! Осмотрел неприступную крепость наш старик вдоль и поперек, отвечает Потемкину: обещать нельзя. Однако сам, между прочим, не медля ни минуты, к штурму готовится. Ну, в подробности вдаваться не стану, до завтра мне не кончить, как начну. А в краткости скажу, вспомня главное: созвал Суворов совет, объявляет: хоть Измаил неприступен и гарнизон нас сильней, однако я решил его взять, либо сложить свою голову под его стеной. И на рассвете предложил штурм... И ведь до чего бедовый старик, — любовно рассмеялся майор, — сираскиру еще послание закатил: «Прибыл Суворов брать Измаил. Двадцать четыре часа на размышление — воля. Первый мой выстрел — уже неволя. Штурм — смерть». Затем преспокойно объехал полки, со всеми вел свой короткий суворовский разговор, после которого ему все как богу поверили и в победу полную уверенность возымели. То есть сомнения ни малейшего, чародей он, ей-богу. Спокойно колоннами войска ко рвам подошли, и фашины свои во рвы побросали, и лестницы как надо подставили, и на вал взобрались. И в ответ на бешеную защиту турок с «фурией необычайной», как любил он выражаться,

накинулись на врага. Как про это дело вспомню, так в ушах и стоят: «Ал-ла!.. Ур-р-ра!..»

Майор закричал во всю богатырскую глотку, забыв в своем увлечении, где находился. Двое слуг испуганно вбежали в кабинет. Воронихин только махнул им с улыбкой рукой, и, поняв, что господа забавляются, представляя войну, они чинно удалились. Майор, ничего не видя, продолжал свой рассказ.

— Со всех сторон к вечеру прорвались в Измаил колонны наши и зажали турецкий гарнизон. Комендант-паша убит, из конюшен вырвались бесноватые тысячи жеребцов, буря, адский огонь, безошибочный суворовский бой... Измаил наш. Свершилось дело, по аттестации самой императрицы, «едва ли в истории где находящееся». Кем совершено? Суворовым.

— Однако Екатерина даже фельдмаршала ему за него не дала... — начал было Воронихин.

Но майор, вытирая вспотевший лоб белым платком, взмахнул им, как флагом, прокричал:

— Интриги... зависть. Такова участь величайших благодетелей человечества — одарять его бескорыстнейше. А в смысле мелком, житейском, причина такова — большие обиды светлейший князь от Суворова терпел. В языке наш несдержан. Не однажды высмеивал Потемкина за леность, пиры и роскошество. Особливо утомил тот его вялостью, как расселся перед Очаковым и ни с места. Суворов и пустил известное всем словцо: «одним погляденнем крепостей не берут». Донесли. Еще и стишок он пустил: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу» — донесли. А после Измаила, своего неслыханного геройства, Суворов окончательно Потемкина оборвал. Тот ему сверху вниз, как со всеми привык говорить: «Чем могу я вас наградить?» — А наш-то в ответ с изумлением: «Вы меня? Да ничем. От одного господа бога себе жду награды...» Дождался. Вместо фельдмаршальского жезла и почета его в Финляндию почти на штатскую службу государыня упекла. Однако все же Суворову было легче в Екатеринино царствование, чем сейчас. Царица его хоть не любила, да ценила, а Потемкин кое в чем одного с ним мнения насчет солдата был, что для Суворова важнее персонального к нему фавора. Потемкин облегчение солдату в амуниции сделал — «солдатский туалет таков, что

встал да готов». А ныне-то: шагистика, фрунт, коса, шпицрутен, Сибирь... За непризнанье таковой науки и посажен в Кончанское. Ну и отрубил он, как на камне вырезал, свой приговор подобным свыше распоряжениям: «Строгость от прихоти есть тиранство».

— Что старое поминать, дорогой Иван Петрович, — примирительно сказал Воронихин, — сами говорили, сейчас Суворов опять вознесен будет. Опять понадобится России.

— И как бы мог не понадобиться, ежели он первейший полководец и первейший по качеству человек? — с гордостью и чувством закончил Дронин и, вдруг глянув на стенные часы, смешался. — Ах, батюшки, у меня ж свидание важное по поручению фельдмаршала. А я столь задержался...

— Из-за него же и задержались, — улыбнулся Воронихин. — Это простительно; будь я помоложе, после вашей блистательной ему аттестации непременно просился б к нему волонтером.

— На своем месте и вы, Андрей Никифорович, первейший хозяин, что ни построите — гляди, на мраморной доске надлежит написать золотыми буквами, потомкам на память.

Крепкий, подвижной, как ртуть, Дронин попрощался с Митей и Воронихиным рукопожатием сильной руки, словно передавая свое здоровье и свежесть чувств. Он позвал их обоих зайти к нему как-нибудь на днях, посмотреть какой-то необычайной масти жеребца, интересного для живописной картины, и ушел быстрым военным шагом.

— Понравился тебе, Митя, мой земляк?

— Очень понравился, — улыбнулся Митя, — хандру он снимает. Повеселело, словно с ним вместе лесной воздух ворвался.

— А ты обратил внимание, Митя, на главную часть его рассказа, что таковым он совсем раньше не был, напротив того, аттестовал он себя погибавшим от разбития личной судьбы. Ведь это не кто иной, как Суворов его воскресил...

— Не пойму, куда вы клоните, Андрей Никифорович, — насторожился Митя, — ведь не в волонтеры же мне проситься к Суворову?

— Почему бы и нет, — сказал Воронихин своим приятным, слегка наставительным голосом, — если пребывание в его войсках превращает недоросля, разбитого жизнью, в отлично свинченного, нужного человека, каким оказался Иван Петрович Дронин. Еще сходим к нему, присмотрись. А то порекомендую тебя как подходящего художника, им в походах весьма будешь кстати. А случится опасное дело — от него не откажешься, ты ведь, знаю, не трус. За время же твоего отсутствия, надеюсь, Маше добудем свободу, ко всеобщей радости. Ты можешь вернуться прославленным, с новым совсем положением. Чем судьба не шутит? — Воронихин взял Митю за руку. — Подумай-ка.

— А ежели буду убит, либо хуже того — изуродован?

— Я с судьбой не привык торговаться, — суховато отозвался Воронихин, — по мне всего лучше тут пословица: «либо пан, либо пропал».

— Андрей Никифорович, простите, ежели дерзок покажется мой вопрос: я слышал, задача масонского ордена — создание высшей породы людей, лучших, чем обычные люди... Но как, в таком случае, члены подобного ордена терпеть могут рабство? Прошу вас, скажите, многие ли отпустили на волю своих крепостных?

Воронихин нахмурился. Митя попал в больное его место.

— Один Гамалея отпустил, — сказал он угрюмо, — один из всех нас он роздал свое имущество отпущенным на волю всем крепостным и остался гол как сокол. Последователей не нашлось.

— Но сейчас, Андрей Никифорович, во что сейчас вы верите?

— Только в лучшие будущие времена, — ответил со всей серьезностью Воронихин. — Не скоро, но таковые настанут. А сейчас вашему поколению надлежит самих себя создавать, людьми делаться такими, которые достойны будут принять новую, лучшую жизнь. И еще раз, Митя, совет: с твоей разбитостью, оставшись здесь, ты никуда не выберешься. Судьба предлагает тебе нежданную помощь — великий и доблестный пример человека, у которого слова не расходятся с делом. Воспользуйся не колеблясь.

Митя благодарно взглянул на Воронихина:

— Вы — как отец мне, Андрей Никифорович.

Глава одиннадцатая

Денщик Прохор, вдруг отрезвевший после обеденной выпивки при виде лихой фельдъегерской тройки, свернувшей к дому Суворова, ворвался к нему в комнату и испуганно прошептал:

— Фельдъегерь жалует...

Суворов сильно побледнел, забилось сердце, и в голове пронеслось: дождался.

— Открыть ворота! — приказал он.

И не забыв заложить закладку, вышитую крестиком дочкой Наташей, на оборванном чтении любимой книги о деяниях Петра Великого, он прошел к теплой печке и стал прямо, словно во фронт, прислонясь спиной к расписным изразцам.

Суворов недавно послал государю просьбу о разрешении идти ему в монастырь. Он был истомлен вынужденным бездействием ссылки, тоской и обидой на Павла, которому не мог помешать калечить на прусский образец любимое войско. «Каждый солдат мне дороже себя, — говорил, не скрываясь, Суворов, — а у нас он подчинен ныне прихотям и тиранству. За солдата я кого угодно себе воздвигну врагом».

И воздвиг — самого императора.

— Покажет он мне тихую обитель в сибирской тайге, — шептал Суворов, ожидая фельдъегеря.

Но вторично распахнулась дверь, и, улыбаясь восхищенно, Прохор возвестил:

— Обознался я. К нам генерал Толбухин приехали!

— Проси, проси... — и Суворов сам кинулся в прихожую.

Толбухин был одним из немногих приятных ему генералов, присылка его в Кончанское означала царскую милость. Не изгнание, а почет.

В передней обнялись. Сбрасывая на руки Прохору, теперь уже опьяневшему от счастья, обширную волчью шубу, которую не прошибают никакие морозы, сановитый Толбухин, уважительно поклонившись Суворову, произнес:

— С великой вас честью!

Войдя в горницу, он вручил большой пакет с царской печатью.

— Его императорского величества собственноручное вам письмо!

Суворов сломал печать и прочел послание Павла:

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше — спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте от славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».

— Пригодился Суворов! — усмехнулся фельдмаршал. Глаза его загорелись веселым лукавством. — В монахи-то, пожалуй, мне отложить?

— Это Питт, английский премьер, предложил вас союзной армии, — сказал Толбухин, — а министр австрийский Тугут, слыхать, упирался. Боятся они вас, однако пришлось уступить.

— Тугут! — воскликнул Суворов, и слабый румянец вспыхнул на его тонком лице, где, как на лице Вольтера, ничего не было лишнего, мертвого, не выражавшего силы, мысли и воли. — Сия сова или сошла с ума, или его никогда у ней не было! Засел в своем гофкригсрате и оттуда, за сотни верст, мнит управлять своей армией. То-то французишки бьют их. И не зря они меня боятся: я ихнего венского кабинета слушать не стану. И персонального себе профита австрийцы пусть не ждут от меня — я им не каштанный кот из огня каштаны таскать!

— Наши войска, согласно союзному договору, двинуты против Франции... — осторожно начал Толбухин, но Суворов быстро прервал:

— А коли двинуты — о чем и говорить? Теперь только нам побеждать во славу оружия русского! А сие возможно, ежели воевать будем по-русски, а не как нынче обучены все Тугутовы да и наши — по-прусски. Когда я молод был, мы Фридриха бить ходили, и аттестовал он нас так: московиты суть дикие орды. Зато после Кунерсдорфа редакцию изменил: этих русских, сказал он, можно всех до единого перебить, но не победить. А не он ли кричал, не помня себя, когда проиграл баталию: ужели для меня не найдется пули?

И с обидой, заново вспыхнувшей, за свое возлюбленное войско, замученное павловской муштрой, Суворов выкрикнул:

— Ежели русские всегда били прусских, что ж и перенять нам у них?

Поужинали рано и пошли на покой. Выезжать надлежало на рассвете.

— Проша, — сказал, словно робея, Суворов, — ты бы у старосты в долг раздобыл. Путь-дорога нам дальняя, а у фельдмаршала денег-то...

— В кармане вошь на аркане — известное дело, — докончил Проша и пошел к Фомке, старосте.

Достал двести рублей.

Всю дорогу Суворов погружен был в глубокую думу. Лицо его, пленявшее быстрой сменой выражения, как бы замерло. Большие веки прикрыли зоркие глаза, он весь ушел внутрь себя. Он готовился к великому бою... Несмотря на большой соблазн предложения Австрии, он твердо решил взять командование союзной армией только в том случае, если Павел не свяжет его никаким обязательством следовать в предстоящем итальянском походе его прусским затеям.

В свою очередь и Павел немало волновался, ожидая Суворова. Прежде всего он боялся, что строптивый старик не поедет вовсе, и что же тогда с ним прикажете делать? Сейчас, в виду внимания к нему всей коалиции, не ссылать же его, в самом деле, в Сибирь?

Со все растущей обидой вспомнил Павел, как в последнем свидании тщетно уламывал фельдмаршала вступить вновь на службу; как на разводе, куда Суворов был им приглашен, единственно из уважения к нему солдат пустили «в штыки», а Суворов развода не досмотрел и уехал раньше его, императора, явно придумав зазорный предлог: «Помилуй бог, схватило брюхо!» Припоминал Павел, шагая взад и вперед по опостылевшему покою Зимнего дворца, из которого все еще не удалось переехать в Михайловский замок, и все уже ставшие поговоркой народной издевательские словечки Суворова над введенной им формой одежды, над косой, треуголкой и пудрой. И как при встрече с ним Суворов нарочно не мог вылезти из дверцы кареты: все будто путался в ней со своей шпагой нового образца под приглушенный хохот придворных.

— И какой только силой этот старик побеждает, воюя противу всех воинских правил? — с досадой спро-

сил себя Павел. Тут же с радостью вспомнил отзыв завистливого царедворца, услышанный им намедни: у Суворова не искусство военное, а чистый натурализм, сиречь — случай, безумие, счастье. Однако сей натурализм немалую нам снискал победу при матушке — под Рымником Суворов побил с двадцатью пятью тысячами сто турецких, а при Козлудже с восемью нашими вражеских сорок.

Павел подошел к высокому готическому шкафу, вынул старую книгу в кожаном переплете и сел в кресло. Он раскрыл Сен-Мартена на главе «О священной иерархии» и прочел знакомые страницы, которые неизменно подкрепляли его веру в свое высшее право и значение.

Выходило, что монарх — орудие самого бога, и на нем, после помазания на царство, как на лице духовном, почиет благодать.

«Коль скоро я не самовольно на троне, как моя покойная матушка, — гордо думал Павел, — я самим рождением моим поставлен над всеми, то сим правом обязан воспользоваться. Более того: обязан настаивать, хоть бы с применением силы, на исполнении воли моей».

А воля Павла была выражена еще в той записке, которую, будучи наследником, он подавал Екатерине, о необходимости ограничить людей, от фельдмаршала до рядового, столь подробными на все инструкциями, чтобы ни мысли собственной, ни самоволия иметь не могли.

Тем более сейчас больная душа его находила недостающую ей опору в механичности порядка, доведенного до того предела, где и лишний вздох становится проступком.

А строптивый фельдмаршал, ему не раз доносили, во всеуслышанье объявлял: «Действуй неустанно собственным разумом — будешь жив, человек!»

Усилием воли Павел отогнал от себя распалявшие гнев воспоминания о Суворове. Сейчас все-таки самое главное — чтобы он приехал.

Наконец бешено примчавшийся курьер, предваряя фельдъегерскую тройку, привез известие, что фельдмаршал вот-вот прибудет в Петербург.

У Павла отлегло от сердца — не посмел ослушаться! Но тут же привычная подозрительность влила свою отраву:

— За легкими лаврами старик поспешил, думает, за горами мне его не достать. А ну, как разложит он мне самовольством всю армию? Досмотр за ним нужен, досмотр...

И Павел велел призвать к себе генерала Германа.

Недаровитый, старательный служака, этот генерал, всем подтянутым видом отвечавший требованиям Павла, изобразил на тусклом лице своем одну готовность слушать и исполнять.

Павел сказал:

— Венский двор просил меня начальство над союзными войсками вверить графу Суворову. Предваряю вас, что вы будете все время его командования иметь за ним наблюдение и соответственно делать доклады об оном. Не допускайте его увлекаться своим воображением, заставляющим его забывать все на свете.

— Ваше величество, — оторопев от испуга, сказал Герман, — но фельдмаршал ведь всемирно прославлен победами, и ему шестьдесят девять лет...

— Нет ему возраста, — оборвал Павел, — а его своеволию нет предела. Исполнять, что приказано!

Доложили Суворова. Павел, сильно волнуясь, сделал несколько шагов на середину покоя. Суворов вошел.

Обычная легкость его существа от усилившейся худобы и болезней стала какой-то невесомой, крылатой. Казалось, он освобожден от всей земной тяжести и, если захочет, может взлететь. Гармоничность его быстрых мелких движений и соразмерность всех членов создавали впечатление отлично подогнанного легчайшего механизма, вместе с тем не хрупкого, но обладающего гибкой крепостью стали.

От нервного возбуждения сейчас особо подчеркнут был мускул правой щеки, чуть змеилась улыбка. Его глаза, широко раскрытые, синие, полны были такого зоркого огня, такой превышающей силы, что Павел вдруг смешался и не знал, что сказать.

Суворов поклонился согласно этикету, но заговорил первый:

— Ваше величество! Во славу моей родины приношу жизнь мою и все мои знания. Но слушаться гофкригсрата — воля ваша — не стану! За тысячу верст невозможно баталией руководить. Одна минута решает исход. Один

час — успех кампании. Один день — судьбу империи. Коли я полководец — сам действую, сам решаю, сам отвечаю.

Павел сделал еще шаг к Суворову и внезапно для себя самого вдруг сказал:

— Воюй, как умеешь...

Очень скоро Суворов уже несся в дорожной кибитке в Вену с неизменным своим спутником, денщиком Прошкой.

После прощальных возлияний с приятелями Прохор мирно похрапывал, а Суворов никак не мог успокоиться на кожаных подушках сиденья: то он вскакивал, наклоняясь вперед, как бы стремясь еще ускорить бег коней, то, взобравшись высоко, говорил сам себе:

— «Воюй, как умеешь» — вот это дело! Ну и повоюем же мы...

Прохор проснулся и ворчливо сказал:

— И мягко, кажись, вам и тепло. Чего еще требуется? А человеку из-за вас не вздремнуть.

— Торжествуй, Проша, — Суворов хлопнул денщика по колену, — первая наша победа одержана. Как в поход тронемся, окаянную косу всем прочь!

— И дело, — согласился Прохор, зевая, — давно б ее крысам сожрать.

Митя уехал с Дрониным вслед Суворову.

Он виделся с Машей перед своим отъездом на плацу Коннетабля после развода. Случилось так, что Павел как-то, внезапно обернувшись, увидал смотревшую на развод Настеньку Берилеву, лично известную ему балерину. Вместе с подругой она прибежала сюда к своему воздыхателю на свидание, но государь пришел раньше обычного и, подбежав к балерине, грозно спросил: «Вам что здесь надо, сударыня?»

— Ваше величество, мы пришли любоваться, влекомые красотой сего военного зрелища, — окунаясь в придворном реверансе, сказали обе подруги.

Павел улыбнулся, и назавтра императорский балет получил приказ ежедневно присылать наряд балерин присутствовать при разводе, если он столь сильно их восхищает. Немало досталось от подруг Настеньке Берилевой. Однако воля государя священна, и несчастные балерины, проклиная разводы и парады, принуждены

были вставать еще раньше, дабы не явиться после государя. Пока Гертруда была заступницей Маши, ее не назначали на это досадное дежурство, но едва стало известно, что положение ее заколебалось, тотчас ее зачислили в список «разводных» балерин. Митя узнал, что Маша должна быть в «наряде», и поторопился увидеть ее по дороге домой.

Маша была предупреждена Митиной запиской о том, что ему необходимо ее повидать. Сильно волнуясь, она незаметно отстала от подруг, обещавших скрыть от надзирательницы ее недолгое отсутствие, и села на скамью под одну из древних елизаветинских лип, только что скинувшую зимний снег и особо отчетливо на бледноголубом небе выделявшую сложный рисунок черных ветвей.

Воронихин рассказал ей, что Митя счастлив, узнав про ее действительные отношения с князем Игреевым. Но Машу это не обрадовало, как можно было бы ожидать. Ее гордость была задета, и сейчас, ожидая Митю, она, несмотря на счастье опять увидеть его, говорить с ним, горько думала о том, сколько примеси самолюбия в мужской любви.

— Ты меня простила... пришла? — сказал незаметно подошедший Митя, опускаясь рядом с ней на скамью и беря ее за руку. — Отчего же я должен был узнать от других, а не от тебя самой, что ты не состоишь в фаворитках Игреева? — с нежным упреком вымолвил Митя, вглядываясь жадно в похудевшее, но ставшее еще прекраснее лицо Маши.

Маша, слегка покраснев, сказала:

— Судьба моя и сейчас на волоске; как и раньше, я завишу от прихоти князя. На мое счастье, он стал увлекаться Тугариной, а у нее расчет — за него выйти замуж. Но все может опять измениться. Словом, счастья со мной я тебе не могу обещать, — сказала она со своей особой грациозной улыбкой, — но фавориткой княжеской я не стану, в этом теперь можешь быть уверен, — жизнь для меня уже потеряла заманчивость.

— А искусство? Оно ведь ревниво, ему надо всем жертвовать, — горячо спросил Митя, пытливо смотря в ее умные, усталые глаза.

— Если нельзя будет мне проявить это искусство, не замаравшись в грязи, — я и без сцены могу обойтись.

— Безмерно люблю тебя, Маша. Прости мне, прости, — и Митя, охваченный горьким раскаянием, целовал Машину руку, — разреши мне, как раньше, считать тебя моей нареченной невестой. И когда я вернусь, мы женимся, Маша.

Маша быстро повернулась, спросила в волненье:

— Ты уедешь? Куда и зачем?

Митя рассказал ей о знакомстве с майором Дрониным, о совете Воронихина, о все растущей своей уверенности, что ради грядущей их судьбы ему необходимо сейчас уехать в армию.

— Я боюсь за себя, если останусь здесь, — сказал, побледнев, Митя, — я дольше не могу вынести этого ужасного ожидания, я убью Игреева или себя. Если бы мое присутствие могло помочь тебе, Маша...

— Нет, — поспешно прервала Маша, — мне будет легче, когда ты уедешь, Митя! Пока я не свободна, нам видеться только мука.

Еще раз Митя встретился со своей невестой у Воронихина, куда пришел и Дронин, очень полюбивший Митю. Он поведал Маше, что считает ее жениха своим младшим братом и в случае какой с ним беды немедленно ее известит.

Митя и Дронин догнали Суворова в Митаве, где он на некоторое время остановился. В этом городе поселен был сейчас Павлом бежавший из Франции брат казненного короля, претендент на французский престол — Людовик Восемнадцатый. Представляться Суворову явились все придворные чины и в ожидании его появления занялись пересудами на его счет. Опасались, не явится ли старость помехою для снискания ему новых лавров, а России — победы. Некто, недалекого ума, позволил себе через переводчика допрашивать Прошку, какие именно медикаменты употребляет его барин, чтобы от дряхлости не дремать на коне?

— Пусть у него самого спрашивают, — велел переводчику ответить Прохор, — он им покажет кузькину мать! — И, найдя мало вразумительным свой ответ, добавил еще несколько русских слов.

Последние, как и «кузькину мать», переводчик перевести не сумел. Прохор не настаивал и отправился к фельдмаршалу с докладом.

— Ответь, батюшка, им по-свойски.

— Сейчас, Прошенька, я отвечу, — согласился Суворов, и не успел тот ахнуть, как фельдмаршал, широко распахнув обе двери приемной и представ перед парадными мундирами в одном нижнем белье, громогласно возгласил:

— Суворов сейчас начнет свой прием!

Дамы в обморок — он в одном нижнем! Мужчины возмущены: выжил из ума, он погубит армию...

Прохор сел на пол и гоготал:

— Ерой наш фельдмаршал, чистый ерой. Такого не было и не будет. Он врага в штык возьмет, он портками дуракам рот заткнет.

Митя был глубоко растроган, когда в Вильно, где стоял любимый суворовский Фанагорийский полк, к Суворову от имени всех солдат обратился гренадер Кабанов и просил его взять с собою весь полк в Италию.

Суворов, который особенно любил своих фанагорийцев, тоже расчувствовался, но принужден был им отказать, потому что только один государь мог дать просимое назначение.

Митя чувствовал себя как бы вновь рожденным в чьем-то здоровом, молодом, налитом бодростью теле. Порой сердце ныло при воспоминании о Маше — не затаила ль обиду? Не груб ли он для ее гордого нрава со своей ревностью? Не нужно ли было еще раз повидаться? Нет, — прерывал он себя, — каждая встреча — новое страдание. Суждено быть вместе — мы будем. А нет — отрубить лучше сразу...

И Митя, кроме необходимых зарисовок, указываемых ему Дрониным, сначала чтобы забыться от непосильной тяжести, но вскоре увлекшись самим делом, упражнялся так усердно заодно с молодыми солдатами, что Суворов, узнавший от Дронина его историю, как-то сказал ему:

— А ты, братец, как будто не столь Аполлону, как нашему Марсу привержен? Что же, в атаку возьмем.

— В обозе не спрячусь, — ответил весело Митя.

Дронин все сильнее привязывался к Мите, найдя в нем себе нежданное обогащающее дополнение. При всей бур-

ности темперамента Дронин души был простой и бесхитростной, а жажда Мити найти разрешение вопросов, которые ему и в голову не приходили, и занимала его и вызывала в нем уважение к молодому другу.

Митя жадно выспрашивал Дронина о предстоящей кампании, об отношении австрийцев к Суворову и скоро составил себе ясное понятие о новом военном мире, куда попал нежданно-негаданно, как во сне.

Митя проникался все большей любовью к изумительному человеку и полководцу, которого теперь мог наблюдать своими глазами. Он знал от Дронина, как догадливо определил претендент на французский престол чудачества Суворова: «Это расчет ума тонкого и дальновидного», — и сам, присмотревшись, решил, что определение это правильно; оно было ключом к непостижимому для австрийцев поведению Суворова в Вене.

Кто для гофкригсрата был русский полководец? Чудак, дикарь, не умеющий вести войну по правилам, но которому непостижимо сопутствовала многократно проверенная удача.

Хотя высшая австрийская военная инстанция назначила Суворова главнокомандующим соединенной армии только благодаря настояниям Питта, однако в Вене создали не только внешний почет, но и оказали уважение общеизвестным причудам фельдмаршала.

Во дворце, где он был помещен, занавесили зеркала, для постели ему на узорный паркет, натертый до блеска, принесли охапку душистого сена. Не уставали лицемерно и преувеличенно восхищаться суровым распределением рабочего дня фельдмаршала. Вставал Суворов, как всегда дома, в четыре часа, обливался ледяной водой и в восемь уже обедал весьма скромными яствами. Он не посещал раутов, ссылаясь на нездоровье, так что император Франц, опасаясь нарваться на отказ, Суворова к себе и не пригласил.

Особенно торжествовал Митя, когда слушал рассказ Дронина о том, как явились к Суворову члены гофкригсрата, о котором он говорил обычно, расчленяя насмешливо длиннейшее слово на три составные и сопровождая каждое либо припрыжкой, либо преувеличенно уважительной гримасой:

— Придворный военный совет. Сиречь: гоф-кригс-рат!

Этот вот кригсрат предложил Суворову изложить подробно весь план своей кампании. Фельдмаршал увернулся, объявив, что планы у него появляются только на месте баталии, соответственно создавшимся обстоятельствам. Тогда австрийцы принесли план собственный, где конечной целью кампании намечено было оттеснение французов к реке Адде.

Дронин по секрету поведал Мите:

— А старик наш такой быстрый — хвать карандаш да по австрийскому плану крест-накрест. Закрестил его, как нечистую силу, отошел и, гордо подняв свой хохолок, говорит: «А я только и воевать начну с этой вашей Адды, а уж кончу где бог повелит!» — У самого же, ей-богу, давно готов план, только горе-генералам австрийским, которые все битвы пока что проиграли, его поведать не хочет. «Вороны, — говорит, — они все, хоть и ученые. Поведай я им, а назавтра мой план французы от них же узнают».

Однако при прощании первый министр все-таки ухитрился вручить Суворову несносную инструкцию императора Франца — приказ сообщать в Вену не только действия, но и военные предположения...

— Это сова сумасшедшая, Тугут, натугутил! — фыркнул Суворов. — Они бы еще с луны затеяли руководство боями.

Из Вены Суворов и все русские двинулись в действующую армию. Во власти Суворова были австрийцы под командою старого генерала, «папаши Меласа». Французы двигались с талантливым Макдональдом и нелюбимым солдатами старым генералом Шерером.

Тихоходная австрийская армия под нажимом Суворова сразу преобразилась. Он вдвое увеличил дневной переход, и что русским было привычно, для австрийцев превратилось в пытку. Обувь скоро развалилась, шли босые, неустанно жалуясь на жестокие требования главнокомандующего. Русские же солдаты, освобожденные от ненавистных кос, заметно повеселели и рвались вперед. Пока без боев подошли к Вероне. Французы раздражили своими грабежами население, и потому Суворов встречен был как освободитель: веронцы выпрягли из коляски его лошадей и на себе ввезли в город.

В Вероне Суворов принял командование союзной армией. Дронин усадил Митю с его альбомом так, чтобы он не проронил ни одного выражения необыкновенного лица Суворова, которое во время церемонии приема то и дело менялось. Старый воин генерал Розенберг по очереди представлял ему главных австрийских начальников и всех русских. У Суворова уже о каждом было свое мнение, каждому сделан учет заслуг и дарований, но он сделал вид, будто видит представляющихся ему впервые. Суворов вытянулся нарочно церемонно, словно стоял во фронту, и закрыл глаза. Прозрачные старческие его веки чуть дрожали, порой выглядывал из уголка насмешливый острый зрачок.

Розенберг называл фамилии людей, не обладавших особыми дарованиями, тусклых, в лучшем случае усвоивших знание механизированной военной науки, тупозрячих австрийцев, либо гатчинских молодцов, за отличием и чинами поспешивших на войну да попутно чтобы выследить и доложить государю все промахи фельдмаршала против предписанных мелочных правил введенного Павлом устава. Самовольник-фельдмаршал — твердо знали они — как был, так и остался неугоден императору и только в силу необходимости вызван из ссылки на высокий пост: по настоянию Англии в угоду вспыхнувшему тщеславию самого императора, объявившего придворным, что «русские всегда пригождаются». Пока фамилии называемых Розенбергом людей не вызывали уважения Суворова, он, как бы тихо изумившись, однако явственно, во всеуслышание восклицал:

— Помилуй бог, никогда не слыхал... познакомимся.

Проглотив горькую пилюлю, однако хорохорясь и пряча до подходящей расплаты свою обиду, начальники, поклонившись, шли мимо, а Дронин шептал Мите, увлеченному своими набросками:

— Еще один враг готов... эх, свалят они его, как злые осы медведя!

Зато едва попадался воин, любящий свое дело, глаза старика загорались горячим приветом. При появлении же молодого Багратиона сам фельдмаршал вмиг помолодел и кинулся к нему с объятиями.

После приема все ждали от главнокомандующего парадной и пышной речи, в которой, как обычно в таких

случаях, для поощрения участников возлагаются на них словесно те и другие преувеличенные надежды с перечислением предполагаемых достоинств.

Митя, не однажды слыхавший из уст Суворова, что слова потребны лишь для крайней необходимости, а память должна удерживать лишь то, что говорит рассудок, все же прочее — болтовня, лишний хлам, — оставив свой альбом, вытянувшись за спинами генералов, с любопытством ждал, как сейчас обнаружится Суворов.

А он, пренебрегая важной неподвижностью, которая, по представлению австрийцев, была выражением собственного достоинства, быстрый, легкий, заметался вдруг по комнате, словно наглядно сбрасывая с себя все те лишние, не решающие дела слова, которых, знал он, все от него ждали. И вдруг остановившись, произнес то единственное, что почитал нужным. Говорить лишнее было ему столь нестерпимо, что он просто повторил всему генералитету те руководящие слова, которые уже были им найдены и закреплены в его «Словесном поучении солдатам». Их он и просыпал частым градом на почтительно склоненные головы начальников:

— Субординация, экзерциция, чистота, здоровье, бодрость, смелость, храбрость, победа. И — каждый воин должен понимать свой маневр.

Австрийцы, почитая, что они давно превзошли гораздо сложнейшую военную науку, обиделись и послали в Вену не один донос на самодура-фельдмаршала.

Митя досаждал Дронину своим возмущением австрийцами и восхищением фельдмаршалом, который, невзирая на общее недовольство, приналег на обучение союзников и вдохновенно вдалбливал свою боевую суворовскую азбуку «тупозрячим».

Все реже брал теперь Митя карандаш в руки, все серьезнее упражнялся со штыком. То, что не было первой необходимостью в ожидании предстоящих боев, отодвинулось, стало казаться неважным. Он словно вышел из тяжелой болезни и вновь приобрел утраченную простоту детских лет, когда нет еще груза сомнений, когда поступки предначертаны и ясны.

Около половины марта великий князь Константин выехал в армию Суворова. Он давно порывался на войну, но Павел ему сказал:

— Голицын ведет вспомогательный корпус, состоящий на жалованье у Англии, а корпус Розенберга на таковом же положении у Австрии, я бы не хотел, чтобы русский великий князь стал участником такого похода.

Но вот образовалась суворовская армия, которую льстиво именовали «спасительницей Европы». Она снаряжалась на свои, русские средства, и Павел с особым удовольствием отпустил туда сына.

Константин выехал волонтером с небольшой свитой, главным приставленником к нему был один из лучших екатерининских генералов, Дерфельден. Этот же Дерфельден назначен был Павлом в случае смерти Суворова ему преемником.

Константину было всего двадцать лет. Он рос под торжественной сенью оды Державина, еще до рождения приветствовавшего его как «носителя шлема». Поэт шел навстречу мечтам императрицы Екатерины — воспитать второго внука императором греческим, почему и ожидало его преемственное имя Константин, уже украсившее двух доблестных императоров. В десять лет, однако, «носитель шлема» еще не умел бегло читать, а когда ему минуло пятнадцать, многотерпеливый великокняжеский наставник Лагарп, указывая Екатерине на всю бесполезность занятий со своим младшим питомцем, просил его уволить от этого дела. И до наук ли было, если шестнадцати лет этот великий князь уже женился. Однако тот же справедливый Лагарп отмечал, что в характере Константина заложены зачатки добродетелей и талантов, превышающие обычный уровень, но недостатки его неодолимо препятствуют развитию сих добрых качеств...

Но если к наукам у Константина было решительное отвращение, скоро он сделался усердным служакою, крайне требовательным и подчас даже жестоким к солдатам своей роты. Унаследованная от отца неуравновешенность и бешеная вспыльчивость доводили его до такого самовластия, что имеющие с ним дело военные высших чинов должны были припугивать его военным судом и собственным родителем, которого он трепетал. Однако, подтягивая самолично ослабевшие ремни ранцев у молодых солдат, не мог воздержаться, чтобы не дать им походя зуботычины...

Этого сына, с одной стороны, отличного выученика ненавистной Суворову гатчинской школы, с другой — обладавшего ничем не укротимым своеволием, Павел, не без тайного злорадства, послал к Суворову, отлично зная, как его присутствие может стеснить главнокомандующего.

Суворов ждал Константина с великим неудовольствием. Помимо невыгодного личного впечатления, он помнил отрывки из записок сего «носителя шлема», где выступала вся его убогая военная философия, совершенно противная основным положениям суворовского «Словесного поучения солдатам».

Константин полагал, что «причуда» начальника должна сделать своего подчиненного слугой, который может быть «употреблен на все».

Великий князь, как и недавно приехавший Суворов, остановился в Митаве, где его угощал парадным обедом брат казненного короля и где с французским остроумием ему рассказаны были пресмешные вещи про Суворова, которого он тайно боялся.

Выход Суворова в одном нижнем белье, с молниеносной сменой его же и появлением в полной парадной форме, для наглядного опровержения старческой дряхлости, — пленил Константина, и показалось ему в глупой заносчивости, что его собственное самодовольство чем-то сродни причудам главнокомандующего. И если Суворову лестно было доказать перед нарядной приемной, что он не мокрая курица, а орел, он оценит и ту безоглядную храбрость, которую он, царский сын, собирается проявить.

На последней станции перед Веной великого князя встретил его родной дядя, герцог Вюртембергский, губернатор Вены. Он с ужасом рассказал племяннику про все капризы фельдмаршала, напугавшие австрийский двор: как он во дворце сделал себе сеновал и как повел образ жизни, более приличный настоятелю монастыря, нежели полководцу, имеющему общение с коронованными особами.

Константин хохотал:

— Это он нарочно, чтобы показать, что ему на всех вас наплевать...

Однако ему было лестно, что сам он ежедневно обедает с императором во дворце, что русский посол Андрей

Разумовский в его честь устраивает в своем великолепном доме на Пратере рауты, концерты, что когда он появился в театре, то он был встречен вставанием и единодушными рукоплесканиями.

И мало-помалу потерявшему голову от почестей Константину стало казаться, что главнокомандующий армией не только один Суворов, но и он сам как-то не менее важен.

Он было собрался пожить в веселой Вене, но Дерфельден заторопил его, пугая, что Суворов так скоро порешит, по своему обыкновению, с врагами, что на долю великого князя и побед не оставит. Взбалмошная голова Константина полна была одним желанием отличиться, и, оставив Вену, он явился в корпус генерала Розенберга, который находился вблизи Валенцы.

Узнав, что около Валенцы большое скопление французских войск, а сам город сейчас для общего плана войны брать неважно, Суворов предписал Розенбергу срочное отступление. Только что появившийся Константин, считая, что подходящий случай ему прославиться наступил, стал требовать атаки Валенцы. На Розенберга он подействовал насмешкой:

— Вы привыкли служить в Крыму, там были спокойны и неприятеля в глаза не видали!

И старый генерал, как тщеславный мальчик, ослушался главнокомандующего и пошел на французов.

Константин рвался вперед без оглядки и чуть было не погиб в реке. Благодаря его запальчивости и малодушию генерала бой при деревне Бассиньяно был проигран. Русские совершенно зря потеряли около полутора тысяч человек и два орудия.

Суворов был в ярости. Он послал вторичный приказ отступить с собственной отметкой Розенбергу: «Сие немедля исполните или подлежите военному суду».

Розенберг, гонимый превосходными силами французов, отступил в беспорядке, и Суворов принужден был сам поспешить ему на помощь.

Все ожидали, как встретит Суворов великого князя, который должен был после проигранного боя явиться к нему.

Суворов встретил Константина, строго соблюдая предписываемый в сем случае этикет. Он вышел к нему

навстречу, склоняясь, быть может, несколько подчеркнуто, ниже, чем следовало.

Константин, выглядевший гораздо старше своих лет, коренастый, словно налитый тяжестью, раскаяния и страха не проявлял. Он только против обыкновения не сутулился, а напряженно выставил голову, будто собрался бодаться своими дремучими, кустистыми бровями цвета спелой соломы.

Суворов впустил великого князя и собственноручно запер за ним дверь. Быстро оглядел, не задержался ли где Прошка подслушать, и близко подошел к Константину.

— Легкую захотели себе, сударь, победу? — гневно начал он и на попытку великого князя что-то ответить с такой силой не то что крикнул, а, напротив того, прошептал: — Молчать! — что Константин оробел. — Легкую победу, да нелегкой ценой! Уложил зря полторы тысячи человек. Солдат дорог! — крикнул Суворов. — Забота о чести русского оружия, забота о людях, кои вам вверены, — вот долг. А вам? Что вам, сударь, доступно?

Суворов отошел и вдруг подбежал так близко, что вытянувшийся по швам Константин заморгал часто-часто рыжими ресницами и его большие голубые глаза непроизвольно налились слезами.

Суворов, как бы бросая круглые камни в тихую воду, сказал, отчеканивая каждое слово:

— До сей поры вам свойственна была лишь строгость по прихоти, что есть — тиранство. Вместо истинной военной науки вам известны: бахвальство, шагистика, фрунт... А что солдата губить — негодяйство, вы об этом когда-либо думали? На всю жизнь за солдата ответ. Нельзя, сударь, жить негодяем, ежели именуетесь — человек!

Не страх, лишавший всех чувств, как это бывало при гневе родного отца — императора, не то позорное чувство собаки, которую убить может хозяин, — нет, нечто расширяющее душу, нечто вдруг вызывающее ее лучшие качества ощутил Константин перед этим невысоким, словно бы тщедушным человеком, который, не боясь ответа, немилости, Сибири, говорил с ним, царским сыном, как власть имеющий.

— Да будет вам стыдно от упреков собственной совести, — приказал Суворов, и Константину стало стыдно, хоть провалиться.

Впервые, потрясенный, ощутил он, что кроме грубой физической силы, которую он так ценил в других и которой гордился в самом себе, была еще и сила превосходнейшая, источником которой были ум, сердце, благородство воли.

— Простите... — прошептал Константин и заплакал. Голова его низко склонилась. В размягченной душе пронеслось: вот если бы батюшка был таков, и я б стал иной.

Суворов поспешно опять подошел, чуть коснулся жестких, крутых рыжеватых волос Константина и совершенно другим, большой доброты отеческим голосом вымолвил:

— Запомни же... навсегда.

Суворов открыл дверь и, как при встрече, изгибаясь в придворных поклонах, оказывая Константину как великому князю подобающую честь, провел молодого человека с заплаканным лицом несколько шагов вперед. Затем, повернувшись к свите великого князя, стоявшей в испуганном изумлении, с тихой яростью отчетливо вымолвил:

— А вы? Да ежели в другой раз не удержите, на расправу вас всех к государю! Что, ежели б великого князя взяли в плен? Невыгодный заключать мир с французами? А если бы, помилуй бог, убили? Мне ли его переживать? А кто кампанию выиграет? То-то! Мальчишки...

Глава двенадцатая

Новая большая работа, как всегда, вызвала величайшее напряжение сил Баженова, но здоровье уже было плохо, и угнетала мысль, что и этой последней большой работе предстоит та же участь, которая постигла его великие неосуществленные проекты.

Головокружения с потерей сознания наступали все чаще, тоска глушила последние надежды. Все чувствовали, что близок конец его многострадальной и доблестной жизни.

Но сколь ни были готовы к этой мысли, когда 2 августа 1799 года паралич сердца вызвал внезапную смерть Василия Ивановича, горе преданной Грушеньки было

безгранично. У Воронихина, кроме скорби от утраты великого друга, открытой раной осталась обида против злого рока, как бы положившего заклятие на все завершения гениальных начинаний Баженова.

— С его смертью в Академии, конечно, все будет по-старому, — сказал с горечью Воронихин, входя вместе с Карлом в свой кабинет.

Они только что вернулись с похорон. Без особого приглашения Карл безмолвно пошел за Андреем Никифоровичем, — так само собой вышло, что сейчас им невозможно было разлучиться.

— Осиротели мы, — вырвалось у Карла.

— Когда большой человек умирает, сила и воля его как бы прилагаются сознанию тех, кто их способен принять. В них продолжится его творческая жизнь. Вот оно — бессмертие.

Воронихин сказал эти слова строго и властно, и Карл невольно склонил голову.

— И самое главное, запомни, Шарло, — положил Воронихин свою руку на плечо Карла Росси, — запомни золотые слова Баженова при закладке Кремлевского дворца: «Думают некоторые, что и архитектура, как одежда, входит и выходит из моды, но как логика, физика, математика не подвержены моде, так и архитектура...» Цивилизации возникают и рушатся, верования, которые питали веками человечество, заменяются новыми или исчезают совсем. Роковыми в жизни каждого человека являются разочарования, утраты, непосильное утомление бессмысленной пестротой жизни. На что устремить взоры? Где незыблемость, а с ней необходимый покой? Я разумею, Шарло, — продолжал Воронихин, по своему обычаю при волнении начав ходить вдоль комнаты, — не тот сонливый, бездельный покой, в который легко впадают старики и ленивцы, а божественный покой творца, необходимый для новых зачатий. Зачинать и рождать — от форм простейших до тех, несущих благодеяние всему человечеству, вносящих в мир новое, — есть первейший из законов земли. А обладать творческим покоем — первое условие для выполнения этого закона. И вот, Шарло, что́ хотел Баженов выразить, передать потомству как помощь, как опору в личной судьбе и в работе, когда он сказал: «Архитектура, как логика, физика, математика...».

— И есть та незыблемость, которая утешает, дает питание не только уму, но и сердцу! — восторженно докончил Росси. — Я это сам знаю с детства, Андрей Никифорович, только не сумел бы так выразить, как вы сейчас. В больших огорчениях я, бывало, раскрывал геометрию, — доверчиво признался он, — и, как от созерцания Акрополя или картины да Винчи, великий покой исцелял мое горе.

— И всех людей, дорогой Шарло, надлежит нам этому научить. Получить от искусства не только радость для глаза, но вот эту опору в жизни, эту отраду мысли в незыблемом. Тем более, что выбранное нами с тобой искусство — архитектура — есть искусство всенародное. Послужим ему достойно, по примеру великого Баженова.

— Вот и справили мы ему поминки, — сказал растроганный Росси.

— А теперь, Шарло... — Воронихин замялся. Твердые глаза его затуманились. — После этих поминок, которые должны вызвать в нас все лучшее и сильнейшее, я хочу сказать тебе одному печальную весть.

— О Мите, — воскликнул Карл, — неужто убит?

— Митя не убит, но тяжело ранен в сраженье под Нови. Вот его последние рисунки, присланные Дрониным для тебя и Маши. Прочти письмо майора, посмотри весь пакет. Оставлю тебя одного...

Несколько больших рисунков акварелью и тушью были вложены в тетрадь, исписанную крупным почерком майора Дронина. Это были его пояснения к рисункам Мити, с подробностями передающие темы зарисовок. Начиналась тетрадь письмом к Воронихину:

«Андрей Никифорович, друг и благодетель, слов моих нет, чтобы выразить мое горе: Митеньке, названому брату моему, преславному художнику нашему, в сраженье под Нови оторвало ядром правую руку. Укрытый почтенным русским тамошним жителем, Митя в конце концов был доставлен в наш госпиталь. Сии рисунки его, последние в жизни, просит он передать известной вам Маше и другу своему Карлу Росси. Жизнь Мити вне опасности, но руки нет и нет, чем весьма удручен, но чаятельно мне — он справится. Ибо по богатству души своей не только склонность к искусству имеет, но и великую заботу

о людях крепостного сословия: не перст ли это судьбы, — вымолвил он намедни, — чтобы не быть мне художником, а лишь борцом за обиженных?

Курьер, который передаст вам сей пакет, воротится скоро обратно с рескриптом государя нашему Суворову. Тяжело раненные, среди коих обретается Митя, будут в скорости переведены в доступный посещению городок Богемии. Если Маша захочет, ей возможно туда приехать с упомянутым курьером. Многие жены, переодетые в мужское, уже пребывают здесь при мужьях, хитро укрываясь от ока гнева начальствующих. А сейчас ей и сего укрытия не понадобится... Хотя я Машеньку видел однажды, но столь необыкновенная сила характера заключена в ее привлекательной внешности, что разрешил я себе, старый мечтатель, допустить предположение: благородная Машенька не замедлит пролить бальзам на отчаянное заявление художника, будто для безрукого взаимная любовь — предерзкое самообольщение. Во всяком случае приказал он мне написать, что освобождает невесту Машеньку от данного ему слова. С упованием, что оной свободы она не восхочет,

известный вам майор *Дронин*».

Толстая тетрадка, исписанная крупным почерком майора, адресована была Карлу, и на первой странице ее, вместо вступления, говорилось:

«...Юный Митенькин друг и, смею надеяться, в той же мере и мой, обращаюсь к вам с просьбой прочесть лично Машеньке вслух прилагаемые пояснения рисунков Мити. Сами увидите, что выразительность их говорит за себя, но, желая перенести ваше воображение в испытанные нами бои и события, я для верности заношу здесь условия, их предваряющие и последующие, дабы запечатленный Митиным карандашом момент не являлся для вас некой случайностью. Длинноты рассказа, свойственные немолодому воину на отдыхе (каким я ныне являюсь вследствие обмороженных ног при последнем переходе), скучные для юного слуха, прошу сократить, а грубые выражения, возможно, проскочившие без моего ведома в мою речь, усердно прошу заменить выраженьями деликатными.

Приступаю к картине первой, где великий наш Суворов, без шляпы, засучив рукава, лезет в воду заодно с понтонерами. Начинаю повествование с средины апреля... Объявлено общее наступление, и главнокомандующий погнал нас вперед, что на зайца борзых. Ну, всплакались тотчас австрийцы — сия гоньба превышает-де наше достоинство. Сделав принудительный переход некоей речки под проливным дождем, обиделся сам старый п..... Мелас, австрийский главнокомандующий (Машеньке прочтите «папаша Мелас», выйдет пристойней, чем многоточие солдатской нашей клички). Доведено было сие роптание до Суворова, и он задирательно отвечал: «Ежели ваша пехота боится ножки мочить, пусть остается в тылу с сухими портянками». Австрияки снаушничали в Вену, фельдмаршал получил замечанье и уже без сомненья сказал:

— Видать, мне придется вести тут войну на два фронта.

Однако на реку Адду, не посмотрев на дожди, опять двинул нас круче прежнего. Понтонеры размокли, болеют, чуть тянут мосты. Тут Суворов ка-ак вскочит сам в воду. А Митя — за карандаш и закрепил дело. И ведь не для видимости дал Суворов саперам пример — он лучше их, оказалось, науку ихнюю знает и сметкой всех превзошел. И веселый какой! Известие принесли, что неудачника, старого генерала, сменил блестящий Моро, что, понятно, усилит врага, а Суворову только любо:

— Ту старую перечницу, говорит, нам разбивать мало славы, у Моро же лавры позеленей.

И, конечно, Моро сразу стал исправлять глупость той старой перечницы — стягивать фронт, который тот зря растянул. Однако шалишь, на это Суворов времени не дал. И сколь ни храбры были с новым генералом французы, мы перешли Рубикон... то бишь реку Адду.

А вот момент второй Митиной работы: генералу Серюрье наш главнокомандующий отдает его шпагу и отпускает на честное слово домой (с обещанием, что воевать против нас не будет). Генерал этот был взят с целой дивизией. Обратите внимание, сколь любезно и с тем вместе кусательно говорит ему, протягивая отнятое оружие, Суворов:

— Не могу лишить шпаги того, кто столь славно ею владеет.

Зацепило генерала, ну он петушится:

— Атака ваша была построена на недопустимом в военной науке риске. Это простой случай, что вы победили.

Вот гляньте на следующий рисунок, как у Суворова от скрытого смеха дрожит все лицо, насмешкой искрятся глаза, а говорит он нарочито казанской такой сиротой:

— Что поделаешь, так уж мы, русские, воюем: коль не штыком, так кулаком. Я еще из лучших.

А вот вам, Карл Иванович дражайший, презабавный случай при въезде в Милан. На главной площади перед великолепием собора, этого белоснежного чуда, завершенного тончайше высеченными из мрамора кружевами, — австрийский старец, папаша Мелас, зарыл редьку (это старое кавалерийское выражение, мнится мне, и при девице возможное). Желая облобызать нашего главнокомандующего за доблестные успехи от лица союзной армии, он, дряхленький, не удержался в седле и, будучи верхом, к своему конфузу перехлестнулся через седло. Это перед своими-то и нашими войсками.

— Помолодел папаша от наших побед, юные года на память пришли, — смеялись суворовцы, — не унесла бы его обратно кобыла в конюшню.

Это падение «папаши» Митя смехотворно зарисовал, и при всеобщем веселии оно обошло армию. А наш фельдмаршал запустил-таки гофкригсрату в бочку меду свою суворовскую ложку дегтю: «Ваши австрийцы, — написал он, — почти так же хорошо дрались, как наши русские. Ничего, обучатся...»

Если Машеньку «папаша Мелас» насмешит, просит Митя ей поднести от него на память эту картинку, а уже следующий номер специально вам, Карл Иванович. Извольте выслушать предисловие:

Недолог наш отдых. Опять стремительный разгон по солнцепеку, по совершенно безводной местности. Изнемогаем, изнемогли. А Суворов тут-то и велик. Сам, конечно, вперед, да с шуткой, с прибауткой, с новой затеей, и во сне не увидеть, чем он порой дух взбодрит. Такое придумал, что отстающие так и ринулись к головным. Этот момент Митенька карандашом своим быстрым очень

сходственно ухватил. Извольте хорошенько рассмотреть: под лютым зноем, босоногие, загорелые, драные, черти какие-то неистовые, но во все горло орут якобы по-французски:

— Пардон. Жете-ле-зарм. Ба-ле-зарм...

Случается, на французском запнутся, тогда таким, знаете, русским горохом просыпят, и словно наши лешие в итальянских ущельях хохочут. А цель достигнута — веселье дух подбодрило. Это Суворов так придумал, чтобы ребята двенадцать французских слов назубок знали для объяснения с врагом.

Рисунок, относящийся к знаменитой победе под Треббией, про которую уже общеизвестно как про верх военного искусства нашего Суворова, Митя просит вас, Машенька, под стеклом окантовать и в своем кабинетике повесить, считая, что он наиболее ему удался. За эту победу славному нашему герою государь прислал свой портрет, усыпанный бриллиантами, и рескрипт не без свойственного ему острословия:

— Бейте французов, и мы вам будем бить в ладоши.

Австрийский же Франц прислал тоже рескрипт, где между хвалебных строк так и кололо осиное жало — всегдашний тупоумный намек, что Суворов воюет не по правилу, а ежели побеждает, «тому причиной всегдашнее счастье ваше».

Призвал Суворов кое-кого, и я с Митей при этом были, и говорит:

— Австрийский-то император бессмысленным счастьем нашу военную выучку аттестует, как и прочие ослиные головы... Ох, беда без фортуны, как и беда без таланта.

Тут Митя тихо скажи:

— Великое ваше дарование и есть ваша фортуна.

А Суворов весело так подхватил:

— К фортуне ж мозги. А к мозгам — труды. Трудись, рук не покладая, — обязательно фортуну поймаешь. А ловить надобно ее спереди, за хохол. Сзади-то она лысая... Впрочем, я лично горжусь лишь тем, что я россиянин, и превыше всего тщусь поднять славу русского солдата.

Вот и доказал он сие великой победой своей при Треббии. Неравенство сил было столь велико, что заколе-

бался сам неустрашимый Багратион. Прискакал было с рапортом о необходимости «оттянуться».

— Никак... — сказал тихо Суворов.

И что же изобрел для примера? Пробежал сколько-то, будто вместе с бегущими в панике, и когда слился с ними в единую душу, ка-ак скомандует: стой! Повернул круто назад и такие всем слова: атака, руби, ур-р-ра!

Французы сочли этих, было отступивших, за новые, свежие войска и дрогнули. Где ни покажись Суворов — победа. Ну, словно живой какой талисман. Трехдневный неравный бой — нами разбит Макдональд. Вот Митя и обессмертил Суворова в этом его вдохновении, в могучем приказе бегущим: *стой!*

Дальнейшие подвиги нашего великого Суворова карандашом Мити не могли уже быть зарисованы, ибо сам он умирающий унесен с поля битвы и лишь чудом чужой добродетели остался ныне в живых. Но я пребывал верным свидетелем некоего, превышающего силы человеческие, подвига духа нашего знаменитого полководца. И если рассказанное мною Мите способно оказалось в минуту отчаянного малодушия придать ему, как он утверждает, новые силы, то да поможет приводимый мною ниже героический пример и вам, любезная Машенька, с обновленным сердцем перенести трудный ваш час. Митя еще просит сообщить вам по своему внутреннему опыту сделанный вывод: «Как смоляные некие факелы, и сердца людей зажигаться могут доблестью одно от другого».

Приступаю к посильному изложению вышеупомянутой битвы под Нови.

Первое наше наступление было отбито. Барон Край стал требовать выступления Багратиона. У Суворова были свои расчеты, и он этих Краевых послов никак не принимал, делая вид, что спит, завернувшись в свой плащ. Когда же, по его определению, наступил час, он сам вскочил на коня и скомандовал: «Атака!» Жара была нестерпима. Но люди нападали на отменную позицию французов с яростью, превосходящей все бывшие бои, и все же мы ничего не могли поделать — откатывались обратно. Суворов был в самом сильном огне, провожал, вдохновлял, отдавал всю душу. Впервые под его командой угрожало его богатырям поражение. В последней горести разорвал он ворот рубахи и пал на землю. Ужас нас охва-

тил — если великий духом повергся, значит гибель, конец. Но это было лишь один только миг... Как древний Антей, коснувшись земли-матери, могучий духом встал полководец. Подъехавших с худыми вестями, не дослушав их, отмахнул, произнес тихо, раздельно, с беспредельной силой и властью:

— Атаковать! Победить!

Так, воображается мне, сказать бы мог один бог, вызывая из совершенного мрака свет.

Я счастлив, что был свидетелем, как чудесный гений освобожденной от всякого своекорыстия воли сделал чудо в честь своей родины. Окрыленные суворовской силой, помчались галопом гонцы по частям. Его огневым приказом подняли всех упавших. Рванулись резервы, подоспели к ним запоздавшие генералы. Перед бурей единством сомкнутого войска, слитого с гением своего полководца, побежали французы. И не под силу было врагам сохранить свой порядок. Отступали, бросая оружие, скрываясь в оврагах, в лесах. Большая армия уменьшилась вдвое.

Так вот, мои дорогие, что может сделать с ослабевшими воля одного человека и сколь беспредельны, сколь еще не познаны нами наши собственные силы. А когда наш Суворов, в незримом лавровом венке, коего был вполне достоин, как любимый им Юлий Цезарь, прибыл на отдых к себе и встретил биографа своего Фукса (и скажу между нами: доносителя, по примеру прежде бывших при нем Николаева и Германа), то, внезапно развеселясь, сказал придуманный им стишок:

Конец и слава бою —
Ты будь моей трубою».

Тут прерывались записки майора...

Когда Воронихин вернулся в свой кабинет, Карл сидел на диване с рисунками Мити в руках. Его красивые глаза полны были слез. Протягивая рисунки, он вымолвил:

— Какой оказался он тонкий художник. И потерять руку, едва найдя свое настоящее призвание!

— Митя как-то и мне говорил, что у него тяга к живописи сильнее, чем к архитектуре.

Воронихин еще раз пересмотрел рисунки, отобрал те, которые надлежало передать Маше, и сказал:

— А все-таки истинным призванием Мити, к счастью, является не искусство. Трагедия неравенства людей, вызванная самым их рождением, слишком его потрясла. Если бы вместо России он был во Франции в те незабвенные годы провозглашения прав человека, я уверен, он там оказался бы не последним.

— Быть может, Андрей Никифорович, — застенчиво сказал Карл, — в грядущем царствовании, когда ваш родственник Строганов или, лучше, Поль Очер будет нашим Мирабо, Мите найдется дело и на родине?

— У меня с Митей уже был перед отъездом разговор на эту тему, — чуть нахмурился Воронихин. — Скажу и тебе то же самое, Шарло. Загадывать будущее — бесцельная трата времени. Всегда есть и в настоящем работа. Я думаю, что Митя, встретя величайший пример нашего времени, человека, у которого слова никогда не расходятся с делом, — Суворова, героя-полководца и вместе с тем героя-человека, получил самое для себя необходимое. Потеря руки, конечно, тяжелое событие, но не оно может разбить его жизнь.

— Гораздо хуже, если Маша к нему не приедет...

— Маша приедет, как только в руках ее будет вольная, — сказал горячо Воронихин. — Для этого дела и от тебя, Шарло, нужна будет помощь. Повлияй на свою мать, чтобы она упросила Катрин Тугарину добыть Маше немедленно вольную, пока не уехал курьер. Эта Катрин, между прочим, на днях ко мне заходила с какой-то теткой посмотреть портрет Маши...

— Мне неинтересно, как живет и что делает эта особа, — прервал непривычно резко Карл, — если у меня было к ней чувство, оно давно прошло.

— Но без нее не добыть Маше вольной, — подчеркнул Воронихин. — Только она может выпросить ее у Игреева в качестве свадебного подарка. Он сейчас не на шутку увлекся пикантным кокетством этой девицы, и, пока длится его каприз, она все может с ним сделать. Но нельзя забывать, что, осыпав Машу благодеяниями, он все еще ничего от нее не добился. Пресыщенный своим угодливым гаремом, он весьма задет ее гордой неприступностью и, конечно, опять к ней вернется. Девица Тугарина отлично все это учла и приехала смотреть Машин портрет, чтобы лучше понять, как ей с нею бороться. «На

сцене под гримом они все хороши», — сказала она насмешливо. «Но эта в натуре несравненно лучше», — ответил я, ставя пред нею портрет. Если бы ты видел, с каким сдержанным бешенством она впилась в милое лицо нашей печальной Сильфиды.

«Что вы за него хотите, я покупаю», — сказала она. «Но он не продается, — улыбнулся я. — Портрет я писал для себя. Художнику такое наслаждение воспроизвести на полотне редкую простоту, благородство линий, свежесть чувства...»

— Чем же Тугарина может быть полезна Маше при неприязненном к ней отношении? — сказал Карл.

— Вот именно потому. Надо только на одном замысле соединить этих двух женщин — твою мать и Катрин — и дело в шляпе. Помимо прирожденного почти у всех женщин вкуса к интриге и порочной игре, у обеих, как я уже говорил, в удалении Маши из столицы замешаны самые насущные интересы. Прежде всего, посети скорей свою мать, заинтересуй ее свершением доброго дела, им можно прикрыть, выражаясь витиевато, червь тщеславия, который ее гложет с тех пор, как ее ученицу, к невыгоде учительницы, похвалили в газетах. Только скорее, не теряй времени. А я отнесу Маше рисунки и сообщу ей печальную весть.

Карл только через несколько дней мог быть у своей матери. Маша была тоже там. При первом взгляде на ее осунувшееся лицо Карл понял, что ей уже все про Митю известно, и с особым чувством пожал ей руку.

Мадам Гертруда полна была, как всегда, театральными сплетнями и новостями. Громко смеясь, она удерживала у дверей свою приятельницу, чтобы досказать ей по-французски последний анекдот про директора театров, известного остроумца Нарышкина, сменившего Юсупова.

— Да, моя дорогая, это достоверно, сам государь сказал ему, если хотите, назову свидетелей: «Почему ты не ставишь балет, как при Юсупове, со множеством всадников?» А он-то в ответ: «Мне это не с руки, ваше величество, мой предместник лошадей этих кушал, а я конины не ем». Ха-ха!..

И долго еще из передней слышался смех Гертруды, пока гостья, наконец, не ушла.

Гертруда была в преотличном настроении духа. Подойдя к Карлу, потеребила его матерински за волосы и, указывая на Машу, сказала без особого яда:

— А ведь ей отдана пальма первенства в Психее...

— Как вам не стыдно, — порывисто сказал Карл, — Маша — сама скромность и отлично знает, что лучше вас танцевать невозможно.

Маша съежилась, покраснела, а Гертруда, по свойственной ей игре настроения, пришла тут же в восторг:

— Каков мой сынок комплиментщик!

Гертруда мимолетом поцеловала Карла и порхнула к дверям:

— Я пойду приготовить необходимое для урока одной важной девицы, она со мной проходит уже роль. Эта девушка — невеста князя Игреева... Да, да, Машенька, ваша звездочка закатывается, — щебетала Гертруда, — пока вы капризничали, вашу фортуну поймала другая...

Карл быстро подошел к матери:

— Мне необходимо поговорить с вами. Есть одно дело...

— Прекрасно, сынок. Посиди тут минутку с нашей Сильфидой, я скоро. О мечтатели! — погрозила она тонким пальчиком, как грозила на сцене Амуру, и исчезла.

— Воронихин сказал, что вы хотите помочь мне, — начала Маша, но слезы пресекли ее речь. — Бедный Митя... — Она вытерла глаза, вся собралась и, взяв Карла за руку, сказала так твердо, что он ее словам сразу поверил:

— Если меня не отпустят, если из ваших стараний не выйдет ничего, я все равно убегу, я доберусь до Мити.

— Я уверен, что вы уедете с курьером, который привез нам Митины рисунки, — сказал Росси. — Сейчас я буду говорить с моей матерью, она поможет повлиять на Катрин. Но, Маша, подумайте в последний раз, прежде чем отказаться от вашего блестящего положения, от возможности служить любимому вами искусству. Если порвете с Игреевым, вам придется сейчас же покинуть и сцену...

— Все решено безвозвратно. Все проверено. Горе угнетает меня; как и Митя, я не создана дышать только искусством. У нас, видно, Карл, нет вашего поглощающего дарования.

— Настоящее призвание, конечно, забирает все силы только себе, — сказал тихо Карл.

— Вот то-то. А наши силы устремлены на другое. Если бы вы знали, какое письмо написал мне Митя. Он нашел душевный покой только, когда пришлось ему делить смертельную опасность бок о бок с товарищами. Ему отныне руководство — Суворов. Митя нашел себя самого. Найдем и мы оба, что нам делать. Я не оставлю моего искусства, но ведь служить ему можно разными способами. В какой угодно глуши я найду учеников, могу открыть свою школу, не знаю сейчас, что и как... но думаю, что пробуждать в людях потребность красоты, научить их видеть и слышать больше и лучше, чем они могут это делать сами, — дело не меньшее, чем пожинать столичные лавры для одной своей персоны, — Маша печально улыбнулась. — Они даются мне такой унизительной ценой.

— Но что, если, несмотря на все наши ухищрения, князь не захочет вас выпустить из своих рук? — осторожно спросил Росси.

— Безмерно избалованному, непостоянному, сейчас я наскучила моей невеселой особой. И я даже думаю, он будет рад такому с его стороны великодушному окончанию наших отношений. При его самолюбии и страхе насмешек он в роли отвергнутого воздыхателя навсегда пребывать не согласится, а как неглупый человек — уже понял, что насилие надо мной кончится плохо. Трагедий он не любит. Я счастливо попала в удачную полосу. После романа графа Шереметева с крепостной сейчас стало модно разводить сентиментально-высокие чувства. К тому же как ураган налетела на князя неотразимая Катрин; пока он под ее чарами, она всего может добиться. Сейчас придет ваша матушка. Найдите слова, дорогой Карл, мне же отсюда надо уйти...

Маша протянула Карлу обе руки, он поцеловал их безмолвно. Маша исчезла, и Росси остался один в комнате матери. Он огляделся. Это было словно капище с изображением в разнообразнейших позах одной и той же богини — Гертруды. То она Психеей стояла на твердом носке, вытянув одну руку, как на древней греческой вазе, в руке держала светильник, освещая спящего возлюбленного Амура, то она же, неистовая и прекрасная

амазонка, мчалась в бой. Этот культ своей особы был бы жалок и смешон, если бы каждая поза не давала совершенного произведения искусства. И Карл, через минуту забыв промелькнувшее было осуждение тщеславию матери, как художник любовался точной законченностью ее прекрасного дарования. Здесь он радостно себя чувствовал ее сыном и ласково улыбнулся вошедшей Гертруде.

— Улыбка делает вас еще прекрасней, мой сын, — сказала по-французски Гертруда, копируя приехавшую на гастроли знаменитость, и прибавила на родном итальянском:

— Если бы ты был всегда такой со мной добрый!

— Я буду еще добрей, только присядьте, послушайте, что я вам расскажу.

— У меня скоро урок, она капризная, эта Катрин, ждать не станет, говори скорее. Верно, неприятное? — всплеснула Гертруда руками. — О даче? Или жалоба на Пика? О, я сама очень им недовольна, старый дурак ухаживает за молодыми. Кому он соблазнителен? Кому он кавалер? Воображает, что хорош со своим толстым брюхом, а девчонкам от него нужна только протекция.

— Мой разговор не о даче, не о Пике. Я хочу очень серьезно говорить о Маше, именуемой Сильфидой.

— Она неблагодарная, — закричала Гертруда и только что собралась своим рассерженным птичьим щебетом излить на Машину голову целый водопад обвинений, как, взяв ее нежно за руку, Карл поспешно сказал:

— Она хочет навсегда уйти из театра.

— Хитрости, — воскликнула Гертруда, — ну кто такому поверит? Добровольно уйти из театра?

— Поверите вы, маменька, сами, если призовете на помощь терпение и до конца выслушаете мой рассказ.

Карл обнял мать и трогательно, как было надо, чтобы подействовать на нее, рассказал о любви Мити и Маши. О том, как друг его с горя уехал в армию и как храбро он бился и сейчас лежит в далеком госпитале без руки, не смея надеяться на любовь. А Маша хочет бросить успехи в столице и ехать ухаживать за женихом.

— Какая чудесная история, — всплакнула Гертруда, — я бы сама, конечно, ни за что не уехала от той новой роли, которую ей, наверно, дадут, но я любуюсь, когда

другие могут так пылко любить. Ну, конечно, я ей помогу, разве я злая, мой сын?

— Вы не только Психея, вы — ангел, — расцеловал Росси мать.

— Но ведь у Маши еще нету вольной? — обеспокоилась Гертруда, вмиг увлеченная новыми чувствами. — Она без конца капризничает с князем, а он с ней играет в настоящую любовь, он ждет, чтобы она сама, изнемогая от страсти, ему прошептала: люблю вас... Я как-то даже ей показала, передавая последний подарок князя, что̀ в таком случае надо сказать и как произвести такой чувствительный жест руками, будто сейчас упадешь к его ногам, однако совсем не падать, только сделать изгиб, один изгиб...

Гертруда, вдруг вскочив, умоляюще вытянула руки и всем станом изобразила призыв любви.

— Что на это вам ответила Маша? — невольно заинтересованный, спросил Карл.

— О, дерзкая девчонка с такой силой бросила на пол протянутый мною браслет, что моя парадная горничная уверяет, будто из него выпал самый крупный бриллиант и закатился невесть куда, я же подозреваю, она сама его и стащила. Однако это другой разговор, — спохватилась Гертруда. — Чем именно я могу помочь твоей протеже?

— Вам необходимо упросить, чтобы новая ваша ученица Тугарина выпросила себе в подарок Машину отпускную. Князь на Машу в досаде, но намекните, как одна вы умеете, — тонко улыбнулся Карл, польстив матери, — намекните, что к неудовлетворенному пылу всегда возвращаются.

Гертруда залилась смехом мало натуральным, но звонким, как серебряный колокольчик:

— О, как ты сведущ в нежной науке сердца, мой сын. Но ты вполне прав, как и в том, что, по русской пословице, надо что-то ковать, пока оно горячо. Но что ковать? Я забыла.

— Железо, маменька, — улыбнулся Карл, опять усаживая вспорхнувшую мать с собой рядом. — Еще минутку, ведь я знаю, что у вас по природе прекрасное сердце, как у самой доброй птички, обещайте же мне соединить друга Митю с его невестой Машей. Вы французские

пословицы тоже, вероятно, не забыли, выучив русские: ce que femme veut, Dieu le veut.[1]

Гертруда стала серьезной, помолчала и с милой наивностью интимно спросила:

— Если она выйдет замуж, если она его любит, она, может быть, захочет иметь сыночка, такого амура, как ты, мой Шарло, — это нам, балеринам, запрещено.

Карл засмеялся:

— Вы, маменька, уже слишком идете навстречу событиям. Будет ли у них непременно сын, я вам не могу ручаться, но то, что Маша не останется на петербургской сцене, — вот вам моя рука.

— Где же она будет танцевать? При иностранном дворе? — почти с испугом воскликнула Гертруда.

— Она больше не хочет сама танцевать, она будет служить искусству посредством своих учеников.

— Пе-да-гог! — протянула Гертруда. — О, это ей подходит. В ней что-то как у классной дамы. Шарло, я все для нее сделаю.

Гертруда встала и, подняв правую руку, торжественно сказала:

— Клянусь соединить два любящих сердца.

Росси обнял мать.

— Известите меня поскорее о вашей удаче.

— Будь покоен, Шарло. Я ведь недавно читала в таком роде роман, и я плакала, плакала. И по свежей памяти тем более сейчас помогу.

Вошедшая горничная, та, что подозревалась в краже бриллианта, возвестила о приезде Тугариной.

А через несколько дней в квартире Гертруды Росси происходило устроенное по желанию Катрин ее свидание с Машей.

Катрин сидела на диване одна, когда вошла бледная Маша. Она была измучена тоской о Мите и ужасом, что с каждым днем слабеющие силы сделают для нее невозможным побег, на который она твердо решилась, не ожидая себе никакой помощи от Катрин, несмотря на все посулы и объятия ставшей особенно нежной Гертруды.

На глубокий Машин поклон Катрин едва ей кивнула, зорко ее оглядела и спросила недобрым голосом:

---

[1] Что захочет женщина, то угодно богу (*франц.*).

— Правда ли, что ваш жених ранен тяжело?

— Через господина Воронихина мне было прислано известие от него самого. Он в госпитале... без руки.

— Безрукий художник, — сказала жестко Катрин. — Ну что же, придется ему переменить профессию. Надеюсь, не правая рука?

— Правая... — чуть слышно сказала Маша.

— Присядьте, — предложила несколько мягче Катрин, указывая рядом с собой на диван.

Маша села.

— Вы бы себя проверили, прежде чем пожелать ехать так далеко и так бесповоротно решать свою судьбу, — сказала Катрин. — Чем один молодой человек особенно лучше другого? И разве можно поверить в прочность чувств, своих ли, чужих ли? Сейчас в вас говорит жалость к молодой искалеченной жизни, но разве можно строить свою жизнь на жалости?

Маша побледнела и, строго поглядев в насмешливое лицо Катрин, в свою очередь спросила:

— На чем же, по вашему мнению, стоит строить жизнь?

— Исключительно на себялюбии, — не моргнув, ответила Катрин. — От себя никуда не уйдешь, себя никогда не разлюбишь, как бы собой ни был недоволен. И вся свобода ваша всегда при вас.

— Я крепостная, — вспыхнула Маша, — мне моей свободы еще нужно добиваться.

— Да, я знаю вашу историю, — поспешила Катрин. — Но вот вопрос, стоит ли вам давать эту свободу, если вы сейчас же хотите сами ее лишиться? Ваша отпускная в моих руках, — сказала Катрин с нескрываемым торжеством. — Князь Игреев по моей просьбе мне ее вчера подарил. Так что, в сущности, вы сейчас принадлежите уже мне. И вот что я вам предлагаю, слушайте хорошо и не торопитесь решением вашим.

Катрин встала, прошлась по комнате. Хотя она хотела это скрыть, она волновалась не менее, чем Маша, которая, стиснув руки, сидела как неживая. Катрин остановилась перед ней:

— Я вас отлично устрою балериной в Москве или же дам вам возможность открыть свою собственную балет-

ную школу, где вам будет угодно. Свое слово я, поверьте, сдержу, — гордо подчеркнула Катрин. — Но и я ставлю одно условие, чтобы вам отдать навсегда вашу отпускную.

— Какое? — прошептала Маша.

— Чтобы вы не ехали к вашему Мите и вообще отказались от этого брака.

— Вы его не знаете... зачем это вам?

— Затем, — сказала холодно Катрин, — что в любовь, доведенную до таких жертв, на какие вы хотите идти сейчас, я не верю вовсе, такой любви не сочувствую и не хочу способствовать тому, чтобы наш балет, наше искусство потеряло такую прекрасную артистку, как вы.

Маша вскочила. Яркая краска вспыхнула на ее бледных щеках:

— Это невероятно... Сам дьявол вам нашептал.

— Ни в бога, ни в дьявола я тоже не верю, — улыбнулась Катрин, — я воспитанница моего отца и господина Вольтера. Но прихотей у меня много, и не вижу, почему бы мне их не удовлетворить, если я к тому имею возможность. Впрочем... для вас есть и другой выход.

Катрин взяла Машу за руку и, пытливо глядя ей в глаза, как бы боясь пропустить малейшее выражение ее лица, сказала, понизив голос:

— Хотите вы, оставаясь моей крепостной, поехать к вашему жениху? Я тоже создам для этого все условия. Вы его увидите, но останетесь навек моей крепостной, — подчеркнула она. — Выбирайте.

— Мне нечего выбирать, — сказала просто Маша, — если есть какая-либо возможность мне поехать к Мите, я, конечно, поеду. Оставьте при себе мою отпускную, но молю вас, отправьте меня скорее к нему. Он ведь очень плох, я могу его не застать.

Но Катрин надо было что-то досмотреть до конца.

— Останется ли он жить или умрет — поймите отчетливо, вы-то сами навек крепостная. И это свое слово я тоже сдержу.

— Если Митя умрет, я, быть может, тоже не стану жить, если ж он останется жить, я доверюсь вашему великодушию. — Голос Маши на минуту пресекся. — Ведь вы разрешите мне с ним остаться? О, наложите какой угодно оброк, я выполню. Ведь, кроме танцев, я знаю столько разных рукоделий, на которые тоже есть спрос.

— Хорошо, — сказала Катрин, отпуская руку Маши, — завтра же начну хлопотать, чтобы вы ехали с тем курьером, который должен вернуться в армию. Но помните, вы едете как моя собственность...

— Только б увидеть его! — вырвалось у Маши с нежным чувством такой глубины и чистоты, что Катрин вспыхнула и, бросив взятую на себя роль, горячо сказала:

— За кого же вы меня, Машенька, принимаете, если так сразу поверили моим словам? Да неужто я похожа на мучительницу Салтычиху?

— Вы так воспитаны... Ваше право владеть живыми людьми.

Катрин заносчиво прервала:

— Я воспитана книгами писателей, научивших меня мыслить, и живых людей собственностью иметь не желаю. Недаром у меня на полке запрещенный Радищев. Сама я, может быть, жертва не меньше вашего... Мой ум иссушил мое сердце, и я не верю в любовь. Ваш случай был слишком для меня соблазнителен, чтобы я смогла удержаться от маленького над вами опыта. Простите мою жестокость — вот ваша вольная.

Катрин подала Маше гербовую бумагу, дававшую ей свободу. Маша опустилась на ковер, охватила ее колени и, лишаясь от волнения сил, прошептала:

— Благодарю...

Катрин подняла ее и со слезами на глазах вымолвила:

— Это я должна благодарить вас. Первый раз в жизни я верю в силу чистого, бескорыстного чувства. Вы обогатили мое бедное сердце. — И обе женщины крепко обнялись, как сестры, не узнавшие сразу друг друга, но сейчас убежденные в своем родстве.

Глава тринадцатая

Митя лежал в походном госпитале в живописном местечке южной Богемии. Был конец августа. Плечо его плохо заживало, но уже не было той непрестанной оскорбительной боли, заглушавшей все мысли и чувства. Однако еще не трогал чудесный пейзаж, видный ему из большого окна: горы, убегающие в осеннее хрустальное

небо, лиловые от обильно покрывшего их цветущего вереска. Горы эти нужны ему были только затем, чтобы, уставив глаза в ту или другую точку, глубже собрать свои мысли.

И они собирались, твердые, окончательные, проверенные, словно нарочито выбранные для основания здания кирпичи.

Отчаяние от потери руки охватило не надолго. Силой воли заставил он себя примириться с ощущением непривычной пустоты справа и даже с тем, что рисовать больше нельзя. Конечно, он знал, бывали случаи, когда все знание и опыт правой руки пострадавшему удавалось перевести на счет левой, но это был такой поглощающий большой труд, что стоило бы им заняться, если б живопись точно была его призванием. Но сейчас он твердо узнал, что ему надо строить совсем иное: все колебания в выборе жизненного пути сняты этой тяжелой утратой. Но где искать путей? Как, к чему применить эту свою готовность? Воронихин дал замечательный совет: в ожидании, пока наступит желанное время, ковать из себя достойного этого времени человека.

Какое счастье, что на своем пути он встретил Суворова, который стал ему маяком путеводным. Величайшим горем было для Мити, что сейчас он не мог быть там, где Суворов свершает свой неслыханный подвиг-поход. Известие о том, что с двадцатитысячной армией предпринят переход через Сен-Готард, было последней вестью, проникшей сюда, в госпиталь. Надо было со дня на день ожидать новых раненых, они расскажут все в подробности.

В сознании Мити лежал еще один вопрос, который он силился считать решенным и скинутым с пути своей жизни, но о котором чувство его не забывало ни на минуту: мысль о Маше.

Он сразу отсек все надежды на личное счастье, освободил Машу от данного слова, но сердце его не слушалось, ему то и дело снилась она, и тайные горькие слезы вызывало пробуждение.

Под Новый год с великими трудами доставили в госпиталь новых раненых, среди них был майор Дронин. Митя пережил ужасные дни тревоги, когда друг был между жизнью и смертью. Однако его могучее здоровье

победило, и наступил, наконец, день великой радости встречи названых братьев. У Дронина были обморожены ноги, левая к тому же прострелена. Ему предстояло долго лежать недвижно, и одна радость и развлечение было ему — переживать снова изумительный, похожий на чудесное измышление, семнадцатидневный швейцарский поход.

— Подумай только, Митенька, — говорил похудевший майор, вознаграждая себя усиленной жестикуляцией за неподвижность тела. — Ведь шли-то мы в какой стуже? Одежонка плохонькая, сапоги русские без этих необходимых шипов, как у французов. Те за льдины сами цепляются, а мы то тут, то там в бездонную пропасть сползаем, да с вьюками, с мулами. Патронов у врага вдвое. Проклятый Тугут на каждом шагу «тугутит», как наш Суворов сказал: в городок Таверну пришли — где провиант? где свежие мулы? Свисти их. А переть нам через самый Сен-Готард на соединенье с Корсаковым да поправее — с австрийцами. А Массена-то залег против нас с несметными тысячами. И тут обманули австрийцы, меньше цифру указали. Кругом подлость и предательство. А мы горной войне не обучены, местоположение нам неизвестное. Уверили клятвенно, что из Альтдорфа, последнего пункта, пешеходная тропинка идет вдоль Люцернского озера. Сигай в него, кому жизнь не мила, — и главное, совершенно зря, ибо вся флотилия французов стоит на озере. И оказался весь план, сверхчеловеческой суворовской силой выполненный, — пустая ребячья затея.

Дронин так взволновался, воскресив в памяти предательское отношение союзников-австрийцев, что Митя поспешил, охраняя его здоровье, перевести речь на главное, что его интересовало, — на Суворова.

— Вот-то бушевал, когда не оказалось обещанных мулов! «Нет лошаков — одни горы да пропасти, да я-то не живописец, а главнокомандующий. Помощи — нигде, Тугутишко — везде. Брехали, видно, недаром французы, что нам провалиться в их снегах. Уж кому-то платит в Вене директория...» Перешерстил он австрийцев. Однако ретирады Суворов не знает. Заместо лошаков под вьюки пустили казацких лошадок. Хоть над пропастями им и было необычно, они вполне русскими оказались — невозможное повернули в возможное, как мы под Измаилом.

Тут майор начал бредить, путая только что им перенесенное с бывшим в давно прошедшую турецкую кампанию. Сестра потребовала, чтобы он прекратил свои рассказы.

Два дня майор промолчал, на третий его прорвало.

— Вы поймите, сестрица, — кричал он в ответ на воспрещение говорить при лихорадке, — разгрузить нужно мне мою память, не то она голову мне разорвет. А Митя художник, он, что скажу, все увидит глазами, ему это тоже на пользу.

И действительно, Митя с жадностью забирал груз майоровой памяти и сейчас своими глазами видал, как двумя колоннами наши войска подымаются в вечных снегах. Те, что с Суворовым, напрямик, без обходов.

— На каурой казачьей кобылке сам-то он ехал, — любовно повествует майор, — от леденящего ветра только и прикрыт, что своим знаменитым родительским плащом, шляпенка с полями вот-вот улетит. И не отстает от него некий старик, итальянец. «Переночевал я у него в долине и вроде как его оволшебил, вот за мной потянулся», — смеется фельдмаршал. И в добрый час, отличным проводником оказался. Без этого старика в пропасть нам загреметь. Потом обтерпелись, а спервоначала круто пришлось. Вообрази, Митя: дождь ливмя, ветрище с места сдувает, речонки итальянские вздуло в реки. То ли их вброд, то ли вплавь? Зуб на зуб не попадает. Подметки вмиг прохудились, за плечами груз. И все же пробрели мы в три дня семьдесят верст. Считай их за сотню. С ног валимся, а Суворову ль отдыхать? «Ошарашим врага наступленьем. Штурм Сен-Готарда!» И повел нас. — Ур-р-ра!..

Сестра испугалась, что снова Дронин забредил, но он, счастливый, ее успокаивал:

— Не в бреду — наяву я, сестрица, пусть русское сердце ликует. Взят Сен-Готард!

И со всех коек ожившие раненые стали просить:

— Не препятствуй, сестрица, пусть глотку дерет, ему здорово и нам полегче.

— В один-единственный день взят Сен-Готард, — с тихим восторгом продолжал Дронин. — Две атаки уже отбиты с большими потерями. Ночь спускается. Ужель ночевать под ногами врага? «Он ест, пьет, бахвалится,

мы ж, как щенята, в сугробах. Впе-ред!» Взбодрил нас Суворов, и опять мы за камни, и лезем, и падаем. И что бы вы думали? Над французами, на самой вершине — вдруг наши, вторая колонна. Обошел Багратион.

— А Чертов мост когда был? — спросил бледный прапорщик.

— Наши скоры, а вам еще скорей подавай, — проворчал майор. — Чертов мост — это надо вообразить явственно, иначе одна только кличка в твоей памяти, как заноза, застрянет. И прежде всего все окрестное тому мосту надо увидеть. К деревушке Урзнер, скажем, — дорога, а поперек развалился утес. Сквозь него пробита дыра, по-ихнему — Урзнер-лох. Это коридор длины порядочной, а ширины — двум человекам едва разойтись. Выбежав на свет из этой дыры, дорога вдруг обрывается над самой бурной рекой. Как бешеная, так ворочает она камни и пену, что воды не видать, гул над ней — сущий ад. И вот над такой-то рекой — легонький мост. Поистине — черт его перекинул. Ходуном ходит, вот-вот сорвет его речка. Ледяные брызги его, как туманом, укрыли. А у самого выхода из дыры французы пушку установили да за Чертовым мостом два батальона, которых и вовсе нам неприметно. Вообразили картину? А ну-ка, не угодно ли через Урзнер-дыру, через Чертов мост?

— Ужель перешли? — восклицали со всех сторон.

Насладившись минуту произведенным впечатлением, майор торжественно произнес:

— Первые с доблестью пали. Тогда Суворов отрядил сотни три по гладким скалам, где орлам гнезд не свить, чтобы ударили по скрытым французским батальонам, защищавшим выход из дыры. И ударили. А наши — мах по туннелю... Сомкнулись со своими — и на французов, как лавина; те дрогнули, отступили. Однако напакостили напоследок — Чертов мост разорили. Да разве нас остановишь в атаке? Дерев на провал навалили, долой с себя шарфы, связали — бегом! А пока такая каша заварилась вверху, наши отряды внизу, по бешеной воде — вброд. Теченье сбивает народ, а на смену упавшим новые. Перешли. Тут уж много легче нам стало, — освобождающе вздохнул Дронин, вновь переживая испытанное великое напряжение всех сил.

Скоро помельчали и вовсе отодвинулись горы, и до чего просторная долина раскинулась перед нами. Словно с улыбкой побежали леса, запестрели цветами луга, и вот уж рукой подать — цель наша, зеленый город Альтдорф. И хотелось же нам отдохнуть! Нет, не дал, — а Корсаков, осажденный Массеной? С помощью медлить нельзя. Вестей же о нем никаких. Опять путь ближайший через новый хребет. Темь вверху, темь внизу. В облаках движемся, каждый вдвое стал тяжелей — отсырели. Едва дотащились, как обухом по голове страшная весть, что Корсаков и австрийцы разбиты, отступили нивесть куда, а мы окружены несметной армией Массены.

Всему виной проклятый гофкригсрат: предательски не дали мулов, и мы потеряли необходимые дни... Теперь опять вообразите хорошо нашу позицию, чтобы поверить могли, что действительно единой силой духа Суворова были мы спасены. Австрийская помощь обманула кругом: вокруг озера Люцерна ходу нет, никого из союзных войск поблизости, ни провианта, ни патронов. Сухари размокли и сгнили, копаем коренья, кожу режем, ее на шомпол навернем, шерсть опалим и едим. А вокруг нас почти стотысячный враг. Уже генерал Массена прихвастнул, что денька через два нашего Суворова к себе ужинать привезет, и среди нашего офицерства пробежал шепот о сдаче. Вот-с какова ситуация.

— А что он? Что Суворов?

— Не дрогнул. Собрал военный совет. Вышел в фельдмаршальском мундире со всеми регалиями и речь сказал, одними простыми словами — суворовскими. Как перед смертью, пересмотрел всю кампанию, предательство австрияков, еще раз перешерстил их по заслугам и пришел к выводам: окружены, а сокрушать врага нечем. Назад — постыдно. Помощи ниоткуда, край гибели. А надежда? — спросил сам себя. — На что у нас есть надежда? Промолчал военный совет. Суворов ответил сам: «Одна лишь надежда на мужество наших солдат. Русские мы...» — и заплакал.

Плакал Митя, плакали молодые на койках, и, не стыдясь своих слез, закончил майор:

— И от имени войска старый генерал Дерфельден ответил: «Веди, куда знаешь, всюду мы с тобой!»

— Да, вот опять какое вышло положение, — продолжал о своем швейцарском походе майор Дронин, — позади нас тьма французов, от которых нам по одной лишь долине Муттенской вперед.

Разделил Суворов войска: главный отряд двинул сам, а тому, что поменьше, задерживать приказал французов, чтобы дать нам уйти. Вот уж тут, ребята, настоящие пошли чудеса, их каждому надо запомнить, дабы поверить, что непреодолимого на свете нет ничего.

Истощенные, больные, голодные, отогнали наши свежих французов, их превосходивших на много в числе. Задержали и хитростью. Послали швицкому магистрату будто заказ на продовольствие всему нашему войску, чем сбили с толку генерала Массену. «Вот дураки, — сказал он, — сами к нам лезут в полон! Пусть войдут, тут их и возьмем, нам это много удобнее, чем за ними охотиться!»

А наши тем временем ночью тихонько вслед за своей главной колонной. Когда французы смекнули про обман — ан время упущено. Наши соединились с Суворовым. Догоняй! Устремились все по Муттенской долине к Гларису: там встреча с австрийцами. Подходим — никаких австрийцев. Генерала Линкена след простыл, и французы забрали Гларис. Нам одно: либо их побеждать, либо тут помирать. Дальнейшего хода нет. Во тьме кромешной пошли мы в штыки. Шесть раз из рук в руки переходила победа. Однако в конце концов — Гларис наш. И впервые горячего мы тут хлебнули. Ну-с, что прикажете дальше? Опять военный совет. Драться окончательно нечем, и спасать нам сейчас не австрийцев, которые преспокойно сами спаслись, а одну лишь свою многострадальную армию, попавшую в западню.

— Последний ваш переход двадцать шестого сентября? — спросил подпрапорщик и тише добавил: — У меня брат там погиб.

— Многие там погибли. Вышли мы к Сен-Готарду двадцать одной тысячью, а как перемахнули через последний хребет по имени Паникс, нас осталось пятнадцать. Ох, этот последний хребет! Всю-то кампанию лихая погода, а тут просто взбесились силы небесные: такой снегопад, что тропинки вмиг занесло. Плакали, а побросали в пропасть последние двадцать орудий. Как людей, было их жаль. И вьюки с продовольствием туда

же, только б солдат сохранить. Дело к зиме, обледенелые горы, мы в густейшем тумане гуськом...

— А как же Суворов, — воскликнул Митя, — старый, больной?

— Впереди на кобылке под казачьим седлом. Все долой с лошади рвется, хочет пеший идти, для примера. Самого лихорадка треплет. А два казачка его силком держат в седле. Как взбунтуется он, знай кричат, не пускают: сиди уж, сиди!

Проводники разбежались, и полезли мы как на душу бог положил. А там уж в долину на собственных средствах. Сказать прямо — скатились на задницах. И вовек не забыть голос Суворова: «Русак — не трусак. Дойдем!» Дошли. Оглядел он своих оборванных, обмерзших, поистине чудо-богатырей и сказал: «Орлы русские облетели орлов римских!»

Однако эти его последние слова мне уже передали в лазарете, где я долго в бесчувствии и в бреду находился. Это у Боденского озера, где, наконец, и дан был отдых войскам. Потом перевезли нас сюда, и вот с тобой, Митя, встретились.

Рассказ майора о доблести русского войска, превысившей все человеческие возможности, потряс Митю. Последнее малодушие отошло, сменилось уже неизменным ровным и твердым состоянием духа. Он теперь был уверен, что найдет свое заветное дело. Вспоминал рассказы друга Карла Росси о том, как в минуты душевных крушений помогает ему мысль о непреложности и постоянстве навеки найденных законов математики. Ему такой отрадной опорой явился, в великом испытании его сил, образ Суворова, этого лучшего из встреченных им людей. В Петербург ему сейчас возвращаться не хотелось, и когда майор предложил устроить ему место помощника управляющего большим именьем своих родственников Давыдовых — Каменки, находящегося в Киевской губернии, — Митя охотно согласился. Так хотелось в деревенской глуши, среди прекрасной природы, собраться с мыслями и присмотреться поближе к жизни крестьян. Он знал — теперь уже навсегда они стали его главной заботой.

Внезапное появление Маши, которую он сейчас ждал меньше всего, чуть было не ввергло его в великое горе,

разбившее вмиг так трудно добытый покой. Он, уверивший себя, что навеки от нее отказался, увидав ее любящей, свободной и прекраснее, чем когда-либо, понял, что его отречение — самообман и никаким рассудком неистребима любовь. Но жертвы из жалости он принимать не хотел. Понадобилось много терпения, умной сердечности его верной невесты, чтобы Митя, наконец, поверил, что Маша приехала не из чувства жалости и долга, а по настоящей, крепкой любви. И в Каменку она обрадовалась ехать, не желая и слышать о столице, где было столько страданий и предстояло немало нежелательных встреч. Дронин к тому же обнадежил, что возможно устроиться в театрах киевском или полтавском или создать свою школу, что сулило несомненный успех.

И, наконец, последняя тяжесть сомнения и горечи спала с сердца Мити после того, как однажды на рассвете появилась в сером сумраке палаты, где он лежал, небольшая, еще похудевшая за тяжкий, только что перенесенный поход, такая бесконечно знакомая и дорогая фигура Суворова. Махнув рукой сопровождающим, чтобы не делали шума, он тихо подходил к раненым и больным, в немой скорби бессонницы застывшим людям. Отечески клал им на горячий лоб тонкую, худую руку, нагнувшись, что-то шептал — и вмиг яснели их взоры, и восторженно улыбались страдальцы от ласки великого Суворова.

Подошел он и к Мите. От Дронина он уже знал все про Машу и про сомнения Мити. Он нагнулся так близко, что можно было рассмотреть, сколько новых мельчайших морщин избороздило его тонкое лицо. Глаза его, голубые, сейчас полные только большой доброты, едва глянули — все увидели. Как отец, он сказал самое главное:

— Ничего, Митя, жить можно и с левой. Еще лучше будешь жить. И с Машенькой благословляю тебя на работу и счастье. Верю — будет оно. Оба-то вы молоды. Не болтуны-пустобрехи, а люди. Так-то.

И руку на голову положил — благословил.

11 октября 1799 года Павел послал австрийскому императору Францу сухое, негодующее письмо, где виною несчастного поражения Корсакова ставил несвоевременный отход из Швейцарии союзных войск под начальством

эрцгерцога Карла. Павел разрывал союз с Австрией. А в конце декабря собственноручно написал Суворову:

«...Обстоятельства требуют возврата армии, ибо виды венские те же. А во Франции — перемена. Идите немедля домой».

Недоразумения между русскими и австрийскими верхами были столь сильны, так много накопилось у русских обид за обман и предательство, что на балу у сына Суворова, Аркадия, великий князь Константин выгнал вон группу австрийских офицеров.

А когда Суворову император Франц прислал умоляющий рескрипт повременить с уходом в Россию, предлагая неограниченную всяческую поддержку в случае возобновления войны, Суворов сказал его послу генералу Эстергази:

— Над таким старым солдатом, как я, можно посмеяться только один раз. Но был бы я слишком глуп, если бы позволил это сделать с собой и в другой. Я пришел к месту назначенного соединения и увидел себя оставленным. Я вашей армии не нашел.

Павла изменническое отношение Австрии и ее желание загребать жар руками русских привели, наконец, в гнев, который пересилил его желание стать спасителем Европы.

Кроме того, в европейской политике произошли крупные перемены. Когда начался швейцарский поход, Павел еще был полон решимости разгромить французскую революцию и предписывал Суворову: «Старайтесь произвести инзурекций во Франции», а сейчас, под влиянием иезуитов, он нашел формулировку для изумившей всех перемены его политики и сам первый в нее верил:

— Я всегда склонялся тогда в пользу справедливости и долгое время был уверен, что она у противников Франции, ибо ее правительство угрожало всем державам. Ныне же, когда в этой стране скоро водворится король, если не по имени, то по существу, и наступит порядок, это меняет совершенно существо дел.

Сейчас справедливость не может быть на стороне Англии, и в коалиции с ней неправильно долее пребывать, ибо Англия захватила остров Мальту и отказывается вернуть его Ордену. Все это было для Павла не только оскорблением личным, но и прекрасно им понятой угро-

зой государственной. И для того, чтобы успешнее восстать против врага, теперь общего с Францией, Павел в декабре послал Суворову требование возвращаться домой.

Суворов очень тревожился: какова-то будет оценка его похода, неслыханного по трудностям и солдатской доблести и, вместе с тем, совершенно как бы впустую, для выгоды одних лишь австрийцев, забравших северную Италию в свои руки. Но опасения оказались напрасными. Весь мир понимал, что причиною всех неудач были только австрийцы, а необычайная доблесть солдат и их полководца покрыла Суворова еще большей славой.

Павел дал ему титул генералиссимуса всех сил российских и посылал очень сердечные, восхищенные письма: «Приятно мне будет, если вы, введя в пределы российские войска, не медля нимало приедете ко мне на совет и любовь».

Или так: «Сохраните российских воинов, из коих одни везде побеждали, потому что были с вами, а других победили, оттого что они с вами не были».

Европейские державы одна перед другой изъявляли восторги: кресты, награды, всеобщее признание несравненным гением тактики. Адмирал Нельсон писал: «В Европе нет человека, который любил бы вас так, как я».

А ему хотелось одной глубокой последней простоты. Посетив могилу любимого и очень чтимого им полководца Лаудона, прочтя длиннейшую витиеватую латинскую надпись на его гробовой доске, он произнес:

— К чему все это? Мне пусть напишут просто: здесь лежит Суворов.

В Кракове Суворов сдал командование Розенбергу, сам поехал вперед. Он уже чувствовал себя очень больным. Упало нечеловеческое напряжение, и здоровья не оказалось вовсе.

Прощаясь с солдатами, не мог вымолвить слова от рыданий, солдаты плакали, понимая, что уже больше его не увидят. Ему было лестно знать, что сложена про него песня:

С предводителем таким
Воевать всегда хотим...

Суворов, слабея с каждым днем, медленно двигался в Петербург. Ему было известно, что для его встречи выработан особо торжественный церемониал. В Нарву будут высланы придворные кареты. При его въезде в столицу — колокольный звон, пальба из пушек. И в Зимнем дворце для него апартаменты. Все это как-то тешило старика, ласкал душу наконец полученный заслуженный почет. Здоровье же становилось все хуже. Пришлось задержаться в Кобрине. Император отправил к нему лейб-медика. Старые раны его открылись, страдания были очень тяжелые. И вот тут-то настиг его последний, жесточайший удар, нанесенный императором. 20 марта Павел отдал повеление:

«Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел в корпусе своем, по старому обычаю, непременного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии».

Тяжко больному Суворову прислан был с курьером грозный запрос о том же дежурном генерале с приказанием немедленно уведомить, что побудило его сделать подобное нарушение воинских правил.

Суворов был потрясен. Вынув недавние письма, полные восхищения и любви, он сличал их с последним письмом и недоумевал. Ему известно было также, что Ростопчину при свидетелях Павел сказал: «Я произвел его в генералиссимусы, это много для другого, а ему мало: ему быть ангелом».

Что же случилось? Поводы были пустяковые, а причина глубокая и очень давняя. Быть может, Павел думал, что Суворов не доедет до Петербурга, умрет в пути, и созданные для Европы слухи о триумфальной встрече не надо будет осуществлять. Но когда еще раз богатырский дух Суворова восторжествовал над смертельной болезнью и он, полуживой, но владеющий всем своим разумом и волей, придвинулся к столице, воздать ему действительно все обещанные почести с колокольным звоном, с пушечной пальбой стало для Павла немыслимым. Это значило признать свою возлюбленную прусскую систему побежденной, это значило зачеркнуть себя самого.

Как нарочно, произошла тяжелая история с цесаревичем, — так велел именовать Павел второго сына за доб-

лести, проявленные в итальянских походах и самим Суворовым засвидетельствованные.

Цесаревич был встречен восторженно. В его честь даны были особые празднества, на Эрмитажном театре сыграли «Возвращение Полиоклета», а отец отличал его перед Александром.

Как-то Павел, в веселом настроении духа, разговорился с сыном об удобстве предписанной им одежды солдат и спросил:

— А что вам всего боле оказалось в итальянском походе на пользу?

Константин, еще полный суворовской выучки и к тому же введенный в заблуждение веселостью отца, ответил простодушно:

— А пользу нам сослужили одни лишь унтер-офицерские алебарды, поскольку они были деревянные и длиной более сажени, — ну и дрова! Погрелись мы в ледниках этими алебардами.

Павел смеяться перестал, однако без гнева приказал сыну представить ему рядового, одетого как он находит удобней.

Константин представил. Оказалось, что форма напоминала последнюю екатерининскую, упрощенную Потемкиным, которую одобрял и Суворов.

— Вон с глаз моих! — прокричал Павел сыну и тотчас загнал его вместе с женою в холодный дворец в Царском Селе, где сидели в комнатах в теплой верхней одежде.

Константин злобно сказал:

— Суворову завидует отец. Ныне будет преследовать всех, кто с ним отличился в походах.

— Дурак и мальчишка, — отозвался Павел, узнав про эти слова. — У цесаревича трактирные рассуждения. Душе моей зависть чужда. А того он не смыслит, что вся боль моя от посрамления великой системы? Она одна может удержать в повиновении русский народ...

После столкновения с сыном Павлу не остановить было мыслей о том, что Суворов втоптал его гатчинскую систему в грязь: ославил на весь мир! И вот едет он, победитель, пример всем военным. Да ведь он разложит все войско. Недаром столь лукаво выставляет против Фридриха самого Петра Великого, будто сказано у него

в уставе воинском: «Офицерам потребно рассуждать, а не держаться, яко слепая стена».

Втайне Павел никогда не переставал питать к Суворову вражду, доходившую до мелочей. Так, дав ему по необходимости княжеский титул, не разрешил именовать его светлостью, как Безбородко и Лопухина. И сейчас с каждым часом вражда эта росла. Если Суворов останется жить, окруженный всеевропейской славой, он, конечно, станет еще дерзновенней по своим взглядам на войско, он — генералиссимус, начальник всех военных сил! Одним своим почетным пребыванием в столице он расстроит военную систему, созданную с таким трудом. Ей отдана с юности, с гатчинского изгнания, вся жизнь. Недопустимо.

И в таком случае, если он не умер во-время, пусть приедет не в славе и почести, а как опальный, как ослушник императорских уставов. Пусть осуждает вся Европа — все лучше, чем суворовское торжество. В священном споре о том, как управлять самодержцу вверенной богом страной, решающее слово должно принадлежать не генералиссимусу, каким-то диким волшебством одержавшему противу всех воинских правил победы, а тому до мелочей доведенному порядку, который угоден не только ему, Павлу, — самому богу. А тут кругом еще шепоты о поражении приверженцев гатчинской системы — разбитого Корсакова и взятого позорно в плен со своим войском Германа, того, кто приставлен был следить за Суворовым. Оба разбиты наголову. Суворову же въезд с колоколами и пушками? Нет, не бывать тому.

И вот новый приказ:

«Его величество с неудовольствием замечает по возвратившимся полкам, сколь мало приложено старания к сохранению службы в том порядке, как бы его императорскому величеству было угодно, и следственно видит, сколь мало они усердствовали в исполнении его воли и службы».

— Это моим-то великомученикам? — усмехнулся Суворов. — Ему, видно, косы дороже голов.

А через несколько дней еще прибавка к выговору:

«...во всех частях сделано упущение: даже обыкновенный шаг нимало не сходен с предписанным уставом».

— Так, — ухмыльнулся Суворов. — А все же история нам запишет и нас немало почтит за то, что не каким шагом, а на собственной заднице мы в Швейцарии с гор в бездну съехали и тем честь русского войска спасли.

Донесли. И еще те слова, что, покачав седой головой, с великой горечью произнес:

— Слов нет — важен руль. А куда важнее рука, что рулем управляет.

20 апреля Суворов тихим ходом въехал в Санкт-Петербург. Встречи не было никакой. Надо было сразу подчеркнуть, что прибыл не покрытый всемирной славой полководец, а не угодивший государю строптивый подданный, которому надлежит строгий ответ держать за свое дерзновение.

И не успела карета с умирающим приехать на Крюков канал в дом его родственника, графа Хвостова, как доложили курьера от государя. Словно сам пугаясь своего мелочного и низкого гнева, торопился Павел добить врага. Прислал глупое запрещение:

«Генералиссимусу князю Суворову императорский дворец посещать возбраняется».

Умно, почти весело улыбнулся Суворов и сказал, слабой рукой указывая на свое безжизненное, умирающее тело:

— Куда мне во дворец? И для малой нужды уж не встать.

И словно отмахнувшись от злой суеты мира, соединив свой возвышенный дух с одним любимым делом и войском, Суворов стал медленно умирать.

Он часто терял сознание, когда же приходил в себя, опять был жив духом, устремлен к одной своей цели: победе оружию русскому. Исправлял ошибки прошедшей кампании. Рвался все в Геную, куда не пустил его в свое время гофкригсрат и что могло бы изменить весь характер похода. Просматривая со стороны, со всей строгостью, собственный жизненный путь, осудительно сказал:

— Гонялся за славою — все мечта.

Долго молчал, закрыв глаза, почти не дыша, — не легко брала его смерть. Наконец словно подвел окончательно итоги своих трудов, упований, всего богатого

наследства, оставляемого потомству, и, как бы передавая себя в историю, произнес:

— Как раб умираю за отечество.

Суворов умер в полдень 6 мая 1800 года.

Вокруг дома тотчас выросла толпа народа — все плакали, все нелицемерно любили его.

Державин отозвался взволнованной лирой:

Восторжествовал — и усмехнулся
Внутри души своей тиран,
Что гром его не промахнулся,
Что им удар последний дан
Непобедимому герою,
Который в тысящи боях
Боролся твердой с ним душою
И презирал угрозы страх.

Армию охватила глубокая, безнадежная скорбь. Солдаты знали, что потеряли отца и полководца. В «Петербургских ведомостях» же не было напечатано ни слова ни о смерти, ни о похоронах Суворова.

Воинские почести велено было воздавать рангом ниже, не как генералиссимусу, а как фельдмаршалу. В погребальной церемонии участвовали только армейские части. Гвардия назначена не была — будто бы вследствие усталости после недавнего парада.

Мите казалось — он похоронил родного отца. Скорбь его и Маши была беспредельна. Так еще живы были в памяти веселые дни в Богемии, по пути на родину, дни отдыха после нечеловеческого похода, после ранения, после отчаянных часов отказа от личной жизни и любви. То Митя видел Суворова как живого, впереди всех на старой любимой его кобылке, в родительском плаще, готового ринуться в снежную бездну или укреплявшего соленой шуткой, вызывавшей грохот смеха, подобный обвалу, своих ослабевших от изнурения чудо-богатырей. Видел его перед взятием Нови, когда вдохновленная воля его источала энергию почти зримую, как стрелы молнии, и ею зажгла все войско — и свое и союзное. Вспоминал и иное: как он вошел в чуть освещенный рассветом лазарет, в его палату, и склонилось над его койкой необыкновенное лицо с глазами, блистающими голубизной и добротой. Митя чувствовал, что навеки связана его жизнь —

как в беде, так и в большом счастье союза с Машей — с этим необычайным полководцем-отцом. И оправдать надо его аттестацию: «Вы с Машей не пустобрехи-болтуны, а люди».

«Клянусь... оправдаем».

Так мысленно обещал Митя Суворову, не стыдясь слез своих и детской сыновней любви.

У Воронихина собралось провожать Митю с женой, уезжавших в Каменку, немного близких друзей. И было так странно, когда в этом тесном кругу появилась вдруг Катрин Тугарина.

— Мне так захотелось, — сказала она застенчиво и непривычно просто, — мне захотелось, Машенька, еще раз увидеть вас и познакомиться с вашим мужем.

Катрин протянула руку Мите и, повернувшись к Карлу Росси, спросила:

— Ведь это тот самый Митя, друг ваш?

— И ваш, если позволите, — низко кланяясь и целуя ей руку, сказал Росси.

— О, мы вас никогда не забудем, — воскликнул Митя, — ведь нашим счастьем обязаны мы только вам.

— Нет, нет, — прервала, зардевшись, Катрин, — прежде всего самим себе, своей благородной любви, которая дала такой всем нам урок. — Она смешалась, виновато глянула на Карла.

Карл близко подошел и спросил, понизив голос:

— А ваша собственная свадьба когда?

Он старался сказать как можно бесстрастней, но легкая краска и опущенные дрогнувшие веки его выдали.

Катрин все так же просто, без прежней игры ответила:

— Я отказала Игрееву. Я с отцом моим на днях еду в Италию, должно быть надолго.

— Как рад я... — против воли вырвалось у Карла.

Катрин протянула ему руку, крепко пожала и, глядя ему прямо в глаза, без кокетства сказала:

— Благодарю вас за эти слова.

Глава четырнадцатая

Смерть Суворова, постигнутого внезапной опалой Павла, особенно взволновала всех близких ко двору. Этот капризный переход Павла от величайших похвал к мелочной придирчивости, оскорбительной для великого полководца, возмутил его почитателей и даже равнодушных. Неуверенность в завтрашнем дне еще увеличилась, истерзала всех страхом и ускорила враждебное Павлу объединение. Никто не желал разбираться в смягчающих обстоятельствах, превративших этот характер в «чудище деспотизма», как о нем писали иностранцы.

Ненависть к Павлу особенно усилилась после того, как устранено было коварными наговорами бескорыстное влияние Нелидовой. Это произошло в дни московской поездки и встречи с новой фавориткой — Анной Гагариной.

— Почему меня в Москве так любят, а в Петербурге словно боятся? — наивно спрашивал Павел, принимая восторги москвичей, еще не запуганных, как петербуржцы, каждодневным стеснением узаконенных свыше инструкций, дабы и частная жизнь обитателей шла по-фридриховски, по-нашему — по-гатчински...

Ловкий, кем следовало наученный, Кутайсов отвечал, что в Петербурге все злое приписывается государю, а все доброе «эти дамы», государыня и Нелидова, считают делом своих рук.

К слову сказанными намеками Кутайсов все время внушал Павлу, что он является игрушкой в руках Нелидовой и жены. Павел пришел в неистовство и твердо решил принять меры, пресекающие всякие разговоры о порабощении его воли.

По своем возвращении Павел дал при первом же случае очень резко понять Нелидовой, что он «на помочах» водить себя больше ей не позволит. И скоро огорченный вчерашний «ангел-хранитель» вместе с отставленным петербургским губернатором Буксгевденом уехали в замок Лоде. Отдален был также со всею семьей очень преданный Павлу друг его детства Куракин — все теми же происками новой партии, вступающей в силу.

Во главе ее стояли два человека немалой энергии и дарований: Никита Петрович Панин и ганноверец по

происхождению Пален. Вице-канцлер Панин, человек европейской складки и основательного образования, утратив все надежды на возможность руководить болезненным непостоянством мыслей и поступков Павла, грозящих, по его мнению, гибелью России, решил всеми силами способствовать его устранению от власти.

За несходство взглядов на внешнюю политику, а также за противопоставленную капризным прихотям государя большую последовательность и силу характера Панин был сослан. К тому же дерзновенное остроумие Панина, на которое, казалось, ему давало право совместное воспитание в детстве с государем, было нестерпимо для Павла. Рассказывали, что не так давно Павел, остановившись перед портретом Генриха IV, с горечью воскликнул:

— Счастливый государь, он имел друга в таком великом министре, как Сюлли. У меня ж его нет.

Уязвленный Панин тотчас нашелся сказать:

— Будь только ты Генрихом Четвертым, найдутся и Сюлли.

Первый свой заговор Панин составил вместе с адмиралом де Рибасом, но тот внезапно умер, Панин же принужден был отправиться в ссылку. Но и в отдалении от столицы Панин замыслов своих не оставил. Он оказывал сильное влияние на единомышленника своего, графа Палена, которому настойчиво советовал возможно скорей подобрать надежных и крепких помощников.

Пален взялся умело за хлопоты о возвращении из ссылки братьев Зубовых и генерала Беннигсена, известного ему большим хладнокровием и мужеством.

Зубовых удалось вернуть благодаря тому, что заинтересовали в этом деле Кутайсова, неизменного Павлова любимца. Ему Платон Зубов прислал письмо, где сватался к его дочери, и бывший брадобрей, которому было лестно породниться с князьями, упросил об их вызове Павла.

Павел встретил Платона Зубова великодушным восклицанием: «Вторично забудем прошлое!» — и при всей своей подозрительности вдруг оказался непонятно благосклонным к старым врагам, словно поверил в наружно выраженную преданность, и дал всем трем братьям высокие назначения.

Немедленно завелся у Зубовых свой кружок, где и разрабатывался в подробностях заговор, задуманный Паниным, но скоро принявший, под властью Палена, более грубую и насильственную форму. Подбирались нужные люди, обиженные Павлом и своих обид ему не простившие. Был между ними полковник конногвардейской артиллерии Владимир Яшвиль, которого Павел в гневе прибил, был влиятельный командир Преображенского полка Талызин, за которым стоял весь полк, были и другие...

Но самой сильной опорой заговора, главой его, являлся сам граф Пален, человек умный и сильный, для которого в смысле государственном и в отношении личном Павел был ненавистен. Он умел расположить своим видом откровенного военного человека, умело играющего прямотой, прикрывая ею коварство необыкновенное и умную дальновидность. Как отличный исполнитель приказов императора, умеющий распоряжаться и править людьми, граф Пален стал скоро необходимейшим лицом. Ему Павел доверил высший надзор за почтой, полицию явную и тайную, сделал его петербургским военным губернатором.

Однако, несмотря на свое высокое положение или, вернее, благодаря именно ему, Пален больше чем кто-либо мог опасаться внезапной перемены своей судьбы, ссылки в Сибирь или, в случае открытия заговора, еще чего-нибудь худшего. Он уже испытал на себе превратность фортуны при непостоянном императоре. Давно ли совсем был в опале из-за встречи Зубова в Риге, с отданием в приказе оскорбительного для него определения той простой вежливости, которую он оказал Зубову, как «враждебной подлости».

Еще чувствительней был задет Пален оскорблением, нанесенным его жене. Пален не сделал доклада об одном известии, полученном им из Вены, относительно дуэли некоего молодого человека, туда в гневе отосланного Павлом, дабы удалить его от двора, а Обольянинов, генерал-прокурор, ища погубить Палена, донес об этом сокрытии государю, сказав:

— Если о таких вещах вашему величеству не докладывают, могут умолчать и о важнейших.

Павел измыслил тонкую месть: когда жена Палена, первая статс-дама, приехала, как ей полагалось по званию, в торжественный день ко двору, ей нарочито публично было объявлено, чтобы она возвращалась домой и больше во дворец не являлась.

Пален, вступив в должность военного губернатора Петербурга, стал вооружать против Павла войско и жителей. Усиливал недовольство гвардии, которая и так уже была настроена против Павла за то, что он сравнял офицеров лучших семей, избалованных екатерининскими милостями, со своими грубыми гатчинцами, людьми темного происхождения и плохих манер.

Политика Палена была противоположностью поведения Нелидовой: не желание исправить совершенные ошибки, смягчить жестокость, а напротив того, довести ее до высшего предела, дабы заронить в сознание окружающих необходимость устранения самой причины этой жестокости.

Суеверный Павел, по чьему-то пророчеству уверившись, что после четырех лет ничто власти его не угрожает, вдруг решил вернуть обратно всех им сосланных.

Тысячи двинулись в Петербург со всех концов. Первые были приняты с распростертыми объятиями и получили отличные места, вторые мест не получили, а третьи просто-напросто надоели Павлу, и, подзуживаемый Паленом, он никого принимать не велел. Люди без средств, растеряв все знакомства и протекцию, просто гибли с голода, проклиная произвол деспота.

Как военный губернатор, Пален имел в своем распоряжении все заставы, тайную и явную полицию, заведовал внешними сношениями и почтой. Все повеления Павла шли через его руки. Не дав ему одуматься, Пален грубо и немедленно приводил их в исполнение, чем создавал все новых врагов. Именем Павла граф Пален правил таким образом, что как в России, так и за границей окрепло представление, что русский император сошел с ума.

Важнейшие события произошли во внешней политике Павла. Как недавно он соединен был с первой коалицией, возглавляемой Питтом, с целью низвергнуть власть, «узурпированную» Бонапартом, и передать ее обратно законным Бурбонам, так сейчас, под влиянием умного

воздействия клевретов первого консула — иезуитов, вчерашнюю ненависть заменил восторженным обожанием этого нового государя французов, «если не по имени, то по существу». Право на власть и помазание незримой благодатью, по уверению Губера, перенесены были высшей волей на того, кто, наконец, вняв голосу всевышнего, предлагал священный остров Мальту ее гроссмейстеру в ту минуту, как попавшая в сети «темных сил» Англия этим островом завладела и не имела намерения его уступить. Разрыв с Англией наносил великий вред заграничной торговле, ибо за сырые произведения русской почвы Англия снабжала мануфактурой и колониальными товарами. Эта торговля обеспечивала дворянство в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, сало, корабельные леса, мачты, лен и пеньку.

Разрыв с Англией окончательно возбудил дворянство против Павла. Мысль извести его стала желанной для знати обеих столиц.

Наполеон между тем, получив неожиданную поддержку недавнего врага, русского императора, решил привести в исполнение свой великий план обессиления Англии. Под начальством блестящего Массена́ он задумал поход на Индию, для чего французы в назначенном месте должны были соединиться с русскими.

Этим походом воображение Павла было захвачено чрезвычайно. Он сразу захотел наибольшего — обеспечить России преобладание в Индии. Без согласия Наполеона он двинул войска на Хиву и Бухару, о чем последовал приказ Орлову, атаману Войска донского: «Я готов атаковать англичан там, где меньше ожидают. Заведения их в Индии самое лучшее для сего».

Павел вознамерился выполнить этот поход при помощи одних казаков, отчего пошли тотчас разговоры, что государь хочет казачество извести, ибо ненавидит его за древнюю неистребимую независимость. В строжайшем секрете держалось передвижение войска, отправленного, как все полагали, на явную гибель.

Последние выходки Павла привели в волнение все население Петербурга, заговорили уже громко, что дольше терпеть нельзя. Панин настаивал, чтобы скорее

было вырвано у Александра согласие предложить больному отцу подписать акт об отречении от престола.

Вначале предполагалось, что Александр назначен будет соправителем.

Уже некоторое время тому назад Панин сделал попытку приготовить Александра к этому шагу. Он первый заговорил с ним о сокращении власти отца. Граф Пален, в качестве военного губернатора свободно встречавшийся с наследником, устроил Панину встречу с ним в ванной комнате, дабы избежать подозрений Павла.

Панин красноречиво изобразил Александру, какие беды испытывает Россия и что ее ждет еще впереди, если сейчас не пресечь самодурство несомненно больного государя... Александр, имевший в характере много робкой уклончивости, пока только краснел и отмалчивался.

Торжественное освящение Михайловского замка произошло в день Михаила архистратига 8 ноября. Было парадное шествие из Зимнего дворца мимо войск, поставленных шпалерами, и при громе пушек. При обеде, назначенном в час дня без гостей, присутствовал и граф Пален. Он, словно хозяин, ввел Павла в этот мрачный дворец, из которого замыслил выпустить его лишенным сана либо вовсе не выпустить живым.

В гоффурьерском журнале записано: «Кубков на случай сего торжества приуготовано не было, а пили вино из обыкновенно употреблявшихся граненых рюмок».

Страшная сырость принудила Павла отложить переезд еще на месяц. За это время срочно сделали в спальнях деревянную обшивку, и, наконец, желанный день наступил.

Приказано было при осмотре дворца присутствовать строителю Бренне с учеником. Выбран был Карл Росси.

Когда Карл вошел вслед за учителем, император уже стоял в передней овальной комнате у бюста короля Густава-Адольфа.

Павел был в хорошем расположении духа, он, смеясь, говорил стоявшему рядом высокому, дородному Палену о большом полотне художника Смуглевича — архистратиг Михаил свергает демонов в бездну.

— Его стыдливость горше открытой непристойности. Придумать такую почти дамскую хитрость! У Смуглевича каждый свергаемый с неба демон как бы случайно прикрывает причинное место другого демона рукой, ногой или волосами растрепанной головы. Получилось такое смешное неприличие, что духовные особы запротестовали. — И, обращаясь к Бренне, Павел добавил: — Прикажите Смуглевичу прибегнуть лучше к освященному веками целомудренному фиговому листу.

Не улыбаясь, придворный архитектор склонился перед Павлом:

— Не замедлю исполнить, ваше величество.

Все еще смеясь, Павел быстрым шагом стал пробегать комнаты. Он видел их много раз, но так любил этот свой новый замок, где никто до него не жил, о котором были ему торжественные видения и предсказания долголетия. Чувство защиты внушали ему эти толстые непросохшие стены. Никакое пушечное ядро их не возьмет.

Следующая комната была тронный зал, ее стены покрыты зеленым бархатом и затканы золотом. Огромная печь богато отделана бронзой, а трон обит красным бархатом, заткан и вышит золотом. Над троном герб России, окруженный гербами царств Казанского, Астраханского и Сибирского.

— Предок мой, Грозный, покорил эти царства, — Павел широким движением обвел гербы, — а я прибавил маленький остров Мальту и белый восьмиконечный этот крестик. Но по значению своему мое приобретение окажется больше всех земель, завоеванных до меня!

Он надулся, как бы желая стать выше ростом, но все еще на целую голову был ниже грузного Палена, которого гордо спросил:

— Сомневаетесь, граф?

— Ваше величество, из вифлеемских яслей засиял некогда свет для всего мира, то же повторится и с указанным вами островом, — почтительно склоняясь, тоном старшего, забавляющего ребенка, сказал Пален. — Отныне белый мальтийский крест с вашим именем в истории неразлучен.

— Самое большое зеркало! — недослушав, вскричал Павел и захлопал в ладоши, подбегая к простенку между

двумя кариатидами. — И оно вылито на моем стекольном заводе.

Прошли галерею, в подражание знаменитой лоджии Рафаэля расписанную по стенам арабесками Пьетро Скотти и великолепными фигурами Виги. Дальше, через широкие и высокие двери из зеркальных стекол вошли в галерею Лаокоона. На минуту Павел задержался перед запрокинутой головой страдальца и, тихо вздохнув, вымолвил:

— Какова, однако, сила искусства? Изображено страдание величайшее, а нам на него смотреть — не скорбь, а блаженство. Когда б кто так в живой жизни устроил!

Бренна придворно вытянулся и доложил:

— Осмелюсь указать, что сей Лаокоон скопирован в Риме с антика, высечен из единой глыбы мрамора, без пятен и жилок...

— Я совсем не о том, — прервал его Павел и, захохотав неприятным отрывистым смехом, пробежал дальше, вдруг остановился и сказал тоном приказа Бренне:

— Еще раз осмотреть все места, неблагополучные по сырости, и представить на рассмотрение мне. Только прошу не повторять заодно с лекарями, — он сердито обвел глазами Александра и Палена, словно они только и делали, что повторяли неприятные ему вещи, — не повторять, что в этом здании большой вред для здоровья. Здесь я родился — в Летнем дворце, здесь я хочу умереть — в Михайловском замке. Однако не сейчас еще...

Павел опять неприятно засмеялся и, обращаясь к Александру, сказал:

— Заинтересован посмотреть: какую это любопытную статую себе выписал из Рима ваш брат Константин?

Александр, сразу съежившись, тихо ответил:

— Я ее не видал еще, ваше величество.

Бренна сделал знак Росси следовать за государем, а сам пошел навстречу появившемуся в глубине апартаментов кастеляну Брызгалову и о чем-то стал с ним говорить.

Павел в комнате цесаревича долго рассматривал прекрасную мраморную копию гермафродита. Он все сильнее краснел, потом сердито зафыркал и закричал:

— Непристойность. Убрать. Разбить молотками...

— Ваше величество, — сказал Росси, — это высокое произведение искусства, а не непристойность, и мысль его философски возвышенна.

Павел подбежал к Росси, бешено глянул в его красивое лицо, но, встретив ясность взгляда, вдруг остыл и спросил больше с любопытством, чем с гневом:

— Крайне заинтригован, сударь, узнать сию возвышенную идею мужеженского кумира.

— Это произведение вдохновлено известным мифом Платона о том, что первоначально человек был и мужчина и женщина в одном образе и едином теле. Будучи рассечены надвое, став раздельными, одинокими, мужское и женское начала жадно ищут утраченное ими восполнение. Чаще всего при встрече они ошибаются, отчего и проистекают все горести и неудачи любви. Но если произойдет великая удачная встреча, она принесет и великое счастье. Эта скульптура — копия из виллы Боргезе. В изящных формах, взятых от обоих полов, она есть попытка восстановления первоначального, в себе самом законченного, человека.

— Чудесно! — воскликнул восхищенный Павел. — Гермафродит нашел себе прекрасного адвоката, а мне преподан прекрасный урок. Но почему, сударь мой, некие прочие, — он насмешливо поглядел в сторону Александра, — или молчат, или спешат соглашаться с моим часто неправильным суждением?

И Павел, всем поклонившись, прошел быстро в свою спальню, но быстро обернулся, как это у него теперь вошло в привычку, и, заметив, что Пален что-то говорил Александру, резко приказал:

— Граф Пален, за мной. Наследнику успеете передать ваши новости.

Пален почтительно склонил голову, чтобы скрыть невольную бледность. У него в кармане, на листке толстой несгибающейся бумаги, были написаны имена заговорщиков. И он только что сказал Александру, что пробил час поставить ему там свое имя — первым.

Росси нашел в глубине тронного зала Бренну с Брызгаловым.

Учитель по-французски продиктовал ему для записи все, что требовало немедленной поправки.

— Уже назначен бал, — сказал Бренна, — необходимо хоть для одного этого вечера создать здесь видимость сухих стен.

Карл указал на полосы льда в аршин ширины, которые тянулись сверху донизу по всем углам.

— Горячим утюгом, что ли, стенки прогладить, — проворчал Брызгалов и, ткнув своей палкой в лед, покачал головой. — Просуши-ка поди, когда лед в перст толщиной.

— Передайте ему, милый друг, он мою русскую речь плохо разумеет, — своим обычным высоким штилем приказал Бренна, — необходимо так расположить освещение, чтобы в углах сгустились тени и укрыли от глаз публики сырость.

Росси перевел, Брызгалов, поняв в чем дело, подмигнул и залихватски сказал:

— Вотрем очки! Бумажками так накурю, что твой туман в лесу будет.

Несмотря на постоянный огонь в двух огромных каминах, плесень, разрушающая живопись, уже прозмеилась повсюду, искажая и уродуя картины. Прошли дальше, в покои императрицы, которая сейчас отсутствовала, а ее дежурные фрейлины пожаловались, что не могут согреться, несмотря на отличные березовые дрова в камине.

В комнатах Марии Федоровны стены были обшиты деревом, и сырость, скрытая обивкой, не успела еще испортить чудесных ковров бледноголубого фона с видами Павловска. В нише стены белела мраморная копия с Бернини — Аполлон и Дафна. Роскошные двери вели в кабинет, чрезмерно украшенный и тяжелый. Зато парадная спальня, которая за ним следовала, при всей роскоши была воздушна и словно расположена прямо под вечно голубым небесным сводом. Эту иллюзию делал бархатный балдахин с богатой позолоченной резьбой, высоко поднятый над кроватью. Дополняла впечатление легкости стройность коринфских колонн, разделенных диванами, тоже голубыми. Все это богатство много раз было отражено зеркалами.

Тронный зал императрицы был меньше, чем у Павла, с богатым камином, украшенным барельефами девяти муз. А к трону вела всего одна ступень. Рядом с тронным залом была расположена галерея Рафаэля с чудесными коврами — копиями знаменитых ватиканских картин.

Средняя плафонная картина изображала храм Минервы. На ступенях храма восседали свободные искусства, и лицо грека, изображавшего зодчество, было списано с архитектора Бренны, чем последний очень гордился. Его прославили в городе как человека, очень нажившегося на постройке замка, который и построен-то им по чужому, Баженовскому, плану. И это свое изображение во дворце на плафоне покоев самой императрицы Бренна воспринимал как высокую аттестацию его добродетели, закрывающую рот всякому злословию.

— Мне все кажется, милый друг, — сказал он Карлу, — я здесь, на плафоне, несколько польщен, в натуре я много старее. Не так ли?

— О нет, — едва удержавшись от смеха, возразил Карл и, снисходя к слабости учителя молодиться, любезно прибавил: — сходство изрядное, и художник вам ничуть не польстил.

Галерея Рафаэля вела в залу с прекрасной античной статуей Вакха и Дианы Гудона.

Здесь кончались парадные императрицыны покои. Последняя зала соприкасалась с караульной комнатой, где всегда на часах стоял взвод. С плафона кисти бездарного Смуглевича, — того самого, который написал неприличных демонов, — наподобие брошенного мешка, без выражения доблестной жертвенности, свергался в пропасть Курций.

— Милый друг, — сказал, прощаясь с Карлом, Бренна, когда они уже вышли из дворца и собирались идти в разные стороны, — перед балом посмотрите еще за Брызгаловым. Я думаю, лучше распределить вам самим похитрей освещение. Дело будет надежней, нежели допустить кастеляна накурить до тошноты этой церковной душистой бумажкой, как она называется? — и, плохо выговаривая по-русски, он вспомнил сам: — мо-ниш-ка?

— Монашка, — улыбнулся Карл и перевел Бренне это слово по-французски и по-итальянски.

Пален вслед за государем прошел через Рафаэлеву галерею в его апартаменты. Прихожая расписана была отличными картинами Ван-Лоо, темой которым послужили легенды из жизни св. Григория. Во второй метнулся в глаза потолок, плафон работы Тьеполо, где Антоний и Клеопатра восседали в смешных, им не современных

костюмах. Третья комната — библиотека Павла. Здесь было шесть шкафов красного дерева, на которых стояли красивые вазы из порфира. В этой комнате всегда дежурили лейб- и камер-гусары. Отсюда боковая дверь вела в кухню, и кухарка-немка готовила исключительно для государева стола. Павел сильнее всего опасался отравы.

Другая дверь вела в маленькую комнату, предназначавшуюся для постоянной стражи и соприкасавшуюся с витой лестницей. Она шла во двор, где стоял один часовой. По ней же Павел мог приходить никем не замеченный в апартаменты Гагариной, которые располагались прямо под его кабинетом.

В спальне императора стены тоже были обложены деревом и выкрашены в белый цвет. Посредине стояла его малая походная кровать, без занавесок, с простыми ширмами. Над кроватью ангел-хранитель Гвидо Рени. В углу портрет рыцаря-знаменосца кисти Жана Ледюка. Рыцарем этим очень дорожил Павел, он считал его своим особым защитником.

Письменный стол императора был замечателен: он стоял на ионических колонках из слоновой кости с бронзовыми цоколями и капителями. Решетка, тоже из слоновой кости, самой тонкой работы, украшенная маленькими вазами, была выточена Марией Федоровной.

Великолепный ковер покрывал пол. В комнате были две двери, скрытые занавесью: одна дверь была в уборную, другою запирался шкаф, в который прятались шпаги арестованных офицеров. Двойные же двери, которые комнату императора отделяли от комнаты императрицы, были закрыты задвижкой и заперты ключом по приказу Павла, вдруг ставшего опасаться жены под влиянием злых наговоров графа Палена. Стена была очень толста — императрица не могла бы услышать ни шума, ни криков из комнаты императора.

Павел показал графу Палену все свои картины, особенно остановился на рыцаре-знаменосце Ледюка.

— Этот рыцарь, — сказал он, — мой хранитель, больше скажу вам, дорогой Пален, — он мой советник. Сам крестоносец, он вдохновил меня на великую идею негласного крестового похода на восставшие темные силы.

Лицо Павла было смешно и вдохновенно. Он поднял голову, высоко поставленные надбровные дуги поднялись

еще выше, крошечный носик опрокинулся вместе с ними, показав две открытые трепетные ноздри и очень большие голубые сияющие глаза. Они одни были живыми и человечески полными чувства на этом странном лице, похожем на маску.

— Осмелюсь спросить,— осторожным, ласковым дядькою, привыкшим руководить озорным питомцем, сказал тихо Пален, — о каком негласном крестовом походе ваша речь?

— О походе на Индию! — воскликнул Павел, подходя к рыцарю. — Не правда ли, мой покровитель? — Он быстро обернулся к Палену. Тот стоял высокий, доброжелательный, с такой добродушно-откровенной улыбкой на большом, отчетливо вылепленном лице, что Павел, как всегда у него бывало, когда он оставался наедине с этим крупным человеком, источавшим здоровье, поверил ему, успокоился и доверчиво рассказал:

— Я как помазанник божий обязан охранить мой народ. То, что кажется профанам сумасбродством и моей капризной прихотью, — есть веление свыше. Пока я знал, что божий перст почиет на Англии, ибо она была против мятежной Франции, я, как вам известно, отправил войска свои в итальянский поход. Но сейчас высшей силе добра служит Франция, и я готов поразить в Индии англичан.

Пален призвал на помощь всю свою придворную выдержку и еще тише, спокойнее и добрее сказал:

— Смею спросить, ваше величество, — что же является руководящим, так сказать, указующим вам сию истину перстом?

— Остров Мальта! — воскликнул Павел. — Сейчас его захватили, как разбойники, англичане и, как разбойники, не хотят возвращать его мне — гроссмейстеру! — с невыразимым величием и уважением к этому титулу поднял он к рыцарю правую руку, как бы его беря в свидетели. — А первый консул... — он прошептал Палену, как великую тайну, — на самом деле это великий монарх, это душа великого монарха в нарочитой оболочке, дабы не узнали профаны. Первый консул мне предлагает вернуть святой остров обратно. И против силы тьмы мы сейчас с ним едины.

Пален, удерживая с усилием прежнее выражение на лице, еще нагнул голову, как бы благоговейно принимая

доверие, оказанное ему императором, а сам зло и жестко подумал: кончать с ним немедля... обработали иезуиты.

— Но это, высказанное вам, обоснование моих действий между нами, не правда ли, Пален? Подчиненные не имеют права, как в святилище, проникать в душу монарха. Им слово помазанника — закон. Так, Пален?

— Ваше величество... — низко склонился всей грузной фигурой Пален.

— Ах, как мне здесь хорошо, как весело! — Внезапно Павел легко, по-мальчишески пробежался вдоль стены и стал близко к Палену. — Я здесь, наконец, себя чувствую дома. Я охранен. Я принадлежу сам себе. Здесь я с удвоенной ревностью хочу заняться благосостоянием моего народа. Что нового принесли вы сегодня мне, Пален?

И вдруг ловко и быстро, как обезьяна, Павел, чуть приподнявшись на носки, запустил свою руку в карман Палена.

Пален страшно побледнел, в один миг своей рукой отодвинул небольшую ладонь императора и, прикрыв несгибавшийся листок бумаги, захохотал так заразительно искренно, что, еще не поняв в чем дело, не вынимая руки из кармана Палена, государь ответил ему отраженным смехом.

— Махорка! — все еще захлебываясь смехом, наконец выговорил Пален.

Смеясь, он таким взглядом смотрел в голубые глаза государя, как будто через их голубизну вторгался в несчастную его голову, и, по своей воле переместив его мысли, восклицал еще и еще:

— Махорка в этом кармане, махорка! Ведь я нюхаю, а вы этого запаха не выносите, ваше величество... ха-ха...

Павел вытащил руку, отряхнул ее, вытер платком, смеясь поплевал, говоря:

— Что за свинство... махорка!

И, как всякий человек, после веселого беспричинного смеха испытывая облегчение душевного груза, благодарно сказал:

— Ну и насмешили меня. А теперь идите к Александру, его тоже полезно посмешить. Что-то не по возрасту мрачны мои сыновья.

Апартаменты Александра были просты, исключая приемных: большой зал, разделенный надвое аркой на ионических колоннах белого мрамора, был украшен великолепными картинами, из коих одна — кисти Рубенса. Зал вел в тронную великого князя. Здесь стены, обтянутые пурпурным бархатом, были затканы серебром, на ковре, не приподнятом ступеньками от прочего пола, стоял трон. Часто, стоя под балдахином, Александр давал аудиенции.

Сейчас Александр сидел на диване в своем кабинете и упорно смотрел в камин. Дрова пылали, а ему было холодно. Вот-вот придет Пален, потребует от имени государства возглавлять заговорщиков...

Как заблудившийся ребенок о любящей матери, он со слезами подумал о Лагарпе, добром и умном учителе юности. Был бы здесь, вот кто б помог.

А что недавно сделал батюшка на смех всей Европе с этим Лагарпом? «За неистовое и разнузданное поведение отнять орден Владимира» — глупейший приказ, и такое же поручение Корсакову — схватить Лагарпа с фельдъегерем и привезти в Петербург для отправки в Сибирь. За что, спрашивается? За то, что во время суворовского похода Лагарп находился во главе швейцарского правительства, по мнению батюшки — мятежного. А то позабыл отец, что навеки должен быть благодарен сему Лагарпу. Он был единственным человеком, который пытался возвысить отца во мнении сыновей. И честный Лагарп отказался от участия в замыслах бабушки лишить отца трона. Вот благодарность его...

Александр взволновался, вышел из кабинета, стал ходить по мягкому ковру тронного зала. Это его несколько успокоило, показалось — гуляет по скошенному сену на цветочном лугу. Даже захотел позабавиться, на минуту стал под балдахин, огляделся вокруг, вообразил себя вдруг весьма далеко, на лоне каких-то светлых вод, и улыбнулся желанной свободе.

Доложили о Палене, Александр помертвел, велел провести в кабинет, куда прошел снова сам.

— Необходимо, чтобы ваше высочество прочли вот это, — сказал Пален, подав перлюстрированное письмо Семена Романовича Воронцова к Новосильцеву. — Я бы

должен по долгу службы передать его государю, но... передаю вам.

Александр взял молча письмо, стал читать, скоро пальцы его задрожали — письмо было некоей прозрачной аллегорией.

«У меня нет надежд в настоящем, — писал приятелю Воронцов, — я уповаю на утешение в будущем. Наша жизнь то же самое, как ежели бы мы с вами очутились на корабле, капитан и весь экипаж которого принадлежали бы к народу, языка которого мы не понимаем. Поднялась страшная буря, и вдруг капитан сошел с ума и по капризу своему бросает за борт одного за другим матросов. Скоро все мы будем погублены этим сумасшедшим, который вместе с нами погубит и весь драгоценный груз корабля. Одна надежда на спасение, если молодой помощник капитана, к которому весь экипаж преисполнен доверия, возьмется за руль. Его нам о том надлежит заклинать».

Александр понял, залился краской, все затрепетало внутри, а Пален, как бы пригвождая к месту своими круглыми властными глазами, сказал:

— Каких же еще доказательств вам надо, чтобы поверить, сколь для всех тягостно государством несомое бремя.

Александр попытался робко спастись возражением:

— Придворных кучка в сравнении с народом. А народ...

— Народ, — прервал Пален, — но разве вашему высочеству неизвестно, что двенадцатого января отдан приказ о выступлении в Индию донским казакам? Двадцати двум тысячам человек приказано делать тридцать — сорок верст в день. Что они терпят, вы задумались? Морозы, метели, страшные лишения... крайне плохое состояние дорог. А надо протащить с собой единороги и пушки... Экспедиция задумана, как все у нас, — вдруг, без того, чтобы собрали необходимые сведения о средствах тех стран, через кои будут следовать казаки. Без заготовки продовольствия, обоза, лазаретов, даже, как я узнал от самого императора, — без маршрутов. Наконец вашему высочеству уже известно, что беспримерное мужество нашего итальянского похода оказалось наруку только австрийцам, — он тоже по капризу был начат и обо-

рван... и только благодаря гению Суворова мы спасены от позора. А что ожидает донских казаков за Оренбургом? Ведь они двинуты с женами и детьми... на верную смерть.

Пален прошелся и, став против Александра, твердо сказал:

— Секретная экспедиция в Индию, быть может, нужна, но предпринята безумно, без апробации Наполеона. Объявить себе войну, как это решил вскорости сделать император, Англия едва ли дозволит. Сотрудников явных и тайных у нее при русском дворе много, а врагов смертельных у нашего государя столько же. Предлагаю вам сделать выводы. Если вы не поспешите сами спасти вашего родителя, а нашего государя... — голос Палена дрогнул. Он волновался и волнения своего здесь не скрывал. — Ваше высочество, поспешите согласием. Ведь не о каком-либо ущербе или о лишении августейшей жизни идет речь — совсем наоборот. Речь идет о том, чтобы заболевшему некоторым расстройством мысли императору дать возможность восстановить свои силы. А пока он болен — отречься от полноты власти, сделать вас соправителем. Вот о чем молит вас вся страна — пресеките возможность заболевшему государю совершать великое зло собственной стране.

Прирожденная уклончивость характера Александра, еще усиленная воспитанием, делала для него невозможным сказать решающее слово. И Александр повел себя так, как будто весь акт отречения уже позади, а перед ним одна лишь задача: как можно удобнее устроить сейчас жизнь отца.

— Я предоставлю государю им любимый Михайловский замок,— с той вынужденной скромной улыбкой, которая почему-то считалась пленительной, сказал Александр. — Верховые прогулки батюшке всего лучше будет продолжать в так называемом Третьем летнем саду, не правда ли?..

Он глянул на Палена и оборвал сконфуженно речь. Пален глядел на него холодно, с затаенным презрением:

— Если ваше высочество мечтает о пребывании августейшего отца вашего в замке уже после подписанного им отречения, то на выполнение сего необходимого акта, полагать надо, ваша подпись мною будет получена.

Пален вынул из кармана тот самый листок крепкой, негнущейся бумаги, который чуть было не вытащил у него Павел, и протянул его Александру.

Как от ядовитой змеи, Александр отбежал скорым шагом к камину... Вернулся опять, хотел что-то сказать и не мог.

Пален чуть склонился, держа в руках свой листок, строгий, сжав губы, ждал.

Александр, дрожащий, теряющий остатки самообладания, вымолвил шепотом:

— Умоляю вас, завтра. Я завтра отвечу.

— Последний срок, ваше высочество, — сурово уронил Пален, отправляя листок в карман. — Хуже будет и государю и вам со всем вашим семейством, если нас предварят более решительные заговорщики.

Он холодно поклонился и вышел.

Александр, зарыдав как ребенок, упал на диван.

Как Павлом было назначено, второго февраля был дан в Михайловском замке бал для дворянства и купечества. Два унтер-офицера пропускали в овальную гостиную. Свод этой гостиной покоился на кариатидах, промежутки занимали аллегорические барельефы. Мебель здесь была огненного бархата, отделана серебром. Плафон работы чудесного Виги изображал такое великолепие Олимпа с собранием всех богов, что казался лучезарным источником света по сравнению с погребальным освещением замка.

Тысячи восковых свечей, зажженных в канделябрах и люстрах, не могли рассеять туман, который клубился вдоль оттаявших стен и создавал полумрак, делавший однообразной всю роскошь нарядов.

Несмотря на бравурно гремевшую музыку, этот все растущий туман и погребальные свечи производили на безмолвно толпившиеся маски удручающее впечатление.

Лихо плясали только молодые чиновницы, счастливые уже тем, что попали в роскошный замок.

Павел, мрачный, свирепо оглядев маскированных большими глазами, удалился, сильно топая, в свои защищенные комнаты очень рано.

Пален разыскал Александра в галерее Лаокоона. Прошли несколько шагов рядом. Для присутствующих ничего удивительного не было в том, что военный губернатор, граф фон дер Пален, беседует с наследником. Возможно, он передает ему что-либо от государя.

Не дрогнув своим придворным, вельможным лицом, не понижая голоса и без особого выражения, Пален сказал:

— Сегодня, в сильном гневе, его величеством было произнесено следующее: «Скоро многие, мне некогда близкие головы должны будут пасть».

Чуть повернувшись более к Александру и ровняясь шагом по его внезапно замедленному шагу, Пален спросил:

— Могу ли возглавить нас вашим именем?

Боясь себя самого, Александр вымолвил:

— Можете.

Глава пятнадцатая

Павел сидел в своем кабинете и читал историю великого прадеда.

Все эти дни его особенно волновали отношения Петра к Алексею. Больше того, Павлу казалось, что по прямой линии, как правнуку от прадеда, к нему прямо в сердце идет от Петра сила, которая двинет в урочный час и его руку написать сыновьям заслуженный ими приговор. Вот только Пален представит обещанные неоспоримые доказательства...

Павел был уверен, что после распущенного правления матушки и следствия его — великого всероссийского казнокрадства, глубокой развращенности нравов — дальнейшее процветание России возможно лишь при неуклонном выполнении введенного им строжайшего гатчинского порядка. И горестно было сознать, что достойного преемника ему не было. Хуже того, наследник по праву и крови злоумышлял на отца.

Лживый Александр, расслабленный, изнеженный бабкой, глубоко заражен вольнодумием своего бывшего воспитателя Лагарпа. И сколь он ни скрытен, когда был

им узнан приказ генералу Корсакову сего женевского возмутителя с фельдъегерем привезти в Россию, дабы водворить навечно в Сибирь, — он весьма опечалился. Заодно с Константином был против отца на стороне Лагарпа. И донесли — оба сына поносили ядовито и с издевкой его праведный суд.

Павел вскочил, пробежал из спальни в библиотеку. Рука сама собой вытащила заветную книгу о Фридрихе. Как девица идет за советом к оракулу и «толкователю снов», так и он прибегал во всех случаях жизни к своему кумиру и властителю дум. И хотя знал отлично то место в биографии Фридриха, которое сейчас ему было нужно, он для поддержки перечел его еще раз.

Это было известное событие в жизни Фридриха, еще наследного принца, которое чуть не привело его по приговору отца на плаху. И только заступничество австрийского и прочих дворов и, главное, торжественно обнаженные груди высоких военных, взамен принца предложивших пронзить их сердца, смягчили уже произнесенный, но не обнародованный приговор. Отец Фридриха удовлетворился, однако, тем, что вместо сына приказал казнить его ближайшего друга, юношу фон Катте, который согласился с ним вместе убежать в Англию от ига короля-отца. Катте был обезглавлен под окнами Фридриха, которого принудили смотреть на казнь близкого друга, пока он не лишился чувств.

— Пусть лучше будет принесена эта кровавая жертва, нежели хоть один закон нашей страны потерпит поругание, — так сказал король-отец, подписывая смертный приговор молодому фон Катте, и слова его великий Фридрих впоследствии одобрил.

— Да подкрепят мой дух мужественные примеры доблестных людей! — воскликнул Павел, ставя на прежнее место книгу.

Он вернулся к себе в кабинет, но заниматься делами не мог. Надо было сейчас, сию минуту, что-то предпринять относительно Александра... Но он вдруг забыл, что именно. Отметил горестно, что все чаще проваливается вдруг его память на полумысли, на полуслове.

— Ничего, — ободрил он сам себя, — здесь все силы ко мне вернутся, только никуда из Михайловского замка, ни шагу. Разве что верхом в Третий летний сад. Теперь

и к Аннушке Гагариной тут же по витой лестнице, под собственный кабинет, этажом ниже. Перехитрил заговорщиков — переехал, сколь ни чинили препятствий. Недостроено, сыро, — а на что камины? Пылают денно и нощно. А ежели у великой княгини, Александровой супруги, от сырости мигрень? Ну что же — потерпите, мадам...

Павел сделал насмешливый поклон в пустое пространство и вдруг вспомнил то, что только что позабыл. Усиленно забилось сердце. Проверять надо наследника Александра — вот что он позабыл. Лицемерию выучился у бабки, под внешней покорностью скрывать свои планы. Удалось бы ей в свое время незаконно взойти на престол, если бы она не была величайшим мастером лицемерия? Проверять Александра надо внезапно, когда он того не ожидает, как птицу хватать на лету...

И Павел, торопливо спустясь вниз по лесенке, пробежал анфиладу комнат и без доклада вошел к Александру в кабинет. Стремительно подбежал к нему, испытующе глянул в глаза:

— Чем, сударь, заняты?

Александр ужасно смутился. Ну так, словно отец поймал его на месте преступления. Он ничем не занимался. Он часами теперь сидел так и смотрел в одну точку, когда его не видел никто. Граф Пален словно взял его, как маленького, за руку, насильно перевел через шаткий мосток над бурной рекой. И мост рухнул, и назад уж нельзя. А под ногами разверзлась пропасть, двинешься — упадешь. И всего лучше было ему ни о чем не думать, а недвижно сидеть; чуть дышать, почти умереть.

— Чем сейчас были заняты? — повторил грозно Павел и обежал глазами комнату.

— Я, батюшка, так сидел, — проговорил угасшим голосом Александр.

— Подходящее занятие для наследника престола, — рванул резко Павел и вдруг приметил на письменном столе отодвинутую вглубь раскрытую книгу. Перед ней, как бы заслоняя ее, стоял глобус.

— Наскоро поставили, заслонить? — ехидно спросил Павел. — А ну-ка посмотрим, что вы изволили, сударь, читать?

Павел схватил раскрытую книгу, пробежал быстро глазами, покраснел, запыхтел. Александр, вытянувшийся, как на смотру, побледнел при этих ему известных угрожающих признаках гнева отца.

— Вы, сударь, отодвинули и заставили глобусом книгу, дабы я не приметил, что именно вам было угодно читать.

— Я ничего не читал... — пробормотал Александр.

— Ложь! — крикнул Павел. — Вот он, восхваляющий убийство Цезаря стих Вольтера, ваша книга была раскрыта как раз на нем. Вы, сударь, поглощали Брута.

И Павел продекламировал по правилам французской трагедии с подчеркнуто ироническим оттенком голоса:

Rome est libre. Il suffit.
Rendons grâces aux dieux![1]

— Да за одно это чтение вы достойны... — Павел махнул рукой, побежал к двери, остановился, бросил на пол оставшуюся в его руках книгу, от ярости понизив голос, сказал: — Но прежде всего вы с вашим братом будете вторично приведены к присяге верности вашему императору генерал-прокурором Обольяниновым.

Павел ушел. Александр, медленно подняв книгу, положил ее снова на стол и, сев на прежнее место, застыл без мысли, без чувства.

Очень скоро доложили ему приход одного из государевых адъютантов, того самого, который послан был к Суворову возвестить ему запрет приезжать в Михайловский замок.

Ничтожный придворный человек, с незапоминаемым мелким лицом, сказал фальшивым голосом царедворца, которому лестно нанести безнаказанно царскому сыну удар:

— Его величество присылает вашему высочеству для справки жизнеописание Петра Великого, с нарочитым назиданием прочесть страницы, посвященные последним его приказам относительно судьбы его наследника.

Александр машинально взял из рук адъютанта большую книгу, кивком головы отпустил его и прочел

---

[1] Рим свободен. Довольно. Возблагодарим богов *(франц.)*.

выразительные строки о присуждении к смертной казни царевича Алексея.

Слезы брызнули из его глаз. На красивом лице проступила обиженная растерянность. Не вытирая слез, измученный, он прошептал:

— И некуда мне убежать.

Вечером в Михайловском замке был французский концерт. Все ощущали большую тревогу: зачем это пение, зачем бриллианты мадам Шевалье, когда вот-вот грянут события...

Уже пошли в городе шепоты о предрешенном аресте обоих великих князей. Вызывали в памяти кровавый конец отца Павлова, и во главе заговорщиков называли сыновей тех, кто убил Петра Третьего. Неужели опять повторение?

Император сидел на концерте сумрачный и не обращал внимания на пение своей любимицы Шевалье, о которой еще недавно поговаривали — она-де заступить должна место Гагариной.

Перед выходом к вечернему столу император надумал какое-то сценическое появление, особое воздействие своей персоной, как во французских криминальных драмах, дабы уличить нежданно преступников. Распахнулись обе половинки дверей, и он, уже некоторое время ожидаемый, подошел к императрице, скрестив на груди руки. Посмотрел, помолчал, многозначительно улыбнулся. То же проделал, подойдя по очереди к обоим сыновьям. Было смешно и грозно, словно плохой актер, не разрешившийся словами, одной мимикой выразил угрожающий приговор.

Павел спешно протопал первый в столовую и сел за стол. На ужине, как на панихиде, царило гробовое молчание, а когда Мария Федоровна с великими князьями подошла, как обычно, его благодарить, Павел отскочил от них, замахал рукой, ушел, не поклонившись, к себе. Императрица заплакала.

Граф фон дер Пален неослабно следил за настроением Павла и решил, что сейчас ни минуты нельзя выпускать его из рук, пока не свершится задуманное немногими, ожидаемое всеми пресечение его безумной власти. По должности главного почтдиректора Палену было уже известно, что Павлом выписан из своей деревни Аракчеев. Времени для полной и бесконтрольной власти оставалось

немного, завтрашний день грозил ссылкой, Сибирью, быть может казнью. О заговоре открыто говорил уже город. И вот начался поединок между царем и царедворцем.

Пален, высокий, сильный, дышащий здоровьем, полный неизменной доброжелательности, несколько грубоватой, но тем более внушающей доверие, одним своим физическим видом умел, как лекарством, усыпить больные нервы Павла. Не веря Палену, боясь его, он все-таки с ним отдыхал.

План военного петербургского губернатора графа Палена был таков: утомлять государя непрерывно делами, так, чтобы ничье живое влияние не прослоило того исключительного волевого обхвата всей психики Павла, которое ему удалось создать. Так продержать Павла надо до вечера, до конца. Да, вечером — конец. Дольше откладывать нельзя и минуты.

Совсем на днях Павел, получивший еще один донос с перечислением заговорщиков, хвастливо почитая себя на высоте прокурорского гения, внезапно спросил Палена, пришедшего с очередным докладом:

— Вам известно, что против меня существует заговор?

И Пален ответил с своей улыбкой, убаюкивающей все сомнения:

— Почти во всех подробностях, ваше величество, потому что я сам этот заговор возглавляю. Наилучший способ держать в своих руках все нити...

Пален сказал правду, но так она была ошеломительна, что усыпила настороженность и оживила обычное самомнение Павла. Он небрежно приказал:

— Дознавайтесь скорей и докладывайте.

Сам же хитро подумал: а как про всех доложит, его первого под арест. Разберу дело не с ним, с Аракчеевым.

Опять в памяти Павла случился провал: вызов, посланный Аракчееву, мог достичь своей цели, если б у Палена власть была отнята. Но Павел отнять эту власть позабыл, и человек, которому подчинена была вся полиция, тайная и явная, на одной из застав приказал задержать поспешившего на спасение царя Аракчеева.

Кто еще может быть опасен заговорщикам? Разрешено иезуита Губера впускать во все часы дня и ночи.

Иезуит — клеврет первого консула. Кто знает, какие у него могут явиться проекты для охранения силы, сейчас готовой служить замыслам его хозяина против Англии?

И Пален патера Губера очень хитро не пустил. Любезнейше попросил его повременить, пока не будут государем подписаны дела первой важности. Большого хитреца перехитрил на́больший. Губер доверился приветливо почтительному Палену и с терпением ждал.

Когда Павел, не выносивший долго усидчивой работы, спросил Палена, который с расчетом на это качество государя завалил его подписью бесконечных бумаг: «Ну, еще что... еще что?» — Пален с сокрушенным сочувствием вымолвил:

— А еще патер Губер ждет с толстой тетрадью собственных мыслей о необходимости соединения церквей.

Расчет Палена, как всегда, попал в точку. Утомленный Павел воскликнул:

— Послать патера к черту с церквами и тетрадями.

Павел ездил кататься верхом в Третьем летнем саду, потом долго разговаривал с Коцебу, недавно возвращенным из ссылки. Это входило в план — занятия невинные, развлекательные, не таящие в себе угрозы возникновения опасных заговорщикам мыслей. Павел поручил Коцебу описание любимого своего замка и очень интересовался, как подвигается работа. Развеселился, проходя мимо статуи Клеопатры. Высказал предположения, что египетская очаровательница потерпела неудачу у Августа единственно оттого, что красота ее несколько перезрела. Между тем, обольсти она Августа, не понадобились бы ей общеизвестные нильские змейки, чтобы самовольно пресечь свои дни.

К своему письменному столу Павел подошел радостно возбужденный. Глянул на картину Ледюка, изображавшую рыцаря, которого почитал своим охранителем, как обычно кивнул ему головой, словно живому, и с лукавой усмешкой вытащил из ящика копию своего послания всем правителям европейских государств о вызове их на рыцарский турнир. Внезапно нахмурился и сел писать приказ на имя барона Криденера, посланника в Пруссии, с требованием объявить прусскому королю предписание занять Ганновер.

Краска выступила на бледных щеках Павла. Промелькнуло в голове, что прусский король может его ослушаться. И он гневно приписал в конце приказа Криденеру: «Если король не займет Ганновер, вы обязаны в 24 часа оставить его двор». От того, что он написал, гнев его еще возрос. Перед его воображением встал уже чей-то сговор, сопротивление. Он не доверял своему прусскому послу. Он схватил другую бумагу и написал Колычеву в Париж с повелением самому Наполеону передать его предложение вступить в курфюршество ганноверское ввиду нерешительности берлинского двора.

Велел позвать Палена. Все сильнее не веря ему, боясь его, Павел тем не менее через него отправил обе только что написанные бумаги.

В послании к Криденеру Пален осмелился приписать от себя: «Государь очень болен... скоро это будет иметь свои последствия».

Пален шел на крайний риск: или сегодня ночью, или никогда.

Дальнейшие события развернулись так, что оставили в истории еще одно доказательство победы сильной воли, знающей свою цель, над характером, подчиненным мимолетным капризам и чувствам, не умеющим не только защитить свою жизнь, но, словно в угоду твердо начерченному плану врага, как бы усерднее всех исполнявшему его предначертания. Павел грозно объявил сыновьям домашний арест, чем снял с Александра невыносимые укоры его легко раздражимой совести, так что генералу Уварову, приставленному Паленом к наследнику, дабы тот не предпринял каких-либо опасных для заговорщиков шагов в порыве раскаяния в данном им слове, не пришлось прибегать к защитительным мерам. Уваров только вторил Александру в его розовых грезах относительно той удобной, безответственной жизни, которую надо будет теперь устроить больному, отошедшему добровольно от власти императору.

Уваров охотно и многократно повторял Александру клятву, данную ему Паленом, что, конечно, жизнь Павла для всех священна и никакого урона его здоровью нанесено быть не может. Александр охотно верил и быстро успокаивался, избегая смотреть в точные, исполнительные

глаза Уварова, словно боясь в них прочесть насмешку и осуждение.

И Александр в глаза Уварова не смотрел и ненужных вопросов ему не предлагал. Он хотел, как всегда, не истины, а только покоя.

Оставалось еще последнее препятствие, которого Пален имел основания, как он сам впоследствии говорил, опасаться более всех: полковник Саблуков, командир эскадрона, должен был выставить караул в ночь на двенадцатое марта в Михайловский замок. Этот несокрушимый человек был верен присяге и Павлу.

Пален поручил генералу Уварову устранить и его. И точный, спокойный Уваров этого добился легко. Он только шепнул Павлу, что молва идет об эскадроне Саблукова, будто все они — якобинцы. И за три часа до своей гибели Павел своей волей удалил последнюю свою защиту — беззаветно преданного Саблукова.

Впрочем, воли своей у Павла уже не было, он лишь отдавал распоряжения, повинуясь воле чужой. Сознание Павла было как прозрачная среда, через которую, не задерживаясь, проходил луч твердого, определенного руководства.

И вместе с тем чувствительность его была обострена до предела, переходила порой в ясновидение. В последний вечер своей жизни он был как-то причудливо весел, о чем, вспоминая горький опыт пережитого, вдруг сам сказал:

— Сей род веселости у меня всегда бывает перед особо большой печалью.

Он любезно шутил со всеми, кто был за ужином; наследнику, хотя тот и был под домашним арестом, вдруг многозначительно сказал слова, как того вовсе не требовало вызвавшее их маловажное событие. Наследник чихнул, а Павел привстал, изысканно ему поклонился и произнес с подчеркиванием:

— Исполнение всех ваших желаний.

Уходя же к себе после ужина, сделал две вещи, которые, будучи очевидцами рассказаны своим знакомым, облетели город, занесены были в дневники современников и вошли в историю.

Павел подошел к зеркалу, рассмеявшись своим хриплым, отрывистым смехом, сказал:

— Как странно, я вижу себя со свернутой шеей!

И затем, уже уходя к себе в спальню, остановился у дверей, ни к кому не обращаясь, произнес, как фаталист-мусульманин:

— Чему быть — того не миновать.

Около одиннадцати часов вечера заговорщики собрались в квартире Талызина, командира Преображенского полка. Много было выпито, все готовились к важному делу, но в чем именно оно будет состоять, знали очень немногие. В половине двенадцатого появился Пален. Еще потребовалось шампанское. Подняв бокал, Пален скромным, но твердым голосом сказал свои решающие слова:

— Поздравляю с новым государем.

Еще ничего с Павлом не было окончательно решено. Он еще царствовал. Все мосты подъемные были подняты. Все караулы на месте. А хитроумный Пален заставил присутствующих выпить с ним вместе за здоровье государя нового, чем как бы перевел по ту сторону дела, уже свершившегося. Коварный знаток слабых сердец, он сделал и с собранными офицерами то, что ему уже удалось сделать с Александром. Он в их мыслях переставил в уже прошедшее то, что им еще только свершить надлежало. Он освободил слабых от выбора, этого тяжкого бремени сильных людей, и крикнул, как на подчиненных:

— Стройтесь в две колонны! Разделяйтесь — кто пойдет со мной, кто с князем Платоном Зубовым!

Никто не трогался с места. И тут не хотели брать на себя ответственность. К тому же все были нетрезвы.

— По-ни-маю, — протянул несколько презрительно Пален. И до конца принял решение на себя одного. Он брал офицеров, как детей, за руку и отводил — одного вправо, другого влево. Сказал Платону Зубову:

— Вот эти — с вами. Прочие со мной. В Михайловский замок, господа!

Войдя во дворец, Пален передал, тоже ганноверцу, генералу Беннигсену, крепкому, хладнокровному человеку, главенство над своей половиной и направился в покои императрицы. Вошел к дежурной статс-даме и стал ей рассказывать обстоятельно, что сейчас происходит на половине государя.

В качестве плац-адъютанта, заговорщик Аргамаков знал отлично все ходы и выходы и потайные коридоры, по которым должны были дойти до спальни Павла.

Поднялись по лесенке в маленькую кухню, смежную с прихожей, перед спальней государя. Здесь спал охранитель, камер-гусар, прислонившись головой к печке. Один из офицеров рубанул его саблей, гусар закричал во всю мочь:

— Убивают государя, спасите!

Граф Кутайсов, живший этажом ниже, проснулся от шума и кинулся было на помощь, но, устрашившись, стал спасать только себя. Как заяц, стрельнул он из замка, по дороге теряя свои ночные туфли.

Павел в испуге вскочил. Забыл или побоялся спуститься к Гагариной потайной лестницей. Спрятался в камин и заслонился экраном.

Едва заговорщики гурьбой вошли с шумом в спальню, как на лестнице раздались шаги и бряцание оружия. Все решили, что их сейчас арестуют, и шарахнулись бежать. Генерал Беннигсен, высокий, худой, бледный, как призрак, один не был пьян. Он мгновенно представил себе все последствия неудачи и проявил твердую решимость, не зависящую ни от каких неожиданных впечатлений. Пален знал, кому доверить выполнение дела. Беннигсен, обнажив саблю, стал у дверей и кратко сказал:

— Назад уже поздно. Зарублю. Кончайте.

Луна осветила босые ноги Павла. Беннигсен отодвинул от камина экран и, указывая на небольшую фигуру в белом полотняном камзоле и ночном колпаке, произнес по-французски:

— Le voilà! [1]

Беннигсен, не оборачиваясь, вышел в кабинет Павла и сделал вид, что спокойно рассматривает картины, висевшие на стенах. Когда он вернулся, все было кончено. Павел мертвый лежал на полу.

— Благопристойно уложите его на кровать, — приказал Беннигсен и пошел навстречу входившему Палену.

---

[1] Вот он! *(Прим. ред.)*

Когда к Александру кто-то из приближенных обратился со словами: «ваше величество», — он понял, что отец его умер, и забился в истерике.

— Вам ведь было известно, — желая сказать мягко, но с плохо скрытой усмешкой сказал Пален, — вам было известно, что исход заговора означал для вас либо престол, либо заточение, если не гибель. Что же так вас теперь убивает?

— Вы мне клялись, что отец будет жив!

— Меня в это время не было в спальне императора, я охранял вашу матушку, — не дрогнув, сказал Пален и с прорвавшейся вдруг властностью приказал:

— Довольно ребячиться. Ступайте царствовать. Покажитесь народу.

Карл Росси, выйдя поздно вечером из дома Тугариных, от захвативших его мыслей и чувств не мог сразу вернуться домой. Он пошел бродить вдоль Невы по любимому городу. Душа его была переполнена, и встревоженные чувства мешали ясности мыслей. Как вдруг все перевернулось в его судьбе. Капризная и надменная Катрин, которая нанесла такую рану его первой наивной любви, сама полюбила его, и самые несбыточные грезы, от которых он давно отказался, сейчас могли стать действительностью. Катрин расположила к нему своего отца, и тот, собрав о нем сведения от своих придворных знакомых, художников, ловко выспросил и Бренну и получил впечатление, что юноша Росси, сын знаменитой балерины, если разовьет свои гениальные способности, превзойдет славу матери. Такого многообещающего художника, прекрасного собой и с отменными манерами, можно и приласкать. Катрин же пошла еще далее. В очень задушевной беседе она призналась, что пережитое ею недавно, основанное на расчете, отношение к князю Игрееву вызвало навсегда отвращение ко всякой лжи и нечестности в области чувств. Пример же прекрасной любви Сильфиды и Мити открыл новый для нее мир свежей радости и красоты, перед которыми бессильны все колкие насмешки господина Вольтера, чьей жертвой она так легковерно была. Словом, Катрин как будто заново родилась и просила простить ее за прошлое,

не оставлять своей дружбой в будущем. Отец надавал Карлу кучу очень интересных заказов, он оказался истинным ценителем искусства, и часы, проведенные с отцом и дочерью, были теперь полны новой, неиспытанной прелести. Тугарин просил Карла бывать у них каждый день...

«Если бы все это случилось раньше, — с горечью думал Карл, — как могли мы быть счастливы! Сейчас же за каждой ее улыбкой я вижу только новый каприз, завистливое желание самой испытать те чувства, которые приоткрыла ей настоящая любовь других. Но мне ль стать игралищем ее опытных упражнений? А если во мне говорит самолюбие? Если чувства этой девушки, почему-то запоздавшие сравнительно с развитием ее разума, сейчас расцветают тем нежным цветом, как это было несколько месяцев тому назад со мной самим? И я из чувства мести заставлю ее пережить все те страдания, которые пережил сам?»

Так, переходя от невольного увлечения новой прелестью Катрин и тут же уничтожая зародыш воскресающего чувства иронией, неизбежным следствием сердечной обиды, Карл, не находя себе места, забрел уже на рассвете в Летний сад и на миг забылся, восхищенный его красотой.

Неожиданное в марте ясное, теплое солнце поднималось над Фонтанкой и уже позолотило высокий шпиль Михайловского замка. А деревья вокруг, очень черные, будто свеженарисованные китайской тушью, с особой отчетливостью наложили сложный переплет своих ветвей на бледноголубое небо.

Выйдя на мост перед замком, Карл с изумлением остановился. У ворот, которые ведут во дворец и где обыкновенно стояли двое часовых, он заметил целую роту под ружьем. Вокруг замка происходил какой-то неуловимый беспорядок, и в разных направлениях шли различные части войск. Но самой поразительной была возникшая наверху лестницы парадная фигура кастеляна Брызгалова. Он, как обычно, в своем яркомалиновом сюртуке с золотыми позументами, держал в руке саженную палку, но был без шляпы, и седые волосы его колебал ветер. Кастелян замка показался Карлу либо пьяным, либо вдруг сошедшим с ума. Ясно было одно — что-то необыкновенное произошло за эту ночь в замке.

Росси быстро направился к дому учителя Бренны, жившего неподалеку, он должен был знать все в подробности.

Данилыч, старый лакей Бренны, сказал, что барин срочно вызван «графом Палиным» во дворец еще ночью, и всхлипнул:

— Сходствие требуется императору навести! Уж так он, государь-батюшка, изуродован. Глаз ему вырвали...

Старик дрожащими от волнения руками открыл Карлу дверь в кабинет.

— Ты в бреду, Данилыч, иль с похмелья? — изумился Росси.

— Какое похмелье, — махнул Данилыч рукой, — этой ночью объявлено графом Палиным, будто скончался наш государь внезапно, ударом апоплексическим. Ан всем уж ведомо, что удар тот разбойничий, зубовский. Табакеркой в висок его Зубов хватил. Прямо насмерть...

Росси вспомнил нелепо нарядного Брызгалова без шляпы на лестнице замка и понял, что слова Данилыча — чистая правда.

А старик лакей, обычно подтянутый перед господами, вдруг обессилел и, не спросив разрешения, опустился в кожаное кресло.

— Все это у Палина давно было подстроено, а на государя им словно наваждение напущено. Своими руками стал гибель свою торопить. Поручик один ночью к барину приходил, подслушал я, как рассказывал. Полковника-то Саблукова, преданного государю, с внутреннего караула просто волшебством убрали. Слыхал поручик, Палин кому-то сказал: всех опаснее нам тот Саблуков мог оказаться. А собачка белая государева ведь так и ластилась, словно последнюю защиту хозяину чуяла. Сейчас как сквозь землю эта собачка пропала.

— Когда именно поручик за твоим барином приходил?

— Не так давно. А прикончили государя задолго до рассвета. Истоптали всего, а тут народу его надо показывать — устрашились. Выручай их! И из караула некий, — тут у нас в доме кума его живет, — еще рассказывал, что нового государя Александра родная матушка силком к отцову телу подвела да как закричит: «Смотри... на всю жизнь смотри да помни». А покойнику лицо

воском уже обмазали, подкрасили, да все, видно, не так. Шляпу, слышь, низенько ему нахлобучили, чтоб и глаз не видать. Так и народу покажут. Мыслимое ли это дело, императорское миропомазанное, в бозе почившее лицо и вдруг в шляпе?

Из передней слышно было, что кто-то вошел, впущенный швейцаром. Данилыч кинулся открывать дверь.

Бренна появился бледный, с таким застывшим выражением ужаса на лице, что Карл только молча пожал ему руку.

— Хорошо, что вы здесь, друг мой, — сказал устало учитель, — вы совершенно сейчас необходимы. Я больше не в силах там присутствовать. Я любил его... — И Бренна заплакал, повторяя, сам не зная того, ту самую фразу, которую по-французски твердил Павел кинувшимся на него заговорщикам: — Что... что он им сделал?

Бренна, погруженный в свои большие хлопоты по сооружению Михайловского замка, при постоянных докладах Павлу о текущей работе видел его неизменно любезным, щедро доброжелательным. Увлечение замком было светлой минутой Павла, его лучшим отдыхом. Далекий от непонятного ему русского быта, не испытавший на себе всеобщего гнета, итальянский мастер, как многие иностранцы, воспринимал Павла обаятельно любезным, рыцарственным человеком.

— Я вас попрошу, дорогой Карл, посмотреть, чтобы не испортили тон кожи, составленный мной. При наложении на лоб и виски придется добавить охры, впрочем, вы увидите сами. О, как ужасно он изуродован. Римляне не смогли бы столь безобразно убить. Но идите, идите скорей. Окоченение уже прошло, работать можно. Вас внизу ждут мои сани...

Карл вышел и сел в маленькие санки, которые только что привезли Бренну. Хотя до Михайловского замка было недалеко, он с трудом пробрался сквозь густую толпу разного люда. И толпа все росла, несмотря на войска, шеренгой стоявшие на улице. И страшно было понять, что толпа эта была не только бурно радостна, она просто ликовала, как в самый большой праздник, как в день одержанной победы.

Дальше в санях двигаться было нельзя. Карл вышел. Он пешком прошел через площадь Коннетабля. Невольно задержался его взор на нарядной статуе Петра, которую Павел извлек из мрака и воздвиг среди площади. И надписал: «Прадеду — правнук».

Карл вспомнил о всем известном видении Павла, как однажды по набережной ему сопутствовал его великий предок и, горестно пожалев его, сказал: «Бедный император, бедный Павел».

Эти слова неотступно звучали сейчас в ушах Карла, когда он шел мимо караула, задавая себе вопрос — где ж были они, преображенцы, семеновцы, одни, кому покойный слепо доверял? Почему пропустили убийц?

Карл дошел до великолепных дверей, богато изукрашенных щитами, оружием, медузиными головами. Змеи покрывали их вместо волос и казались зловеще ожившими...

Сквозь знакомую анфиладу комнат Карл прошел в парадные покои Павла, овальную переднюю залу, отделанную под желтый мрамор. Здесь художники торопились создать какое-либо сходство изуродованного лица лежащего перед ними трупа со всем знакомыми чертами покойного императора. На стенах этой комнаты было шесть больших исторических картин. Покорение Казани в великолепной группировке Угрюмова, его же венчание на царство Михаила и Полтавский бой — отличная картина Шебуева. Огнемечущий, горя глазами, великий Петр стоял рядом с благородным Шереметевым. Петр был полон гнева, словно за то, что под его ногами, на простом большом столе, распростерто было изуродованное тело его правнука.

Лицо Павла было страшно. Без парика, бледножелтое, с глубоко пробитым виском, с правым глазом, выпавшим из орбиты. Глаз лежал на щеке и не по-человечески внимательно смотрел в одну точку. Карлу почудилось — на него.

Чтобы собраться с силами и приступить к работе, Карл большим усилием воли, словно в океан света, погрузился в воздушную перспективу прекрасной картины Причетникова «Плавание по Босфору».

Внизу кипела страшная работа: живописцы, руководимые врачом-анатомом, наращивали недостающие

кости, сорванную кожу, красили черные пятна, кровоподтеки.

Подойдя к ним и глянув на то, что вчера еще звалось императором Павлом, Росси невольно воскликнул:

— Как же привели его в такой вид?

— А вот сумели, — сказал молодой врач с укором, как будто и Росси был участником дела. — Ногами топтали, пока один не догадался снять с себя шарф и прикончить.

Подошел знакомый художник, тоже бледный от волнения, но, видимо, не разделявший осуждения врача.

— Злодеев тут не было! Сами обстоятельства принудили его убить. Пока шел разговор об отречении, послышался на лестнице шум. И Павел так кричал, что нельзя было его оставить, и вот... — художник показал на висок, залепленный воском. — А если бы это не сделали, наутро вместо одного безумца сотни и тысячи умных отправились бы в тюрьмы.

Все принялись за работу, время летело, и откладывать доступ к телу было опасно. В толпе росли слухи, будто Павла придворные отвезли в Шлиссельбург. Люди требовали доказательств его смерти, чтобы присягать Александру.

Наконец облеченное в императорскую мантию тело вознесено было на парадбет, близ которого на небольшом столе, покрытом малиновым бархатом, засверкала золотая корона.

Когда все было перенесено флигель-адъютантами в малую тронную залу, народ был допущен для прощания, но без обычного коленопреклонения и молитвенной остановки у тела.

Но хотя проходившие увидали одни лишь подошвы ботфорт и поля широкополой шляпы, надвинутой до бровей, как предупреждал Данилыч, весь город поверил, что государь умер, и шептали друг другу — не своей смертью.

Чрезмерная белизна лица делала Павла похожим на иссеченного из мрамора, а глубокий пролом виска не удалось скрыть и под шляпой.

Удивило Карла, что ни возмущения, ни гнева против убийц в городе не было. Их имена произносили с каким-то почетом. Они были у всех на виду, на них показывали с благодарностью, как на неких римлян, освободи-

телей отечества. Так и сказал один из придворных Зубову.

Радость внезапного освобождения от четырехлетнего гнета и неуверенности в завтрашнем дне охватила город. Очевидцы события уж заносили в свои дневники, что «на улице даже незнакомые обнимались, как в христов день, и поздравляли друг друга с новой, свободной жизнью».

Отмечали суеверно, что сама природа дала благословение новому государю. До двенадцатого марта было пасмурно, непрестанно дождило, а с воцарением Александра вдруг ранняя развернулась весна, и солнышко, редкий гость петербургского серого неба, засияло, как на юге.

Хотя на то не отдавалось приказа, сами жители в честь Александра иллюминировали свой город. И тоже немедленно, без снятия запрета, наложенного Павлом, украсились головы круглыми шляпами и появились на свет прочие принадлежности модного туалета, недавно еще аттестованные «якобинской отравой».

По городу во все стороны понеслись запрещенные Павлом упряжки с форейторами, с кучерами в русской одежде, с неистовым криком: па-а-ди!

Люди спешили увериться, что опять могут жить, опять, наконец, веселиться, как того просит душа.

Поэт Державин, выражая общее ликование, написал оду: «На всерадостное восшествие на престол императора Александра в знак Овна, на путь весны вступило и началось новое столетие 1801 года».

Эта ода заключала в себе очень прозрачные намеки на только что приключившееся событие в Михайловском замке, хотя Державин утверждал, что сие не что иное, как риторическая фигура, знаменующая наступление весны:

Умолк рев Норда сиповатый,
Закрылся грозный, страшный зрак...

Генерал-прокурор запретил печатать оду, отлично поняв, как и все, к кому именно относилась риторическая фигура, чей закрылся «грозный зрак» и чей вдруг умолк, столь памятный, перед вспышкой опасного гнева словно осипший голос.

Потрясенный смертью Павла и своим участием в создании ему маски отдаленного сходства, Карл проводил бессонные ночи. К его встревоженным чувствам присоединилась и личная мучительная борьба с самим собою: он то посещал ежедневно Тугариных, то пропадал на целые недели.

Ночи заметно посветлели, и под утро небо делалось такое нежнозеленое, уносящее вдаль, что усидеть дома было трудно.

Нева вскрылась рано. Льдинки то двигались плавно, чуть касаясь друг друга, то вдруг могучей волной вздымался задний их ряд и набегал на передний; недолго так держались, взгромоздившись горой, и внезапно, как войско в атаку, льдины с грозным шуршаньем соскальзывали в воду, на миг раздвигая черную полынью. Уже сильно запахло весной, и в сыром воздухе стали мягкими все очертания.

Карл пошел снова в излюбленный Летний сад. Сел на скамью под ветвистую липу так, что хорошо видна была вся темная громада замка. Долго сидел здесь, как бы прощаясь со своей ранней юностью, тесно связанной с этим Михайловским замком. На древке уже не плескался царский штандарт. Александр и все члены императорской фамилии переехали в Зимний дворец, подальше от тяжких воспоминаний. Но Карл, помимо воли глядя на замок, стал силой воображения воскрешать страшную ночь, двигая время назад от того мгновения, когда поутру появился на этих вот гранитных ступенях в придворной ливрее кастелян Брызгалов.

Как ни тихо шли заговорщики, они, говорят, спугнули этих бесчисленных ворон. В ту же ночь, как нарочно, всполошилось все это черное пернатое царство, и поднялось карканье и хлопанье крыльями. Пален подумал, не сорвалось ли все его дело и, как, по преданью, в минуту последней опасности загоготавшие гуси спасли Рим, эти зловещие птицы своим карканьем подымут сейчас государя. И что же тогда? — Арест, Сибирь или казнь. Но вот вороны внезапно умолкли. Их карканье не спугнуло сон императора. В своем охраняемом замке, при поднятых мостах, проверенных караулах, он не боялся измены, расквартировав последний подозрительный эскадрон Саблукова в далекой деревне. Между тем самый дове-

ренный его человек, плац-адъютант Аргамаков, уже давал самолично приказ опустить малый подъемный мост, чтобы впустить заговорщиков.

Карл так долго смотрел на два окна бельэтажа, выходящего на Садовую, где была спальня Павла, что ему уже стало казаться — вот-вот откроется осторожно окно и выглянет знакомая курносая голова в ночном колпаке и полотняном камзоле, в каком обычно спал Павел...

Росси очень тосковал, что в такие для него тяжкие дни нет в городе Воронихина. Пошел наведаться, когда можно его ждать, и вдруг оказался приход его как нельзя кстати: Воронихин только что приехал. Карл рассказал ему все, что знал из городских толков про последние дни государя и про его смерть. Воронихин долго ходил по ковру своего кабинета.

— Главная ошибка Павла, — сказал он, — его убеждение, что мир размежеван на участки и Россия, как поместье, вручена ему самим богом в полную власть. Себя он действительно считал проводником высшей воли. Отсюда всем видимый деспотический произвол превращался в его больной голове в особую миссию, вроде крестового похода, который ему неуклонно надлежит предпринять. Так было с отправкой армии в Италию в угоду Австрии против Франции, а через несколько месяцев последовал поход обратный, уже в союзе с Францией против Англии на Индию.

— А что тут и там погублены тысячи, что донские казаки посланы на верную смерть? Да неужто за них он не чувствовал ответственности? — воскликнул Карл.

— Едва ли он мог давать себе ясный отчет о последствиях этих подсказанных, как он полагал, ему свыше решениях.

— Вот чего не могу я понять, что мучит меня, когда о нем думаю, — сказал живо Росси, — ведь я видал его близко и не могу ошибаться в том вдохновении благожелательного чувства, каким в светлые минуты просто сияло его лицо. Я был свидетелем его благородства, доброты и сочувствия. Почему так могло случиться, что именно этот человек, с большими задатками добра, наделал столько зла, что город всеобщим ликованием встретил его смерть?

— То же самое и в Москве, — подтвердил Воронихин, — с необычайным страхом ждали увидеть Павла на больших маневрах, к которым готовились в окрестностях. Слухи об его безобразной ярости при малейшей оплошности привели в оцепенение все умы, его ждали как неотвратимую чуму, и я сам был свидетелем бурной радости, когда судьба навеки пресекла угрозу его появления. А тебе, Шарло, — сказал Воронихин тем своим особенным интимным голосом, который у него появлялся, когда он хотел передать ученикам свои большие знания или глубокий внутренний опыт, — тебе из несчастной судьбы Павла, которую пришлось так близко наблюдать, для твоего собственного развития важнее всего запомнить один нерушимый закон...

— Я слушаю, Андрей Никифорович, — насторожился Карл.

— Тебя поражает величайшая дисгармония? Человек хотел блага, а совершал злое? Но дело в том, что одних благих намерений мало, как известно, ими вымощен ад. Чувство, мысль, идея получают свою реальную жизнь, только когда они закреплены отчетливой, для всякого зримой, защищенной разумом формой. Но если человек — в данном случае Павел — возникающий в нем огонь чувства, пускай даже порой превышающий то, что доступно среднему человеку, — отдает одним бесплотным мечтам, ему жизнь не прощает. Павел не имел характера и ума осуществлять необходимые для всеобщего блага замыслы подобно своему предку Петру. Он не двигал жизнь, он не делал никому ее условия легче и прекраснее, напротив того, не понимая законов развития и движения своей страны, засорял ее всяким вздором. И законно, что вместо восторгов и благодарности потомков, какие вызывают дела Петровы, произвол и капризы Павла, не превращенные в нужное дело, вызвали только проклятия. Запомни, Шарло, это нужно для каждой работы: восторг зарождения — только искра. Эту искру еще надлежит раздуть в пламя.

— Я чувствую истину ваших слов, — сказал Карл, — но как это сделать? Как раздуть искру в пламя?

— Твердой волей, — сказал Воронихин, — столь углубленной в свое дело, что, как зажженный во тьме маяк, она приведет тебя к цели среди жизненных бурь.

Едва ты возьмешься за большую работу, как на деле проверишь мои слова. Только полюбить свое дело надо больше себя...

И внезапно смутившись, как целомудренный юноша, решивший раскрыть другу тайну сердца, Воронихин вымолвил:

— Приходи-ка, Шарло, взглянуть на мой Казанский собор. Покажу тебе акварели и план. Я закончу на днях.

Состояние Александра было ужасно. Его подавленность, глубокую грусть и раскаяние граф Пален почитал только робкой слабохарактерностью и все назойливей обращался с ним, как с мальчишкой, которого он только что посадил на трон и должен научить царствовать.

Александр свободные от парадов часы проводил в уединенной скорби. Удрученный безжалостной памятью, он снова и снова переживал страшную ночь. Ежедневно узнавал он все новые имена исполнителей, новые подробности смерти отца.

Однако не только казнить убийц Павла, как того требовала мать-императрица, но даже предать их суду Александр не находил в себе смелости.

Начни суд — что получится? Одни имена потянут за собой другие, и, как средство защиты, всеми будет помянуто о согласии, которое было вырвано у него, наследника, на предъявление акта отречения императора. Заговорщики сейчас давали слишком беззастенчиво понять, что они необходимы для безопасности молодого государя. Зубовы даже нарочно постарались, чтобы слова, которые они почитали дружеским ему советом, доведены были до него: «Из чувства благодарности и благоразумия Александру следует окружить себя теми людьми, которые возвели его преждевременно на престол, как это сделала его бабка Екатерина».

Сегодня Александру было особенно тяжело видеть Палена. Он пришел с резкой жалобой на мать-императрицу: по ее заказу выполнен образ и поставлен в одной из новых церквей, — для возбуждения против лиц, только что оказавших ей немалую услугу...

— Ваше величество, — сказал многозначительно Пален, — на упомянутом образе славянской вязью, на

ленте, исходящей из уст святителей, начертан приказ не оставлять безнаказанными цареубийц. Пусть сие относится к эпизоду ветхозаветному, но прилив в эту церковь народа и вызванные образом толки получились весьма современного характера...

— Доставьте образ ко мне, я расследую, — сказал утомленный Александр и, вдруг вспыхнув, горько добавил: — Сдержали б вы ваше слово о неприкосновенности августейшей жизни, ничего б этого быть не могло.

Пален пристально посмотрел на царя. В глубине глаз дрожала насмешка, прикрытая внимательным дружелюбием, но смущения не было.

— Да неужто ваше величество могли допустить даже мысль, что покойный император, столь ревниво убежденный в святости самодержавия, мог от него без борьбы отказаться? В борьбе же, на каковую ваше величество разумно изволили дать свое разрешение, конец не мог никем быть предвиден.

— Но ваше слово?

— Мной оно сдержано, — качнулся с достоинством Пален. — Я не прикосновенен к злому делу обезумевших офицеров. Я находился в покоях императрицы: быть может, надлежало ее уберечь от ареста. Как вам известно, предписание уже было.

Александр в отчаянии махнул рукой, указав на выход.

Пален, пожав плечами, пошел к двери, остановился, сказал вдруг совсем веселым, жизнерадостным голосом:

— Приятнейшее обстоятельство, ваше величество, прошу прощенья, чуть не забыл. Вам сейчас предстоит завершить одно доброе дело, задуманное его величеством, покойным императором. Поистине, благодеяние целому семейству одним мановением вашей царской руки...

— Какое еще дело? — испуганно повернулся Александр, опасаясь, что разговор пойдет о той беременной женщине, которая объявила, что взыскана Павлом, и просила о пенсии. — Я этих женских дел знать не хочу. Решайте сами.

— Помилуйте, ваше величество, дело самое мужское: некий государственный крестьянин, сибиряк Артамонов,

изобрел самокат. Модель в свое время, если припомните, представлена была его величеству, вашему родителю, и Артамонову была обещана в случае успешного выполнения модели — вольная со всем семейством.

— Как же, вспоминаю, — несколько оживился Александр, — такое большое железное колесо и сиденье, как седлышко, наверху... Мы тогда посмеялись немало с братом. И что же, он выполнил?

— Извольте потрудиться, ваше величество, глянуть из окна на площадь: Артамонову приказано ждать тут с самого утра, пока не соблаговолите проверить его машину.

— Зачем же утром еще не сказали? — воскликнул Александр. — Я очень охотно взгляну, ведь мне особенно приятно, когда могу выполнить волю батюшки.

Александр быстрым шагом, так что Пален едва за ним поспевал, вышел на балкон Зимнего дворца и с любопытством оглядел площадь.

Перед балконом возник Артамонов, низко кланяясь, ведя рядом с собой, как лошадь, большое колесо. Он был в своем синем армяке и в новых, до зеркального блеска начищенных сапогах.

Он вдруг мгновенно вскочил на седло и, хлопая полами длинного армяка, много раз странной птицей пронесся большими кругами по площади, ловко спрыгнул на ходу пред балконом, где, глядя на него, улыбался восхищенный Александр.

Артамонов лихо соскочил на ходу, сорвал с головы шапку, упал на колени пред балконом и протянул к Александру обе руки.

— Самокатчик нижайше благодарит ваше величество, — сказал Пален, — за дарованную по обещанию императора Павла вольную.

— В свою очередь благодарю самокатчика за то, что выполнил обещание, данное отцу.

У Александра выступили слезы на глазах.

— Кроме вольной всему семейству, как сказано батюшкой, — приказал он Палену, — распорядитесь из сумм кабинета выдать награду и на путевые расходы. Самокат приобщить к изобретениям самоучки Кулибина, собранным бабушкой.

Вечером у Воронихина, когда весело праздновали удачу с самокатом, Артамонов был печален.

— Уж выхлопатывайте поскорей, Андрей Никифорович, мне бумаги, — то и дело просил он Воронихина. — Забрать их да скорей наутек! Неровен час, опять сместят императора, а для второй пробы у моего самоката прыти не станет, к тому ж приказано его в кучу лома свалить.

— Да что ты, Артамонов, — успокаивал Воронихин, — твой самокат приказано в том же месте держать, где изобретения великого нашего самоучки Кулибина.

— То-то, что вправду велик. А где к нему внимание, где почет всему, что выдумал? Как и я, одной пользы хотел он отечеству, а его модели сперва на игрушки пустили, а как сломались, и не стали чинить.

— Но для своего самоката чего б ты хотел? — спросил серьезно Воронихин, поняв печаль Артамонова.

— А чтоб знающим механикам его испытать да улучшить — цены ему нет для военного дела. Ведь шибче лошади он бежит, — сказал не без гордости Артамонов и прибавил, потускнев: — А сейчас хотя бы только с вольной не передумали!

Вечером явилась к Александру мать-императрица. Еще красивая, хотя сильно располневшая, в глубоком трауре, она даже не захотела у сына присесть. Величественно стоя, изрекла свой ультиматум:

— Или я, сейчас уехав в Павловск, никогда больше сюда не приеду, или же пусть граф Пален навсегда удалится отсюда. Мне известно, что он приказал снять подаренный мной образ и произнес слова: «Я расправился с супругом, расправлюсь и с супругою».

Мария Федоровна удалилась, предоставив Александра охватившему его с новой силой отчаянию.

Опять почувствовал, что тюремной стеной окружил его этот грузный, тяжелый человек, неизменно к чему-то принуждающий. А за ним стоит и другой, Никита Петрович Панин, с изощренно-дипломатической речью, с холодным педантизмом на английский манер. Оба свергли отца, оба хотят теперь править сыном.

От ненависти к поработителям своей воли Александр вскочил и стал быстро ходить по кабинету.

Пусть лучше навек Шлиссельбург, пусть даже казнь — все лучше несказанной муки, охватившей сейчас.

Панин первый заронил в сознание эту мысль, которая никогда б не родилась сама, — пойти против отца и помазанника. Но Палена он ненавидел еще сильней. Пален уверен, что он не только знал, он отцеубийства хотел. Освободиться б от Палена!

Доложили нового генерал-прокурора Беклешева.

Сменивший бывшего гатчинца, Павлова любимца Обольянинова, этот русский простой человек был приятен Александру. Беклешев далек был от придворных интриг, прославлен своей справедливостью и был в отсутствии во время заговора.

И вдруг Александр рассказал Беклешеву, как младший внушившему доверие старшему, про непосильную тяжесть отношений с ненавистным Паленом, про непреклонное требование императрицы-матери его удалить.

Беклешев сочувственно поморгал своими умными глазами на молодого царя и сказал простодушно, как бы разрешая совсем маловажное затруднение:

— Когда мне досаждают мухи, ежели жужжат под носом, — я их прогоняю.

И как следствие этого разговора предложил тотчас представить для подписания соответствующую бумагу.

— Заготовьте и представьте, — легко вымолвил Александр, успокоенный простым и быстрым решением столь мучительного дела.

Назавтра только и речи было о том, как граф Пален явился на парад в своем экипаже, запряженном шестеркою цугом. Едва собрался он выходить, как подошедший флигель-адъютант государя протянул бумагу, где по высочайшему повелению предлагалось ему выехать навсегда в свои курляндские поместья.

Карл Росси подходил смущенный к Академии художеств, приглашенный в первый раз на новую квартиру Воронихина. Андрей Никифорович женился, как давно ему прочили, на англичанке-чертежнице Мэри Лонг и занял просторную преподавательскую квартиру по своей новой должности руководителя архитектурного класса.

Браку Воронихина в среде товарищей завидовали и не без яда превозносили его хитроумие и расчетливость — одним махом убил несколько зайцев: приобрел чудесную

жену, неутомимую помощницу в работе, красивую натурщицу и хозяйку, умевшую на европейскую ногу поставить свой дом. Воронихин представил своей жене Карла как юного друга и многообещающего архитектора. Мэри скоро так очаровала Карла умной сердечностью, что заставила его поверить доброму отношению к друзьям своего мужа.

Когда Мэри вышла из комнаты, Карл, смеясь, признался, как он боялся, что после женитьбы Андрея Никифоровича в доме будет совсем не так, как было раньше, и вдруг оказалось, что стало еще лучше и еще больше станет сюда тянуть.

— Спасибо, Шарло, за верную оценку моего брака,— усмехнулся Воронихин. — Если друзьям становится в доме проще и веселей — это верный знак, что в союзе не вышло ошибки.

— Но какая же редкость такая удача, — сказал грустно Карл, думая о сложности своих отношений с Катрин.

Воронихин словно угадал его мысли:

— Можно спотыкаться, Шарло, пока не видна, не ясна окончательно главная цель жизни. Но избранное дело уже само поведет. Запомни, жену надо искать только такую, которая этому избранному тобой делу и захочет и сможет помочь.

— Андрей Никифорович, я запомню ваши слова, — серьезно сказал Карл, — если бы знали вы, как они сказаны кстати. Я только что получил из Италии письмо от Катрин. Она зовет меня к себе, прямо в Рим, а я должен ехать с Бренной в Флоренцию, где смогу тотчас начать занятия в Академии. Катрин пишет, что дольше месяца она меня ждать не станет и вернется обратно в Россию. Вы понимаете — это решение ее судьбы, так же как и моей.

— И ты ей ответил?

Карл помолчал. Потом, не глядя на Воронихина, тихо сказал:

— Ваши слова мне помогут ей ответить, что я еду в Италию только учиться и путь мой — в Флоренцию.

Воронихин пожал Карлу руку:

— Ты решил верно, Шарло. Искусство ревниво. А сейчас, на прощанье, пройдем в мастерскую. Я покажу тебе акварели собора и план.

Указывая на развешанные по стенам подготовительные работы к Казанскому собору, Воронихин стал говорить как бы сам с собой, впервые, может быть, выражая словами то, что давно родилось и зрело без слов.

— Мне прежде всего хотелось, при всей монументальной грандиозности здания, дать его легким, полным света. Поэтому, видишь, Шарло, как велики здесь окна, как утончены подпоры купола. Император Павел очень стеснил полет моей фантазии, предрешив общее впечатление собора. Он ведь настаивал на сходстве с римским собором святого Петра. Сколько я промучился, пока не нашел выхода вот в этих колоннадах. Двумя могучими потоками они вливаются со стороны Невского проспекта, — указал Воронихин на план. — Обрати внимание, Шарло, они вливаются в многоколонный же портик, сильно выдвинутый из их линии, что создает впечатление входов и выходов. Ты понимаешь мой замысел?

— Понимаю, — отозвался восхищенный Карл, — колоннады благодаря этому не являются простой декорацией площади, как в Риме. Какое счастливое разрешение вас посетило. Вместо внушающего трепет величия торжественного круга, какая стройная, какая легкая у вас получилась дуга.

— Ты угадал. Мотив легкости мною положен в основу всей громадной постройки, но для этого неизбежно соорудить такую же колоннаду и со стороны противоположной. А здесь вот, на западе, соединить в одно грандиозные дуги. Представь себе, Шарло, в пасхальную ночь много сотен людей с зажженными свечами во всех колоннадах собора. Какое море огня, какое море света!

— Андрей Никифорович, — воскликнул Росси, — вы достигли своей цели. Вы внесете в наш сумрачный день и прозрачность, и воздух, и радость...

— Когда б удалось, — сказал тронутый Воронихин. — Я много думал о воздействии архитектуры на сознание. Как уничтожает, расплющивает человека готика, как, словно устрашив его, уводит насильственно ввысь от земли. Порой утомляет глаза и торжественность победительного Рима. Нагромождение барокко пресыщает чувство, неуловимо подменяет его чувственностью и рассеивает своей пышностью, дробит на мелочи потребность простого и прекрасного. Моя задача скромна. Я не хочу

поражать, восхищать или пробуждать дремоту ленивой совести удручающим взлетом сводов, тяжестью купола, угрожающей тенью неосвещенных углов. Я только хочу, чтобы в моем создании преодолена была тяжесть. Обилие внешних и внутренних колоннад своей гармоничной соединенностью должно снимать всякое бремя. Войдя в мой собор, пусть каждый свободно вздохнет, пусть, сбросив с плеч груз мертвящих волю горестей и забот, во всю мощь наберет себе свежих сил.

Я верю, Шарло, в благородство природных сил человека. Пусть моя работа создаст условия, которые хоть немного помогут их развитию...

— Судя по великолепию вашего плана, я уверен, что вы эти условия создадите, — сказал Росси, крепко пожимая Воронихину руку.

1946

ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ

«...Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена...»

В. И. Ленин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Иван Дмитриевич Якушкин сидел в кабинете своего деревенского дома в имении Жуково, расположенном недалеко от Вязьмы.

Якушкин был еще очень молод, он только что вышел в отставку, и штатское платье сидело на нем как-то неладно: высокий белый воротничок слишком подпирал его бритые щеки, и неискусно повязан был шейный фуляр. Лицо — красивое, казалось очень смуглым при больших серых глазах.

В открытые окна кабинета смотрели березы, тронутые осенней желтизной, меж белых стволов уходил вдаль чистый синий пруд.

На письменном столе лежал большой конверт от генерал-майора Фонвизина, только что привезенный с оказией из Москвы.

Якушкин протянул было руку к письму, но, глянув на стрелку стенных часов, распечатывать конверт раздумал и закрыл его пепельницей — чугунным плетеным лаптем. «Сейчас ребята придут на урок, письмо не пустяковое, лучше прочесть на досуге».

В открытых дверях появился старший из учеников домашней школы Якушкина. Мальчик, не робея, весело сказал:

— А к вам тут, Иван Дмитриевич, Ленькин тятька насчет сына пришел. Желает взыскать с вас за Леньку отступного. Уж мы его срамили. Куда! Ежели, говорит,

барину охота позабавиться — пущай и благодарность оказывает.

— Придумал! — усмехнулся Якушкин. — Ну, Сеня, рассаживай ребят, как у нас положено; выдай всем грифельные доски, тетради. Я сейчас...

Иван Дмитриевич прошел на кухню. Здесь худой малорослый мужик упал ему в ноги и завопил:

— Не оставь, батюшка, дровец бы за Леньку!..

— Да не смей ты падать в ноги, — вспыхнул Якушкин, — не слыхал разве, что я вам запретил эти гадости? И шапку не сметь ломать передо мной, когда сам я в шляпе. Слыхал?

— Наслы-ы-шаны, — с нежданным равнодушием протянул мужик и тут же настойчиво повторил: — Возок бы за Леньку, ваша милость! Вам — господская забава, мне убыток.

— Леня одет, обут, накормлен, — сказал, сдерживая досаду, Иван Дмитриевич, — тебе прямой расчет, чтобы он в школе был, а кончит — в Москву отошлю, ремеслам обучится.

— Ну, это бабка надвое сказала, — усмехнулся мужик, но, спохватившись, поспешно добавил: — А что твоя милость его поит-кормит, премного тебе...

Мужик опять было собрался падать в ноги, но Якушкин его подхватил и приказал подошедшему приказчику разузнать, каковы в семье у мужика достатки и если нужда — не в очередь выдать дрова.

Уловив только последние, приятные для себя слова, мужик-таки стукнул лбом для прочности дела, а Якушкин, нервно поводя плечом, поспешил в зал к ученикам.

«Вот и заглаживай чужие грехи, — с досадой думал он. — Столько народ хватил зла от помещика, что уж добру и не верит!»

На уроке Якушкин отдохнул. Мальчиков было двенадцать, все веселые, смышленые, с полслова понимали и грамоту и счет. Но только он увлекся рассказами из русской истории, как раздался громкий голос соседа-помещика:

— Где тут барин? Подавайте мне барина!

И, предваряя всякий доклад о своей персоне, в зал вошел высокий шумливый Лимохин, известный

в округе картежник и собачник. Он крикнул, едва завидя Якушкина:

— А я к вам договориться насчет мельницы! Поскольку река — граница наших поместий, сам бог повелел мельницу строить совместно.

Якушкин отпустил мальчиков по домам:

— Завтра накинем лишний часок!..

Договорившись о мельнице, помещик лукаво подмигнул:

— А я-то, батюшка, глядя на вашу юность, и не думал, что такой великий вы практик! Ребята не зря, чаю, грамоте обучаются. Еще музыку прикинуть да пение, и цена каждому сопляку тройная.

— На этот счет я не разделяю обычные вашему кругу понятия, — сказал, хмурясь, Якушкин, — людьми я не торгую. Когда я был за границей, дядя мой, управляя Жуковом, запродал было двух здешних музыкантов молодому графу Каменскому...

— Сыну фельдмаршала? Ну, с этого можно было и сорвать, — понимающе вставил Лимохин.

— При встрече граф лично заявил, что он мне должен четыре тысячи, и предложил сделать купчую.

— Ну, а вы? — с интересом спросил Лимохин.

— А я этим музыкантам тут же дал отпускную. Мой дядя, а может и граф Каменский, сочли меня сумасшедшим.

— Таковым и соседи почитать станут, батенька, коли в этом духе продолжать станете, — убежденно сказал Лимохин. — Уж больно от всех нас просвещением своим отличитесь! Ведь вот поговаривают, сударь, — понизил он голос, — у нас в столицах целые тайные общества развились из таких, как вы, представителей молодого военного поколения! А здесь, не обессудьте, вот каковы ваши соседи: один, поправей от Жукова, содержит стаю гончих и борзых куда лучше, чем своих людей, побираются они от голода, как здесь говорят — «в кусочки ходят». Другой ваш сосед, слева, намедни приехал ко мне четвериком — с лакеем, с форейтором. Два дня мы с ним беспросыпно дулись в картишки, и спустил он мне свою четверку с коляской, с лакеем, с форейтором. Счастье его — вообразите — на горничной-девке отыгрался... Ну, до следующей встречи! Да, батенька, таковы мы есть, ваши

соседи и большая часть наших помещиков. Так что, извините меня, старика, вы и вам подобные пребываете среди нас пока что как белые вороны!

Лимохин захохотал и стал прощаться. Якушкин вышел проводить его до крыльца, присел на скамейку и долго оставался в глубокой задумчивости.

Даже самые передовые люди из числа знакомых Якушкина полагали, что крестьянин должен блаженствовать, если он получит хотя бы одну только личную вольную. Упускали из виду, что, не зная никакого ремесла, умеющий только пахать землю, которой у него больше не окажется, освобожденный без земли крестьянин просто будет обречен на голодную смерть.

И потому велико было не только смущение — настоящее горе Якушкина, когда в ответ на свои лучшие намерения он получил нежданный афронт от своих мужиков.

А было это так.

Вокруг этого самого крыльца Якушкин собрал однажды всю деревню. Сильно волнуясь и вместе с тем невольно чувствуя себя героем, потому что, добровольно освобождая крестьян, отказывался от немалой части своих доходов, он произнес короткую речь.

Преодолевая неловкость от устремленных на него глаз, то любопытных, то полных недоверия и явной насмешки, Якушкин сказал:

— Вот что, друзья мои, я предлагаю вам следующее: все вы получаете вольную, и я безвозмездно дарю вам ваши избы с огородами, ваш скот и хозяйственное имущество...

От волнения Якушкин должен был перевести дух. Он смутно ждал, что едва произнесет свои самоотверженные слова, раздадутся благодарственные возгласы, рыдания, возможно падут на колени, благословляя его...

Всеобщее безмолвие было ему ответом. Старики потупились, по долголетней привычке не веря барину; молодые смотрели выжидательно. Даже бабы не растрогались.

«Может быть, они не понимают, что я им сказал, — подумал Якушкин, — или так сильно поражены моими словами, что лишились чувства и языка?»

Наконец заговорил старик, с трудом, словно жернова ворочал:

— Усадебной земельки и курям, сказать, мало! А где же яровое, где озимое... опять-таки — сенокос?

Голоса подхватили:

— Без земли неспособно!

— И так хлебушка вволю не видели, а тут и вовсе не будет!

— Во сне изловчись увидать! — насмешливо выкрикнул голос.

В толпе засмеялись:

— Ну партизан! Уж он отмочит!

Якушкин, взглянув на знакомого ему партизана Осипа Карпенко, замялся и, досадуя на себя, смущенно сказал:

— Землю сдам вольным людям в аренду. Ну, кто пожелает?

— Достатков таких нет у нас, чтоб в аренду... — сказал плечистый мужик. — А землицу засеять нам обязательно. Вот и крутись.

— Сам посуди, ваша милость, можно ль человеку без хлебушка, — задребезжал дед, белый как лунь.

— Земля моя, — упрямо и холодно сказал Якушкин. — Еще раз повторю: кто хочет арендовать, пускай арендует.

— И-и, батюшка барин... — дед махнул рукой и не стал продолжать.

* * *

— Пропасть между нами, пропасть, — твердил с горечью Якушкин, шагая по своему кабинету. — Ни мы мужиков, ни они нас вовек не поймут. И возможно ль надеяться на их доверие, пока у нас право — безнаказанно выменять любого из них на борзую. Одна надежда на тайное общество: только оно разрешит проклятые вопросы.

Он разорвал конверт и стал читать письмо Фонвизина. Сразу же бурно обрадовался, — генерал звал его немедля приехать в Москву по делам Общества.

Вызванный принудительными обстоятельствами отъезд из Жукова был сейчас Якушкину как временный отдых от неудачи с мужиками. Но едва он стал читать дальнейшее, как изменился в лице. Дойдя до конца, еще раз пересмотрел письмо и поспешно сжег его в камине.

Фонвизин писал, что к «семеновской истории» привлечен друг и тезка его — князь Иван Дмитриевич Щербатов.

Штабс-капитан Щербатов находился в отпуске, когда стряслась «семеновская история», в которой рота, где он был командиром, отличилась особой дерзостью. Хотя князь к самой истории касательства не имел, он обвинялся по поводу своего перехваченного кем-то письма, в котором выражал сожаление о том, что офицеры не остались при солдатах, последовавших добровольно в крепость за своими, несправедливо взятыми, товарищами. Фонвизин приводил точные слова Щербатова: «Мало нам чести отставать от солдат в их благородной решимости».

Отдав приказ камердинеру, чтобы наутро лошади были готовы к выезду в Москву, а чемоданы собраны, Якушкин, как обычно, совершил дальнюю прогулку пешком, но взволнованных мыслей своих не усмирил. Единственное, чем сейчас, до отъезда, ему было возможно заняться, — это пересмотреть свои записи о «семеновской истории», к которой близкий ему человек — Щербатов неожиданно оказался причастен.

Якушкин выдвинул ящичек секретера, вынул толстую тетрадь с «возмутительными» стихами Пушкина и листки, где добросовестно записано было все, что Якушкину удалось узнать устно, от очевидцев, и взять из писем свидетелей относительно этой так называемой «семеновской истории». Он погрузился в чтение...

...По настоянию великого князя Николая, находившего, что командир Семеновского полка Яков Алексеевич Потемкин свой полк распустил, назначен был «подтянуть» солдат полковник Шварц, который до этого командовал армейским полком. Широко по войскам шла молва об его истинно зверской жестокости. В местечке, где он стоял с полком, указывали некий холм, под которым погребены были засеченные им солдаты. Так и звался большой этот холм — Шварцева могила. При бывшем командире Якове Алексеевиче Потемкине безрадостная солдатская жизнь несколько смягчилась. Потемкин вывел из употребления палки, запретил издевательства, грубую брань. Он добивался, чтобы солдат, загнанный непомерными взысканиями, снова почувствовал себя человеком.

Командир отечески входил во все мелочи быта, столь важные для солдата.

И тем обиднее было солдатам, когда заменивший Потемкина Шварц восстановил все ненавистное пруссачество, весь казенный бесчеловечный строй.

Не только молодым, неопытным солдатам, но старым, заслужившим военные ордена, Шварц собственноручно драл бакены и усы, плевал в лицо. Для сверхположенного обучения «тянуть носок» забирал усталых солдат к себе на дом, и сам для проверки шеренги растягивался влежку на полу.

Великий князь Николай Павлович не только покрывал, — он одобрял эти Шварцовы измышления собственным примером. То и дело он требовал во дворец команду человек по сорок старых ефрейторов. Во дворце при самом ярком бальном освещении его высочество изволил самолично преподавать ружейные приемы. В заключение измученные ефрейторы маршировали до одури. Затаив дыхание, боялись поскользнуться на дворцовом паркете, натертом до зеркального блеска.

Нередко, в угоду супругу, молодая тщедушная жена Николая, Александра Федоровна, становилась на правый фланг и рядом с огромным гренадером вытягивала свою нарядную ножку.

Оскорбленные воскрешенной гатчинской фрунтоманией, старые полковые командиры и другие порядочные офицеры поспешили перевестись в армию. Заступившие на их места молодые, новой формации, недостойно лезли из кожи, чтобы угодить и выслужиться. На инспекторских смотрах заявления солдат, которые могли бы обуздать самоуправство жестоких командиров, вывелись из обычая: они теперь уже рассматривались как действие мятежное, и жалобщика подводили под те же палки.

Наконец жестокость Шварца стала невтерпеж солдатам, и, чтобы его сняли с должности, они задумали совершить дело, неслыханное по понятиям военной субординации. 16 октября 1820 года солдаты самовольно, в неположенный час, вышли в коридор и заявили фельдфебелю Брагину, что они покорнейше, но немедленно требуют прибытия ротного командира Кашкарова для передачи ему своей просьбы.

Дерзости не было, но солдаты проявили такую непреклонную настойчивость, которая побудила фельдфебеля вызвать ротного командира, а тот, в свою очередь, вызвал батальонного. Солдаты требовали снять Шварца и назначить какого угодно другого командира.

— Больше не имеем силы сносить издевательства полковника Шварца!

Батальонный командир поехал к Шварцу, чтобы он личным появлением успокоил людей и рассмотрел их жалобы.

Шварц, знавший за собой столько грехов перед солдатами, испугался и полетел с донесением о бунте в Семеновском полку прямо к великому князю Михаилу, бригадному командиру.

Юный Михаил, превосходивший самого Николая своей ретивостью к фрунту и субординации, продержал роту несколько часов на допросе: кто зачинщик? кто «вызыватели» в коридор, да еще в неположенное время?

Солдаты «вызывателей» не выдали.

Вечером генерал-адъютант Васильчиков заманил безоружную первую роту в штаб корпуса, объявил ее арестованной и отправил в Петропавловскую крепость.

Узнав об этом событии, семеновцы ринулись во двор с криками:

— Первая рота в крепости, а мы спать, что ли, пойдем? Всем один конец, погибать — так уж вместе!

Взволнованный арестом своей роты, полк не пожелал возвращаться в казармы. Бушевал гнев против Шварца, из-за которого, понимали они, теперь погибнут мучительной смертью под шпицрутенами сотни невинных людей.

Какой-то взвод кинулся в квартиру Шварца. И конец бы этому полковнику, если бы не надумал он сбежать от заслуженной смерти в... навоз: на дворе его дома чистили конюшни, и он с головой зарылся в огромную кучу. Там искать его не догадались.

Солдаты нашли где-то парадный мундир Шварца, вознесли на палку и, предав всяческому поруганию, разодрали в клочья.

Однако подъехавшего генерала Милорадовича, а с ним и бывшего командира Потемкина солдаты встретили приветливо и даже кричали Потемкину:

— При вас бы в полку ничего подобного не получилось!

Тем более поражено было начальство, когда с небывалой для замуштрованной солдатни твердостью, спокойствием, сознанием своего достоинства семеновцы объявили:

— Но в казармы мы не вернемся, доколе не обещают нам снять полковника Шварца и не вернут арестованную первую роту обратно в полк. Нам без первой роты нельзя — пристроиться не к чему!

Васильчиков, корпусной командир, привыкший смотреть на полк как на заводную машину, оказался и здесь неспособным увидеть в солдате человека. Изругав полк «изменниками» и «бунтовщиками», он скомандовал в бешенстве:

— В крепость!

И старый Семеновский полк, соблюдая до мелочей дисциплину, построился в колонны и ушел целиком в Петропавловскую крепость.

Немедленно послан был курьер к Александру, заседавшему на конгрессе в Троппау, с донесением о небывалом доселе событии в русской армии — бунте целого полка. Как повелит с ним расправиться?

От царя ждали мудрого решения этого вопроса...

«Вот она — его мудрость!» — усмехнулся Якушкин, развертывая листок с «возмутительным» пушкинским стихотворением, приложенным к рукописному тексту «истории Семеновского полка»:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор.
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!

Этому «коллежскому асессору» сейчас на конгрессе Меттерних властно твердил, что «троны будут все опрокинуты, если немедля против их врагов не примут решительных мер».

Но, помимо всяких воздействий, для Александра дела «фрунта», по его природной к ним склонности, всегда

пребывали ближе к сердцу, чем все прочие дела. Решив, что в его Семеновском полку бунт был вызван, конечно, «тайными русскими карбонариями», которых он так боялся, Александр не замедлил послать фельдъегеря с жестоким приговором:

«Первую роту судить военным судом в крепости! Прочие батальоны раскассировать по армейским полкам и гарнизонам».

Над этими словами в рукописи Якушкина стояла чья-то выразительная надпись:

«Спасибо царю за нежданную помощь! Семеновцы в армейские полки, чай, не с пустыми руками придут... — с порохом!»

Якушкину оставалось дочитать еще один последний переписанный лист.

«Знамена и музыканты остаются в кадре полка, и новый Семеновский полк формируется из гренадерских рот прочих армейских полков».

Зачинщиков же царь обязательно приказал обнаружить, что и поручено было мастеру допросного дела, некоему полковнику Жуковскому. Этот сразу взял в оборот Брагина, «ибо фельдфебель в своей роте должен быть вездесущ и не допущать до бунта».

Полк сидел в крепости, а зачинщики как растворились в его солдатской гуще, так и не обнаруживались. Но едва Жуковский прибег к испытанному методу «стращать шпицрутенами насмерть», как он уже смог по начальству подать рапорт: «После сделанных обещаний Брагину, он заметно ободрился и стал говорить откровенно. А посему надлежит Брагину назначить преимущественное содержание в пище. Быть может, еще и более откроет!»

Брагин открыл все, что от него хотели, и даже более: загубил любимого полком молодого офицера Кашкарова, показав, что сразу вручил ему список зачинщиков для передачи его по начальству. На вопрос, почему не передан список и где он, Кашкаров отвечал, что, не придав записке значения, ее утерял.

Кашкаров тоже предан военному суду.

В конце сообщалось еще одно небезинтересное обстоятельство.

«От военных людей доподлинно известно, что нашел в себе смелость остаться «при особом мнении» один умный и порядочный человек — генерал-аудитор Булычев. Он дал следующее свое заключение:

«Сообразя поступки полковника Шварца с законом, не могу отвергать, что солдаты были им отягчаемы сверх всякой меры. Помимо того, полковник Шварц позволял себе бить фухтелями без суда даже таких заслуженных солдат, которые имели знак военного отличия. Полагаю, что своим отношением к солдатам сам полковник Шварц и произвел их возмущение. А посему наказывать нижних чинов телесно считаю несправедливым. Полковника же Шварца, лишив чинов и орденов, списать в рядовые».

«Едва ли мнение этого прекрасного человека будет уважено!» — восклицал на полях своего донесения безыменный корреспондент.

— Черта с два уважили! — невольно ответил ему вслух Якушкин. Он бережно собрал все листки и запер их снова в свой секретер. — Раздули вину одних только нижних чинов, которых и засекут беспрепятственно, а Шварцу через краткий срок, гляди, награды пойдут!

Гнетущая тяжесть легла на плечи Якушкина. Чтобы отвлечься, он встал, пошел в конюшню, в каретный сарай... Все там было в исправности. Старый кучер чистил и смазывал колеса, запасал в дорогу овес лошадям.

— По крепкой погодке поедем, Иван Дмитриевич, — сказал кучер ласково, радуясь, что едет в Москву, где у него был на оброке женатый сын.

Якушкин, забыв об этом семейном обстоятельстве своего кучера, его ласковость отнес к себе лично и с удовольствием подумал:

«Не могут не любить меня мужики! Что они от меня, кроме добра, видели?»

Он обошел фруктовый сад, хотел было проверить сеновал. Подумалось, что надо б его набить поплотнее сеном, чай, умялось. Но, выйдя из калитки, дальше он не пошел и стал тихонько за деревьями: по дороге к сеновалу пьяного Ленькиного отца вели под руки два приятеля, тоже подвыпившие. Все трое громко разговаривали:

— Эх, плакали мои последние денежки, — причитал отец, — а с чего пропил их? Ей-ей, с горя. Ремеслам,

хвалится барин, я Леньку твоего научу. Нешто ремесла зачурают его от беды? Стукнет барину час в картишки играть, — он его и с ремеслами спустит.

— Разве куш выше возьмет, — поддакнул другой мужик. — Баре все одним миром мазаны.

Мужики направились к пролеску, который вел к их деревне, а Якушкин, глядя им вслед, горестно думал: «Не верят, не верят...»

Он не пошел к сеновалу, где могли быть новые встречи. Захотелось повидать только одного человека, от которого всегда была ему радость и даже словно подкрепление, — пчельника Поликарпыча, отставного солдата, потерявшего под Бородином ногу. Якушкин дал ему вольную и подарил домик с огородом. Поликарпыч полюбил пчеловодство и навек бобылем зажил в Жукове.

С Поликарпычем разговор у Якушкина выходил неизменно душевный: оба отшагали в походах Отечественной войны, им было что вспомнить. Старый солдат к тому же любил поговорить. Впрочем, не так уж был он стар, а пошел зваться дедом за лысую голову, что в крестьянстве не часто встречается.

— От ран ослабли у меня корешки, вот волосья-то и полезли, ровно пакля из пазов, — объяснял дед.

Изба у него была опрятная, внутри по стенам обвешана березовыми вениками, душистыми травами.

— Вокруг пчелок ходить — чистая духовитость нужна, пчелка на потного сразу осерчает и ужалит.

Дед сам аккуратно обтесал деревяшку для ноги и выкрасил в голубой цвет, как он уверял, — пчелами уважаемый.

— А, батюшка, Иван Дмитриевич, добро пожаловать, давно не захаживали! — обрадовался Поликарпыч. Был он в домотканных синих штанах, с «Георгием» на чистой белой рубахе.

— Не угодно ль откушать с огурчиком свежего медку?

Вечер был теплый, сели под открытым окошком у деда в избе. Дед накрыл стол вышитым рушником, принес янтарные ароматные соты и крупных огурцов.

— Вот в Москву еду, Поликарпыч, — сказал Якушкин, — и может, надолго...

— Вам видней, — вежливо сказал дед, подавая ему толстый, разрезанный пополам огурец, густо смазанный медом. — Самое наше смоленское угощение, — медок, как масло!

— Хорош мед, очень хорош! — похвалил Якушкин. Ему сразу стало уютно и просто. — А что, Поликарпыч, двенадцатый год не забыл?

— И сам не забыл, да и нога моя помнит! Так и грызет к погоде. Ночка бессонная, длинная, о чем мне и думать, как не о двенадцатом! А чуть помыслю — сейчас перед глазами старая Рязанская дорога; с правой, с левой — поля необозримые, а на полях наро-о-ду! Кишмя кишит, что муравьев в растревоженной куче. И мужик-лапотник, и бабы с ребятами, солдатикам числа нет. Вся матушка Русь в поход двинулась гнать француза с родной земли!.. Да вы не гребуйте, Иван Дмитриевич, коли мертвая пчелка вам попадет, — прервал себя дед. — Вы ее к сторонке, вот так!.. Где пчелка утопла — мед-то еще слаже.

Якушкин засмеялся, с удовольствием слушая Поликарпыча.

— И подумать только, батюшка мой, — продолжал дед, — против тьмы-тьмущей француза наших-то было спервоначалу — кот наплакал! А уж и гнали мы их!.. Что в реках потоплено, что в снегах полегло!..

— До Франции их добежало всего-то тысяч тридцать, — усмехнулся Якушкин и рассказал Поликарпычу, как попавшийся навстречу Наполеону, удиравшему в русских санях из Сморгони, министр Маре с изумлением спросил императора: «Где же ваша армия?» И Наполеон был вынужден весьма кратко ответить: «Армии больше нет».

Дед залился смехом, широко разевая беззубый рот:

— Правду-матку отмочил! Армии, мол, французской нет!..

— А Бородино, дед? — сказал живо Якушкин. — Понимаешь, что именно здесь была цель Наполеона разгромить русскую армию?

— А коли б разгромил, наша Россия у него капитуляцию должна б запросить! Как это не понять, все чисто мы раскусили... Только вышло-то наоборот: сам француз

в свою же ловушку и попался. Нам он дух до дерзости поднял. Ну, а с дерзостью к нам и победа. Так говорю?

— Именно, дед. Все, что учитывал в незабвенном совете в Филях наш великий Кутузов, со слезами жгучего горя обрекая Москву, — все сбылось! Охватили французы Москву пожаром, думали запугать, да не вышло. После Бородина вконец расклеилась французская армия. А Наполеон-то хорош, вообрази только, Поликарпыч: среди горящих домов знай себе ждет депутацию от покоренного города!

— Дождался!..

Дед вскочил с недоеденным огурцом в руке да так прытко, словно он только что узнал о наполеоновском посрамлении:

— Пришлось в русских санях, говоришь, наутек? Да министру короткий ответ: нет армии!

— Ну, а партизанщину, Поликарпыч, помнишь?

— Как не помнить! Наши, чай, мужички сразу встали, партизанские отряды по всем дистанциям потянулись. Дивиться надо, как без всякого военного артикулу они вставали запросто, всей деревней, и вдруг, на сшибку с французом. А побеждали! Вскорости этих мужицких отрядов вó как много сколотилось. Сколько деревень на пути у француза, столько и отрядов. И каждый, по-военному тебе скажу, каждый был засада врагу.

— А своим — большая поддержка, — согласился Якушкин. Его молодое смуглое лицо светилось улыбкой.

— Ничего не жалели и бабы наши! — кричал дед, — ни запасного, ни заветного из приданных сундуков — все как есть войскам вынесли! Поили-кормили своих защитников.

— А вооружение партизанское? — лукаво подсказал Якушкин, освежая память деда.

— Одно слово — обмундирование! — хохотал дед. — Иной прямехонько из лесу, как медведь испужает: лошаденка у его мохната, сам ровно смерть с косой, а за ним кто с топором, кто с гвоздем-пикой, кто с рогатиной. Бабы — те, как у печки были, с ухватами! И ничего, что с ухватами, — обмерзших французишек они полоняли — деваться некуда!.. А еще был случай, — доверительно сказал дед, понизив голос, как для сообщения чего-то особо важного, — пофорсили наши партизаны! Набрели

на французский обоз и обрядились, конечно, ихними кирасирами. Чуть к своим, русским, в плен не попали. Ну, было смеха!..

— То-то правду сказал наш Кутузов, — отозвался Якушкин. — Наполеону делать ничего другого не оставалось, как отступить, ибо война двенадцатого года поистине была народной войной.

Он вышел из-за стола и обнял на прощанье Поликарпыча.

Выведя барина из своего пчельника, дед глянул на дорогу и вдруг радостно сказал:

— Никак Осип-партизан!

Якушкин остановился, поджидая подходившего человека примечательной внешности: среднего роста, он казался высоким от чрезмерной худобы; носил бакенбарды, а подбородок был тщательно пробрит. Пустой правый глаз прикрывала черная повязка, — «французская памятка» окрестили ее мужики. Этот Осип Карпенко во время Отечественной войны был начальником одного из партизанских отрядов Смоленской губернии. Якушкин, как только вступил во владение своим имением, дал ему вольную.

Осип поклонился, сохраняя солдатскую выправку, и сказал:

— Здравия желаем! А я к вашей милости хотел было зайти попрощаться, да коль повстречались, не стану более утруждать.

Якушкин с неприязненным чувством прислушивался к звуку голоса партизана, вспомнив, как он тогда перед крыльцом глумливо выкрикнул: — А ты во сне изловчись...

— Куда же ты едешь? — спросил Якушкин.

— В Новоград-Волынский, к племяннику Василию. Он намедни тоже вольную получил. Столярную мастерскую открыть хочет. Меня, как старого мастера, работать к себе зовет.

— За какие же заслуги дал барин твоему племяннику вольную?

— А безо всяких заслуг, — усмехнулся Осип, и его светлый умный глаз, показалось Якушкину, насмешливо заискрился.

— Такой чудной барин выискался! Как получил в наследство деревеньку, приехал и говорит мужикам: все вы вольные, сколько вас есть, и землю мою промеж себя разделяйте! Не имей, говорит рабов, ежели сам рабом быть не желаешь!

— Как имя и фамилия его? — спросил быстро Якушкин и вынул записную книжку.

— Иван Иванович Горбачевский, подпоручик 8-й артиллерийской бригады, стоит в Новограде-Волынском, — с нескрываемым удовольствием отрапортовал партизан.

Якушкин что-то написал на другом чистом листке и сказал, подавая Осипу:

— Передай вот это приказчику. Когда совсем соберешься ехать, он даст тебе в дорогу все, что потребуется.

— Спасибо вам, Иван Дмитриевич, — сказал партизан и опять вытянулся по-солдатски.

Якушкин быстро пошел домой. Он мысленно повторил несколько раз: «Иван Иванович Горбачевский... Из масонов, что ли? Надо будет о нем узнать».

Совсем уже смеркалось. В березовой роще стояла прохлада. Особенно приятно, словно они согревали, мелькали огоньки на опушке леса, — это крестьяне жгли выкорчеванные пни, готовили землю на вырубленном участке для озимой запашки.

У Якушкина больше не было ни чувства одиночества, ни настороженности к мужикам.

«Ведь получилось у меня сейчас непритворное братское общение с Поликарпычем. Ведь нашелся и взаимно понятный язык! А почему? Да не потому ли, что в двенадцатом году мы делали с ним одно, бесспорно общее дело — защищали свою родину! Общее дело и создало обоюдное понимание.

Значит необходимо, чтобы и наша революционная работа стала таким же общим, народным делом, каким была защита родины в двенадцатом году. Да разве не для блага народного хлопочет наше тайное общество! Но, может быть, не так мы хлопочем, не так, как это нужно народу?..»

Якушкин задал себе этот горький вопрос и, не найдя на него ответа, вспомнил только знаменательные слова великого человека — Радищева, недаром прозванного современниками «зритель без очков».

Слова эти Якушкин отметил особенно, когда читал редкий список «Путешествия», ненадолго попавший в его руки. Своим пламенным языком автор говорил о том, что народ получит свободу только тогда, когда завоюет ее сам.

Глава вторая

В 1816 году, вскоре после окончания войны, в Петербурге образовалось первое тайное революционное общество. Оно себя наименовало Союз спасения, а несколько позднее — «Истинные и верные сыны Отечества».

Спрашивается, вследствие какого великого недовольства жизнью, встретившей их на родине, эти молодые представители богатых и знатнейших семейств России избрали опасный путь революционных заговорщиков и рисковали своим благополучием, личной свободой, возможно и жизнью?

Этот вопрос с недоумением задавали себе те их современники, единственной целью которых было как раз достижение таких жизненных благ, как богатство и блестящая карьера.

Однако героическое самоотвержение лучшей части военной молодежи оказалось просто исторической необходимостью. После недавней великой победы, одержанной всем народом, после гордого сознания, что русские войска только что были вершителями судеб и великодушными освободителями других государств, участники этих войн возвращались домой с уверенностью, что на родине сейчас будет все иное и намного лучше прежнего. Всем ненавистная прусская муштровка, введенная еще Павлом, во всяком случае уже вернуться не может.

За время проделанных кампаний военные отлично разобрались в том, что главной причиной поражения русской армии под Аустерлицем было отклонение от «суворовского духа», который заменен был плацпарадной муштровкой. И велика была радость всех передовых военных, когда еще в начале войны разослано было по войскам наставление господам офицерам, возвращавшее армию к ее исконным суворовским правилам хотя бы

этими словами: «При всей необходимой строгости за настоящее преступление, офицер может и должен заслужить почтенное звание друга солдата».

С большими надеждами на освобождение от крепостного рабства возвращались домой рядовые бойцы с незалеченными ранами, с георгиевскими крестами.

Велико же было всеобщее разочарование и горесть, когда дома оказалось для всех не только то же самое, но и много хуже бывшего.

Миновала гроза военной опасности; по крылатому слову цесаревича Константина — «война испортила строй». Царь пустился по-своему, по-гатчински этот строй выправлять. Он прибавил такие новые строгости к без того тяжкой фрунтовой службе, что солдатам и вздохнуть было нельзя.

Офицерам, только что в победной войне осознавшим свое человеческое достоинство, обязательным стал один-единый интерес — шагистика. А солдатам предоставлялись, как и раньше, бессрочная военная каторга и в превосходящей прежнюю степень — шпицрутены.

Скоро стало всем очевидно, что коварный Александр не даст крестьянам свободы, солдатам — послабления по службе. Царь передал власть в руки жестокого и тупого Аракчеева, сделав распоряжение, чтобы его приказы имели силу наравне с царскими.

Неустанное стремление освободить собственное отечество от порабощения и бедствий, причину которых все видели в самодержавии, создало такое напряжение, которое требовало выхода. И вот молодые офицеры-единомышленники, жившие вместе в казармах, и ближние их друзья положили основать тайное революционное общество.

Александр Николаевич Муравьев, полковник генерального штаба, объединил в одном кружке своего брата Михаила и своих родственников Муравьевых-Апостолов, Сергея и Матвея Ивановичей. Оба были семеновскими офицерами, как и товарищ их Иван Дмитриевич Якушкин, примкнувший к этому первому тайному обществу, назвавшему себя «Истинные и верные сыны Отечества».

Никита Михайлович — тоже родственник основоположника кружка и носящий ту же фамилию Муравьев — ввел в тайное общество своего двоюродного брата

Михаила Сергеевича Лунина и Павла Ивановича Пестеля, который и написал устав Общества.

Лунин был намного старше других членов тайного общества и обладал такой зрелостью политической мысли, что или пугал ею товарищей, или вызывал насмешки. Когда еще никто не помышлял о необходимости прежде всего устранить от власти самого самодержца, Лунин предложил Пестелю и Никите Муравьеву готовый, детально разработанный им проект: арестовать царя по дороге в Царское Село.

Устав Общества, составленный Пестелем, он одобрил решительно.

Смысл устава был таков, что пора взяться за собственное освобождение самим, пора вместо самодержавия дать отечеству правление совсем иное, основанное на твердом законе, защищающее свободу и права всех граждан.

Однако время шло, и члены тайного общества все еще к революционным действиям не приступали. Как бы исполняя предсказание «зрителя без очков», волны народного гнева и бунта то и дело поднимались снизу «от самой тяжести порабощения». В девятнадцатом году произошел чугуевский бунт, вызванный зверствами Аракчеева в военных поселениях, а в двадцатом году случилась и «семеновская история». Члены же тайного общества все еще не могли прийти к соглашению и начать свои революционные действия.

Устав, написанный Пестелем, в семнадцатом году под его усиленным нажимом принят был всеми членами Общества. Но едва Пестель по делам службы уехал в Митаву, — его устав подвергли изменению.

Умеренные члены Общества с примкнувшими к ним новыми, тоже военными из дворян, учредили в Москве Союз благоденствия, в который вошли почти все члены Союза спасения.

В новой программе требование конституции заменено было «надеждой на доброжелательство правительства» и «медленным действием на мнения». Задачи политические отнесены были на второй план, вместо них выдвинули «филантропию, нравственность, просвещение».

Мнения разделились на умеренные и радикальные. Во главе сторонников решительных действий стал Павел Иванович Пестель, в ноябре восемнадцатого года

переведенный в город Тульчин. Прибывший через полгода туда же капитан Бурцев оказался его главным противником и упрямым представителем одного лишь «медленного действия, ведущего к исправлению нравов».

Пестель издевался, что для этого «исправления» потребны века, да и то, как говорится, «бабушка надвое сказала». Он ставил немедленной целью — революционный переворот, считая, что нравы изменить способно только хорошее правление, основанное на справедливых законах. И в то время, как сторонники медленного действия боялись не только крови, но и всякой резкой борьбы, — Пестель доказывал, что весь смысл деятельности тайного общества — это направить удар на самодержавие, чтобы свалить его как можно скорее.

Когда умеренные члены Общества напомнили ему, какими кровавыми ужасами завершились во французской революции деяния Конвента, пошедшего таким путем, Пестель, не моргнув, заявил:

— Работа Конвента как раз и была самым мудрым этапом французской революции!

Еще Пестель публично, на собрании членов Общества, произнес во всеуслышание, что правильное развитие революционной мысли в России должно привести непременно к цареубийству и по крайней мере — к десятилетней диктатуре новой власти для того, чтобы удержать все завоевания революции.

Последняя мысль просто устрашила большинство. С пугливыми жалобами на «обворожающее» влияние Пестеля, который высмеивал их мнения, то и дело приезжали в Хамовники к Александру Муравьеву и генералу Фонвизину — рассудительным основоположникам Общества — люди с севера и юга. Они подозревали Пестеля в бонапартизме, в намерении единолично захватить власть после переворота.

Смущало также служебное положение этого подполковника, проживавшего в Тульчине при главной квартире второй армии в ожидании получения полка. Пестель пользовался у начальника штаба Киселева таким влиянием, что все знали — в его руках находится фактическое управление армии.

И вот умеренные члены Союза благоденствия, желая избежать властного красноречия Пестеля, решили на

московском съезде, который назначен был на январь двадцать первого года, сговориться о своих делах первоначально без присутствия Пестеля.

Боясь даже «оказии» доверить письмо с датой назначения съезда, генерал Фонвизин вызвал Якушкина в Москву. Отсюда Якушкин направлен был в Тульчин с инструкцией пригласить Бурцева и Комарова, и главное — привезти в Москву давно желанного молодого генерала Михаила Федоровича Орлова, человека очень видного, вполне самостоятельного в своей особой революционно-просветительной деятельности.

Стоял ноябрь, когда Якушкин подъезжал к Тульчину. Чудесная южная осень еще была полна летнего тепла. Вдоль дороги раскинулись рощи коренастых дубов вперемежку с лапчатыми, уже покрасневшими кленами. Но вот рощи кончились, и дорога пошла мимо черноземных полей с убранными хлебами. По межам важно двигались черные птицы и клевали зерна, оставшиеся после жнивья.

Коляска вдруг остановилась.

— Что случилось? — выглянул Якушкин.

— Да человека чуть не задавили, разлегся, пьяница, на самой дороге и сойти не хочет!.. Вот я тебя вытяну!

Кучер замахнулся было кнутом, но Якушкин его остановил и сам подошел к человеку, лежавшему на дороге.

Лохмотья прикрывали его худощавое тело. Он не двигался. Расширенные мукой глаза глянули на Якушкина.

— Ты хворый? Двинуться не можешь? — участливо спросил Якушкин.

— Ваша милость, — слабым голосом, но ясно и не по-деревенски сказал человек, — или подвезите меня до Тульчина, или пускай меня ваши кони растопчут... Сил моих больше нет.

Человек лишился чувств. Якушкин вместе с кучером положил его к себе в коляску. Кучер был недоволен барином и ворчливо советовал снести бродягу в сторонку, — неровен час, он в пути помрет, в город привезти мертвое тело — не оберешься хлопот!

Но, попав в удобный экипаж, после нескольких глотков коньяку и хорошей закуски бедняга совсем пришел

в себя и на вопросы, кто он и что делал в степи далеко от жилья, ответил уже значительно окрепшим голосом:

— Я, ваша милость, врать вам не хочу. Коли вы мне такую доброту оказали — подобрали к себе в коляску,— я уповаю, и дальше меня не погубите! Из чугуевских я, военных поселений, беглый...

— Бунт у вас был в девятнадцатом году! — сочувственно сказал Якушкин. — Много ль пострадало?

— Около трехсот человек казнили, семьдесят кнутом засечено. От трех до двенадцати тысяч шпицрутенов присуждали, — кто ж это выдержит? Куски кровавые — не человека из строя выносили...

Кучер вдруг придержал лошадей и, обернувшись, сказал:

— Племянника там у меня загубили. А спервоначалу он было писал — жизнь у них вроде зажиточная: крыши железные, и петухи на них ветер показывают. Улицы метены, дома крашены, занавески, что у попадьи, накрахмалены. Едят, ровно в пруду рыбы ученые, по колокольчику, — и обязательно все зараз! И на полы даден срок, и на баню, и на бороду! А не в свой час побрился — порка! Порют с утра до ночи. Вот племянника-то и запороли...

Кучер хватил по лошадям. Тень улыбки прошла по изможденному лицу беглого:

— Ведь истинную правду ваш кучер рассказал, что на военных поселениях с виду словно зажиточно живут мужики. Поверите, даже на печных заслонках граф Аракчеев приказал чугунных амуров отлить...

— Дань сентиментализму эпохи,— усмехнулся Якушкин. — Мальчишки им, чай, крылышки обломали?

— Одних запороли — другие уже не обломают! Да что амурчики! Живых людей, как зверей, по указу спаривают, вот как такое терпеть? Сейчас еще лютую расправу девятнадцатого года помнят, стали тише воды, ниже травы. Хоть живьем их пилить — снесут. А я вот не смог...

От волнения беглый не мог договорить. Якушкин, заинтересованный разговором, ласково сказал:

— Но в чем же ваше дело?.. Не бойтесь, перед вами — друг, сочувствующий вам.

Он пожал беглому руку, тот благодарно взглянул на Якущкина измученными глазами и тихо вымолвил:

— Вот на таких, как вы, — вся наша надежда! Я сам много читал и с семинаристами вел знакомство, они кое-что мне пояснили...

— Все расскажите, — сказал мягко Якушкин. — Надо знать, как и чем вам помочь.

— В военных поселениях был от графа приказ на «красной горке» спаривать людей таким манером: отбирает приказчик всех девок по шестнадцатому году, а парней — по восемнадцатому, и как заблагорассудится, по разным, будто хозяйственным статьям делает заключение: такого-то с такой-то оженить. Конечно, без всякого спросу насчет личных склонностей. Я, как певчий, особо стоял. У меня была невеста и уже имелось разрешение жениться, как вдруг приглянулась эта невеста приказчику. Он и выхлопотал, чтобы ее старику ледащему назначили, а уж со стариком у него договор особый... Сколько ни звал я невесту с собой бежать — слушать не хочет: мол, сил моих не хватит, а тебя под палки подведу! Беги один, обязательно беги, а то убийцей тут станешь!.. Ночью она удавилась, а я убежал. Остался бы — обязательно Аракчеева убил! Мужиков пожалел: за такое дело не меня одного, сотни бы их загубили...

— Куда ж ты теперь?

— А тут сверну в сторонку, не доезжая Тульчина. Граница близка, а перемахнуть через Дунай — некрасовцы-раскольники примут. Мало ль нашего брата туда перебегало.

— Да ведь сил у тебя не хватит!

— Спасибо вашей милости, теперь хватит. А то шел я три дня не евши. Оголодал, совсем ослабел...

Якушкин дал человеку денег, одежду чистую, сапоги. И когда тот указал, где ему надо свернуть в сторону, остановил кучера.

— Ну, иди с богом!

На завороте дороги, не доезжая Тульчина, из коляски Якушкина вышел человек с туго набитой котомкой за плечами и скоро скрылся из глаз. Вслед ему кучер только головой покачал, пробормотав:

— Сапоги-то, вишь, лучшие отдал!

Якушкин долго не мог успокоиться. С негодованием думал он о военных поселениях, возбуждавших ненависть всей страны и ужас солдат. Созданные там по измышлению

Аракчеева тяжкие порядки и быт, размеренный до последних мелочей, для русского человека оказались таким адом, что бунты не прекращались. Аракчеев вызывал кавалерию, артиллерию; мужиков топтали, стреляли, проводили сквозь строй. В отчетах, подаваемых Аракчеевым царю, о которых через приближенных становилось известно и всем, аракчеевским четким почерком против многих имен стояла роковая отметка: «После наказания, рангом определенного, — умре!»

Это те, которые проведены были под шпицрутенами сквозь строй в тысячу человек до десяти и более раз.

Царь Александр не стеснялся говорить с бессмысленной жестокостью: «До Чудова уложу дорогу трупами бунтующих, но военные поселения, как мною задуманы, так и будут».

— К Тульчину-городу подъезжаем, — обернулся кучер и подстегнул лошадей.

Степь ненадолго сменилась холмистой местностью, и городок обозначился вдруг. Редкие двухэтажные дома с балконами особенно резко выделялись среди бедных мазанок еврейско-польского населения. Двухэтажные дома окружены были тополями и акациями, в них расположились русские военные части.

Иван Григорьевич Бурцев — старый знакомый, капитан Московского полка — очень радушно встретил Якушкина в своем нарядном особнячке. Объявил, что никуда от себя не отпустит, и накормил гостя отличным обедом. После обеда прошли в угловую комнату — курительную. По занесенному от молдаван обычаю денщик, став, как для посвящения в рыцари, на одно колено, подвел блюдца под длиннейшие чубуки, разжег трубки и вышел было на цыпочках, но Бурцев его окликнул:

— Никого не пускай, слышишь! А кто настаивать станет, рапортуй одно — капитан в отъезде.

Бурцеву казалось немногим больше лет, чем Якушкину, он был высокого роста и гвардейского подтянутого вида. Родом из дворян Рязанской губернии, в двенадцатом году он служил уже прапорщиком в армии и отличался особой храбростью в кампаниях. Его назначили адъютантом к начальнику штаба Киселеву в Тульчин.

Он знал, что Якушкин не разделяет крайних мыслей Пестеля, но он хотел, чтобы к этому прибавилась и

нелюбовь личная, потому что сам он жестоко завидовал необыкновенной одаренности и влиянию Пестеля.

Бурцев приступил к своему намерению издалека, с внешней непосредственностью и хорошо обдуманной тактикой.

Он слыхал, как и все, что Якушкин так неудачно хотел освободить своих крестьян, что от предложенной свободы мужики просто-напросто отказались.

— Здесь у нас много толковали об этом вашем благородном намерении, — сказал вкрадчиво Бурцев после долгих и сочувственных расспросов о хозяйничанье Якушкина в Смоленской губернии. — Поверьте, мы душевно за вас страдали, прослышав о дикой тупости мужиков, не оценивших ваши высокие чувства.

Якушкин, не выносивший лести, нахмурился и резковато сказал:

— Сам я первый виноват, это я мужицких интересов не понял. Невдомек мне было, что свобода без земли такое же ярмо, как и крепостное. Я сейчас про это дело совсем иначе понимаю. Так с плеча рубить было бессмысленно. Сейчас вот занялся обучением ребятишек, школу завел...

— Восхищаюсь вами, — подшаркнул Бурцев, — и возмущен, как мог Пестель осмеивать ваши благие стремления.

— Что же смешного он в них нашел? — вспыхнул самолюбивый Якушкин. — Неопытность молодцу не укор.

— Да разве для Пестеля закон писан? «Отдельные усилия в деле освобождения крестьян просто смехотворны», сказал он, выдвигая ваш поступок как пример, по его насмешливому определению, «дворянского баловства».

Якушкин вдруг засмеялся, и лицо его стало совсем молодым.

— А ведь мне нравится это определение моих земельных утопий, — сказал он. — «Дворянское баловство!» Да разве все мы не грешны этим, при самых лучших намерениях? Изучить народ надо раньше, чем распоряжаться его судьбой.

— Пестель все Радищева тычет в пример, — прервал разгорячившийся Бурцев. Он держался как человек, наконец получивший возможность поведать о давно

накопленных обидах. — Последнее время Пестель постоянно заканчивает свою речь перефразой знаменитого «Путешествия»: «До скончания века примера не будет, чтобы царь что-либо упустил добровольно от своей власти», и, следовательно, эту власть отнять у него надо силой! Все упорней настаивает Пестель на выполнении безумных заветов Радищева, не принимая в расчет, сколь многие члены Союза благоденствия держатся о Радищеве мнения самой Екатерины и с ней заодно его определяют — «бунтовщик хуже Пугачева»...

Бурцев забегал по комнате. Он был ладного сложения, недурен собой, все было в нем прилично, приятно, но в памяти как-то не задерживалась ни одна его черта: ни лицо, ни манеры, ни звук голоса.

Наблюдая за ним, Якушкин иронически определил про себя: «адъютант».

Вдруг Бурцев сказал:

— А вы знаете ли, Иван Дмитриевич... Простите, что за разговорами я не сразу это вспомнил, ведь у вашего приятеля князя Федора Шаховского был обыск. Искали письма от Щербатова, брата его жены.

Якушкин побледнел. Натали Щербатова была его давнишняя любовь, он к ней сватался и тяжело перенес ее отказ. Но когда она вышла замуж за Шаховского, он странно успокоился, как человек, который свое сокровище поместил в самое надежное место. Шаховской был его приятель и необыкновенно хороший человек.

— Ведь это тот самый Шаховской, которого Сергей Муравьев прозвал тигром, и кличка привилась, — с бойкостью вспомнил Бурцев. — Фонвизин и ваши другие друзья встревожены. Ведь известно, что за тайным обществом начали очень следить. Уж не дознались ли как-нибудь о том памятном собрании, где вы вызвались убить царя, а Шаховской так яростно вас поддержал, что заработал свою кличку? Кажется, это произошло на квартире... Где же именно?

— На квартире Александра Муравьева, — сказал Якушкин. — Говорили о новых ужасах жизни в военных поселениях и читали письмо Трубецкого из Петербурга. Все крайне взволновались. В письме сообщалось, что царь, ненавидя русских, собирается столицу перенести в Варшаву и прирезать Польше несколько исконно рус-

ских земель. Не проверяя сообщения, все Трубецкому поверили, так оно было правдоподобно: всем известно презрение русского царя к русскому народу.

— Да, его любезные изречения передавались по всей гвардии и ложились на сердце непрощаемой обидой, — отозвался Бурцев. — Вспомнить хоть последнее: «каждый русский или плут, или дурак!»

— Все это мы запомнили, — продолжал Якушкин, — да и многое похуже, и вот выступил побледневший Александр Муравьев и сказал: «Необходимо прекратить царствование Александра! Бросим жребий, кому нанести удар». И сейчас помню, как у меня словно земля ушла из-под ног, когда я встал, и однакоже твердым голосом вымолвил: опоздали с жребием! Я уже решил сам убить царя и все обдумал. Когда он пройдет в Кремле из собора во дворец, я подстерегу его с двумя пистолетами: из одного — царя, из другого — себя. Промаха не дам и никого не подведу. С мертвого — взятки гладки!.. И, конечно, я бы все это проделал. Тут вот Шаховской, яростный, вне себя, громко сказал: «Знайте, я от него не отстану! Только надо без отсрочки! Немедленно!»

— Тут-то его тигром и прозвали, — снисходительно улыбаясь, вставил Бурцев. — Но все собрание, я слыхал, всполошилось и умоляло вас обоих с цареубийством повременить!

— Как же, очень взволновались, уверять стали нас обоих, что мы больны, что бредим... Я, помню, вспыхнул и предложил Фонвизину тут же шахматную партию, в доказательство трезвости моей головы, и торжественно его обыграл. — Якушкин засмеялся: — Ребячество, конечно, но мне до сих пор приятно вспомнить, что обыграл!

— Цареубийство делу свободы принесет только вред, — сказал нравоучительно Бурцев. — Недаром в семнадцатом году сам Пестель отклонил продуманный замысел Лунина — захватить Александра на его пути в Царское. Тайное общество ничего не сможет противопоставить старой, но твердой власти. Лучшее, что можем, — эту власть перевоспитать. Без нее же — все ужасы второй пугачевщины неминуемы...

— Но сейчас во всяком случае не семнадцатый год! Тогда цареубийство было еще преждевременно.

А ныне нам пора приниматься за настоящее дело, — несколько раздраженно прервал Якушкин. — Ведь царь на справедливые требования семеновцев ответил шпицрутенами! Хорош он приедет домой с конгресса, где прирожденный его деспотизм еще подкрепился советами Меттерниха! Разгуляется пуще прежнего аракчеевщина, а мы что?..

— Вот мы и собираем съезд в Москве, — поспешно ответил Бурцев. — Там до чего-нибудь договоримся.

Он подошел близко к Якушкину и сказал несколько торжественно, как представитель большинства, облеченный властью:

— И все-таки мы никого не хотим насиловать! Мы не хотим проливать кровь. Мы хотим только влиять. Негодное заменять исподволь лучшим. Наши друзья — Илья Долгорукий, Михайло Муравьев — положили руководствоваться лишь теми правилами, которые соединяют людей в добродетели, не более того. И необходимо широко вербовать новых членов, дабы возможно большее количество граждан охвачено было просветительными намерениями.

Якушкин рассмеялся:

— С этой немецкой сентиментальщиной в наших российских условиях далеко не уйдешь. Для этого и правление менять нечего.

— Но ведь мы почитаем наше дворянское сословие единственной опорой государства, — важно сказал Бурцев, — мы желаем правления просветительного. С одной стороны, мы — хранители добытой свободы, с другой — защитники этой свободы от черни. А вот недавно в Петербурге Пестель с такой силой и убедительностью изложил свое мнение о преимуществах строя республиканского перед монархическим, что присутствующие единогласно постановили для будущего русского государства — республику. Едва Пестель уехал, большинство спохватилось, что вовсе такого правления принять не желают, тем паче за него бороться. Я нахожу, прежде всего, надо нашему обществу отделиться от Пестеля!

Якушкину вдруг совсем неприятен стал Бурцев. Все более проявлял он себя мелким и ограниченно понимающим дело, о котором говорил. И хотя Якушкин не был Пестелем «обворожен», но, как человек умный и справед-

ливый, сразу невольно противопоставил его значительность раздраженному Бурцеву.

— Однако напрасно вместо желания соединения вы раздуваете в себе вражду к Пестелю, — сказал он недовольно. — Нельзя с одного вола две шкуры драть. Пестель, как всякий из нас, не совершенство, но уважения достойно уже одно то, что у него даже нет личной жизни, ничего, кроме дела свободы! Этому делу посвятил он свой обширный ум, силу воли. Вот это и дает ему право на первое место в тайном обществе. И, не теряя собственных убеждений, каждому из нас надо попытаться принять одну из основных мыслей Пестеля: только объединение всех создаст действительную силу.

— Была б его задача только объединить разномысленных, кто бы спорил, — возразил Бурцев со злым упрямством, исказившим его любезные черты. — Подозреваю не я один, задача Пестеля в том, чтобы этих, им собранных, членов подчинить только своему произволу...

— Не о предполагаемых чувствах Пестеля надо беспокоиться, — веско прервал Якушкин, — а об ясно выраженных его предложениях. Вот они: «Целью переворота должна быть республика. Единственным средством борьбы — вооруженное восстание». Наш январский съезд обязан столь же отчетливо выработать и свою точку зрения. Полагаю, что для раздражения личного, которое только затемняет мысль, здесь места быть не должно.

— Совершенно с вами согласен, — обиженным тоном сказал Бурцев, — и чтобы не было ненужного раздражения, просим вас, Иван Дмитриевич, как московского уполномоченного, все-таки не обращаться к Пестелю с просьбой приехать на московский съезд. К тому же у него в Москве никого родных, и делами он там не связан. Государь же о нем отзывался, я узнал намедни, как об опаснейшем карбонарии...

— У меня имеется только письмо к генералу Орлову с личным приглашением, — сказал Якушкин сухо, хотя просьба Бурцева была ему на руку: о том же относительно Пестеля просили его и члены центра. — Не знаете, в Кишиневе Орлов?

— Он должен был выехать в Каменку. С нашей стороны мы выберем для Москвы таких людей, которые

представят волю большинства, а не собственный произвол, — подчеркнуто сказал Бурцев, уже решив, что поедет сам.

— Делайте так, как знаете, — сказал утомленно Якушкин, — ведь вы — отдельная отрасль Союза и право имеете делать собственный выбор. Мне поручено — передать вам только об январском съезде в Москве... Да, вот еще один вопрос, — внезапно вспомнил Якушкин свое прощание с Осипом Карпенко, — не можете ли сказать, что за человек некто Горбачевский? Не член Тульчинской управы? Он живет в Новограде-Волынском, служит в артиллерии.

— Насколько верны слухи, там что-то свое завелось. Предполагаю — сугубо провинциальное, — несколько пренебрежительным тоном ответил Бурцев.

Он предложил Якушкину пройтись по городу, но Якушкин сказался усталым с дороги и ушел в приготовленную ему комнату. Хотелось побыть одному...

Вот Бурцев только что упомянул в разговоре с ним имя Лунина... Якушкин с удовольствием вызвал в своем воображении образ этого смелого, умного и необычного человека.

Лунин начал службу юнкером в кавалергардском полку, а за военные подвиги под Аустерлицем был произведен в офицеры. Участник всех войн с Наполеоном, Лунин вдруг задумал одним ударом покончить с человеком, который стремился поработить весь мир. Он однажды обратился к главнокомандующему с просьбой назначить его парламентером к Наполеону, предполагая при встрече заколоть его кинжалом. План не удался, полк двинули с места... «А ведь несомненно убил бы Наполеона, если б послали», — улыбнулся Якушкин.

Он было вздремнул, но сразу проснулся от ужаснейшего кошмара: должно быть, встреча с беглым, рассказ его об аракчеевской порке, когда вместо тела остаются кровавые куски, которые можно уж только вынести на брезенте, глубоко запали ему в душу. Якушкину неожиданно представилась эта экзекуция: у человека руки, судорожно скорченные, привязаны к прикладу ружья, которое тащат вперед солдаты вдоль страшной шеренги в тысячу человек с длинными свистящими прутьями. Сзади

осужденного тоже идет солдат и колет его штыком, чтобы он двигался без задержки.

Якушкин выпил воды, зажег свечу, пересел в кресло. Он тяжело дышал, сердце билось, нервы требовали отдыха. Но воображение, не повинуясь, работало...

Якушкин вдруг вспомнил себя семнадцатилетним подпоручиком рядом с придворной золотой каретой. Сквозь спущенное стекло на пышном сиденье хорошо видна растолстевшая императрица-мать, Мария Федоровна. Она уже зажала в пухлой руке, обтянутой перчаткой, кружевной платочек, чтобы вытереть слезы умиления при встрече с победоносным сыном-императором. Но где ж это было?..

Сверкающие золотом парадные ризы духовенства, торжество молебна и оглушительного многолетия, а рядом — полицейские с озверелыми лицами, нещадно избивающие простой народ, в восторге стремящийся поближе повидать своих солдатиков. Над всем народом — парадные ворота у Петергофского въезда, где на самом верху установлены шесть алебастровых коней в честь шести полков первой дивизии. Это — войска вернулись из похода домой, это — торжественная их встреча.

Толстая императрица-мать ждет, чтобы Александр, как подобает по придворному ритуалу, салютуя, преклонил перед ней свою шпагу.

И он, Александр, юный предводитель гвардии, красавец на золотом жеребце, уже взмахнул этой обнаженной шпагой... И нужно же случиться, что в эту торжественную минуту какой-то растерянный мужичонка вздумал перемахнуть пространство перед лошадью императора. По своим делам он спешил на другую сторону. Внезапно Александр пришел в ярость и, забыв ритуал торжественной встречи, пришпорил золотистого жеребца и с перекошенным лицом кинулся вдогонку бегущему. Мужичонку схватила полиция.

Еще любили царя, еще хотели забыть, что он сын ненавистного Павла, а он так грубо, при первой встрече, напомнил...

Подпоручик Толстой, стоявший тогда рядом с Якушкиным, шепнул: — Похоже на сказку, где злая кошка приняла обличье принцессы, однако не может удержаться, завидев мышей: принцесса кидается им вслед...

Каким мрачным символом предстала перед Якушкиным эта первая парадная встреча! Ведь уже никакой либеральной личиной не прикрыть Александру его самовластной природы, полной коварства.

«Впрочем, — думал Якушкин, — сейчас до самой личности царя мало дела. Перед членами тайного общества открылась задача: найти путь, чтобы не только убрать самодержца, но вырвать с корнем и само самодержавие».

Глава третья

Громадное поместье старухи Раевской занимало тысячи десятин в Чигиринском уезде Киевской губернии. Племянница светлейшего князя Потемкина, она от несметных богатств его получила столько имений в разных губерниях, что их количество побудило Льва Давыдова, ее второго мужа, поднести ей к именинам забавный сюрприз. Из одних заглавных букв названий этих имений он составил хвастливую надпись на транспаранте, освещенном изнутри:

«ЛЕВЪ ЛЮБИТЪ ЕКАТЕРИНУ!»

Гости завистливо подсчитали: сколько светится букв, столько, значит, у хозяев есть имений, не учитывая хутора и прочие угодья.

Огромный барский дом с залами в два света, как во дворцах, с антресолями, службами и верандами был окружен чудесным парком и цветниками из собственных оранжерей.

От первого мужа у Екатерины Николаевны был сын — Николай Николаевич Раевский, знаменитый герой Отечественной войны. От второго мужа — двое сыновей Давыдовых. Старший — Александр Львович, полковник в отставке, когда-то красивый, дородством и осанкой всех больше напоминал деда Потемкина, но дальше внешнего сходства дело не пошло. Осев в богатом поместье матери, он обрюзг, обленился, «офальстафился». От героя Шекспирова отличался, по мнению Пушкина, только тем, что женился на очаровательной графине де Грамон, почему и был им воспет как «рогоносец величавый».

Эта легкомысленная красавица Аглая не стеснялась брать себе разнообразных утешителей, развлекавших ее в невеселом супружестве.

Кроме часто наезжавших детей и внуков, постоянным членом семьи была прехорошенькая дочь дворецкого, Шурочка. Взяли ее на воспитание со всеми правами родной дочери, однако старуха Раевская, дабы девушка не забывалась и помнила барское благодеяние, поставила одно условие: когда отец, дворецкий, подавал ей, как и прочим, кушанье за обедом, она должна была, прежде чем положить себе на тарелку, встать и поцеловать отцу руку.

Жили в Каменке широко, богато и привольно. Держали свой оркестр, хор певчих. В торжественные дни палили из пушек и сжигали такой фейерверк, что надолго оставался он в памяти у соседних деревень.

И вот в это дворянское поместье, как птенцы в гнездо, слетались члены тайного общества в день св. Екатерины.

Второй сын Раевской от Давыдова — Василий Львович — был ярый приверженец Союза благоденствия. Он ждал, что сегодня приедут два других члена Общества — генерал Орлов и его адъютант Охотников. Сам же он недавно привез погостить в Каменку двадцатилетнего поэта, Александра Сергеевича Пушкина, уже прославленного своим «Русланом» и еще того более — «возмутительными», против правительства, вольными стихами, разошедшимися по всей стране в тайных списках.

Екатерина Николаевна, в белой наколке валансьеновых кружев, атласе и драгоценностях потемкинского рода, восседала в вольтеровских креслах у себя в голубой гостиной. Она была счастлива, что в этот раз ко дню ее ангела съехались ее дети и внуки.

Старший сын — Николай Раевский — приехал со своим первенцем Александром, но бабушка предпочла бы младшего своего внука — любезного и открытого душой Николашу. Александр был ей просто непонятен и с детства не мил каким-то ядовитым характером.

— Кажись у него и горба нет снаружи, а на душе словно нарост, — говорила она про внука, — ни от него смеха, ни радости. Ну, даст бог, выправится!

Однако в том смысле, как бабка мечтала, Александр так и не выправился. В противоположность красавицам сестрам и могучему витязю Николаше, он просто был

неавантажен: маленькая змеиная головка на высоком костлявом теле, лицо же — темнокожее, с ранними морщинами. Тонкие губы всегда с насмешкой, глаза изжелта-карие, как у копчика, сквозь стекла очков словно жалили недобрым огнем. Генерал, как всегда, пожаловался матери на своего первенца:

— Никакого у Александра проявления чувств! Словно чувства ему и вовсе неведомы, — одна таблица умножения, что в уме, то и в сердце. Ни в любовь, ни во что он не верит, — это в его-то годы, в двадцать пять!

— А вот черкесенка с Кавказа вывез, — оторвалась от пасьянса бабушка. — Может, его полюбил? Все, вижу, целует...

— И свою собаку Аттилку так же он целовал, а не моргнув, где-то бросил. И сам не припомнит где. Любит, как игрушку, тех, кто вполне ему покоряется. А попробуй с ним различного мнения — не спор вызовешь, а злую, грубую брань. И чем он так обворожил нашего милого Пушкина? Раскрыв рот, его шипение слушает.

— Пушкин? — бабушка положила карты и недовольно подобрала губы, — это что Базиль с собой привез? Он, сказывают, по матери негритянской крови?

— Он с гениальной головой и с прекраснейшим сердцем, — сказал горячо генерал. — Он, маменька, самый первый из наших гостей.

— Пусть погостит, я всякому рада, — бабушка кивнула кружевным хохолком и, отстранив сына маленькой пасьянсной картой, дала понять, что «Диана в гроте» у нее не выходит, а чтобы вышла — она на нее загадала, — нужно все напряжение ее внимания.

— Не до разговоров, мой друг...

Но модный пасьянс кончить не удалось. В прихожей с большими зеркалами, освещенной, как для бала, зажженными во всех многочисленных бра свечами, раздались шумные и радостные возгласы. Бабушка только что собралась послать воспитанницу, чтобы узнать причину веселья, как ураганом влетела в голубую гостиную ее любимая внучка Адель, молоденькая дочь чаровницы Аглаи и Александра Львовича.

— Бабинька! — вскричала Адель и так быстро опустилась у ног старухи, что ее кисейное платьице, легко вздохнув, стало над ее головой облаком. — Бабинька!

Если бы вы знали, кто приехал! Такой чудесный, красивый генерал Орлов и адъютант его, и еще некий в штатском по фамилии Якушкин.

Улыбаясь на хорошенькую внучку, похожую на нее в дни такой же юности, бабушка стала что-то припоминать:

— Ни в родстве, ни в свойстве у нас этих Кушкиных нет...

— Я-куш-кин! — хохотала Адель.

Александр Сергеевич Пушкин, вбежавший вслед за девушкой, остановился на пороге гостиной, восхищенно любуясь ее черной головкой с голубыми бантами, окруженной, словно облачком, взволнованной кисеей воланов.

— Что же вы? Помогите! — крикнула Адель, кивая на бабушку, с усилием выбиравшуюся из кресел.

Пушкин так ловко и приятно вытащил Екатерину Николаевну из вороха вышитых подушечек, что она прелюбезно глянула на него, все отчетливо про Пушкиных вспомнила и сказала благодушно, как бы давая ему разрешение существовать на свете:

— Знаю, знаю, сынок прекрасной креолки, племянник стихотворца Василия Львовича. Ну что же, все это отменно хорошо!

Пушкин и Адель сдали бабушку на руки подскочившим приживалкам и, как расшалившиеся дети, бросились в сад.

Сад был строгий, осенний. Пруд не замерз, вода словно еще устанавливалась, тяжелела к зиме. Та веселая рябь, что, казалось, летом жила своей собственной жизнью, играя на солнце и маня скорее сесть в лодку и плыть по ее веселому следу, сейчас чуть отливала тусклым свинцом.

— А ну, кто скорее? — прошептала Адель и побежала вверх по дорожке на высокий искусственный грот. Пушкин взлетел вслед за нею и сел на большой мшистый камень. Адель взобралась еще выше, сорвала ветку и, касаясь ею волос Пушкина, вдруг заговорила тем особенным, женски вкрадчивым голосом, каким говорила ее мать, Аглая Антоновна, когда начинала свою атаку на новую жертву, — голосом, заслышав который дамы с осужденьем пожимали плечами, а мужчины посмеивались.

Адель сказала, играя веткой:

— При-зна-вай-тесь, кто красивее — я или мама?

Пушкин быстро, с укором взглянул на нее, взял из ее рук ветку, сломал и бросил.

— Грубиян! — рассердилась Адель и сбежала с горки вниз. Видя, что никто ее не преследует, она крикнула уже совсем нехорошим голосом: — Сколько ни будете просить прощенья, я вас ни за что не прощу!

— А я вовсе и не буду просить прощения, — равнодушно ответил Пушкин и остался сидеть на своем камне. Пришли на память циничные наставления одного приятеля:

— Брось, братец, влюбляться! Для этих самок ты становишься понятен, лишь когда дробишь в себе поэта. В чистом виде ты им не по плечу.

Конечно, Адель не Мария Раевская, — как мог он хоть на миг помыслить их рядом! Адель просто дочь своей легкомысленной матери. А для Марии поэту и не надо дробить себя. Да, для нее одной...

И забытое было ощущение совершенной наполненности одним милым образом Марии Раевской охватило его. И еще не в сознании, а как-то вдали, только чувством угадывались вызванные ею стихи небывалой кристальной нежности.

Долго сидел он на камне. Стихи не приближались. Стихов еще нельзя было осознать, словить, закрепить. Что-то не было готово для полного их рождения. Но поэт уже знал, что это неизъяснимое волнение придет еще и еще, пока он не овладеет им, не закрепит словами.

Пушкин сошел вниз и углубился по аллее в самую чащу парка. Ему хотелось долго ходить одному в тишине и думать, думать...

Да, быть бы ему не здесь, а в Соловках, если б не заступились за него перед царем Карамзин и Жуковский, когда дошла до дворца его ода «Вольность». Любопытно, какое у царя было лицо, когда он читал:

О стыд! О ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары...

Попомнит он ему еще раз этих «янычар»! Сам Александр хоть и не был прямым убийцей, но ходили упор-

ные слухи, что он тайно участвовал в заговоре против отца своего, императора Павла.

Пушкин ехал в большом раздражении в эту ссылку на юг. На его счастье, он попал в добрые руки Ивана Никитича Инзова, редкого начальника, соединявшего в себе прекрасные качества — ум и доброту. Инзов отнесся к ссыльному поэту по-отечески и службой не обременял: хоть целый день соси трубку, пиши стихи. Вот и с Раевским беспрепятственно отпустил лечиться.

А лечиться было необходимо. И сейчас, войдя в темную, по-осеннему сырую аллею, Пушкин передернул плечами при мысли о потрясающем ознобе, который так мучил его вперемежку с палящим жаром и гнетущими кошмарами. «Вот и наплавал в дурной час по Днестру, схватил трясовицу», — ворчал неразлучный с ним верный дядька Никита.

Но как порой солнце разорвет вдруг черные тучи и оживит омертвевшее было поле, таким неожиданным, отрадным явлением, прогнавшим все злые кошмары, был возникший внезапно в его убогой екатеринославской комнатушке густобровый и румяный Николаша Раевский, младший сын генерала. С собой, как родного, увезли Раевские на юг. Возможно, еще долго был он болен, потому что путешествие казалось не действительным событием, а только радостной грезой, сменившей его недавний кошмар. Да неужто в самом деле наяву ехал он с Николашей в карете по необъятным российским просторам, а впереди, в коляске, часто и ласково навещавший его, ехал отец Николаши — генерал, герой Отечественной войны, с дочками, одна из которых звалась несравненным именем Мария. Ехать бы так без конца...

Однако в Новочеркасске он поневоле пришел в себя, столкнувшись с действительностью, и с какой жестокой!

Остановились у наказного атамана Денисова, и пришлось услышать и узнать, как сурово подавляет правительство крестьянские восстания. На Дону и в пятидесяти имениях окрестных помещиков шли настоящие схватки с вооруженными крестьянами. Старый кучер Раевских неожиданно, с памятным одобрением, так пояснил:

— Избивают начальников мужички, в полной свободе хотят стоять! Дай им бог...

А дальше — какой разительный пример этой жажды свободы! Из екатеринославской тюрьмы бежали двое необычайным способом. Они были закованы вместе одной цепью. Переплыли реку и спаслись. Так вот с какой мощью надо захотеть ее, эту свободу!

Чудесен был старик Раевский, которому в пути с искренним чувством, как герою Отечественной войны, устраивали поселяне и горожане торжественные встречи, а он тихонько шептал поэту, поддразнивая:

— А ну-ка, прочтите им свою «Вольность»!

Старик, желая остаться при своем родовом имени, гордо отверг предложенный ему царем титул графа, и все крепло к этому человеку, чужому по крови, настоящее сыновнее чувство у Пушкина, до сих пор ему мало знакомое, хотя был у него с детства родной отец.

Легко, с повторной яркостью, превосходившей самую первую встречу лицом к лицу с людьми и природой, переживал он, как ему это было свойственно, уже раз пережитое. Он ехал с Раевскими все дальше на юг... Вот в Ставрополе за городом обширная площадь, где происходит в праздник джигитовка. Тогда площадь была пустынна. Пушкин стоял в неизмеримом пространстве один и внезапно увидел на горизонте белоснежный Эльбрус. Охватило такое волнение, словно он подсмотрел тайну природы. Безмерная высота, девственная белизна, как был он потрясен ими! И странно: это впечатление помогло ему отстаивать свое право видеть мир всепроникающей великой красоты, противопоставлять внутренно эту красоту натиску ума точного, острого и безжалостного, каким обладал старший сын Раевского Александр Николаевич. С ним велись очень значительные разговоры на берегу Подкумка, где просиживали долгие вечера...

Пушкин вспомнил Гурзуф, где оказалась уже в сборе вся большая семья Раевских. Приехала жена генерала — родная внучка Ломоносова — с дочерьми. Пушкину приятно произнести вслух имена этих дочерей — Екатерина, Елена, София, Мария.

Мария... И в сердце кольнуло еще раз укором, — как мог он помыслить хоть на миг один подменить образ, которому, знал он, уже измены быть не может.

Но вот по отношению к ее брату, к другу своему Александру Николаевичу есть какая-то перемена и ра-

стет смутное им недовольство. Сразу поразила хлесткая ирония этого умного человека, как особая его независимость. Но мало-помалу рядом с отцом, столь разнообразно одаренным, богатым не только умом, но и пленительным чувством, — характер сына много потерял и стал казаться очень далеким от подлинной силы богатой души.

— Пушкин, ты ль это? — окликнул его голос человека, о котором он только что думал. — Иди скорей сюда, — пока окончательно не стемнело, покажу тебе семейные раритеты!

Александр Раевский взял Пушкина под руку и, смеясь, сказал:

— Один? А я окликнул тебя да и струсил, а вдруг с тобой Аглая или Адель?

— Ан нет ни матери и ни дочки, — угрюмо ответил Пушкин.

— То-то не больно весел! Ну, идем, брат, в храм славы. Я тут летом всегда ночую, — ни одного комара. Сейчас ночевать холодновато, но реликвии еще не убраны на зиму. Завтра при дневном свете досмотришь, чего сейчас не разберешь.

Храм славы был круглый павильон, окруженный колоннами, — фантазия в классическом стиле, — которыми так любили помещики украшать свои владения. Поднялись по ступенькам и вошли в картинную галерейку.

— Направо трофеи материнского, ломоносовского рода, — указал Раевский, подводя Пушкина к портрету и бюсту прославленного предка. — Тут же и сети, которыми гениальный юнец якобы ловил рыбу холмогорскую. Конечно, не те самые сети, но во всяком случае из тех мест.

А здесь, слева — уже триумфы Раевских, и в первую голову вот тебе воспетый Жуковским папенькин подвиг! Как древний римлянин, генерал ведет погибать за отечество сыновей — сиречь меня и Николашку. Полюбуйся патриотическим лубком, он в чести у нашей бабушки. Видишь, под стеклом, в золотой раме. А как хватят морозы — это сокровище внесут в дом, в парадную залу, и водрузят рядом с подлинным Теньерсом. Даром, что маляр прошелся зеленой краской заодно с шинелью и по ушам пареньков.

— Знаменитый бой при деревне Салтановке, — сказал серьезно Пушкин, подходя к лубку. — Это когда Николай Николаевич с десятитысячным отрядом задержал сорокатысячный корпус Мертье?

— Ну да, и получил золотое оружие. Но ты рассмотри поближе...

Не похожий совсем на Раевского молодой генерал тащил за руки двух подростков к французским войскам. Подписано было: «Вперед, ребята! Я и дети мои, коих приношу в жертву, открываем вам путь!»

— Помнишь, у Жуковского? — и Александр Николаевич продекламировал:

Раевский, слава наших дней,
Хвала! Перед рядами
Он первый грудь против мечей
С отважными сынами...

— Пусть бабка на здоровье гордится сыном и внуками, — засмеялся он. — Батюшка вкупе с отпрысками возведен в сан римлянина.

— Во всяком случае, отец твой, как всегда в трудную минуту, был впереди всех, — сказал строго Пушкин.

— В этом кто же сомневается? Но столь наивно и витиевато отец ни в каких случаях жизни себя не проявлял.

— Меня ж эта картина не смешит, а трогает, — раздражаясь на Раевского, сказал Пушкин. — Пусть в подробностях она — вымысел: по существу она истинна. Здесь наличность чувства национального, здесь прославление русского героя-воина, каким и является Николай Николаевич.

Раевский усмехнулся, пожал плечами и вынул часы:

— Тебе бродить и мечтать осталось полчаса. Бабушка обижается, если кто опоздает к обеду. Сегодня же он именинный. Отгуляешься — приходи на террасу, у меня там будет один разговор с генералом Орловым.

* * *

На обширной террасе, густо затканной диким виноградом, сейчас по-осеннему нарядным, с листвой, где яркобагровой, где золотой, где еще зеленой, — в глубоком кресле сидел недавно произведенный в генералы Михаил Федорович Орлов.

Задумчиво глядя вдаль на скалистые берега реки, на голубеющие за ними озимые поля, на еще более далекий лес, он с сожалением думал о том, почему не милый Николаша является старшим из братьев Раевских, а этот сухой Александр. С ним вот и слов не находится, какими сказать о таком сердечном деле, как любовь к сестре его Екатерине Николаевне, и о своем намерении сделать ей предложение. Отлично небось знает и сам Александр Раевский, о чем должен быть разговор, а вот не начнет же...

Вышел перед террасой аист, не улетевший с родной стаей оттого, что не зажило перебитое крыло. Он вышел и остался стоять на одной ноге как-то безнадежно и кривобоко; наставил свой красный длиннейший клюв в самое небо и печально залелекал.

— Как удачно прозвали аистов в здешних местах — лелека, — сказал Орлов, — вероятно по этому звуку...

У Орлова было прекрасное лицо, смелое и доброжелательное, с крутыми бровями, словно выведенными кистью. Могучим сложением, гордостью осанки похож был он на отца и родных дядей, знаменитых екатерининских временщиков, за что Пушкин и прикрепил к нему кличку — «Вельможа бабушкина века». Застенчивая улыбка, столь необычная на этом гордом лице, одна выдавала его душевное волнение.

— Н-да, аист лелека, — процедил сквозь трубку Раевский. — Действительно название удачно подражает звуку, которым этот музыкант нашел нужным усладить наш слух.

Быстрым движением он взмахнул трубкой, прогнал испуганную птицу и всем длинным телом повернулся к Орлову, устремив на него недобро вспыхнувшие глаза. Сказал многозначительно:

— А ведь я тебя, Михаил Федорович, еще не поздравил с получением шестнадцатой пехотной дивизии. Никак пять лет тебе был в ней отказ, несмотря на все твои боевые и прочие заслуги?

— Да, — широко улыбнулся Орлов, — царь не простил мне ни той записки, которую я подал ему об отмене крепостного права, ни той, которую я от него скрыл, равно как и фамилии генералов, требовавших вместе

со мной не отчуждать в интересах Польши российских земель...

— Не находишь ли ты странным, — подчеркнуто не слушая его, перебил Раевский, — что капитан Якушкин, совершенно нам незнакомый человек, вдруг приехал к бабушке на именины? Да и не по пути ему вовсе было. Сдается мне, крайне либерального направления сей капитан. Быть может, дядюшка мой, Василий Львович, под покровом великомученицы Екатерины, затеял в Каменке политический съезд? Как полагаешь?

— Это я сманил Якушкина заехать в Каменку, — поспешно сказал Орлов, как бы отстраняя последний вопрос. — Мы встретились в дороге и, не желая так скоро расставаться с этим приятным человеком, я стал настойчиво звать его вместе с собой, памятуя всегдашнее гостеприимство твоих родных.

— О, конечно, здесь все рады новому гостю, особливо герцогиня Аглая. Она начнет упражнять над ним свои чары, но полагать надо — тщетно. Этот Якушкин, понаслышке, известный рыцарь только одной дамы, правда, рыцарь печального образа, за выходом ее замуж. Мне говорили, он как крот ушел с головой в прелести деревенской жизни и благодеяния мужикам.

— Мне огорчительно, ежели Якушкин тебе неприятен... — начал было Орлов.

— Напротив того, отменно приятен, — небрежно прервал Раевский. — Он умен и полон спокойного мужества. А про политический съезд я сказал к тому, что некие в Петербурге мне в упор намекали: к бабушкину ангелу, двадцать четвертому ноября, как бы по предварительному соглашению, появятся в Каменке незваные гости. Хозяин же, дядюшка мой, Василий Львович, уводит этих гостей на антресоли, и целыми ночами, нимало не пьянствуя, они о чем-то совещаются, интригуя прислугу и служащих. И вот, мой дорогой генерал, сколько ты ни уверяй меня, твой прекрасный Якушкин здесь сегодня гость не случайный. И не за «компанию» ты его прихватил, хотя вы и собираетесь повести «кампанию» против китов деспотизма. Прости плохой каламбур! — Раевский засмеялся долгим скрипучим смехом, сквозь смех сказал: — Но я-то, слуга покорный! Меня калачом не заманишь ни в какую

«тайную» компанию. Не выношу эти ваши доморощенные революции!

— Из-за них, однако, получаются порой перевороты и государственные, — сдержанно ответил Орлов. — Не далеко ходить: революция в Испании, созыв кортесов, события в Италии, Неаполь...

Раевский прервал:

— Все это — дело минутное. Я убежден, опять вернутся на свои престолы оба эти Фердинанда — и первый и седьмой. Но что нам за дело до дел испанских? Ох, опять дурной каламбур, у меня это просто болезнь! Но, однако, скажу и серьезно: у себя дома, в России, не я один — многие, несмотря на все бесчинство аракчеевщины, никаких перемен не желают. Ибо в благодетельное действие оных не верят. Человек так мелок, так жаден, так ничтожно устроен, что в какие улучшенные формы его ни помещай, так называемая сумма зла останется все та же. Из-за чего, спрашивается, и огород городить? Даже если допустим совершившимся утопическое уравнение имущества, я уверен, люди немедленно создадут новые стимулы к зависти и вражде. Станут изобретать черт их знает какие средства, чтобы уравнивать еще дальше. Например, в талантах, уме, красоте, долголетии. Я уверен, у злодеев выдумки хватит, изобретут отнятие друг у друга всех естественных, доселе неотъемлемых, природных преимуществ.

— Найдется управа на твоих злодеев! Зажмут их в клещи, — сказал тихо Орлов, с изумлением глядя в злое лицо Раевского. Его широкой, здоровой натуре, полной доброжелательства, был отвратителен, как злой паук, этот костлявый раздраженный человек. — Так не любить людей, так не хотеть им блага? Это или болезнь или преступление, — гневно договорил Орлов.

— А коли и себя самого я не люблю? — ответил с вызовом Раевский. — Какого же дьявола любить мне каких-то неизвестных людей? Да еще будущих! Главное, никто доказать мне толком не может, почему именно люди сегодняшнего дня должны жертвовать всем на потребу людей дня грядущего? Если когда-либо и наступит «век золотой», ведь мне-то лично его как ушей своих не видать?

Возмущенный Орлов встал:

— Если ты полагаешь, что твои слова это некая демоническая философия, то ошибочно так полагаешь. По мысли — это незрелость, по чувству — звериная злость. Однако, зная твой характер, убежден, что говорил ты не зря. Любопытно, каковы следствия вседневные, жизненные из подобного твоего умонастроения?

Александр Раевский тоже встал и с полупоклоном сказал:

— А следствие для вседневной жизни такое: если к одной из моих красавиц-сестер вздумает посвататься человек, состоящий членом тайного общества, кто бы он ни был, я всем своим влиянием в нашей семье потребую, чтобы он получил, как у нас на Украине здесь водится, — га́рбуз!

Он засмеялся и любезно пояснил:

— Га́рбуз — это замысловатый символ отказа, по-русски — обыкновенная тыква. Жениху ее посылают безмолвно на дом. А теперь пора нам идти обедать, вот и Пушкин ищет меня. — Он указал на Пушкина, подымавшегося по лестнице на террасу. — Молодец, не опоздал! — крикнул ему Раевский. И совсем ласково и доверительно, понизив голос, сказал Орлов: — Либо га́рбуз, либо дружеское предложение перестать быть членом тайного общества. Так-то, друг...

Оставшись один, Орлов в волнении зашагал по террасе взад и вперед. «С головой уйти в дела общества и проститься с счастьем личным, получить этот... «га́рбуз»?.. Что ждет впереди?»

Полный неразрешенных сомнений, Орлов спустился с террасы и пошел вслед за Пушкиным и Раевским.

Глава четвертая

В кабинете Василия Львовича, на широчайшем удобном диване, лежит адъютант Орлова капитан Константин Алексеевич Охотников.

Он привычным тихим манером скрылся от гостей по крутой лестничке во второй этаж, в любимый им кабинет, устланный пушистым ковром. Здесь был старинный камин

с чугунной решеткой, много хороших картин. В большие окна виднелись лесистые дали; вдоль стен шли застекленные шкафы. Книги здесь имелись по вкусу всех приятелей Василия Львовича — от древних философов до новейших альманахов. Хорош был подбор по философии и политической экономии, приноровленный к требованиям наезжавших «особых» гостей. Они заживались в гостеприимной Каменке подолгу, и каждому было приятно найти под рукой нужного ему или любимого автора.

Капитан Охотников, некогда лубенский гусар, участник наполеоновских войн, с восемнадцатого года считался одним из видных членов тайного общества, всех поражая своей образованностью и «зверской начитанностью», как говорили товарищи.

— Ты, Костенька, здесь? Так я и предполагал, — ласково сказал вошедший Якушкин и, подсев к Охотникову на диван, заглянул в книгу приятеля: — К Титу Ливию, значит, ты без претензий? — улыбнулся он. — А ведь немалую свинью оный Тит тебе подложил, как говаривали мы в школьные годы, — затравили тебя им приятели!

Охотников слабо улыбнулся:

— А ну их...

На его бледном лице легко вспыхивал румянец, и лихорадкой горящие глаза вызывали мысль о ранней обреченности. Охотников болел злой чахоткой, о которой знали все и он сам. От своих неизбежных душевных и телесных страданий он имел мужество уходить в мечты, ими побеждал свою лихую судьбу. Обладая безмерным воображением, увлекаясь Плутархом, он переживал бедствия и триумфы античных героев, как свои собственные.

Близких приятелей эта способность Охотникова уходить с головой в книгу вызывала на веселую забаву, чему примером и было происшествие с почтенным историком Титом Ливием.

Как-то Пушкин, любивший Охотникова, приметил, что он ушел к своим «древним». Лукаво подскочил к нему вместе с приятелем и потребовал, чтобы он разрешил их спор. Охотников, веруя в магию классической речи, в ответ процитировал им обращение Тита Ливия к римским сенаторам. Вдохновенно подняв глаза, он начал французским переводом известного обращения: «patres conscripti», — «отцы сенаторы»...

Бурный хохот спорщиков так и не дал ему продолжать. И с легкой руки Пушкина стал Охотников извечно ходить под кличкой — «пер-конскри»...

Однако Пушкин любил вести и долгие серьезные разговоры с этим человеком, который в совершенстве знал и модного Шеллинга и русского натур-философа Велланского. Привлекал Охотников и душевно: доброты был он не сентиментальной, а крепкой, действенной. Много денег получая от отца, на себя тратил только жалованье, все же прочее раздавал кишиневской бедноте. Знали приятели, что когда у него не случилось однажды под рукой денег, а помочь надо было срочно товарищу по французским походам, Охотников не задумался продать бриллиантовый перстень, подарок прусского короля, и поднес в презент товарищу дом с виноградником.

— Коли что делать, так уже, знаете, надо вести до конца, — сконфуженно улыбался Охотников, как бы оправдываясь.

Вошел хозяин кабинета, Василий Львович, человек лет под тридцать, совсем не похожий на своего растолстевшего брата. У него было живое лицо с хитринкой, с висячими украинскими усами.

— Соберитесь с мыслями, господа, — сказал Василий Львович озабоченно, — надо нам Орлова из беды вызволить. Поговорил я с ним только что в парке, он очень мрачен: обеспокоил его этот злобствующий демон, племянник мой Александр. Удружила судьба Катеньке, что именно он ее старший брат! Ведь ваш Михаил Федорович свататься к ней собрался. Александр Раевский, заклятый враг тайных обществ, подозревает его членом оного. И недаром подозревает, ведь Орлов принят намедни в Тульчинскую управу Юшневским и Пестелем. Раевский, упредив его сватовство, восстановит, конечно, и мать и отца против Орлова. Надлежит нам немедля разыграть такую комедию, будто общества нет и в помине.

— Твое предложение нам на руку, — оживился Якушкин. — Устроим просто-напросто генеральную репетицию того, что предстоит нам рассмотреть на предполагаемом московском съезде.

— Разберем все за и все против и сразу двух зайцев убьем, — засмеялся Охотников. — Позаймемся делом, для

которого сюда съехались, а кому о том ведать не надо — докажем, что в современных российских условиях оно неосуществимо.

— Заодно с сыном полезно, при всем к нему уважении, и старого генерала околпачить, — улыбнулся Якушкин, — уж больно насчет меня любопытствует — для какого я тайного дела приехал. Отличный человек Николай Николаевич, но груз прошлого за собой тащит немалый. Посмеяться над правительством, над самим царем-батюшкой, — это пожалуйста, однако даже замахнуться на произвол самодержавия — уж это ни-ни, не дозволит.

— И еще одного человека необходимо уверить, что тайного общества нет, это — Пушкина, — сказал Охотников. — Он так чрезмерно горяч! К тому же сейчас он считается в изгнании, за ним, конечно, полицейский глазок.

— А нам сейчас надо стать особливо осторожными. — И Якушкин рассказал, как пугливо царь называл его и других смоленских помещиков заговорщиками за то, что они пожертвовали большие суммы на голодающих Рославльского уезда.

— Царь сказал своему другу Петру Волконскому, а от него просочилось и к нам: «Это все действует тайное общество. Ты, брат, не знаешь, как они сильны. Они кого хочешь могут уничтожить». Поистине его б устами мед пить!

Все трое рассмеялись.

— А для этого царского устрашения, знаете, кто всех больше поработал? — спросил Охотников и ответил сам: — Александр Сергеевич Пушкин, да, самый младший из нас и даже не член общества.

— Правильно, Костя, ему всего двадцать один год, но боже мой до чего великолепно сказал он в своих стихах «Деревня» о крепостном праве! Учиться надо нам у него, чтобы столь кратким словом, полным такой могучей силы, бичевать величайшее из зол:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

— Все тут сказано, все, — тихо, с глубоким восхищением подтвердил Василий Львович. — И в какой обстановке сказано! Среди каких отечественных событий!

Аракчеевские смирительные шпицрутены и коварное лицемерие русского царя, предающего на конгрессах те свободы, которые сам раньше провозглашал. Ведь Священный союз — не что иное, как новое утверждение архимонархического произвола!

Охотников вскочил вдруг с дивана, взмахнул рукой и, сверкая глазами, зардевшись густым румянцем, вдохновенно проговорил стихи, которые уже все знали наизусть:

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с вольностью святой
Законов мощных сочетанье.

— Еще Жано Пущин говорил мне, — вымолвил Давыдов после некоторого молчания, вызванного волнующими стихами, — Пушкин давно учуял, что друг его состоит членом тайного общества и все требовал, чтобы он ему открылся и позвал его туда же. И Николай Иванович Тургенев равно сказывал, как после прочтения в «Зеленой лампе» политической утопии Улыбышева «Сон» Пушкин приставал к нему с горячей просьбой раскрыть, кем внушены автору столь революционные идеи. Где сыскать источник политического его вдохновения? А давеча и Тургенев и милый Жано, который так особенно любит Пушкина, оба просили меня, чтобы мы здесь не вздумали принимать его в члены тайного общества. Пушкину и самому головы не сносить, и всех-то нас он подведет, не желая. Но, помимо этих соображений, мы прежде всего должны сберечь его чудесный гений, — отечески закончил Василий Львович, на что Охотников с чувством воскликнул:

— Тем более, что этот гений уже стал бесценным для дела свободы!

Решено было, что сейчас Василий Львович разыщет Орлова, введет его в дружеский заговор и поздней пригласит всех прочих мужчин пить ликеры и кофе к себе наверх.

Василий Львович ушел из кабинета, а Якушкин, оставшись наедине с Охотниковым, стал с интересом расспрашивать о прошумевшей своим вольномыслием деятельности Орлова в Киеве.

— Надо тебе сказать прежде всего: Орлов убежден, что, как он говорит, надвигается «всеобщее крушение», и мы должны торопиться подготовить хотя бы молодежь к принятию нового строя, если самим нам не дожить до зари новых дней, — воспроизвел почти дословно Охотников речь восхищавшего его Орлова. И, начав о нем говорить, он уже не мог остановиться: — Я счастлив, что он, наконец, получил дивизию, тут будет где ему развернуться. Правда, и на скромном месте в Киеве он умудрился вести умнейшую проповедь вольнодумства.

— Ты, конечно, подразумеваешь школы взаимного обучения? — сказал с интересом слушавший Якушкин. — Как же, нам известно, что, приняв на руки всего сорок юнцов, Орлов к нынешнему году умножил их до тысячи восьмисот. И удостоился похвалы даже в «Инвалиде», столь суконным языком выраженной, что я невольно запомнил ее наизусть, — улыбнулся он и процитировал официозную похвалу школе Орлова: «Видеть оную и не восхищаться ею были бы две совершенно несовместимые идеи».

Охотников рассмеялся:

— По глупости не разобрали, что и хвалят! Нож острый обскурантам, пороховой склад эти орловские школы! Со всех концов шлют ему сейчас молодежь, которая, окончив обучение, возвращается обратно и, в свою очередь, учреждает у себя такие же рассадники протестующего духа. На горе правительству все эти очаги просвещения зажигаются от единого костра нашего вольномыслия.

— А речь Орлова в Библейском киевском обществе? Знаешь, Костя, ведь она разошлась во множестве списков по всей стране. И всюду, где мыслят, именуют Орлова «светилом в среде молодежи».

— И по заслугам именуют! — горячо подтвердил Охотников. — Он большой человек, зрелого ума и до глубины предан благу отечества. Вспомни только, Иван Дмитриевич, конец его речи про тех, кто толпятся у трона и неправдами правят страной: «Они присвоили себе все дары небесные и земные, все превосходства, а народу — одни труды и терпение. Из этого ложного и пагубного убеждения родились все тиранические системы правления». Каково? То-то князь Вяземский при всей своей

прохладности пришел в восторг от Орлова и кричит по всей Москве: «Ну, оратор! Пустили козла в огород...»

— Накричит он ему беду, — озабоченно сказал Якушкин. — Боюсь, плохую услугу окажет Орлову растущая его популярность. Разве царь простит, что такой былой его любимец чихнул на его милости! И сейчас он просто боится Орлова, ведь едва выпросили ему Киселев и Витгенштейн эту Шестнадцатую дивизию в Кишиневе.

— И тут загнали подальше от центра, к далекой окраине, — заметил Охотников. — Впрочем, он и здесь такого им натворит...

— Спасибо, Костя, что ты мне помогаешь уговорить Орлова приехать к нам на январский съезд, — пожал крепко Якушкин горячую руку Охотникова. — Большое нам приобретение этот человек.

На лестнице послышался шум шагов, приятный звон шпор, гул голосов.

Василий Львович привел наверх своих гостей. Указывая генералу Раевскому и Пушкину на смежные кресла, улыбаясь сказал:

— Самому старшему гостю и самому младшему не угодно ль рядком?

— В таком разе хотите ко мне в сынки? — усмехнулся генерал. — Только с правом отцовской лозы, — лукаво добавил он.

— Из ваших-то рук? А пожалуй что и хочу, — ответил весело Пушкин, — если б не было поздновато...

Когда все гости расселись, казачки разнесли зажженные трубки, расставили на столах многообразные бутылки и рюмки всех размеров и исчезли, как им было положено.

Василий Львович поднялся и сановито, как бы ощущая на плечах былые полковничьи эполеты, обратился к присутствующим:

— Господа, события текущего года так необычайны, что нам хотелось бы обсудить их здесь вместе. Несомненно, что важнейшее из происшедшего в столице, в любимейшем полку государя, известная «семеновская история» повлечет за собой и важные следствия, тем более, что о «семеновской истории» император узнал на конгрессе, к несчастью, не от русского курьера, а из враждебных уст Меттерниха. По возвращении царя домой следует

ждать крутой перемены политики в духе реакции, под указкой австрийского премьера.

— Но почему же царь узнал о семеновцах от Меттерниха? — перебил Пушкин, который насторожился с начала речи Василия Львовича. Он даже не притрагивался к бутылкам, слушал, словно боялся проронить слово.

Ему ответил с легкой насмешкой Александр Раевский:

— Потому от Меттерниха, что твой друг, филозо́ф Петр Чаадаев, будучи послан Васильчиковым с роковым донесением, отправился в богатейшей, но не ходкой коляске, и столь роскошно отдыхал в пути за чисткой ногтей, кофеем и бритьем собственной личности, что к сроку опоздал. Хитрый Меттерних тут перед Европой и выслужился на пущий гнев царя. Полагать надо, на спинах семеновских солдат вымещена будет сия просрочка господина Чаадаева.

Пушкин вспыхнул:

— Кто бы царю ни доложил, солдатские спины все равно в ответе.

Генерал Николай Николаевич поспешил разрядить настроение:

— Да вы тут никак революцию затеваете? Пожалуй, мне здесь быть не к лицу.

— От революции далеки, — отозвался Якушкин, — еще на самой первой ступеньке ее обсуждения, и политическая мудрость вашего превосходительства наилучшая нам союзница. Полагаю, именно она способна увести нас от заговора и от всякого «Зандова» кинжала.

— Коли я порука, что до кинжалов дело не дойдет, пожалуй соглашусь даже быть у вас председателем, — улыбнулся генерал.

— Разрешите, батюшка, вручить вам на этот случай и соответствующий сему званию атрибут, — Александр Раевский подал отцу старинный серебряный колокольчик, стоявший на полке.

— А я без шуток прошу слова, — возбужденно сказал Охотников и вышел на середину комнаты, подальше от сидящих за столом, словно ему нужно было место для разбега или прыжка.

— Прежде чем начнем подводить итоги текущего года, как мы тут собрались сделать, я хочу вызвать в памяти собрания обстоятельство, которое ни одному

русскому не след забывать: Польша, как известно, получила конституцию. А что получила Россия в награду за героизм двенадцатого года? За неслыханные жертвы? За доблесть всего русского народа? От своего царя Россия получила одно — военные поселения...

Охотников выговорил это одним махом, боясь, чтобы его не прервали. Однако, отдышавшись, продолжал спокойнее, с большой сдержанной болью:

— Царь освободил крестьян прибалтийских губерний, он же сказал лифляндскому дворянству весьма ответственные слова: «Только на началах свободы может быть основано благополучие народов». И в подтверждение своих слов изволил дать крестьянам волю без клочка земли... Я полагаю, борьбу за свободу настоящую пора нам взять в руки, — с горячностью заключил Охотников.

Александр Раевский с коварным любопытством посмотрел на своего отца. Генерал понял его взгляд, позвонил в колокольчик, чтобы унять поднявшийся одобрительный гул голосов, и с вельможной любезностью произнес:

— Поскольку мне предложено быть председателем, я из уст молодых, которые бойчее нас, старых, разбираются в подробностях грянувших одна за другой революций от Испании до Неаполя, хотел бы услышать об оных самые последние подробности. Что же касается дорогой нашей родины — дела нам слишком известные...

— От первого подводного рифа батюшка отвел свой корабль, — шепнул Александр Раевский соседу.

— Однако события в Греции весьма нас касаются, — сказал Якушкин.

— Вот бы вы, Иван Дмитриевич, и сообщили про Грецию, — предложил громко Александр Николаевич.

— Про Грецию! — крикнули с дивана, где Василий Львович говорил что-то успокоительное Охотникову, порывавшемуся опять взять слово.

— Про Грецию, да всю правду! — крикнул Пушкин.

— Правду я скажу, — не спеша вымолвил Якушкин. — Как всем известно, царь с пятнадцатого года проявляет такой интерес к Греции, что все державы были весьма этим делом взволнованы. Фанариотские князья осыпаны милостями, старый Ипсиланти бежал в Россию...

— Здесь он и умер, — не утерпел генерал, — а сыновья его Александр и Дмитрий ныне — царские адъютанты.

Любимый министр граф Каподистрия — тоже грек. Однако извините меня, продолжайте. Что далее?

— А далее, — сказал Якушкин неумолимым тоном, словно читал приговор, — далее царь разрешает некоему греку, основателю этерии, живущему у нас в Одессе, распоряжаться подручными в Греции. От сулиотов принимает прошения, где они именуют его — отец родной, а он их милостиво одобряет. Спрашивается, — Якушкин обвел собрание большими серыми глазами, — имеют основание греческие вожди верить, что в случае восстания русский царь, их родной отец, поможет им? Однако известно, что с Аахенского конгресса, подпав под влияние Меттерниха...

— Что сваливать на советчиков! — воскликнул Охотников. — Просто наш царь, наконец, вполне раскрылся и, предавшись собственным вкусам, обнаружил свою природу, полную коварства.

— Он перестал подстрекать греков к освобождению, а кокетливо предлагает им ныне одно: потерпите! — докончил Александр Раевский.

Генерал сердито глянул на сына, сразу раздражаясь обычной для того повадкой подливать масло в огонь.

— Ораторов не прерывать! Излагайте, Якушкин.

— Жестокое последствие неблагородной игры с греками особенно ярко выступило в эти последние дни, когда этеристы предложили военное командование Александру Ипсиланти. Уверенный в помощи русских, он заметался из Киева в Одессу в ожидании крупной «отцовской» поддержки, а время идет... Если бы не ложные царские обещания, ему бы надо было двинуться в Пелопоннес, там присоединились бы к нему племена...

— И присоединятся! Да и у нас за дело освобождения греков немало добровольцев! — крикнул Пушкин.

Генерал позвонил в колокольчик и миролюбиво сказал:

— Ближайшее будущее само рассудит нас с греками. Кто нам доложит дела Испании?

— Не дела — чудеса творятся в Испании, — начал своим плавным, спокойным голосом Орлов, а Пушкин, припоминая его арзамасскую кличку, прошептал тихо:

— Потек наш Рейн...

— Еще недавно только горсточка образованных людей мечтала вернуть Испании ее конституцию двенадцатого

года, но народ, темный и забитый иезуитами, без оговорок принял возвращение Фердинанда, и он въехал полновластным королем в Мадрид, объявив кортесы недействительными...

Охотников вырвался из-под опеки Василия Львовича и выкрикнул:

— И в Испании образовалось правительство умалишенных! Поверенный в делах короля — жулик, бывший уличный рассыльный Антонио Угортэ. Второй — пьяница водовоз, а третий член достойной камарильи — русский посол, зловреднейший Татищев. Как следствие недовольства народа — военный заговор. Обратите внимание, господа, это везде так...

Генерал, встав, зазвонил в колокольчик, заглушая дальнейшие слова Охотникова. Но все улавливали их смысл и аплодировали.

Николай Николаевич положил на полку колокольчик и с шутливым трагизмом сказал:

— Умываю руки! Передаю бразды власти и дальнейшие слова молодому генералу, — указал он на Орлова.

Орлов, не вторя нарочито шуточному тону, взятому старым Раевским, продолжал со спокойной серьезностью:

— К верно изображенной Охотниковым картине черной реакции с торжеством инквизиции, шайкой негодяев вокруг короля, мне остается рассказать немного, но, как я уже сказал, истинно чудесного, происшедшего в этой стране. Первого января текущего года молодой офицер Рафаэль де Риэго и с ним полковник Квирога, опираясь на свою небольшую военную партию, провозгласили конституцию. В прекрасный день весеннего равноденствия Фердинанд Седьмой присягнул ей на верность. Каждый испанец последовал примеру короля, больше того — священники с кафедры восхваляли испанскую конституцию. Будьте уверены, перед угрозой штыков они поспешили найти божественные доводы и в пользу новой власти, проклинаемой еще вчера.

Александр Раевский не преминул желчно возразить:

— Ты запамятовал сказать, Михаил Федорович, что идиллия в среде бунтовщиков, то бишь революционеров, была кратковременна: между вождями тут же пошли споры и несогласия. Вечная история награбленных и неподеленных костей!

— Однако не договариваешь до конца и ты, Александр Николаевич, — не изменяя своей выдержке, продолжал Орлов. — Если министры и сместили дон Риэго, то в его защиту поднялся некто бо́льший министров — поднялся сам народ. Риэго встречают на улицах с восторгом. В честь его поется революционный гимн «Трагала». В Мадриде, наконец, народ ворвался во дворец и принудил Фердинанда дать новую клятву верности...

Пушкин стремительно подошел к Орлову и, не скрывая волнения, сказал:

— Прежде народы восставали один против другого, теперь короли воюют с народом. Не трудно расчесть, чья сторона возьмет верх! То-то русский царь именно сейчас, на конгрессе в Троппау, предложил державам принять немедленные меры против всех случившихся революций.

Василий Львович, видимо желая сгладить слова Пушкина, поспешил объявить:

— У меня есть свежие документы из Петербурга о «семеновской истории», не угодно ли выслушать?

Он вынул из бумажника тонко сложенный листок:

— Это знаменательные выписки из послания генерал-адъютанта Бенкендорфа к Петру Волконскому, они дадут вам ясное представление об умонастроении нашей гвардии... Вот для начала — о преображенцах: «Ежели бы им действительно пришлось драться с товарищами, они отказались бы».

— Пассивное начало революции налицо, — живо отозвался Пушкин. — За нами действие.

— Не прерывай, милый друг, — остановил Василий Львович, — выводы сделаем потом. Сейчас послушаем подлинный голос народа и суждение его военачальников. «Не нужно себя обманывать, — пишет Васильчиков, — войска исполняют свои обязанности, но не было у них негодования, заставляющего их идти драться с товарищами. Петербургские военные и гражданские власти этого очень боялись, если бы кто-либо из офицеров стал во время происшествия во главе солдат и предложил взяться за оружие, — все бы пошло к черту!»

— Ну что ж, значит и надо браться за оружие, коль сам командующий войсками советует, — улыбнулся Александр Раевский. — Однако инте-рес-ней-ший документ, — процедил он.

Давыдов продолжал читать:

— «...кроме того, очевидцы видели, слышали и записали для потомков следующее: «лейб-гренадеры, державшие караул в крепости, куда вели семеновцев, не стесняясь кричали: сегодня очередь Шварца, а назавтра — Стюрлера!» Московцы, встречая семеновцев на пути в крепость, целовали их и говорили вслух: если царь по приезде не простит вас, вся гвардия встанет и будет с вами. Генерал Бистром уговаривал Павловский полк, когда государь будет спрашивать о Шварце, сказать, что он был командир добрый. Ответили кратко и выразительно: сего показать не можем, Шварц был всем известный тиран. А преображенцы... — голос Василия Львовича зазвучал торжественно, с нескрываемым удовлетворением: — Преображенцы — первый полк, по которому равняется армия, в точности записано, — вот что говорят: «Нас сейчас караулят казаки, а то начальству неведомо, что колеблются полки: Павловский, Гренадерский, Лейб-егерский, да и кирасиры не отступят». Последнее, что мне известно по этим документам, — закончил Василий Львович, — это распоряжение царя Васильчикову приоткрыть имена «солдат-болтунов». И как путь для этого приоткрытия — любопытный царский совет: «узнавать через девок и гостеприимных женщин».

— «Гостеприимные женщины»? Сколь жеманно это определение гулящих особ прекрасного пола! Впрочем, дамскому угоднику, каков наш царь, так и полагается, — усмехнулся Александр Раевский.

— А что полагается нам? — сверкнул глазами Пушкин.

— Основать тайное общество против правительства, которое само себя, как видно, признает бессильным, — тонко маскируя нарочитость своего вызова, сказал Александр Раевский. — Все, о чем здесь сейчас говорилось, ведет к этому, требует этого!

— Ну что ж, такое общество уже есть, — сказал торжественно Якушкин и, встав со своего места, подошел к Александру Раевскому: — Если подобное тайное общество, повторяю я, уже есть, — вы подадите нам свою руку?

Лицо Якушкина заострилось в чертах, отчего он стал как насторожившаяся птица.

Александр Раевский с чуть смеящейся улыбкой на извилистых губах, поблескивая стеклами очков, протяжно вымолвил:

— По-да-ю...

Генерал, упорно не желая принимать какие бы то ни было речи всерьез, подошел к старшему сыну и, улыбаясь, сказал:

— От председательства я отказался, теперь что ж? Из-за твоих шуток, Александр, мне только б ноги отсюда убрать?

Николай Николаевич остановился и с беспокойством поглядел на Пушкина.

Пушкин был вне себя. Сжигаемый внутренним пламенем, он заметно побледнел. Невольно подняв руку, он, казалось, сейчас произнесет некую клятву. И вдруг вздрогнул, сжался весь, как под ударом, и тихо опустился на ближний стул...

Хохотал громко Якушкин, ему вторили Охотников и Василий Львович, проснулся и громко вздохнул Александр Львович — «рогоносец величавый», после сытного обеда задремавший в вольтеровских креслах.

Якушкин перестал смеяться и твердо сказал:

— Господа, никакого тайного общества в России нет и по разумному рассуждению и впредь быть не может. Надлежит нам раньше избавиться от нашей непроходимой лености, от разнобоя в мнениях, от незрелости политической. Пример солдатского единодушия толкнул меня на эту шутку, которую разыграть до конца помешала ваша лукавая мистификация, — слегка поклонился он Александру Раевскому.

— Так все это была только шутка! — воскликнул Пушкин. В его глазах стояли слезы, волнение его было глубоко. Минута, которую он только что пережил, оказалась одной из тех знаменательных минут, которыми человек отмечает важнейшие этапы своей жизни.

С горечью Пушкин добавил:

— Я никогда не был так несчастлив, как сейчас. Я уже видел жизнь мою облагороженной и высокую цель перед собой. И все это была только поистине злая шутка!

— Как он сейчас прекрасен, — прошептал Охотникову Якушкин, глядя на вдохновенное лицо поэта. Подойдя

близко к Пушкину, он чуть склонился перед ним и с большим чувством и уважением вымолвил:

— Есть тайное общество или нет — не ваша это печаль. Свое великое дело вы делаете! Ничья речь о вольности не может звучать глубже, сильнее того, что о ней уже сказано вашим стихом. Вся Россия наизусть знает ваши стихи и чтет их, как заповедь.

Глава пятая

В квартире Пестеля, благодаря заботе преданного ему денщика Савченко, поражала глаз особая чистота и аккуратность. Был виден вкус в выборе и расстановке мебели красного дерева, гравюр в темных рамах, цветов, превосходного фортепиано, по-восточному расшитых, но не пестрых занавесей на дверях и на окнах. Дамы к Пестелю не ходили; единственным отдыхом в его жизни, заполненной службой и делами тайного общества, была музыка. Он любил в иной сумеречный час импровизировать. Пестель был хороший музыкант, но считал это качество исключительной принадлежностью своей интимной жизни, так что из товарищей мало кто и знал об его музыкальном таланте. Исключение сделал он для Василия Петровича Ивашева, ротмистра Кавалергардского полка, сейчас адъютанта Витгенштейна, — почему Ивашев и проживал в Тульчине.

Он получил хорошее образование, отлично рисовал, много читал, в совершенстве зная иностранные языки, и обучался музыке у знаменитого Фильда, считавшего его одним из лучших своих учеников. Все это в соединении с мягким характером объясняло ту привязанность, которая возникла у сурового Пестеля к молодому Ивашеву, предпочитавшему жизнь в искусстве пирушкам.

По вечерам они играли в четыре руки, и за чаем Василий Петрович охотно заводил рассказы про любимое Ундорово — имение матери в Симбирской губернии, где он сам еще так недавно жил в своей крепкой, необычайно дружной семье.

Но Пестель про свою семью говорить не любил. Он знал о всеобщем предубеждении к своему отцу, Ивану

Борисовичу, сибирскому генерал-губернатору. Хотя большая часть нареканий на Пестеля-отца была несправедлива и, например, взяточником он не был вовсе, сын его, Павел Иванович, от этих толков страдал немало.

И тем более приятен был ему этот легкий и музыкальный Ивашев, живший временно в его квартире. Он словно снимал тяжесть с его личной жизни, и с непривычной охотой Пестель посвящал Ивашева, тоже члена Союза благоденствия, в свои думы...

Вот и сейчас, держа в руках много нашумевшие, но доподлинно никому еще не известные прокламации, подброшенные во двор Преображенских казарм, Пестель сказал Ивашеву:

— Вот, Вася, прочти. Для меня переписали.

Ивашев прочел и как-то по-детски вскинул на Пестеля синие глаза:

— Ведь это уже после «семеновской истории»? Велико же среди солдат брожение умов! Однако рядом с очень умными мыслями передают и преглупейшие: солдаты уверены, будто старуха-императрица из сочувствия к семеновцам послала им в крепость четыре тысячи рублей. Пошлет, черта с два! А как прискорбно, что вся надежда их все-таки на династию. Приедет царь-батюшка — рассудит. Шпицрутенами разве...

Пестель ходил по комнате легкой и бесшумной походкой, неожиданной для его плотной фигуры. На ходу сказал Ивашеву:

— Да, Вася, стоит над этим задуматься, чтобы вырвать с корнем глупое убеждение, что царь — отец-защитник, а все бедствия только от исполнителей его власти.

— Истинны твои слова, Павел Иванович! — воскликнул Ивашев. — Ведь никто из солдат не верит, что ненавистные поселения измышлены Благословенным. Даже сам пес его, Аракчеев, был против, и только страх, что царь найдет для этого дела другого палача, который мимоходом и его закопает, убедил Аракчеева согласиться взять дело в свои железные когти!

— И эти когти впились в тело народное, столько из него выпустили крови, что сейчас Аракчеев и военные поселения стали однозначны.

Пестель подошел к окну, устремил острый взгляд черных сумрачных глаз куда-то вдаль, но едва ли затем, чтобы там что-либо рассмотреть. Его крепко сжатые, толстоватые, но совсем не выражавшие добродушия, губы, его сдвинутые брови обличали состояние человека, глубоко ушедшего в собственные мысли.

Ивашев взял с фортепиано ноты, но, не ставя их на пюпитр, глядел на Пестеля, думая о том, что это значительное лицо делают похожим на маску слишком яркие цвета: черные до-синя волосы, густые, поперек расчесанные бачки. Лицо не смуглое, как хотелось бы ему, живописцу, а слишком белой девичьей кожи.

— О чем твои скорбные думы, Павел Иванович? — спросил Ивашев.

Пестель снова заходил по комнате:

— О том мои скорбные думы, Вася, что не обойтись нам без так называемой «cohorte perdue» — «дружины обреченных», иначе говоря — людей, которые пойдут добровольно на цареубийство, чем тут же себя самих и обрекут на гибель... Впрочем, — прибавил Пестель задумчиво, — все мы равно обречены, только, быть может, на более длительную — на ледяную сибирскую гибель. Конечно, в случае провала. Но ведь может случиться и успех, не так ли, Вася?

Молодое лицо Ивашева чуть дрогнуло: он знал о себе, что не способен войти в состав «дружины обреченных», и, желая скрыть невольный ужас перед словами Пестеля, поспешил вернуть разговор к прокламации:

— Павел Иванович, а что если восстание пойдет от самих войск? Ведь здесь не только определенный призыв, но даже программа военного переворота, — указал он на листок. — Здесь даже предлагается командный состав сделать выборным из рядовых!

— Вот это вздор, — тихо и гневно сказал Пестель, — вздор. Войска своей одной силой могут сделать только бессмысленный бунт, а не революцию. Как массы удержат захваченную власть? Ими должна управлять единая, организованная воля.

Пестель подошел к фортепиано, где Ивашев так и застыл с нотами в руках, сел на высокий круглый табурет и заговорил снова:

— Допустим на минуту, что преображенцы подымут всю гвардию. Что же дальше? Где их планы, руководство, идеи и цели, если это те же самые люди, которые, мечтая о выборном начале, свято веруют в царское покровительство и любовь? Нет, Вася, тут надо по меньшей мере лет десять железной диктатуры для них, ради них, а выборное начало уже потом.

Пестель встал и с горечью заключил:

— Одни самолюбивые сосунки, одни неумные завистники могут подозревать, что я жажду власти лично для себя, когда настаиваю на необходимости диктатуры.

Ивашев взял Пестеля за руку и сказал с пленительной искренностью:

— Павел Иванович, верю в твое бескорыстие. Знаю его.

— Спасибо, Вася. — Пестель на миг задержал руку Ивашева, но тут же, не любящий излияния чувств, подтолкнул шутливо Ивашева к дверям и сказал обычным, свойственным ему тоном приказа: — А сейчас поди-ка разузнай, когда назначат приехавшие члены собрание, чтобы дать нам отчет об их московской поездке. Ведь Комаров с Бурцевым уже сутки как вернулись. Да приведи всех наших с собой.

Ивашев ушел. Стало смеркаться. Павел Иванович принялся зажигать свечи, не дожидаясь денщика. Он любил, чтобы комната была ярко освещена. На письменном столе возвышались два тяжелых подсвечника петровского времени. Основанием была им широкая усеченная пирамида. Из середины ее подымался медный, витой, вроде масонской колонны Соломонова храма, стержень. На раздвоении этого стержня попарно загорались свечи. Над письменным столом красиво ветвились бронзовые бра, их Пестель также зажег и принялся еще раз, с глубоким вниманием, перечитывать обе прокламации.

Вторая несколько позднее первой найдена была тоже у преображенцев. Оба листка так полны были чисто солдатских вожделений относительно реформы в командном составе, что Пестель решил: автор обязательно из солдатской среды. Ведь немало есть в войсках хорошо грамотных дворовых людей. Кто закажет своенравному барину обучить крепостного наукам, а под сердитую руку — забрить ему лоб? Такие солдаты особенно чувствительны

к палкам и прочим обидам, они будут первой опорой, когда наступит нужный час... А может быть, автор этих первых листовок, весьма тревожных равно для властей, как и для тайных обществ, — из семинаристов? Этакая особая враждебность к дворянству в каждой строке! Во всяком случае листки писались без участия знакомых Пестелю, для такого текста слишком пассивных, членов тайного общества.

Пестель зажег свечи у фортепиано, взял ноты, оставленные Ивашевым, — ноктюрн его учителя Фильда, и сел разбирать свою партию.

Пестелю было двадцать семь лет. Он родился в июне 1793 года. До двенадцати лет учился дома под исключительным влиянием матери, замечательной своими талантами женщины, которая его, старшего сына, любила особенно. Дальнейшее обучение получил он в Дрездене, вместе с братом Владимиром.

В Дрездене Пестель основательно прошел курс средней школы, поражая учителей своей одаренностью. Пажеский корпус он закончил тоже с первым отличием, с записью золотыми буквами на мраморной доске.

Началась блестящая военная карьера: под Бородином, после тяжелого ранения в ногу, Пестель получил золотое оружие за храбрость. Сделавшись адъютантом графа Витгенштейна, сопровождал его в Митаву. Граф с особым удовольствием, словно сам являлся источником лестных качеств своего подчиненного, говорил: «Пестель на все годится: дай ему командовать армией или сделай министром — везде он будет на своем месте».

В 1818 году Пестель отдан был в распоряжение начальника штаба второй армии Киселева. И, наконец, сейчас он — вот-вот командир полка.

В ожидании известий о результатах московского съезда Союза благоденствия Пестель слегка волновался: он был членом этого общества, равно как одним из основателей его, когда Союз еще носил другое имя — Союза спасения. Больше того, это он, Пестель, никто иной, написал устав Союза. Устав революционный, который по настоянию ряда членов тайного общества, воспользовавшись невозможностью Пестеля приехать из Митавы, подменили уставом недейственным, но весьма благонамеренным.

«Любопытно, что же смастерили на сей раз эти московские политики, не допустившие моего приезда?» — иронически думал Пестель, кладя руки на клавиши.

Свободные, полные глубокого покоя аккорды постепенно внесли равновесие в его душу, и он стал фантазировать сам. Даже отсутствие Ивашева радовало, потому что музыкальная импровизация была уже только его личной, совсем тайной жизнью.

Лицо Пестеля побледнело. Широколобая большая голова слегка откинулась назад. Черные волосы, обычно всегда прямые и твердые, какие бывают на больших картонных куклах, легли мягкой волной. Неукротимая собранность воли, превышающая волю рядового человека, словно отпустила его. Он был сейчас просто молодой подполковник, отдыхавший всем существом в музыке, которую любил страстно.

В дверь постучали условным стуком. Пестель тотчас встал и крикнул:

— Войди!

Появился денщик Савченко, приземистый, с хитрым лицом, чем-то, видимо, озабоченный.

— Что случилось, Савченко?

— Прощенья прошу, Павел Иванович, срочное донесение, — сказал Савченко, — а то разве я вас не пожалел бы за фортепьянами?

Савченко был из тех людей, одаренных особенным тактом и чуткостью, которые и при большой приязни, оказанной им начальником, не впадают в фамильярность, и Пестель наедине с ним не боялся допустить совершенную с собой близость.

— Капитан Бурцев и подполковник Комаров у себя на квартире всю ихнюю компанию собрали, Павел Иванович, с утра толкуют да угощаются. Кухарка бурцевская второй раз в лавку за великатесами бегала...

— Если у тебя, Савченко, пристрастие к иностранным словам, говори их по крайней мере правильно, — усмехнулся Пестель, — не великатес, это — от французского слова «delicat», деликатес, понял?

— Мудрено ли понять, когда оно и вовсе как по-русскому, Павел Иванович, — сузил глаза Савченко: — «дели как тес», и все тут!

— Да не дури ты! — отмахнулся Пестель. — Из-за чего вломился-то, говори? Небось и нам надо в лавке чего ни на есть купить? Придет Бурцев этот...

— Ан нет, Павел Иванович, в том и дело, что вовсе он не придет. И не ждите, то-то я поспешил вам сказать. Денщик бурцевский только что передавал...

— А ты мне сплетен не разводи! — оборвал Пестель.

— Дело не в сплетнях, — не смутился Савченко, — а вот извольте-ка дослушать, Павел Иванович. Говорит капитан Бурцев подполковнику Комарову, а денщик, конечно, за дверью услышал. С Пестелем, это с вами, ваше высокоблагородие, нам и видеться не к чему, пока мы своих в одно не сколотим!.. Что же я за дурак буду, если вы в напрасном ожидании останетесь?

— Иди отворяй дверь, — сказал Пестель, глядя в окно, — к нам генерал Юшневский идет.

Савченко впустил Юшневского, помог раздеться и вытянулся, как самый образцовый солдат.

— Выдрессировал ты своего Савченку, — улыбнулся Юшневский, войдя в комнату. — Уверен, что он только сейчас невесть что тебе молол, а вот уже как святой, и не дышит.

— Не подведет меня Савченко, — сказал Пестель. — Но вообрази, он ко всем качествам обладает еще и репортерским талантом! Живая газета. Вот только что рассказывал новости, которые нам с тобой, Алексей Петрович, весьма полезно узнать. Представь себе: только что вернувшись из Москвы, Бурцев и Комаров уже затеяли против меня интригу. Да пройдем лучше в заседательскую, скоро и наши придут с Ивашевым.

Заседательская была большая комната с просторным диваном, на котором спал Ивашев, и овальным большим столом, над которым покачивалась только что зажженная Савченкой люстра. В этой комнате Пестель принимал по делам службы, здесь же происходили собрания членов тайного общества. На окна бесшумно опустились плотные синие занавески.

— Тебя, Павел Иванович, они интригой уже и на московский съезд не пустили, — сказал Юшневский, усаживаясь в одно из кресел, стоявших вокруг овального стола.

— Не огорчен, — усмехнулся Пестель, — все вышло к лучшему: никого там своим присутствием языка не

лишил, и все на полной свободе окончательно обнаружилось.

— Я тоже даром времени не терял, — сказал Юшневский, генерал-интендант второй армии, высокий, крепко сбитый человек, с умным лицом и глазами навыкате. — Комарова я вчера перехватил и весьма умеючи выспросил. Я, знаешь, умею этаким болтуном-дураком прикинуться...

— Слишком умеешь, — согласился Пестель. — Слышно, Якушкин с тобой ближе и знакомиться не захотел. Он офицерам публично аттестовал тебя пошляком, хотя Фонвизин рекомендовал тебя умником.

— Маска самая удобная в нашем провиантском деле, всякий жулик меня за своего сразу примет, ан я его тут как раз на булавочку и наколю, — засмеялся Юшневский. — Однако к делу: московский съезд собрался, чтобы Союз только реформировать, а вышло, что он полномочия свои превысил и его вовсе закрыл. Сразу всех растревожил этот монархический Федор Глинка: привез из Петербурга новые страхи перед полицейским надзором. Меттерних до смерти запугал угрозой революции нашего царя, а уж царь-батюшка — петербургскую власть... А тут, как нарочно, Орлов предлагает свои крутые меры. «Для успеха дела, — говорит он, — первая необходимость иметь средства. Я предлагаю — в лесных дебрях устроить печатный станок для листков-воззваний и фабрику фальшивых ассигнаций». И тут же Орлов собранию ультиматум: «Либо мне свободу действий, либо выхожу из Союза благоденствия!» Помянул, что ему есть на что опереться: «Моя 16-я дивизия вся со мной!» Комаров говорит — просто всех в ужас привел. И ведь действительно ушел. Такого крупного зверя они упустили, самого главного, на него там была вся ставка.

— Против меня его двинуть мечтали, — вымолвил Пестель.

— Судя по словам Комарова, — продолжал Юшневский, — коренные члены общества тянули с заседанием, чтобы выйти как-нибудь из тупика, ведь разрыв-то с Орловым произошел на самом первом заседании. Шутка ли сказать, потребовал согласия на немедленную попытку вооруженного восстания!

— И Орлов чудак, — сказал несколько насмешливо Пестель, — да разве в таких делах, если и впрямь их затеять, ультиматум уместен?

Юшневский задумался.

— Худо то, — сказал он, вздохнув, — что многие высказали подозрения насчет чрезмерных и резких требований Орлова. Говорили, что это была лишь военная хитрость с его стороны. Он только и ждал, чтобы на его ультиматум никто не согласился, и с громом ушел из Союза, оставив лишь воспоминание о своем революционном пыле. — Юшневский грустно усмехнулся. — И тем самым устранил на своем пути препятствие к женитьбе на Екатерине Раевской. Как известно, братец ее поставил такое условие...

Пестелю это резкое суждение об Орлове было неприятно, и он прекратил о нем разговор.

— А были еще какие-нибудь предложения? — спросил он.

— Фонвизин предложил свой план «разумной медлительности», который и оказался всем на руку. Орлов уехал. Стали удалять «ненадежных», которыми признаны были все твои последователи и совольники, Павел Иванович, и общество объявлено несуществующим.

— Все-таки забавно, что наша тульчинская отрасль представлена была Бурцевым и Комаровым, — начал Пестель.

— Врагами ее и трусами, — перехватил Юшневский. — Комаров сам признался поручику Таушеву, а тот уже мне, что он, стремясь Тургенева «наклонить» — так он смешно выразился — к закрытию Союза, умышленно говорил, что тульчинские члены — яростные якобинцы, что в будущем угроза от них немалая, а равно безначалие и гибель.

— Не спросив всех членов Союза благоденствия, они не имели и права его закрывать, — сказал недовольно Пестель. — И Орлова зря упустили...

— Какого же ты лично мнения об Орлове, Павел Иванович? — осторожно спросил Юшневский.

— Он государственный человек, — сказал серьезно Пестель. — Ведь его политическому такту обязаны мы превыгодной капитуляцией Парижа, за что он и стал любимцем государя. Но при дворе не удержался...

Пестель с минуту помолчал и добавил, выразительно подчеркивая слова:

— Боюсь, что, при всем блеске способностей и характера, Михаил Федорович Орлов пригоден только для просветителя, но отнюдь не революционера. Идет напролом, по собственному произволу, невзирая на пользу общую.

В дверь постучал Савченко своим условным деликатным манером.

— Войди, Савченко, — крикнул Пестель, — докладывай!

Савченко вошел, стал во фронт и выговорил одним духом:

— Штаб-ротмистр князь Барятинский, полковник Абрамов, поручик квартирмейстерской части Крюков второй, поручик Басаргин и нашего дома собственный ротмистр Василий Петрович Ивашев! Прикажете допустить, ваше высокоблагородие?..

— Проси скорей. Да чаю нам с ромом!

— И трубки с наилучшим табаком не забудь! — крикнул Юшневский. — У твоего Савченки, Павел Иванович, запасен добрый турецкий табак, я уж знаю, он его только тебе одному дает, а нам норовит похуже.

Офицеры вошли, смеясь по поводу задержки и церемонии, устроенной денщиком, однако одобряли его и всячески расхваливали.

— Пусть все денщики привыкают не сразу впускать, — сказал Юшневский, — такое делается время, мало ль кого нанести может!..

Все расселись за овальным столом, задымили.

— Бурцев предложил мне передать всем, что он устал и нездоров с дороги, а завтра просит собраться у него выслушать решение московского съезда, — сказал Ивашев.

— Решения эти уже нам известны, — отозвался сухо Пестель. — Впрочем, кому угодно, пусть идет выслушивать их завтра из уст самого Бурцева. А сейчас приступим к заседанию собственного нашего тульчинского ядра.

Пестель среди этих друзей, которые, чувствовал он, не только ему подчинялись, но, уважая, крепко любили, был совсем иной, чем обычно. Не слышалось в его речи ни надменного превосходства, ни раздражающей

самолюбие повелительности — качеств, на которые жаловались мало знавшие его люди.

— Итак, господа, мы сейчас остались совсем одинокими представителями зародившегося в России тайного общества, решившего все свои силы отдать на преобразование нашего отечества из государства бесправного в государство, которое всем своим гражданам даст права равные...

Пестель начал несколько торжественно, но при всем его видимом спокойствии ясно было, что он волновался.

— Еще раз пересмотрим те задачи, к осуществлению которых мы должны в первую очередь стремиться.

Павел Иванович помолчал минуту и взглядом обвел собравшихся. Остановился на некрасивом лице близкого друга Барятинского, философа и поэта, посвятившего ему одно из стихотворений своей книжки «Тульчинские досуги», глянул на сидевшего рядом взволнованного Ивашёва и сказал, обращаясь как бы к ним обоим, самым богатым землями и людьми:

— Но прежде всего, со всей строгой честностью, какой требует наша великая борьба, надлежит пересмотреть, действительно ли мы в состоянии отказаться от наших преимуществ? Ведь в самую первую очередь уничтожить придется сословия, отобрать у помещиков-дворян и крепостных и землю, потому что, — продолжал Пестель, откинув голову, — из рабства крестьян и больших преимуществ аристократии произошли все бедствия нашей жизни. От этих причин возник упадок промышленности, упадок благосостояния общего. Отсюда же несправедливость и подкупность судов и чиновников, невыносимая тягость военной службы. У каждого столетия своя общественная задача, современники обязаны ее выполнить, если не хотят прожить впустую. Задача нашего века, — голос Пестеля зазвучал громче, настойчивее, — борьба с аристократиями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных построенными.

Слова эти были просты, мысли Пестеля до прозрачности ясны. В его речи не было ни украшений красноречия, ни взрывов внезапного чувства, ни даже лишней паузы, чтобы подчеркнуть иное слово. С непреложной убедительностью развертывалась его речь и ширилась. Своей могучей логикой Пестель, как скульптор, водящий

резцом по мягкой глине, давал форму и точность еще неясным устремлениям своих слушателей. Он создавал новое, высокое, подымающее их рассеянные чувства.

И вот после неоспоримых доказательств, приведенных Пестелем для единственного неизбежного вывода, — все единогласно согласились на республику, как новую форму правления, которая одна устранит все неустройства и бедствия отечества.

Глава шестая

Греческое восстание на Балканах разрасталось. Взволнованы были и греки, населявшие Россию. От генерала Киселева пришло к Пестелю распоряжение немедленно ехать в Бессарабию, чтобы исследовать вопрос на месте и сделать царю соответствующее донесение. Очень скоро после отъезда Пестеля в только что основанном Южном обществе несколько человек изменили тем революционным выводам, к которым все пришли на последнем собрании в квартире Пестеля.

Первым сильно затосковал Василий Петрович Ивашев. Его миролюбивой природе, характеру, изнеженному ласками дружной семьи, оказалось не под силу обречь себя на выполнение суровой программы, предложенной Пестелем. Он с испуганным видом говорил то Барятинскому, то Юшневскому, что новое общество просто гибельно и чем скорее его покинуть, тем лучше. Однако и на этот последний поступок у него мужества не хватало, и, махнув рукой на свои душевные противоречия, Ивашев взял отпуск и уехал за границу. Мог ли он предположить, что всего через несколько лет за это его единственное присутствие на совещании Южного общества он, по приговору Верховного уголовного суда, все равно как и товарищи, оставшиеся верными делу «ввёдения республиканского правления», получит двадцать лет каторжных работ?

Было похоже, что действительно многих людей, неустойчивых и нерешительных, Пестель подавляет своей железной волей. Спохватившись и струсив, такие люди поспешно отрекались от решений, добровольно принятых

ими. Больше того, они обвиняли Пестеля в насилии или в лучшем случае, как спокойный Басаргин, недоумевали, говоря: «Удивляюсь, как мог я склониться на такие выводы!»

До конца неколебимы остались самостоятельно примыкавшие к убеждениям Пестеля и ему глубоко преданные — Алексей Петрович Юшневский и князь Барятинский.

Впрочем, сейчас ко всем насущным интересам членов тайного общества прибавились мысли и волнения о судьбе греческого восстания. Да и все русские люди напряженно ждали: когда же Россия начнет защиту греков и войну с Турцией? Войска русские уже были стянуты к границе, и Ермолов вызван к царю на Лайбахский конгресс. Носились слухи, что четыре корпуса предназначены для освобождения греков.

И прежде всего в это верили сами греки. Глава восстания — Александр Ипсиланти переправился с двумястами всадников через Прут. В Яссах он выпустил воззвание — призывы к борьбе с игом Турции. В тексте воззвания были недвусмысленные слова: «великая держава одобряет сей подвиг». Кто еще мог при таких обстоятельствах сомневаться в почетной освободительной миссии Ермолова?

Пушкин восклицал в нетерпении:

Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?

А пламенный Рылеев умолял:

Ермолов, поспеши спасать сынов Эллады!

И так была неоспорима вера в Россию, которая поднимется на защиту маленького терзаемого турками народа, что к самому царю Александру обратил молодой, еще очень доверчивый Рылеев свой восторженный стих:

Спешит монарх на подвиг свой,
Как витязь правды и свободы...

Но Александр ни на какой подвиг не спешил. Меттерних хитро представил царю греческое восстание как попытку революционеров вызвать разрыв между Россией

и Австрией. Ни Австрия, ни Англия не хотели вмешательства России в греческие дела, и тотчас русским царем греки были признаны мятежниками.

Каподистрия — русский министр иностранных дел, по приказу Александра написал Ипсиланти: «Никакой помощи, ни прямой, ни косвенной, вы не получите от императора, ибо недостойно подкапывать основание турецкой империи постыдными и преступными действиями тайного общества. Ни вы, ни ваши братья не находитесь больше на русской службе, и вы никогда не получите позволения возвратиться в Россию».

Александру, смертельно напуганному «семеновской историей», уже казалось — революция вот-вот охватит Россию и весь мир. Революционные вспышки в Европе, одна за другой, шли непрерывно, начиная с семнадцатого года.

Испуг начался с Пруссии, казалось бы с пустяка: немецкие студенты праздновали в Вартбурге трехсотлетие сожжения Лютером папской буллы. Собрали на площади все ненавистные им символы реакции — смехотворную Фридрихову косичку, офицерский крест, капральскую палку — и все это сожгли во славу посрамления Лютером папского престола. Участниками Аахенского конгресса эта вольная шалость была воспринята как поступок революционный, тем более что вскоре, словно нарочно — в день смерти императора Павла, 11 марта, студент Занд убил немецкого писателя Коцебу — агента русской полиции. И год за годом, а то и по две в одном году, пошли революции.

В Кадиксе восстал со своим отрядом против короля Фердинанда офицер Рафаэль Риэго и произвел революцию в Испании, а летом за Испанией последовал Неаполь. Через месяц, число в число, восстала и Португалия.

Таково было волнение в Европе, когда открылся конгресс в Троппау и пришли первые вести о движении в Греции.

Граф Каподистрия измышлял все ухищрения, чтобы хоть косвенно помочь своим землякам, и Меттерних имел основание сказать про Александра не слишком уважительно:

«Он потерял всех своих союзников, на Каподистрию смотрит как на карбонария, не доверяет ни своей армии,

ни министрам, ни своему дворянству, ни своему народу. В таком положении никого за собой не ведут».

И Меттерних сам взял Александра на повод: конгресс из Троппау перенесен был в Лайбах, чтобы либо королю неаполитанскому облегчить приезд, либо самим союзным войскам двинуться ему на помощь.

Но когда Пестель приехал в Кишинев, тамошние греки еще полны были надеждой и верой в помощь русского царя. И хороший знакомый Пестеля — Александр Фомич Вельтман встретил его восклицанием:

— Все в Элладу!

Вельтман был молодой офицер Генерального штаба, приехавший в Кишинев для производства топографических съемок. Его скоро прозвали «наш кишиневский поэт» за обилие сочиненных им куплетов и припевов для молдаванских танцев. Появление Пушкина в Кишиневе несколько смутило Вельтмана, но тот его обласкал и, как это было свойственно великодушию Пушкина, признал одаренность Вельтмана.

Вельтман был человек оригинального склада. Ум талантливый и неугомонный толкал его на непрерывную деятельность и изобретательство: то он писал стихи, то неплохо лепил статуэтки, то придумывал какие-то светильники без фитилей. У него было открытое лицо с мохнатыми бровями, и что-то юношеское навсегда задержалось в мечтательных глазах и в уголках губ, затаивших улыбку. Он к людям был приветлив без разбора чинов, но Пестель внушал ему особое чувство, почти преклонение, и по-детски, как можно скорей, он спешил передать Пестелю все, что его самого так сейчас восхищало в Кишиневе. Это были — генерал Орлов и греки.

— Павел Иванович, вообразите, здесь восторг всеобщий! В лавках, трактирах, базарах — толпы греков продают за бесценок свое имущество, покупают взамен ружья, пистолеты, сабли. Из всех уст вылетают имена Фемистокла и Леонида...

— Помнится, на школьной скамье оба эти героя приводили и нас в восторг, — улыбнулся Пестель, — но они представлялись нам историей весьма отдаленной и, притом, всеми забытой. Но вот, оказывается, все это сейчас возродилось... А что Пушкин? Скажите, Александр Фомич, увижу я его сегодня за обедом у Орлова?

— Обязательно увидите. Мы все вас очень ждали и сговорились собраться, когда вы приедете. И, конечно, Владимир Федосеевич Раевский тоже приедет. Ведь он заменяет теперь Охотникова, который совсем в Москве разболелся. Ну и умница этот Раевский!— с восхищением добавил Вельтман, — он преотличный помощник другому умнице — нашему молодому генералу Орлову.

— Что же они тут вдвоем делают? Какую революцию развели? — спросил Пестель.

— Дело секретное, — понизил голос Вельтман, — но уж, конечно, не для вас, Павел Иванович. Опираясь на свою шестнадцатую дивизию, где его прозвали «отцом», Михаил Федорович, вернувшись из Москвы, с еще большим усердием принялся насаждать вольнолюбивые порядки. Он, верно, торопится закрепить это дело перед женитьбой, которая принудит его уехать месяца на два.

— Какие же особые порядки? — словно не зная, осведомился Пестель.

— А такие, что из забитых, отупевших от взысканий и палок солдат создаются совсем новые люди. С помощью таких людей все будет можно перевернуть и на справедливости укрепить лучшую жизнь, я уверен. А правая рука в деле — Владимир Федосеевич Раевский.

— Докладывайте поточней, в каком именно деле? — хитро улыбнулся Пестель.

— Прежде всего, едва приняв дивизию, Орлов потребовал от офицеров прекратить мордобой и тиранство. В противном случае приказы его грозили суровой расправой; да вот у меня эти приказы всегда с собой, я ими, знаете, просто очарован.

Вельтман вынул объемистый бумажник, полный не ассигнациями, а исписанными листками, скромно отложил пачечку собственных стихов в сторону, выбрал, что было надо, и прочел:

— «...буду почитать злодеем того офицера, который свою власть употребит на то, чтобы истязать солдат. Воля моя тверда. Ничто от сего предмета меня не отклонит. Терзать солдат я не намерен. Я предоставляю сию постыдную честь другим начальникам, кои думают о своих выгодах более, нежели о благоденствии защитников отечества». И дальше, дальше слушайте...

С сияющими глазами Вельтман прочел еще отрывок:

— «...господа офицеры могут быть уверены, что тот из них, кто обличится в жестокости, лишится навсегда своей команды. Я же сам почитаю честного солдата себе другом и братом»... Павел Иванович, кто же, кроме Орлова, во всеуслышание говорит такие слова о солдате?

— Хорошие слова, — сказал Пестель, и не понять было — иронизирует он или действительно одобряет Орлова. Но взволнованный Вельтман к интонации его и не прислушивался, так полон был он собственным увлечением.

— Ну, а Владимир Раевский? Его в чем занятия? — допрашивал Пестель.

— Опираясь на Орлова, широкую работу развернул майор Раевский в юнкерской и ланкастерских школах, где раньше был Охотников. Вообразите, до чего просто и остроумно придумал он насаждать просвещение: обучает ребят грамоте исключительно по собственным прописям, где у него такие слова — свобода, равенство, конституция, Квирога, Вашингтон...

— А на эти слова, разумеется, следует пространное устное разъяснение? — допытывался Пестель.

— В том-то вся сила! А юнкерам, соображающим побыстрее, даются подчас и целые фразы. Вот к примеру, — Вельтман не без таинственности произнес: — «Император медлит дать обещанную конституцию народу русскому, и миллионы скрывают свое отчаяние до первой искры». Тут уж, знаете, Павел Иванович, при разъяснении можно дать всю как есть подоплеку нынешнего царствования! Да после таких уроков люди готовы в огонь и в воду за Орловым и Раевским. О подробностях их общей работы сами их расспросите, Павел Иванович, и верно вам такое станет известно, чего и я не знаю. Только уж, пожалуйста, не опаздывайте к сбору, ждать будем...

Вельтман так же внезапно исчез, как явился, у него всегда была куча поручений и дел, а Пестель пешком пошел к Орлову длинным окольным путем, чтобы самому проверить состояние города, для него совсем неожиданное. Население здесь выросло во много раз благодаря выходцам из Молдавии и Валахии. Многие приезжие отличались особо пышными одеждами, великолепными

холеными бородами, своеобразными экипажами, запряженными цугом во много лошадей; они высокомерно опережали местные плетеные тележки. В кофейнях — любимом месте пребывания кишиневцев — сейчас было пусто. Всех тянуло в толпу, в движение, под весеннее синее небо. Здесь, на просторной площади, разволнованным грекам казалось, что они ближе к родному небу своей Эллады. Сербы, румыны, албанцы тоже были вовлечены в освободительное движение. Великое сочувствие русских то и дело проявлялось в крепких рукопожатиях, расспросах, восторгах, которыми люди встречали прославленных борцов за свободу Греции. В честь их тут же на улице подымали откуда-то взявшиеся бокалы и восторженно кричали:

— За первый доблестный шаг!

Пестель шел и думал, что хоть Орлов и вышел из Союза благоденствия, своей деятельности он еще не прекратил.

Орлов вызывал в Пестеле чувство уважения, но вся просветительная работа в ланкастерских школах, сколь ни была она серьезна по намерениям, казалась ему чем-то вроде мальчишества. Пока у тайного общества нет ни силы, ни власти, чтобы отстаивать офицеров и солдат, которые поднялись над общим низким уровнем. Пример расправы с семеновцами не за горами.

И еще Пестель с невольной досадой думал, идя к Орлову: «Сколь ни благородны его намерения, а вот для настоящего, для о б щ е г о дела от них пользы немного! Такие одиночные усилия даже условий военной службы не могут изменить в корне, только правительство насторожат. Нет, не туда направлены его силы. Не туда...»

И яснее, чем когда-либо, на примере этого человека Пестель до предельности ярко увидел, что не ошибался, когда говорил: взорвать надо все! Все до основания, и только на новом, чистом месте создавать такие условия жизни, где человек человеку никогда не сможет быть тираном, независимо от каких бы то ни было качеств личности. И у Пестеля еще глубже укрепилось намерение скорее выработать те новые положения, которыми должно будет руководствоваться Временное правление, едва возьмет власть в свои руки. Закончить свой заветный

труд — вот сейчас первое серьезнейшее дело, необходимое для всех.

Наконец мысли Пестеля перешли на Владимира Федосеевича Раевского, который сейчас при Орлове заменяет больного Охотникова. Этот замечательный человек с отличным боевым прошлым был очень одаренный поэт, героически преданный делу республиканской свободы. Но, человек пламенной энергии, он был и человеком неотложного действия и все свои огромные силы направил на поднятие умственного уровня солдат, на борьбу за изменение бесчеловечного быта. В тайное общество Владимир Раевский принят был еще в восемнадцатом году. Пестель вспомнил некрасивое, но выразительное лицо Владимира Федосеевича Раевского и сочувственно ему улыбнулся.

Лицо это было обычно слегка выдвинуто вперед, как у охотника, когда он присматривается, куда упала добыча. Нос с большими ноздрями, мягкий добрый рот и такое упорство в зорких глазах, что Пестелю отрадно было подумать: такого жизнь, пожалуй, не сломит.

У Орлова оказался лучший в Кишиневе дом, который он для приема своей будущей жены только что прекрасно отделал... Узнав по докладу вестового, что пришел полковник Пестель, Вельтман выбежал на лестницу. Вслед за ним в дверях появился осанистый Орлов. Он тоже очень рад был Пестелю и крепко его обнял.

— Пройдем ко мне, — сказал Орлов, — сейчас придут Пушкин с Раевским, тогда и за стол.

В кабинете Орлова на диванах и столах грудой лежали гравюры и картины. Среди них белели мраморные копии с Венеры, Гермеса и других классических статуй.

— Я вижу, строгость вашего делового кабинета нарушена, — улыбнулся Пестель.

— Все это я накупил по вкусу Екатерины Николаевны, — сказал застенчиво Орлов, — пусть сама здесь распределит как ей вздумается.

Он покраснел, не в силах скрыть своего счастья: из Киева в скором времени он вернется уже не один, а со своей обожаемой женой — Екатериной Раевской.

Пестель взглянул на Орлова и с мимолетной досадой подумал, что вот для себя, должно быть, никогда такого

личного счастья в жизни не получит. Он поспешно спросил:

— Ну, как после Москвы?..

Орлов понимающе и лукаво улыбнулся:

— А так, что некоторые параграфы Зеленой книги — этого нового устава новорожденного Союза благоденствия, трактующие об отвлеченных добродетелях милосердия, в моих руках стали служить целям определенным и главное близким, — подчеркнул он. — Мы с Раевским все повернули в дивизии по-своему. Воля моя тверда, и ничто от предмета сего меня не отклонит.

— Поистине, Михаил Федорович, тебя ничто отклонить не в силах, кроме разве самодержавной власти. Зато царю закон не писан: отберет у тебя дивизию, которую дал тебе с такой неохотой и уж, конечно, не для того, чтобы ты в войсках революцию разводил! — сказал Пестель, внимательно глядя в красивые глаза Орлова. — Отберет, да еще и тебя запрячет куда вздумает. Кабы от меня одного зависело предотвратить такое...

Лицо Пестеля стало холодно и замкнуто. Орлов, бегло взглянув на него, понял, что о самом главном он сейчас не скажет ничего, и, как бы оправдываясь в произволе своей деятельности, вымолвил:

— Но истязания солдат я ведь все-таки пресек...

— Только в одной своей дивизии, — досказал Пестель. — И опять-таки самодержавию весьма легко восстановить все, что ты пресек. Разве забыл ты — сам царь обещал уложить трупами дорогу до Чудова, если продолжится ослушание в военных поселениях? Не по вкусу ему твое милосердие к солдатам. Сообрази следствия...

Но Орлов соображать не хотел. Он полон был своей пламенной энергией, своим восхищением от успехов ее применения. Он взял Пестеля под руку и горячо сказал:

— Только подумай, Павел Иванович, какая у нас победа, ведь еще недавно солдаты сотнями убегали за Днестр, за границу, куда глаза глядят. И мудрено ли не убежать от каторжной жизни? Ведь всякий мерзавец имеет власть искалечить солдата! Но вот, едва я стал отдавать жестоких офицеров под суд, невзирая на чин, солдатские побеги прекратились.

— Сегодня одного мерзавца предашь суду, завтра на его место встанет другой, — сказал Пестель. — Это не решение общей задачи.

— Ты мне рук не связывай, — вспыхнул Орлов. — Ждать твоей общей задачи, не двигая пальцем, и протухнуть недолго! Вода живет — пока в движении, в стоячем пруду она загнивает. Если хочешь знать, я не только свою, я и соседнюю семнадцатую, зверского генерала Желтухина дивизию взорву, — такие мины у меня подведены!..

— Я полагаю — большому кораблю большое и плавание, — прервал его Пестель. — Но коли ты свой путь уже выбрал — в час добрый, взрывай, — улыбнулся он с неожиданной лаской.

— Вот это дело, — сжал его руку Орлов. — А сейчас пойдем, Павел Иванович, обедать, там уж, верно, ждут нас голодные.

С Раевским Пестель тоже обнялся, — давно его не видел, рад был встретиться, а с Пушкиным познакомился впервые. Оба насторожились и глазами как бы вобрали друг друга в себя. Поклонились молча и церемонно.

Пушкин, с улыбкой указывая на Раевского, сказал Пестелю:

— Вот какая мне удача, не переводятся для меня Раевские. И вот от этого, кишиневского, отнюдь не родни, а лишь однофамильца моих старых друзей, чему только я не поучаюсь! Послушайте, какую мысль он отчеканил, пока мы шли сюда и по обычаю спорили, — все повторяю, слова его не хочу позабыть: «не только сам человек созревает для свободы, но свобода делает его человеком и развивает его способности». Каково? Ведь это целая философская школа в нескольких словах.

Пушкин видимо гордился своим новым кишиневским другом и дорожил им.

Владимир Федосеевич своей очень естественной манерой держать себя словно говорил: «ну вот каков я есть человек!..» Какой-то вызов был только в его прическе: волосы лежали плоско, без полагавшихся хотя бы небольших зачесов, просто, на боковой ряд и, должно быть, раздражали глаз начальства, выделяя всю его фигуру будто бы не военную, хотя военным он был и даже получил за Бородино золотое оружие.

Пестель невозмутимо и как-то озабоченно молчал и сразу Пушкину не понравился. Показалось высокомерным его отношение к присутствующим. Отметив две-три краткие и суховатые реплики Пестеля в ответ на горячую речь Орлова, Пушкин окончательно решил, что надменный гость презирает присутствующих, и, как нередко с ним случалось, вдруг вспыхнул и не без дерзости, вызывающе спросил Пестеля:

— А что, жестокий сибирский проконсул не родня вам?

Орлов погрозил Пушкину пальцем, а Пестель не ответил ни слова. Он только глянул в глаза Пушкину с таким острым и печальным удивлением, про которое словами можно было бы сказать так: зачем такое, недостойное вас?.. Однако тут же Пестель скинул со счета, зачеркнул, как случайную оговорку, неприятный ему вопрос Пушкина и начал спокойно говорить с Орловым о кишиневских его делах.

Пушкин сконфузился.

Орлов рассказывал о генерале Сабанееве, командире корпуса, куда входила его дивизия. Это был неглупый человек, но жестокий, убежденный враг всех либеральных начинаний в армии.

— Любопытно, Павел Иванович, — обратился Орлов к Пестелю, — что запоет этот Сабанеев, когда я представлю ему документальные сведения о великих злоупотреблениях его офицеров. Вот Владимир Федосеевич им ведет летопись.

— И преподробнейшую, — отозвался Раевский.

— Да, Михаил Федорович, — сказал Пестель, — далеко позади то наивное времечко, когда ты думал одними нравоучительными записками наставлять самодержавную власть! А между прочим об отмене крепостного права сейчас никто уж и не заикается...

— Ну, я бы сумел заикнуться! — вспыхнул Раевский и, как бы бодаясь, выставил далеко вперед свою выразительную голову. — Дали бы мне с царем очную ставку, я бы нашел слова! Кто дал власть человеку называть другого «мой» и «собственный»? По какому праву тело, имущество и даже душа одного могут принадлежать другому? Пусть ответит, откуда взят закон — торговать, менять, проигрывать, дарить, тиранить подобного себе.

Один ответ — источник неистового невежества, самое скотское побуждение. «А если так, сказал бы я царю: вольная всем, всем, и с землей! Да заодно и тебе, царь, вольная, нечего тебе больше в России делать!»

Раевский с шумом отодвинул стул.

— Садись обратно, Владимир Федосеевич, — засмеялся Орлов, — никто тебе этой очной ставки с царем не даст.

— Сами возьмем, — вскрикнул Раевский, — нужен только срок!

Наутро Пушкин, по приглашению Пестеля, посетил его в гостинице. По началу он чувствовал себя несколько неловко, но Пестель, угадывая первое произведенное им неприятное впечатление и желая его изгладить, проявил к Пушкину столько бережного внимания, что тот скоро стал говорить горячо и свободно о многих, его волновавших, вопросах. Вернувшись к себе домой, он записал: «Утро провел с Пестелем: умный человек во всем смысле этого слова. Мы с ним имели разговор метафизический, политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которые я знаю».

Однажды вечером, между своими поездками по Бессарабии, Пестель опять побывал у Орлова. Кроме Пушкина, в кабинете были все те же — Раевский и Вельтман. Скоро заговорили без стеснения, разнося в пух и прах злую аракчеевщину. Но когда дошли до взаимоотношений богатых и бедноты, Пестель взял слово один и говорил так четко и вразумительно, что никому и возражать не хотелось. По-новому, логически обоснованно излагал мысли, составлявшие глубочайшее существо его жизни. Ведь он неотступно, неустанно обдумывал самые точные выражения статей наказа, который должен был, по его мнению, предварять всякое начало решительного и вооруженного действия. Этот наказ предназначался для руководства республиканской власти Временного правления, а пока — только для членов нового тайного общества.

Оригинальным и свежим по мысли было для всех утверждение Пестеля о дальнейшем развитии русской культуры. Он смело выдвигал преимущество фабрики перед земледелием, которое до сих пор почиталось единственным исконным делом отечества. Пестель говорил:

— Фабрики откроют новый источник богатства. Земледелие, напротив того, тянет назад. Оно утверждает права собственности, а следовательно — неравенство.

Он приводил из истории народов убедительные и красноречивые примеры, которые наглядно доказывали, что эпоха процветания фабрик была также временем процветания наук и искусства.

Речь Пестеля, сила его убежденности вызывали необыкновенную бодрость, рождали веру в самые смелые надежды.

— Аристократия, — закончил Пестель, — вот стена между властью и народом, ведь ради собственных выгод они скрывают и всегда будут скрывать истинное положение в стране.

На любви к народу, на ненависти к деспотизму объединились все присутствующие в кабинете Орлова. Разными путями пошло их служение своей родине, но каждый за свой путь отвечал своей судьбой, свободой. Цель же у всех была одна — благо народа. Источник чувств был тоже один — высокая любовь к родине.

И за поздним веселым ужином все охотно и радостно присоединились к тосту Пушкина, когда он поднял бокал за Пестеля:

...Снесем иль нет главу свою,
Из полновесного стакана
Твое здоровье, Пестель, пью,
И рвусь и злюсь я на тирана...

Глава седьмая

Когда Пестель вернулся из Бессарабии в Тульчин, надвинулись такие большие заботы, что даже не было времени ощутить вновь наступившее из-за отъезда Ивашева одиночество холостой квартиры.

Из западных губерний гвардия вернулась в Петербург, а с ней вместе — все видные члены распавшегося Союза благоденствия. Дошли слухи, что сплотились такие люди, как Трубецкой, Никита Муравьев, Оболенский и по примеру Юга замыслили создать и свое Северное общество.

Пестель решил, что для успешности общего дела необходимо возможно скорее с ними объединиться, чтобы

идти к общей цели и началу действий не поодиночке, а вместе.

Но раньше, чем ехать в Петербург, Пестелю надо было упрочить свое служебное положение и, наконец, добиться получения полка. Павел Дмитриевич Киселев, его начальник (несмотря на то, что дежурный генерал Главного штаба Закревский предупредил его держать с Пестелем ухо востро) просил лично, чтобы в Вятский полк назначен был Пестель. Царь это обещал, но так велико было его нерасположение к Пестелю, что при подписании указа артикул, касающийся его продвижения по службе, Александр распорядился вычеркнуть.

Закревский не преминул известить Киселева: «Все твои записки утверждены, а Пестеля приказал вымарать и повременить».

Киселев переслал это письмо Пестелю с собственным добавлением, где просил не огорчаться, что «несчастная ваша звезда вас преследует», и обещал хлопотать еще настойчивее о его назначении. Пестель ответил, как было свойственно его твердому характеру:

«...Письмо Закревского не причинило мне ни малейшей неприятности. Я совершенно равнодушен ко всему неприятному, что может со мной случиться, но взамен этого я бесконечно чувствителен к малейшему знаку внимания и дружбы; вот почему письмо, которое вы мне изволили написать из Кишинева, доставило мне в тысячу раз больше удовольствия, чем сколько неприятностей причинила приложенная к нему бумага Закревского».

Наконец Пестель все-таки получил Вятский полк — один из самых распущенных и плохих, и ближайшей задачей явилась необходимость поднять его до самых лучших.

Поневоле Пестель пригвожден был на время к Тульчину, где стоял его полк. Долго сдерживаемая энергия нашла себе некоторый выход в кипучей деятельности, тем больше, что в этом он полагал пользу и для предполагаемого восстания. Образцовый полк ускорит и получение дивизии.

Пестель не жалел собственных денег для улучшения солдатского котла, не щадил и служебной карьеры офицеров, если они вели себя недостойно. Резкие меры строгости, чтобы подтянуть солдат, и беспощадные розги

дезертирам стали обычным явлением. Все было пущено в ход, чтобы блеснуть Вятским полком на ближайшем высочайшем смотру. По этой причине Пестель подбирал себе новый состав офицеров отличной фрунтовой выправки и с навыками строжайшей дисциплины по отношению к солдатам. Особым качеством его большого ума была некоторая абстрактная математичность, приводившая порой к забвению живой ткани жизни, к предпочтению отдельных признаков целому. Это качество стало источником крупной ошибки, которая в дальнейшем оказалась роковой для дела тайного общества.

В списке офицеров, которых Пестель полагал полезными для улучшения выправки полка, почему и просил Киселева непременно перевести их к нему в Тульчин из других полков, стояли и такие слова:

«...Из 34-го егерского прошу вас перевести ко мне штабс-капитана Майбороду».

Просил он этого штабс-капитана — огромного роста и прескверной репутации — единственно за его рвение к фрунтовой службе.

Майбороду очень скоро Киселев перевел в Тульчин, о чем написал Пестелю, не без лукавства закончив свое письмо многозначительной фразой:

«До свидания, Макиавелли!»

Называя Павла Ивановича именем хитрейшего из итальянских политиков, либеральный генерал намекал, что он отлично понимает, какие тайные и заветные мысли Пестель прикрывает созданием образцового полка. А может быть, и не одни только мысли...

Наконец, когда сам император инспектировал войска, полком Пестеля он остался настолько доволен, что, победив свою неприязнь, принужден был сказать:

— Это превосходно. Это совсем как гвардия!

К особой строгости в полку побуждали Пестеля и события, которые развернулись зимой в Кишиневе. Ему надлежало потушить у властей всякие подозрения в революционных замыслах Южного общества. А события в Кишиневе были следующие: едва генерал Орлов уехал в отпуск, как командир корпуса Сабанеев начал против него давно задуманный поход, в надежде изловить генерала и всех его пособников, то есть всю «кишиневскую заразу».

Смелые и решительные реформы, которые вносил в свою дивизию Орлов, поддерживаемый своими офицерами и обожаемый солдатами, давно возмущали приверженцев жестокой дисциплины и кнута. Во главе их был генерал Сабанеев — начальник корпуса, куда входила орловская дивизия. Маленький, сухонький, злой, он не выносил Орлова и ждал только случая, чтобы его погубить.

«Система управления Орлова своей дивизией, — не раз доносил Сабанеев по начальству, — породила в солдатах буйство и неповиновение властям. Возмутительные и противуправительственные идеи единомышленник и подручник Орлова майор Раевский с великой дерзостью насаждает во всех, ему вверенных, школах».

И царь был не на шутку испуган поведением Орлова.

Сразу после московского съезда Союза благоденствия царь получил донесение от своего агента Грибовского, втершегося в доверие членов общества, об Орлове, что он «ручался за свою дивизию, требовал полномочия действовать» и о «предложении устроить типографию невидимых братьев, которые есть центр, а прочие будут им подчинены беспрекословно».

Относительно «кишиневской заразы» у Сабанеева был верный нюх. В Кишиневе образовалась крепкая и дружная ячейка: Михаил Орлов, полковник Непенин, командир 32-го егерского полка, майор этого же полка Раевский, Владимир Охотников... Все они были включены начальством в одну рубрику — «орловское дело».

Придиркой, чтобы поднять это дело, послужила история в Камчатском полку. Капитан Брюхатов, командир первой мушкетерской роты, стал незаконно наказывать палками, что Орловым было строго запрещено, каптенармуса этой роты. Несколько солдат кинулись спасать товарища от экзекуции. Заявили также Орлову, что, вопреки его приказу, Брюхатов потребовал снова, чтобы отдавали ему ассигновку на провиант.

Орлов признал правильными претензии нижних чинов, а Брюхатова отдал под суд.

Сабанеев начал свое преследование Орлова с пересмотра этого происшествия в Камчатском полку. «Почему Орлов взял на себя право прощать преступных солдат, почему о деле не донес мне?» И Сабанеев до того круто принялся за расследование, что через краткий

срок военный суд постановил основательно наказать взбунтовавшихся нижних чинов — перед всей ротой, кнутом. Через два дня несколько человек от этого кнута умерли. Все приказы Орлова, запрещающие побои, Сабанеев приказал сжечь и восстановить в дивизии прежнюю жестокость. Наконец он арестовал ближайшего сподвижника Орлова — Владимира Федосеевича Раевского.

Сабанеев совсем было решил, что в его руках теперь верная нить к обнаружению всего тайного кишиневского общества, но благодаря изумительному мужеству Раевского и великой любви к обоим своим начальникам всех солдат — он ничего не добился. Солдаты выдержали жестокие допросы, не дав показаний, желаемых Сабанеевым, против Орлова и Раевского.

К довершению неудач Сабанеева, по счастливому случаю, Пушкин, который пребывал в своем кишиневском изгнании и занимал комнату у Инзова, услыхал однажды разговор между Инзовым и Сабанеевым о предполагавшемся аресте Раевского и тотчас предупредил своего друга об угрожавшей ему беде. Раевский, конечно, сжег все бумаги, обличающие его принадлежность к тайному обществу. А позднее, когда по следствию затребовали «преступные» прописи майора Раевского, «коими он вызывал брожение умов в военных школах», то их не оказалось вовсе. Подпоручик Таушев, член Южного общества, которому поручено было изыскать все обличающие Орлова и Раевского улики, нашел возможность их уничтожить. Таким образом, расчеты Сабанеева угодить царю и, выбив из Раевского признание, «утушить орловщину, раскрыв ее до ногтей», чем он уже похвалялся, — ни с какой стороны не оправдались.

Раевский знал, что в Тульчине крепнет Южное общество, но совершенно отрицал существование в России каких бы то ни было тайных организаций.

Из крепости Тирасполя, куда его заключили, Раевский умудрился в скором времени прислать стихотворное послание «К друзьям в Кишинев», где были и такие, всех взволновавшие, строки:

Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу свою surову
С терпеньем мраморным сносил.

Кишиневская история, или, как ее окрестил Сабанеев, — «орловское дело», пробудив во многих членах Южного общества высокую революционную горячность, сделала их осторожнее. Они решили собираться только в местах, где невозможно было оказаться полицейскому дозору: в давыдовской Каменке на Екатеринин день и на киевских ежегодных контрактах — ярмарке, происходившей зимой. Здесь скоро к Южному обществу примкнули три видных человека — Сергей Григорьевич Волконский, стоявший со своей бригадой в Умани, Василий Львович Давыдов и бывший семеновский офицер, а сейчас подполковник Черниговского пехотного полка, человек необыкновенный по своему революционному горению и богатым внутренним качествам — Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Вскоре были привлечены и три командира полков: Саратовского — Повало-Швейковский, Ахтырского — Артамон Захарович Муравьев, Полтавского — Тизенгаузен.

Матвей Иванович Муравьев-Апостол, отставной подполковник, родной брат Сергея, как человек незанятой по службе, взял на себя должность посредника между Южным обществом и Северным.

В течение двадцать третьего года Южное общество окончательно образовалось и естественно разделилось на три Управы — по местожительству своих главных членов. Пестель и Юшневский возглавляли Тульчинскую управу, Давыдов — Каменскую и Муравьев-Апостол — Васильковскую. К нему через год после образования Южного общества присоединился Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, бывший семеновский офицер, сейчас подпоручик Полтавского полка.

По первому взгляду этот высокий горбоносый юноша производил почти легкомысленное впечатление своей неугомонной живостью. Однако скоро он обнаружился таким прирожденным и талантливым организатором, что сделался в Южном тайном обществе значительной силой.

Кроме основных членов Южного общества, раньше бывших в распущенном Москвою Союзе благоденствия, в Тульчине появилась и целая группа совсем молодых единомышленников. В начале двадцатых годов в Тульчине возник кружок, члены которого с дерзостью отрицания религиозного соединяли ненависть к порядку

деспотическому и под сильным влиянием Пестеля признавали необходимость вооруженного восстания.

В центре стоял младший из братьев Крюковых — Николай. Он оказался одним из самых твердых и убежденных членов Южного общества. Еще в ранней юности он избрал себе целью познание человека и того, что для его счастья потребно. Идейное и политическое развитие Крюкова крепло от общения с Пестелем и Юшневским. Он часто наезжал в Тульчин из местечка Немиров, куда на несколько лет был послан на съемку.

На товарищей Крюков имел большое влияние. Уединенное место, где они жили, еще теснее сдружило кружок. По началу Крюков жаловался, что товарищи над ним потешаются, прозвав «тульчинским политиком», но когда они ознакомились с мыслями и планом Пестеля — сами прониклись великим почитанием.

Барятинский также имел для кружка большое значение. Стихи его, написанные по-французски, то и дело декламировались, переведенные прозой на язык русский. В кружке мысли Барятинского считали бесспорным отрицанием бытия божия. Особенно интересным почиталось место:

«Когда темная ночь разверзает свою обширную завесу, читаю я твое величие на челе звезд.

Но крик птицы, умерщвленной острым когтем, внезапно отталкивает от тебя мое упавшее сердце.

Вопреки всему твоему величию, жестокость инстинкта кошки, отрицая благость твою, отрицает твое существование.

Разобьем же алтарь, которого он не заслужил. Он благ, но не всемогущ, или всемогущ, но не благ».

Сам Пестель далеко стоял от кружка молодых, он был слишком занят, и для дела тайного общества сейчас ему важнее были полковые и ротные командиры, которые в случае начала действий могли бы поднять за собой своих солдат.

Ближайшую связь с молодыми немировцами держали адъютант по квартирмейстерской части Филиппович, сам Юшневский и главным образом князь Барятинский. Тульчинская управа очень оживилась, когда впоследствии в нее влились эти молодые из Немирова. Они под руководством Барятинского образовали живую связь

между Линцами, где должен был пребывать Пестель, и другими Управами.

Отношения Южного общества с Северным начинаются с двадцать второго года, когда Пестель, который сам не мог двинуться из Тульчина, послал в Петербург Волконского разузнать подробно о работах и планах северян. А Никита Муравьев отправил с Волконским же из Петербурга в Тульчин для прочтения Пестелю свою неоконченную «Конституцию».

Пестель, изучив посланные ему листы труда Никиты Муравьева, отправил свои возражения автору с Василием Давыдовым.

Многие пункты «Конституции» оспаривает Пестель. Взамен он предлагает рассмотреть приложенные к посланию основные положения своей «Русской правды» и заодно шлет Северному обществу обидные упреки в бездеятельности, ставя в пример боевую решительность и организованность южан:

«...Полумеры ничего не сто́ят. А вам лучше совсем разойтись, нежели бездействовать и все-таки опасностям подвергаться!»

Никита Муравьев остался недоволен отповедью Пестеля и еще более положениями его «Русской правды». На этот раз Муравьев посылает свою дополненную «Конституцию» уже в другие руки — Сергею Ивановичу Муравьеву-Апостолу.

Словом, оба общества ищут связи друг с другом, но каждое из них желает не только оставаться при своих идеях, но и сделать свою программу общей и для северян и для южан. Весной двадцать третьего года Пестель посылает третьим послом Барятинского, которому поручает для взбодрения, по его мнению, слишком вялых к действию северян сказать им, что Юг готов на выступление и ждет ответа — присоединится ли Север? Никита Муравьев решительно ответил, что ни к каким действиям они не готовы и считают своевременным пока только распространение возможно шире своих вольных идей:

«Не то что действовать — и новых членов весьма затруднительно ныне набирать!»

Из северян, кроме Никиты Муравьева, особенно упорствовал Трубецкой, сколько ни убеждали его Матвей Муравьев и Повало-Швейковский, говоря: «Вы тут все

только умствуете, проводите время в разговорах и спорах; у нас же общество устроено вполне и много войска в руках. У вас ни порядка, ни войска. Присоединяйтесь! Приличней неустроенному примкнуть к приведенному в боевую готовность, нежели обратно».

«Представляйте доказательства», — потребовал Трубецкой.

На этом переговоры кончились. Убедительные доказательства о необходимости присоединения никто северянам сильнее Пестеля представить не мог, и он, наладив все полковые дела, взял двухмесячный отпуск и решил ехать.

Еще до своего отъезда Пестелю пришлось пережить большое горе в собственной семье: отца его, Ивана Борисовича, с позором лишили места генерал-губернатора Сибири.

Иван Борисович Пестель родился и жил в Москве. При Павле он неожиданно выдвинулся и был назначен президентом главного почтового правления. Граф Растопчин, не желая с кем-либо делить доверие императора, придумал злую каверзу, чтобы свалить начавшего идти в гору Пестеля: он написал письмо от имени неизвестного к своему другу, где сообщал о заговоре против Павла. Письмо было отправлено по почте с расчетом, чтобы оно непременно попало в руки самого начальника почты. В конце — коварная приписка: «Не удивляйтесь, что посылаю просто по почте, наш почтдиректор Пестель с нами заодно».

Пока Пестель раздумывал, как ему поступить с этим письмом, Растопчин опередил его, рассказав Павлу о своей проказе. Признался, что измыслил эту шалость единственно из желания испытать степень верности и бдительности Пестеля. Павел вспылил и, не разбирая дела, снял Пестеля с должности.

Однако при Александре Ивану Борисовичу опять удалось взобраться высоко. Как человеку проверенной честности, Александр поручил ему всю Сибирь, которая стонала от самого злодейского лихоимства. Пестель, сделавшись генерал-губернатором необъятного края, попал в труднейшие условия. По началу он очень рьяно вступил в борьбу с чудовищным взяточничеством и казнокрадством, нажил себе кучу врагов и, придя в ужас от бес-

силия что-либо сделать при условиях, в которые был поставлен правительством, уехал из Сибири в Петербург и продолжал править краем много лет из собственной квартиры на Фонтанке. Это обстоятельство вызвало новую остроту Растопчина: «Кто самый зоркий на свете? — Старый Пестель: он из Петербурга видит, что делается в Сибири!»

Но дело показало, что Иван Борисович за шесть тысяч верст видел плохо: если не он сам, то все ставленники его оказались лихоимцами, превышали свою власть, и когда Сперанскому поручена была срочная ревизия Сибири, Пестелю дана была унизительная отставка, даже без упоминания о его сорокалетней службе, безукоризненной в смысле честности, что было в те годы великой редкостью.

Павел Иванович вспомнил, как одна приезжавшая из Тобольска знакомая рассказывала про отца вещи, свидетельствовавшие о его бескорыстии: откупщик Перевощиков, у которого в Сенате было очень громкое дело, подослал важную даму поднести старому Пестелю пятьсот тысяч за хлопоты в его пользу. Пестель в ярости приказал эту даму, вместе с ее взяткой, выбросить вон.

Перед Павлом Ивановичем лежало письмо отца, полное горечи и своеобразного стариковского красноречия, которым он уведомлял сына о своем бедствии и полном разорении:

«...А ныне мы перебираемся в именьице твоей матери в Смоленскую губернию, — кончал Иван Борисович свое письмо, — а в кармане я имею всего 75 рублей. И на всю жизнь удручающих долгов — двести тысяч».

«Вот оно, решение моей личной судьбы, — думал Пестель, в волнении шагая по своему кабинету. — Не для меня мечты о личном счастье, о жене, о собственной семье...»

Перед ним мелькнуло красивое лицо генерала Орлова, гордое любовью дорогой ему женщины. Ну, что же, без личной жизни — больше свободы для борьбы. Для одного только дела общего...

Шагая взад и вперед по комнате, Пестель старался привести в порядок расстроенные чувства.

Он мужественно, не уклоняясь, смотрел в глаза своей невеселой судьбе, с присущей ему твердостью решая, что

отныне отец, мать, младшие брат и сестра должны стать его постоянной заботой.

Внезапно он сел за стол и без колебаний, не перемарывая, написал отцу:

«...Вам нужны деньги, и я сделаю все возможное, чтобы их послать вам скорей. Потом очень важная статья — это долг. Я еще в службе и человек одинокий: сделайте мне великую милость, дражайшие родители, перепишите ваши заемные письма на мое имя, тогда вас не будут более тревожить, а жалованье мое доставит хоть что-нибудь вашим заимодавцам. Я думаю, что они охотно на это согласятся, и тот день, когда я подпишу все ваши заемные письма, будет, без сомнения, прекраснейший день моей жизни, я буду знать, что вы освобождены от всякого беспокойства по этому предмету. Не откажите мне в этой милости. Ваш отказ огорчил бы меня больше, чем само известие о неожиданном результате дел сибирских. Мне еще нет 30 лет, я еще могу иметь успех, для вас же нужен покой после беспрестанных бурь, которые потрясают до сих пор вашу жизнь. Пусть все ваши долги без исключения будут переведены на меня, дорогой батюшка, и пусть как ваша особа, так и смоленское имение останутся совершенно свободны от этого бремени, — вот моя убедительная просьба, о которой не перестану молить...»

Пестель встал из-за стола, опять прошелся по комнате. На душе у него стало торжественно и тихо. Он словно писал предсмертное завещание, раздавал все свое имущество, оставался легким, не связанным с вещами. Не судьба ему продолжать род, иметь детей, внуков, стариться в покое и почтении.

И еще было ему так, словно перерезали канат, который привязывал его утлую ладью к какому-то вековечному устою, и он в этой ладье один, и вот уж уносит ее в бескрайное море.

Мысль остановилась на возлюбленной сестренке Софочке. Если бы он оказался женатым, какая бы жалкая участь ей предстояла в этом обществе, основанном на положении и деньгах?

И, поспешно подойдя к столу, приписал о сестре:

«...Что касается до вотчины в Смоленской губернии, то надо вам сделать немедленно духовное завещание

и укрепить владение этим имением безраздельно за одной Софочкой. Мы, мужчины, должны и можем без него обойтись, но это невозможно для бедняжки. Что станется с этой дорогой бедной девочкой?»

Еще походил по комнате, взвешивал — не забыл ли чего. Вспомнил, сел за стол и уже своим привычным тоном командира отчеканил:

«...Младшему брату Александру обязуюсь ежегодно давать 1500 рублей, — это будет довольно. Лошадей дает им казна. Братья Владимир и Борис устроятся сами».

Заканчивая письмо, приученный подчинять рассудку каждое свое чувство, приписал:

«...Я думаю более о том, что должно делать, нежели о том, что случилось, как ни горька мне, батюшка, ваша отставка. Ожидаю известий с нетерпением и тоской. Ваш сын Павел».

— Савченко! — позвал Пестель; порывшись в ящике бюро, он достал нужные ассигнации и приложил их к письму. Подавая денщику, сказал: — Прошу скорее отправить письмо и деньги батюшке.

— Так точно, ваше высокоблагородие! — сказал с почтительным сочувствием Савченко: он уже слышал от других денщиков о беде, постигшей отца Пестеля. Об его отставке и замещении Сперанским было напечатано в «Инвалиде», и везде между офицерами шли об этом злые и обидные толки.

— Савченко, — сказал несколько смущенно Пестель, — с нынешнего дня ты мои личные расходы непременно урежь, слышишь? Ну, там вино, сладости...

Денщик, не моргнув, тотчас ответил:

— Да у нас, Павел Иванович, вина и этих разных здешних дульчесов на полгода, почитай, хватит.Назапаслись!

Он пошел отправлять деньги в Смоленскую губернию, а на обратном пути зашел в лавку знакомого грека и накупил сладостей невесть сколько. Павел Иванович сладкое любил, а у денщика Савченко были свои сбережения.

Пестель еще задерживал отъезд. Он ждал со дня на день приезда из Кишинева подпоручика Таушева с вестями о Раевском. Подпоручик, наконец, приехал — очень молодой, светлый, с ясными, невинными глазами.

Благодаря этим невинным глазам генералу Сабанееву и невдомек было заподозрить, что делом рук подпоручика Таушева явилось исчезновение известных «возмутительных прописей» Раевского и прочих, изобличающих «кишиневскую заразу», документов. Таушев рассказал Пестелю: Иван Петрович Липранди вернулся из своей служебной поездки. Он, между прочим, заезжал в Тирасполь и умудрился на полчаса повидать Владимира Федосеевича Раевского, который просил передать предназначенные Пушкину свои стихи «Певец в темнице».

— Я был у Липранди, — сказал Таушев, — когда он передавал Пушкину эти стихи, а тот их при мне читал. Пушкин, видимо, взволновался; когда окончил читать, сел на диван рядом и сказал: «Как это хорошо, как сильно!» «Что же вам так особенно понравилось?» — спросил Липранди. Пушкин прочел несколько строк, которые я тут же запомнил, потому что и мне они очень пришлись по сердцу. Вот они:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе:
Над ним бичей кровавый род,
И мысль и взор — казнит на плахе.

Пушкин еще раз повторил последние строчки и прибавил: «Хорошо выражено про династию — «бичей кровавый род». Да, после таких стихов не скоро уже увидим мы нашего спартанца!»

— Первейшей нашей заботой, — сказал торжественно Пестель, — будет освобождение Владимира Федосеевича Раевского, этого прекрасного человека, поэта и революционера. Как только возьмем власть, мы откроем крепостные ворота его Тираспольской тюрьмы!

Еще рассказал Таушев, что, когда производилось над Раевским следствие, к нему приехал начальник штаба Второй армии, генерал Киселев. Он объявил, что государь приказал возвратить Раевскому шпагу, если он откроет, какое тайное общество существует в России под названием Союза благоденствия. Раевский отвечал: «Я ничего не знаю. Но если бы я и знал, то самое предложение вашего превосходительства настолько оскорбительно, что я не стал бы ничего открывать. Ведь вы мне предлагаете шпагу за предательство».

— Вот это человек! — с восхищением добавил Таушев.

— Да, Раевский в глубоком смысле слова человек,— сказал взволнованно Пестель, — и мне горестно, что так скоро сбылось мое предсказание Орлову о крушении их общей работы. Но вот от Киселева участия в подобной подлости я, признаться, не ожидал...

И Пестелю стоило больших усилий остаться внешне невозмутимым, когда вскоре перед отъездом в Петербург ему пришлось по делам увидеться с начальником штаба.

Киселев, глядя с тонкой усмешкой прямо в глаза Пестелю, внезапно сказал:

— Кончена блестящая карьера Орлова! Отстранен от командования Шестнадцатой дивизией. И вообразите, до чего вспылил: упрямится, требует над собой суда! А едва ли этот суд ему будет на пользу! Как это он, любопытствую, сможет оправдаться хотя бы в том, что заведовать учебной частью поставил, как нарочно, самого дерзкого вольнодумца, майора Раевского?

Пестель промолчал, и Киселев, пожелав ему доброго пути, прибавил свое неизменное: «Макиавелли!» таким тоном, что не понять было — восхищается он Пестелем, обвиняет или угрожает.

«Каждую минуту нас могут забрать, — подумал Пестель, — скорейшее действие необходимо. А для его успешности — соединение обоих обществ!»

С этой целью, овладевшей всеми его мыслями, Павел Иванович уехал в Петербург.

Глава восьмая

Приехав в Петербург, Пестель остановился в трактире Демута на Мойке. Так было привычно и свободней всего. Даже когда родители предоставляли в его распоряжение свою большую квартиру на Фонтанке, Павел Иванович предпочитал останавливаться здесь, у Полицейского моста, в обширном номере с окнами на реку.

Очень скоро приехал сюда Матвей Иванович Муравьев, знавший хорошо настроение и планы всех главных членов Северного общества.

Матвей Иванович принадлежал к обширной, богатой и одаренной талантами семье Муравьевых. Михаил Николаевич Муравьев, брат основателя Союза благоденствия, после московского съезда совершенно отдалился от всякого революционного движения и заслужил впоследствии у современников кличку «вешатель»: он с мрачным остроумием делил членов муравьевской семьи на тех, «которые вешают», и на менее удачливых — «которых вешают». Матвей Иванович не принадлежал ни к тем, ни к другим. Он по своим личным склонностям был просто самый мирный любитель природы и садоводства. В тайное общество он попал по великой дружбе с братом Сергеем Ивановичем — замечательным человеком и революционером. Они оба получили прекрасное образование в Париже, а в семье росли под влиянием своей матери, выдающейся женщины своего века. Она внушила сыновьям глубокое отвращение к отечественному рабству и деспотической власти.

Значительность душевного мира и особая обаятельная доброта перешли от матери к Сергею, младшему брату. Матвей Иванович походил на отца некоторой сухостью характера, а надменное выражение придавало его маленькой фигурке вид поднявшего клюв попугая. Пестеля он не любил, но ему подчинялся и в то же время очень был настороже, чтобы брата Сергея не вовлекли без его ведома в опасный круговорот.

Заложив руку за спину, сохраняя и в статском сюртуке военную выправку, Матвей Иванович, словно адъютант, докладывал Пестелю:

— Северное общество не на шутку всполошилось под настойчивым вашим напором, Павел Иванович. Ведь вы троекратно послов сюда засылали. А когда здесь узналось, что, наконец, едете сами, то намедни собрались на большое совещание и пришли к такому решению: необходимо иметь им не одного, а целых трех директоров.

— Кого ж выбрали? — спросил Пестель, с интересом слушая Матвея Ивановича.

— Да кого ж выбирать, кроме Никиты Муравьева да двух князей — Оболенского и Трубецкого? Сейчас у Никиты заболела жена, он от нее не отходит, а Трубецкой просил передать, что сегодня после обеда к вечеру зайдет к вам.

— Из самых последних новостей, слыхал я, — сказал Пестель, — принят в члены Рылеев?

— Как же, как же, — заторопился Матвей Иванович. — На том заседании, когда выбраны были три директора и нашего знаменитого поэта включили в Северное общество! И скажу вам — он один стоит их всех! Словно живой водой на мертвое брызнули, так все у них и закипело.

— А чем на собраниях занимаются?

— Да все сравнивают, все обсуждают противоречия между вашей «Правдой» и Никиты Муравьева «Конституцией». Но за вас, Павел Иванович, разве один Оболенский стоит, все же прочие ничего вашего не приемлют, потому что...

— А как же Рылеев? — нетерпеливо прервал Пестель.

— Рылеев говорит, что это просто вопросы самолюбия — принимать или не принимать чью-либо программу. Есть о чем толковать, говорит, если всему, что измыслим сами, предстоит поступать на решение Народного собора!.. Горяч, чувством так и бурлит.

— А сам Народный собор, как он полагает, по щучьему велению соберется? — улыбнулся Пестель. — Ну, ладно, досмотрю каждого поодиночке.

И он мысленно решил: «divide et impera — раздели и властвуй... Тогда будет легче отколоть их друг от друга, чтобы собрать воедино для пользы общей».

Матвей Муравьев ушел, а Пестель после обеда прилег на кушетку и, как опытный стратег перед боем, старался припомнить все, что ему было известно о князе Сергее Трубецком, которого ждал он с нетерпением противника. Пришлось освежать в памяти далекое прошлое.

У Сергея Трубецкого был свой крепкий кружок товарищей еще по Семеновскому полку. Он вступил туда подпрапорщиком восемнадцати лет. Там встретился с двумя Муравьевыми-Апостолами и родней их — Александром Николаевичем, просто Муравьевым. С Оболенским, Якушкиным... С ними проделал кампании двенадцатого года. Состоял в Париже в масонской ложе Трех добродетелей, в Союзе благоденствия. Близкие товарищи, люди тех же моральных вкусов, тех же умственных инте-

ресов, были с ним связаны памятью давних битв, вместе перенесенных опасностей и трудов.

Устремив свое внимание на Трубецкого, Пестель невольно вызвал в памяти и его блестящий послужной список: Трубецкой побывал во многих боях, везде отличаясь, по отзывам товарищей, особенной спокойной неустрашимостью и умением командовать. В Бородинской битве, — все это помнили,— Трубецкой выдержал четырнадцатичасовой жестокий огонь французов, а под Кульмом, где командовал одним из батальонов Семеновского полка, расстреляв все патроны, одними штыками выбил противника из лесу. Доблесть его была не из выдуманных, он ее доказал в боях и по праву считался стойким командиром, прекрасно знавшим свое дело. По возвращении в Россию Трубецкому, после героического напряжения всех его патриотических чувств, как и многим, невыносимо было наблюдать вокруг все тот же крепостной строй, все те же невежество и бесправие. Жил он в Семеновских казармах вместе с Сергеем Муравьевым-Апостолом. Часто общался с другими родственниками Муравьевыми, вел обычные для всей передовой молодежи разговоры о бедственном положении отечества, не замечая того, что все глубже отрывается от психологии, свойственной старому дворянскому кругу.

Пестель вдруг вспомнил, как, встретив в те годы юного, тоскующего Трубецкого, сказал ему:

— Каждый, кто, подобно вам, показал себя столь необходимым на войне, должен и в мирное время еще с большим успехом послужить своей родине.

— Хорошие слова вы мне говорите, — оживился Трубецкой. — Ну, что же, постараемся и в мирное время!..

И когда Трубецкой пришел от имени Союза спасения с предложением написать введение к уставу общества, то, еще раз просияв улыбкой, сказал:

— Вот видите, ваш совет исполняется. Мы нашли, наконец, чем и в мирное время послужить Отечеству!..

На этом кончились их хорошие отношения, едва завязавшись. Пестель введение написал, но тут же и утратил доверие Трубецкого, приобретя взамен многообразованного Никиту Муравьева, о котором друзья говорили, что он один стоит целой Академии.

В этом введении к уставу первого тайного общества

у Пестеля была, между прочим, высказана мысль, что Франция могла бы благоденствовать под управлением Комитета общественной безопасности.

«Как? При терроре?» — пришел в ужас Трубецкой, но Никита Муравьев стал тогда всецело на сторону Пестеля. И когда Пестель в одном из шумных заседаний заговорил о необходимости строя республиканского, в чем никак не мог убедить Федора Глинку, опять помог Никита Муравьев. Назавтра, когда пришлось уже намекнуть о дальнейшем, о неизбежности цареубийства и необходимости военной диктатуры, — опять все до конца понял только он, Никита Муравьев. И был союзником, когда все другие пришли в ужас. Что же ныне? Почему так разительно изменился? Возможно, как говорит о нем Юшневский, «женился и обескрылел»? Не такая ли судьба ждет и Орлова Михаила Федоровича? Быть не может, не должно. Напротив: за свои смелые действия от бригады отставлен. Недаром Пушкин приятелю написал: «Наш Рейн хоть женился — не изменился».

В дверь постучал денщик Савченко тем же условным стуком, какой был установлен для него в Тульчине, и доложил:

— К нам князь Трубецкой!

Трубецкой поздоровался слишком любезно, несколько чопорно для былого товарища, и Пестель сразу отметил это.

Поговорили о здоровье жены Никиты Муравьева, о том, что на днях он сможет уже ее оставить, так как опасность миновала и он горит нетерпением повидать Павла Ивановича.

Пестель внимательно рассматривал лицо Трубецкого, стараясь уловить, как всегда бывает после нескольких лет разлуки, что в человеке осталось прежнего, что изменилось. И сразу восстановилось уже знакомое впечатление от этого странного, совершенно нерусского лица. Хоть мать Трубецкого была «владетельная княжна грузинская», тип лица его напоминал не Кавказ, а какую-то более глубокую азиатскую страну. Посадить бы его на верблюда, облечь, вместо нарядного военного мундира, в полосатый халат, и получился бы древний кочевник в бескрайной степи: большой нос на длинном лице, типичные две складки к углам толстогубого рта и, несмотря

на привычную светскую вежливость, удивительный взгляд, уходящий куда-то в беспредельную даль. Так смотрят кочевники-созерцатели. Ничего военного в этом человеке не было, хотя носил он свою нарядную форму прекрасно и о военных его подвигах всем было известно. Однако и сейчас, как всегда, встречаясь с Трубецким, Пестель вспоминал не военные его подвиги, а то, что этот человек — страстный любитель естественных наук и в Париже прослушал полный их курс.

— Неужто, князь, — сказал шутливо Пестель, — мы и сейчас будем тех же противных мнений, как и в годы, когда вами еще не была оставлена надежда на то, что император сам даст конституцию, сам освободит крепостных? Вы тогда, помнится, настаивали, что наша помощь для блага отечества только в том и состоит, чтобы не идти против правительства, а лишь помогать ему ускорить полезные начинания.

Трубецкой сощурился, хитрые морщинки залучились вокруг его глаз, и затаенное упрямство самолюбивого человека прозвучало в его тоне, когда он сказал:

— Хотя Союз спасения давно не существует, я полагаю, что пункты его устава есть и будут наиважнейшим, что потребно отечеству, иначе говоря — ограничение самовластия монарха.

— Вот как? — улыбнулся Пестель. — Значит, ваши мысли с места не двинулись, ну, а царская политика не стойт! Вчера — военные поселения для родного отечества, сегодня — Священный союз уже для всей Европы. Однако не может быть, князь, чтобы вам не было известно: записки самых уважаемых людей, поданные царю о необходимости улучшений по всем ведомствам, сейчас встречают один его гневный оклик: кто правит государством — вы или я?

Трубецкой подобрал свои длинные ноги под кресло, на котором сидел, весь подался вперед и, не глядя на Пестеля, как человек, для которого все решено и спорить он вовсе не желает, с некоторым усилием, но твердо выговорил:

— В нынешних обстоятельствах я искренно полагаю единственно полезным — елико возможно расширять круг людей, охваченных просвещенными мыслями, — и только.

Трубецкой глянул в глаза Пестелю с любезной светской улыбкой, словно обращался в салоне к даме:

— Благодаря вашему воздействию, среди высшего гвардейского общества сейчас читают политическую экономию и изучают Бентама.

«Все у них между собой решено, не желают о деле и разговаривать», — подумал с раздражением Пестель и так же любезно, с легкой иронией, ответил:

— Можно вас поздравить с великими достижениями в гвардейской среде!

Ему стало очевидно, что глава Северного общества — Никита Муравьев, предвидя его намерение склонить к себе каждого в одиночку, предложил своим членам быть с ним начеку и не вести с глазу на глаз ответственных разговоров.

— Во всяком случае, князь, раньше чем у нас здесь произойдет общее собрание, можете ли вы ответить на один скромный вопрос, но серьезно? Добились ли члены вашего общества единства, ну, хотя бы в понимании собственных задач?

— В одном мы твердо согласны, — сказал Трубецкой, — и так как лучшей формулировки, чем Никита Муравьев, мне не сделать, скажу его словами: «Нельзя допускать, чтобы произвол одного человека был основанием правления. Нельзя, чтобы все права были на одной стороне и все обязанности на другой».

Говоря, Трубецкой поднял голову, и большая сила убеждения вспыхнула в его обычно тускловатых глазах.

«Вот таким он командовал на Шевардинском редуте, — подумал Пестель. — Этот человек не трус, когда он знает, во что верит».

Но Трубецкой потух. Вдруг осекся, опустил голову и с недавним упрямством, как бы преодолевая собственную нерешительность, вымолвил:

— Власть монарха должна быть ограничена, но ограничена должна быть и власть народа. Я отрицаю всякую диктатуру, всякое нарушение свободы, отдельной личности с чьей бы то ни было стороны.

— Лю-бо-пыт-но, — протянул Пестель. — Но как же при подобных взглядах, извините меня, вы могли водить солдат ваших в атаку и, как всем известно, весьма доблестно?

Трубецкой испуганно вскинул глаза на собеседника и тихо проговорил:

— Там ответственность за действия была не на мне.

Глаза его сузились, взор ушел в пустынные дали, и видно было — он больше не скажет ничего существенного.

«Сел на своего верблюда и уехал!» — сердито подумал Пестель и не стал удерживать гостя, когда тот начал прощаться.

Трубецкой ушел, а Пестель по привычке принялся ходить по большой комнате своего номера, направляя по узору паркета решительные шаги то к окнам, выходившим на мутную Мойку, то обратно к стенам, свежеоклеенным темными добротными обоями. Он с горечью думал, что едва ли ему удастся добиться единодушия с Северным обществом, ради чего он сюда приехал. Политические взгляды Никиты Муравьева, руководившего северянами, по ряду пунктов далеко отошли от взглядов общества южан.

Хорошо изучив присланную в Тульчин недописанную «Конституцию» Муравьева, Пестель сразу увидел, что Муравьев противопоставляет свое весьма умеренное правление его, Пестеля, проекту республиканского государства. И некую федеративную систему, весьма схожую с древнерусской удельной системой, — тому сплоченному государству, которое предлагает «Русская правда».

«В сущности здесь с одним Никитой только и может выйти серьезный разговор, — решил Пестель. — Он один, как-никак, довел свои чувства до формулировки, оспаривать же можно только мысли, нашедшие форму. Что же, поспорим!..»

Пестель прикинул, сколько времени ему можно провести в Петербурге, чтобы в конце отпуска выделить краткий срок для поездки в Смоленскую губернию к отцу, и сел писать ему о том извещение. Потом, в ожидании Оболенского, который должен был зайти за ним, чтобы вместе идти к Рылееву, Пестель погрузился в листы «Русской правды», из которой стал старательно делать выписки, необходимые для предстоящего на днях единоборства с Никитой Муравьевым.

Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик Финляндского полка и старший адъютант генерала Бистрома,

был тоже одним из учредителей Союза благоденствия и сейчас состоял в триумвирате директоров Северного общества. Хотя жил он в Петербурге, но как-то всюду носил с собою Москву. Кто хоть раз побывал у него в старинном доме под Новинском, в приходе Покрова, кто видел его рядом со стариком отцом, настолько известным своей святой жизнью, что ходил он под кличкой «инок в миру», тот с трудом мог бы понять, как этот человек, связанный крепко с мирным старинным укладом и крепкой любовью с отцом, мог примкнуть к угрожавшему его свободе и жизни революционному обществу.

А между тем Оболенский был самым восторженным и восприимчивым слушателем Пестеля. Он не только мыслью, но и всеми чувствами был склонен принять демократические положения «Русской правды» и всячески содействовал объединению общества.

Еще утром, когда у Рылеева речь зашла о свидании с Пестелем, Оболенский, не скрывая своего восхищения, говорил о нем:

— Признаюсь, мне трудно устоять против такой обаятельной личности, как Павел Иванович, а разве не справедливо будет сказать, что он — главная пружина всего нашего дела, что он — основание, на котором должно воздвигнуться все здание революции!

Видя, как болезненно дергалось доброе лицо Оболенского при известии о какой-либо жестокости над солдатами (в своем-то полку он давно вывел палки), трудно было представить, что этот мягчайший, кроткий человек убил юношу Свиньина на дуэли. Сам он никого на дуэль не вызывал, но случилось, что пришлось драться вместо двоюродного брата, забота о котором поручена была ему родной теткой. Узнав о предполагавшейся дуэли этого брата, Оболенский настоял, чтобы вместо юнца дрался он, его опекун. И убил, по несчастью, соперника. После дуэли был нервно болен, а выздоровев, со всей горячностью ушел в дела тайного общества.

— Пешком пойдем, Павел Иванович, погода на редкость чудесная, — так радостно сказал Оболенский, входя в номер гостиницы Демута, что и Пестелю стало весело. Оба двинулись тотчас на Мойку, к Синему мосту...

Заходящее солнце осветило огромного двуглавого орла, который заметен был издали. Он сидел, распустив

крылья, на крыше трехэтажного здания Российско-американского общества.

— Все вертятся у меня в памяти, — сказал Пестель, — стихи Рылеева нашему царю в те дни, когда все еще чаяли в нем освободителя греков: «Спеши, монарх, на подвиг свой!»

— А у меня после этих стихов и тогда и сейчас неизменно всплывают в памяти умные речи Николая Ивановича Тургенева, — застенчиво сказал Оболенский. — И как с ними не согласиться! «Почему русским должны стать ближе страдания чужого народа, нежели поистине отчаянное положение несметных рабов собственного отечества». Действительно, почему?..

— Дайте срок, всех освободим, — угрюмо заявил Пестель. — Вот хлопочите этот срок ускорить. Без объединения обоих обществ наше дело не удастся.

— Да я, Павел Иванович, всей душой... — с волнением сказал Оболенский. — Вот истинно радуюсь приобретением нашего общества в лице Кондратия Рылеева, с ним мы зашевелимся!

Подпоручик в отставке, поступивший в уголовный суд заседателем, Рылеев был и поэтом, внезапно получившим славу. Еще не утихло волнение, возбужденное в умах семеновским бунтом, как вдруг столица была поражена другим событием. Это был угрожающий, смелый голос поэта, голос возмущения в ответ на жестокую расправу с семеновцами.

В десятой книжке «Невского зрителя» появилось стихотворение Рылеева «К временщику». Все отлично поняли, что сатира адресована самому Аракчееву, так очевиден был по сходству характер, так своевременно появление самих стихов. Общество кипело негодованием на жестокость ставленника аракчеевской школы, знаменитого зверя-полковника Шварца, виновника гибели стольких солдат, и весь передовой Петербург декламировал концовку сатиры:

Тиран, вострепещи! Родиться может он!
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон!

Ждали страшного мщения от оскорбленного временщика. Оплакивали и молодого поэта и дерзкого редактора журнала. Однако ничего грозного не последовало: Арак-

чеев решил, что ему приличнее подобную дерзкую сатиру на свой счет вовсе не принимать, и опасность жестокой расправы пронесло мимо.

Рылеев был великой находкой для Северного общества не только как поэт, но и как общественный деятель, о котором тоже немало говорили в столице.

Демократ и всегдашний неизменный заступник простого народа, он с ним постоянно был связан как судебный заседатель. Когда в двадцать первом году, вследствие жестоких условий жизни, произошел в Ораниенбаумском уезде, в имении графа Разумовского, крестьянский бунт и дело о нем поступило в суд, Рылеев, несмотря на то, что сторону Разумовского держали очень влиятельные люди, отстоял правду его крепостных.

О популярности Рылеева ходил по городу и такого рода рассказ. Будто граф Милорадович пригрозил судом мещанину, который не признавался в крупной вине, на него напрасно возведенной. А мещанин, услышав о предстоящем суде, с благодарностью пал перед графом на колени и воскликнул: «Теперь я уверен в моем оправдании, потому что в суде есть Рылеев. Он не даст погибнуть невинному!»

Осенью двадцать третьего года Рылеев написал оду «Гражданское мужество», где посвятил строфу адмиралу Мордвинову, очень всеми почитаемому:

Но нам ли унывать душой,
Пока еще в стране родной,
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней,
Средь сонма избранных мужей,
В совете бодрствует Мордвинов?

Член тайного общества Федор Глинка бывал в доме Мордвинова. Он показал ему рылеевскую оду. Польщенный адмирал захотел познакомиться с автором и любезно предложил Рылееву должность правителя канцелярии в Российско-американской компании, которой он был официально протектором.

Жизнь Рылеева закипела: новая служба, издание совместно с Александром Бестужевым «Полярной звезды» и захватившая с головой деятельность в тайном обществе.

С первых же его шагов товарищи отметили, что насколько Никита Муравьев стал теперь «действие тормо-

зить», настолько вновь вступивший Рылеев пылает и рвется вперед.

Пестель был уверен, что Рылеев вскоре станет главой Северного общества. Слушая о нем рассказы восхищенного Оболенского, он обдумывал, какие наводящие вопросы надо задать Рылееву, чтобы вернее выведать его политическую подготовку. Приемом пришпоривания он собирался вызвать Рылеева на откровенность, тем более что Оболенский сказал: «У Рылеева нет отвращения к идее республиканского строя. Он только полагает, что Россия пока еще до него не дозрела».

Жены и маленькой дочки Рылеева не было дома, он один сидел у себя в кабинете, где и принял с большой приветливостью Пестеля и Оболенского.

Стол был завален книжками второго издания «Полярной звезды».

— «Опять рылеевская «Звезда» взошла на литературный небосклон», — острят наши петербургские писатели, — улыбался Оболенский, влюбленно глядя на Рылеева.

— И нас с Бестужевым величают неплохо: «полярные рыцари», — сказал Рылеев, подавая Пестелю маленькую книжку «Звезды». — Вот, обратите внимание, гравированные картинки работы Орловского, — превосходное украшение, в три недели полторы тысячи разошлось!

— В книжном мире это большая редкость, радуюсь и поздравляю! — подхватил Оболенский.

Ему нескрываемо нравился Рылеев не только благородным своим нравом и талантами, но и действительно примечательной внешностью. Это был стройный невысокий человек, очень легкий, лицом смугловатый. Могучие брови, почти сросшиеся над переносьем, придавали лицу Рылеева что-то угрожающее. Но вот улыбнулся — и засияли большие глаза, полные чувства и жизни.

«Глаза как у юноши с равеннской мозаики», — вспомнил Пестель виденное в Парижском музее древнее изображение.

Глаза Рылеева были черные, но не глухой черноты: они напоминали дымчатый топаз, который не только отражает блеск, а сам словно мягко светится изнутри.

Это было совсем необычное лицо, хотя определение — красивый к нему не подходило; оно чем-то притягивало сильней, чем красота.

— В этой книжке ведь напечатан его «Войнаровский», — сказал Оболенский и осторожно посмотрел на Рылеева — не рассердится ли?

Но Рылеев, напротив того, по-юношески радостно сказал:

— Я так счастлив, что Пушкин эту мою поэму весьма одобрил!

На столе у Рылеева лежал какой-то обломок с вензелем Наполеона.

— А это откуда у вас? — заинтересовался Пестель.

— Один из наших союзников, австриец, подарил на память еще в четырнадцатом году, когда они снимали с триумфальной арки Квадригу, вывезенную Наполеоном из Венеции. В те дни уже трепалось на Вандомской колонне белое знамя французских королей, вместо недавней статуи Наполеона. В суде шел процесс маршала Нея, и по улицам победившие роялисты распевали свою песенку про Генриха Четвертого. Я тогда был в Париже...

Рылеев поглядел на Пестеля, будто только сейчас, наконец, сообразил, кто перед ним, и доверчиво улыбнулся.

Оболенский только и дожидался этой улыбки Рылеева, которой он умел лучше слов вдруг обнаружить глубокие свойства своей души. Уверенный, что теперь Рылеев не может не понравиться Пестелю, чье мнение Оболенский высоко ценил, он встал с дивана и, прощаясь с обоими, сказал с обычной мягкостью:

— Ну, договаривайтесь сами до желанного конца, а меня ждут дела!

Пестель и Рылеев остались одни.

Пестель заговорил о государственном строе России и о предполагаемом его преобразовании, привычным глазом наблюдая мысли и чувства на лице собеседника. В сердечных качествах Рылеева он не сомневался. Самому Пестелю при большой внутренней силе не хватало в общении с людьми обаяния непосредственного чувства, которым так богат был Рылеев.

Разговор как-то скоро свелся к вопросам и ответам. Тон Пестеля принял тот неприятный оттенок, на который

жаловались, говоря, что Пестель ведет себя как диктатор, свысока и надменно.

Пестель тонко допрашивал Рылеева, какой образ правления ему кажется наиболее подходящим для России. Заставил его согласиться, что английская конституция устарела и может удовлетворить только светскую чернь, лордов и купцов. Народ далеко шагнул вперед.

Потом заговорил о конституции испанской. О ней выспросил мнение Рылеева, как опытный экзаминатор. Словно машинально взял со стола обломок с вензелем Наполеона, поднял его и внезапно сказал:

— Уж если иметь над собой деспота, то, конечно, Наполеона. Как он возвысил Францию! Уважая исключительно дарование, а не знатность, он положил основу возвышению людей более справедливую, наметил новый, доселе закрытый предрассудками, путь...

— Сохрани нас бог от Наполеона! — воскликнул Рылеев. — Впрочем, сейчас он решительно невозможен, — почти с гневом добавил он. — Еще откроюсь вам, Павел Иванович, — прямо в упор сказал Рылеев, встав перед сидящим в кресле Пестелем, — я решительно возражаю против насильственного введения нового государственного устава, каков бы он ни был! Самое большое, что в наших силах, — это подготовить только проект будущего правления. Но будет ли он принят или нет — зависит исключительно от Народного собора.

Рылеев видел Пестеля в первый раз. Он был предупрежден товарищами, что встретит опаснейшего честолюбца, и Пестеля он не сразу понял. До него по началу доходили не мысли Пестеля, а один его властный тон, его сверлящий взгляд, привыкший вызывать повиновение. Мелькнула даже мысль, уж не метит ли сам Пестель в Наполеоны?

Однако, несмотря на невольное раздражение, вызванное произведенным ему экзаменом, впечатление все-таки осталось глубокое, не совсем ясное и окончательное, но внушавшее большое уважение к собранной силе и могучей воле посетившего его необыкновенного человека. После ухода Пестеля он долго сидел задумавшись.

«Революционный ум, говорит о нем Пушкин, — вспомнил Рылеев, — один из самых оригинальных умов в Рос-

сии». — Да, да, он именно революционер ума, — прошептал Рылеев и с грустью добавил: — А многие из нас всего только революционеры по чувству и чего хотим, еще не точно знаем! А надо знать и хотеть, да так, чтобы ни перед чем не отступить!

Пестель же уходил от Рылеева с каким-то особо нежным к нему чувством. Ему казалось, он встретил не товарища, а дорогого любимого сына, хотя по возрасту они были недалеки друг от друга. Он почувствовал готовность Рылеева на большое самоотвержение, он угадывал, что пламенным словом Рылеев сможет привлечь немало таких же свободолюбцев, как он сам.

Глава девятая

Дом, в котором у Никиты Муравьева собирались члены тайного общества, был выстроен в последние годы восемнадцатого века. Мать Муравьевых, Екатерина Федоровна, приобрела этот дом вскоре после своего переезда из Москвы и сделала его центром объединения всей многочисленной муравьевской родни. По воскресеньям бывали семейные обеды, и, случалось, за стол садилось близко к сотне человек.

Тут встречались государственные люди крупного чина, и юнцы, входящие в жизнь, и блестящие гвардейцы, и приехавшие из деревенского захолустья дальние родственники. Всем полагался одинаково радушный прием.

Частым гостем был поэт Батюшков, родственник Муравьевых. Он восторженно отметил в своих стихах: «Увидел, наконец, адмиралтейский шпиц, Фонтанку, этот дом... и столько милых лиц, для сердца моего единственных на свете!» И вот сюда же, в этот дом недавно привезен был бедный Батюшков, уже безнадежно потерявший разум, что было наследственной болезнью в его семье...

В верхнем этаже муравьевского дома лет пять прожил со своей семьей Карамзин, и когда он выехал, то квартиру его занял Никита Михайлович Муравьев со своей молодой женой, Александрой Григорьевной Чернышевой.

Здесь, бывало, Никита Муравьев горячо спорил с Карамзиным, выступая против его благодушного «принятия мира», столь определенно выраженного в знаменитом изречении: «История мирит с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие — и государство не разрушалось».

В те дни «беспокойный» Никита резко утверждал мнение противоположное: «не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом! Добродетельные граждане должны быть в вечном союзе против заблуждений и пороков».

Высокий, стройный, с мягким взглядом мечтателя и волнистыми волосами, Никита Муравьев только на два года был моложе Пестеля, а казалось, как и Рылеев, что на много лет. Адельстан, Статный лебедь — были его арзамасские прозвища, и они выражали его какую-то особенную, благородную стать.

Никита Муравьев был создан для кабинетной учености и только в нескольких случаях жизни проявилась его внезапная способность к безоглядным увлечениям. Так, в год Отечественной войны, когда ему было всего семнадцать лет, он против желания матери убежал из дому в действующую армию.

По дороге его сочли за шпиона, посадили в тюрьму, и только личный допрос графа Растопчина разрешил недоумение.

И еще были у Никиты другие незаурядные поступки, угрожавшие не только свободе — самой его жизни. Они его связывали с Пестелем. Об этом сейчас думал Павел Иванович, подходя к дому Муравьевых с большим волнением за предстоящий важнейший разговор.

Кабинет Никиты Муравьева был великолепной многооконной комнатой с видом на Фонтанку и Михайловский замок на противоположном берегу. При взгляде на эту каменную громаду, вместе с неизбежными представлениями о гибели императора Павла, встали в памяти Пестеля и вдохновенные строки оды «Вольность», которую, по рассказам друзей, Пушкин написал, глядя на мрачный замок из окна дома Тургеневых, почти соседнего с домом Муравьевых.

Встретились Пестель и Никита Муравьев очень дружественно. В глубине их все еще связывали узы былой дружбы, которая сильней, чем узы крови.

— Настолько важно сейчас столковаться, для чего я сюда и приехал, — сказал Пестель, располагаясь в глубоком кресле, — что, по-моему, нам ни минуты времени попусту терять нельзя.

— Ваше мнение разделяю, — весело ответил Никита, — но вам надлежит первому поднять оружие. Ведь вы уже разнесли заочно в пух и прах мою «Конституцию».

Закурили, помолчали.

— Что же собственно вы находите в вашей «Конституции» самого ценного? — спросил Пестель.

— Да мне сдается хотя бы одно то, что там весьма последовательно проведен принцип юридического равенства всех перед законом.

— А что стоит рядом с этим равенством? — стараясь говорить мягко, подхватил Пестель. — У вас рядом принцип социально-политического неравенства. Разве вы не устанавливаете имущественный ценз для занятия должности в представительных учреждениях? По вашему проекту, неправда ли, все граждане делятся на четыре категории?

— Да, конечно, — преувеличенно спокойно ответил Никита. — Первую категорию я полагаю обладающей капиталом в тридцать тысяч, вторую — вдвое меньше, третью — в две и последнюю всего в пятьсот рублей. Права — соответствуют капиталу.

— Та-ак, — протянул Пестель, — и благодаря вашему цензу все крестьяне лишаются прав. Все как есть крестьяне и низшие слои городского населения?

Пестель прошелся по кабинету, остановился и с нескрываемым укором спросил:

— Да вы отдаете ли себе отчет, что доступ к власти предоставляете одним лишь богатым, если условием всех прав делаете богатство?

Он шагнул к Никите Муравьеву и, гневно глядя ему в глаза, вымолвил как приговор:

— Вы создаете подобной конституцией страшную аристократию богатств!

Никита Муравьев несколько высокомерно сказал:

— Прошу вас высказаться до конца.

— Государство существует для благоденствия *всех* и *каждого*, а не для блага немногих, — горячо начал Пестель, — и устранение большинства людей от этих благ есть несправедливость и зловластие... Я настойчиво протестую против каких-либо преимуществ старой феодальной аристократии, равно как и новой, вашей, денежной. Еще раз повторяю, ради немногих у вас допущена возмутительная несправедливость к большинству.

— А ваш план государственного устройства не отличается разве возмутительным насилием? — вспыхнул было Муравьев, но Пестель с гордым достоинством прервал:

— Мой план, изложенный в «Русской правде», отличается прежде всего равенством. В нем полное равенство граждан. Мною преследуется цель возможно большего благоденствия всех и каждого.

— Но я повторяю: путем ужасного насилия! — упрямо вставил Муравьев.

— Идея насильственного переворота уже не произвол, а всего лишь *необходимость*, — подчеркнул Пестель. — Еще так недавно и вы сами это признавали вместе со мной. Это была та вершина вашей революционной мысли, которую вы почему-то до сегодняшнего дня не донесли. Но разрешите мне перечислить вам хотя бы главные моменты, которые необходимо вызвать в вашей памяти раньше, чем вы их окончательно отвергнете.

Никита Муравьев молча кивнул головой.

— Вы были одним из участников совещания у Фонвизина, когда Якушкин вызвался на цареубийство. Больше того, когда его предложение было товарищами отклонено, вы заявили с кузеном вашим Артамоном Муравьевым о готовности на свой риск и страх убить царя публично, на предполагаемом балу в Грановитой палате. Уж на что была у вас боевая позиция!.. А раньше, когда Лунин излагал свой проект цареубийства на Царскосельской дороге, в масках, разве не вы были в числе одобрявших его? Тогда вы отлично понимали, что если надо, чтобы теория перешла в жизнь, то революционная партия должна действовать на началах строжайшей внутренней диктатуры. А не будет так действовать, что выйдет? Да

то, что сейчас и произошло в вашем Северном обществе, извините меня, — одна болтовня! И когда члены Коренной думы завопили: «Пестель проповедует террор», кто единодушно остался со мной? Вы, Никита Михайлович!

Муравьев встал, готовый возразить, но сел обратно в кресло, понимая, что Пестеля сейчас останавливать не надо.

— А заседание у Глинки? — возвысил голос Пестель. — Я предварительно зашел за вами, припоминаете? У нас было решено выступить заодно во имя республиканских преимуществ перед монархией. Отклонились вы? Нет. Больше того, через некоторое время произошло еще более важное собрание у Ивана Шипова, где председателем был Илья Долгорукий. Вы поставили вопрос на почву практическую и логически пришли в вашей речи к выводу, единственно возможному, — к цареубийству. Да, к этому неотвратимому условию государственного переворота! Этим вы не ограничились! Все мы тогда были восхищены победами восставших и еще не разбитых республик, и вот вы предложили вооруженное восстание. Конечно, я вас поддержал. Я тоже логически довел нашу общую мысль до конца. — Пестель остановился, потом повторил, безжалостно подчеркивая: — Да, *нашу общую* революционную мысль о необходимости *диктатуры*. Необходимости того, Никита Михайлович, что сейчас вас так сильно возмущает, того, что является главным тормозом слияния обоих наших обществ. В те дни вы сами верили в необходимость диктатуры, а сейчас?..

Пестель резко оборвал свою речь и умолк. Он не хотел досказать, что именно Никита Муравьев сейчас утверждает перед членами Общества, будто он, Пестель добивается диктатуры из личного честолюбия.

Павел Иванович подошел близко к Муравьеву и спросил в упор:

— Ошибаюсь я или нет, говоря, что весь мой план был полностью подтвержден и вами?

— Вы не ошибаетесь, — сказал, не глядя на него, но твердым голосом, Муравьев. — В те дни я именно так и думал.

— Пойдемте тогда до конца в наших необходимых, хотя и печальных для сегодняшнего дня, воспомина-

ниях, — сказал Пестель. — Во время вашей поездки в Крым вы нарочно свернули ко мне в Тульчин, вы участвовали во всех наших совещаниях, вы были включены в состав членов директории Южного общества. Вы не сомневались, что только отчетливая, ясная, твердая программа нового республиканского строя может предупредить все смуты и неустройства, которые обычно сопутствуют революциям. Вы не сомневались, что моя «Русская правда» служит ручательством тому, что Временное правление будет действовать единственно ко благу граждан. Отсутствие такого руководства может ввергнуть отечество, на другой же день нашего завоевания революционной власти, в беды неисчислимые: неминуемые распри, каждый примется действовать по своему произволу. Кроме диктатуры, ничто не сможет удержать завоеванную власть от распада!

Пестель замолчал, подумал и добавил уже тихим, словно утомленным голосом:

— Меня обвиняют в том, что я заставляю людей принимать решения, несвойственные их мирной природе. По меньшей мере наивно! — усмехнулся он иронически и, чтобы скрыть нараставшее волнение, стал раскуривать короткую трубку. Опустившись на диван, медленно сказал:

— Сейчас у вашего Северного общества нашлась, наконец, и своя определенная программа. Она не совпадает с моей «Русской правдой». И программа эта *ваша*. Теперь я слушаю вас, Никита Михайлович.

— Я вам буду отвечать со всей искренностью, — сказал Никита Муравьев и перешел на кресло поближе к Пестелю. — Да, вы правы, те окончательные выводы для предстоящих нам революционных действий, к которым я пришел сейчас, противоречат выводам, сделанным вами. Я много думал, глубоко исследуя и читая все, что возможно, по этому вопросу, и вот я пришел к заключению, что монархическое представительное правление для нашего отечества имеет преимущества перед всеми прочими. Я удостоверился, что только введение подобного правления даст надежду на хорошее устроение жизни народа российского, — несколько торжественно говорил Муравьев. — Я не отрицаю, что еще недавно мне, как и вам, представлялись единственно спасительным выходом

и цареубийство и революционная диктатура. Сейчас, мне кажется, начать надо все же с попытки добыть от царя конституцию...

— Мало было их подписано на нашем веку! — прервал горячо Пестель. — И не все ли короли тут же изменили своим конституциям, ввергли народы в еще худшее рабство? Полумеры в деле восстания — это тот же плохой хирург, который якобы из сострадания уклоняется от необходимой операции и окончательно губит больного. Да поймите же, что наша нерешительность на руку самодержавию! Ваше «медленное действие» в конце концов только поможет всяким Аракчеевым потуже затянуть петлю на шее народа.

Помолчали. Оба были взволнованы.

— Мне известно, — сказал не без скрытой боли Пестель, — что к вашим громадным поместьям прибавилось еще пятьдесят семь тысяч десятин земли — наследство от вашего деда по матери. Зная вас, уверен, что это не может на вас повлиять, тем более — сроднить вас с интересами высшего дворянства. Конечно, не может!

— Спасибо хоть за такое доверие, — усмехнулся Никита Муравьев. — Надеюсь, не обману.

Он взял Пестеля за локоть и сказал с большой теплотой:

— Если б для дела тайного общества все мое состояние пришлось отдать, прошу верить, сделал бы это, не моргнув. Одно знаю я крепко: и вы и я до последней капли крови готовы служить освобождению народа.

— И в этом служении, — подхватил Пестель, — наши силы необходимо соединить!

Он протянул руку. Никита Муравьев крепко ее пожал и неожиданно для Пестеля добавил:

— А позднее, когда наступит пора действовать, окончательно договоримся о соединении наших обществ...

* * *

Дальнейшие дни пребывания Павла Ивановича в Петербурге проходили в заседаниях членов Северного и Южного обществ, в спорах о принятии общей программы. Больше всех склонялся к слиянию Оболенский, но Трубецкой снова настаивал на недоверии к Пестелю, утверждая, что он человек опасный и себялюбивый, кото-

рый ничего не примет из «Конституции» Никиты Муравьева, уже всеми северянами одобренной. Пестель будет утверждать только свое...

Таково было настроение в Петербурге, куда Павел Иванович приехал с открытой душой и великими планами. Его настойчивость вызывала только новые подозрения Трубецкого, который, как мальчишка, гордился, что дал глубоко почувствовать Пестелю свое недоверие. Пестель с укоризной сказал однажды:

— Стыдно будет тому, кто не доверяет другому и подозревает в нем личные какие виды, а время докажет, что видов таких нет и не было!

Случилось и такое бурное заседание, на котором обычно не терявший хладнокровия Пестель, наконец, вышел из себя, ударил по столу кулаком, воскликнув:

— А все-таки будет республика!

В конце концов выяснили твердо одно: необходим договор об единодушном действии. И он был записан в таких выражениях:

«Ежели одни найдутся в необходимости действие начинать, то все другие обязаны их тотчас поддерживать».

Пестель перед возвращением в Тульчин на некоторое время поехал в Краснинский уезд Смоленской губернии, в имение матери — Васильево. Здесь он наслаждался давно забытой свободой, проводил целый день по собственной прихоти. Отец углублен был в свои записки о многолетней службе и в описание многообразных каверз сибирских казнокрадов, из-за которых так пострадала его карьера. Мать хлопотала по хозяйству или возилась в оранжерейке.

Случалось, она приглашала Павла Ивановича посидеть с нею в беседке, и оба вспоминали, как много замечательных книг мать в детстве прочла ему вслух, когда они вместе переживали благородные мечты героев о свободе и вместе плакали над их трагической гибелью. Мать первая пробудила в любимом сыне высокие запросы духа, честолюбивое желание отметить свой жизненный след особым подвигом.

«Если бы матушка знала, к чему в конце концов эти герои Плутарха, эти мечты о подвиге привели ее сына!» — горестно думал Пестель, однако ни разу не обмолвился ей о своей революционной деятельности, зная:

как ни талантлива и умна мать, этого она не поймет, только устрашится и потеряет покой. Успеет еще настрадаться! Невольное предчувствие сжимало его сердце.

С самого раннего утра Павел Иванович скитался по берегу быстрой реки, по веселым березовым рощам и холмам, уже белевшим зацветавшей земляникой.

Ему надо было о многом заново передумать. Недавние бурные заседания тайного общества, особенно окончательное, всеми принятое решение назначить на двадцать шестой год вооруженное восстание, с новой остротой вызвали некоторые смущавшие его мысли.

Опять, как личное горе, переживал Пестель недавнее крушение испанской революции и казнь доблестного Риэго.

По приказу короля Фердинанда этот друг народа, как преступник провезенный через весь Мадрид на позорной колеснице, был повешен 26 октября 1823 года, и при всеобщем безмолвии крепче прежнего воцарился тот же Фердинанд. Казнь Риэго подсекла упования тайного общества на прочность военного переворота, и Пестель это разочарование переживал тяжелей всех.

Известия о гибели одной революции за другой повергли было его в уныние. Перед близким другом Барятинским у него даже вырвались такие слова:

— Обстоятельства с достаточной ясностью сейчас показали, что мы затеяли дело, которое зря, без ожидаемой отечеству пользы, нас погубит!

Молодой Крюков как-то привез Пестелю, еще до отъезда его в Петербург, стихотворение, посланное Пушкиным в письме к Тургеневу. Как все, чего касался его гений, и это стихотворение отразило, как в фокусе, мысли людей, которые чаяли великих побед освободительного движения. Но революции подавлены, надежды разбиты...

Как итог своих мыслей, как музыку, говорящую порой тоньше и выразительней слов, повторял Пестель пушкинские стихи:

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

С восторгом думал о Пушкине: «Вот кто верный наш спутник! Он идет неразлучно с нами. Пламенной мыслью и чувством, в своих превосходных стихах то горит нашей надеждой, то болеет нашим сомненьем, то вливает новые силы в нашу борьбу!»

И он вспоминал еще одни, совсем иные, стихи Пушкина, ходившие тайно по рукам:

Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот, —
Где ты, гроза — симвóл свободы?
Промчись поверх невольных вод.

С глубоким чувством, оживлявшим его строгое лицо, Павел Иванович в этом безлюдье, в этой простой природе, нежданно для себя вслух повторял:

Где ты, гроза — симвóл свободы?
Промчись поверх невольных вод...

И стыдился своего минутного малодушия, стыдился слов безнадежности, сказанных Барятинскому.

В этом имении матери в комнате Павла Ивановича стояла старинная конторка, где хранилось одно время его заветное детище, которое собирался он наименовать «Русская правда». Еще хранилась в конторке другая драгоценность — редкий список с первого екатерининского издания «Путешествия» Радищева.

Александр Первый в начале царствования, когда он еще тешился игрой в либерализм, вовсе не хотел воскрешать память о человеке, столь опасном самодержавию. Когда сыновья Радищева обратились к царю за разрешением переиздать «Путешествие из Петербурга в Москву», — царь отказал. И в 1806 году вышло собрание сочинений Радищева без самого из них главного — «Путешествия».

Положив в карман листки «Путешествия», Пестель ушел однажды далеко в лес, где бы никто не мог ему помешать.

«Где ты, гроза — симвóл свободы? Промчись поверх невольных вод...» — снова возникли в памяти пушкинские стихи. И он ответил на них вслух, сжимая в руке листки. — Вот она — гроза! Невелика книжка, а до чего жива.

Из рук в руки переходят списки и, несмотря на запреты, воспламеняют сердца.

Пестелю дорого было сознавать, что прямое или косвенное влияние книги Радищева со временем только усиливается, что и у тайного общества и у него самого есть преемственность мыслей, чувств, революционной воли Радищева.

Само название первого тайного общества — «Истинные и верные сыны отечества» — не из его ли речи взятые слова? Прокламации, подкинутые после семеновской истории преображенцам, не истинно ли радищевского духа? А главная мысль Радищева, горячая, как пламень, — рабов сделать свободными — не перекликается разве с выводами из его собственной «Русской правды»?

С глубоким чувством читал Пестель замечательную книгу и не уставал восхищаться тем, как это удалось автору с такой силой ударить по дремлющей совести людей. С такой силой сказать, что человек в своем же собственном отечестве лишен всяких прав, тех первейших, без которых человеку ни жить, ни дышать. Какая мысль!

«Не таковы ли условия жизни в наших военных поселениях? А мы все еще только разговариваем, вместо того чтобы немедленно опрокинуть самодержавие, их создавшее», — с болью думал Пестель.

Да, поистине эта книга написана для всех людей, на все времена: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна стала»...

И все дальше читал Пестель, заново поражаясь, как сумел Радищев в немногих простых словах так убежденно показать основную причину зла и неравенства, терзающих человечество: «Бедствия человека происходят от человека же».

— Следовательно, все условия жизни подлежат изменению? Какое утешение, какой революционный вывод!..

Особое уважение вызывала смелость Радищева, с какой он, не страшась жестокой кары, до конца высказал свои мысли, — как раз то, чего не хватает членам Северного общества!

Охваченный до глубины души гневом за народ, возмущением на произвол самодержавной власти, Радищев не мирился с каким бы то ни было ограничением этой

власти. Не дрогнув, он отсекает самый ее корень. Потому что, как пишет он другу, жительствующему в Тобольске, — «до скончания мира примера не будет, чтобы царь упустил добровольно что-либо из своей власти»...

И вот вопрос: почему полвека назад Радищев понимал то, чего сейчас не могут понять многие члены тайного общества, в чем заново убеждать приходится даже Никиту Муравьева?

Но самому себе Пестель должен был признаться, что в «Путешествии» были и такие мысли, которых и он принять не мог, или, верней, не хотел. Его смущали страницы, где говорилось о том, что народ завоюет себе свободу сам, когда уже не в силах будет терпеть порабощение. Ибо «из мучительства рождается вольность».

Еще больше — не только смущали, просто пугали вдохновенные строки могучего призыва к восстанию: «О, если бы рабы, тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом, вольности их препятствующим, главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровью нашей обагрили нивы свои, что бы тем потеряло государство?

Скоро бы из среды их исторгнулися великие мужи для заступления избитого племени, но были бы они других о себе мыслей и права угнетения лишенны.

Не мечта сие, но взор пронзает густую завесу времени, от очей наших будущее скрывающую».

Так вот что давало Радищеву опору в его великой и неравной борьбе! Глубокая вера в русский народ, в его могучие силы, творческие и созидательные.

* * *

Павел Иванович уезжал из деревни, от родителей, весной двадцать четвертого года, в состоянии духа особенно ясном, окрепшем. То, что Пестель перечитал в Васильеве с особым, пристальным вниманием «Путешествие» Радищева, оказалось для него большим событием внутреннего порядка, которое внесло что-то новое в его сознание.

У него была словно живая встреча с самим Радищевым, которая освежила и необычайно умножила силы...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

Пестель вернулся к своему полку в местечко Линцы полный бодрости и счастливый, что необходимость восстания в 1826 году была уже признана Северным обществом. Пестелю хотелось скорей повидать Муравьева и Бестужева-Рюмина. Он уже знал, что этих, по виду столь различных, людей крепкая дружба соединила как бы в одно целое. Бестужев стал не только пылким единомышленником Муравьева, но своей талантливой и горячей речью умел, как никто, воспламенять молодых.

«Они оба — одна душа», — говорили товарищи.

Михаил Павлович Бестужев-Рюмин был самым младшим членом тайного общества, но с его мнением считались все, ибо скоро обнаружилось, что он очень одаренный организатор, обладающий тем убедительным красноречием, искренним и ярким, которое способно захватывать массы.

Пока Бестужев не находил достойного приложения своим силам, его огромная энергия, ни на что не направленная, только вызывала у многих раздражение. Но как беспорядочный поток, едва человек введет его в глубокое русло, начинает свой плодотворный путь, так и Бестужев, сделавшись членом Южного общества, поразил всех своей неутомимой деятельностью.

Отношение членов Общества к этому недавно еще только беспокойному юнцу резко переменилось.

О нем генерал Орлов, бывало, отзывался — «голосистый петушок», а благонравный Матвей Муравьев убеж-

дал всех прекратить насмешки над неистовым подпоручиком. Сейчас Матвей, ворча, кивал на своего любимого брата и Бестужева, ставших неразлучными друзьями: «Да их водой не разлить!» Пылкость Бестужева, опасался он, может вовлечь в беду Сергея.

Вскоре обнаружено было «Польское патриотическое общество», и Бестужев по поручению Думы вступил с ним в переговоры. В последние же месяцы Бестужев искал случая завести знакомство и с Соединенными славянами, о существовании которых давно ходили слухи.

Несмотря на большие достоинства Бестужева, близость его с Муравьевым пугала и Пестеля: этот темперамент, ломающий всякие преграды разумности, не только не охлаждался зрелым умом Муравьева, а угрожал увлечь его за собой на преждевременные решения. Так, Пестель подозревал, что у обоих вождей Васильковской управы крепко держится в уме так называемый «белоцерковский план», несмотря на то, что в последнем заседании он был решительно опровергнут.

План этот состоял в следующем: когда царь на предстоящих маневрах третьего корпуса у Белой Церкви поселится, как было намечено, во дворце Браницкой, члены Общества заменят солдат караула, проникнут ночью в спальню Александра и там его убьют.

Затем третий корпус, под предводительством Бестужева-Рюмина, двинется на Москву, обрастая на своем пути восставшими войсками. Муравьев-Апостол направится в Петербург. Самого же Пестеля предполагалось оставить в Киеве, чтобы отсюда он мог поднять южные военные поселения.

Лично Пестель не был уязвлен этим самостоятельным планом Васильковской управы, но считал, что военные действия лучше начать не сейчас, а в первые месяцы 26-го года, с того момента, когда его Вятский полк вступит в караул. Это облегчит захват командующего армией с канцелярией и прочими начальниками.

На днях ему было передано: когда приехавший из Петербурга видный член Общества Поджио рассказал Бестужеву-Рюмину о вялых настроениях некоторых северян, он воскликнул: «Если северяне все еще хотят бездействовать, а Пестель откладывать, — мы двинемся

и одни! Для начала сил довольно, а там не только полки — дивизии к нам примкнут».

Пестеля беспокоило столь боевое умонастроение Бестужева-Рюмина, а еще больше — письмо его, самовольно адресованное полякам и очень опасное для всего дела восстания. Письмо, к счастью, удалось задержать Волконскому, и по прочтении его сожгли в Тульчинской управе, но Пестель все-таки решил, не откладывая, съездить в Белую Церковь, где Бестужев почти неотлучно пребывал у своего друга Муравьева.

Сергей Иванович Муравьев-Апостол необыкновенно располагал к себе Пестеля. Сергей, похожий на своего брата общей семейной, какой-то древнеславянской внешностью, унаследованной от матери сербского происхождения, в отличие от всегда чопорного Матвея был человеком открытым, полным особого внутреннего обаяния и готовности к самопожертвованию.

Без усилий, не угнетаясь сомнением, а просто как необходимость, как дыхание и биение сердца, жила в нем решимость отдать все силы и самую жизнь за освобождение Родины и народа. Солдаты, благодарные ему за искреннее к ним сочувствие, за внимание к их нуждам, по первому его зову готовы были идти, куда он поведет.

Получив письмо Пестеля о желании его приехать в Белую Церковь, Муравьев предложил всем встретиться в пустой квартире полковника Саратовского полка, тоже члена Общества, Повало-Швейковского.

По аллее темнолиственных густых тополей, благоухавших после проливного летнего дождя, Пестель шел под вечер к дому, где его ждали вожди Васильковской управы. Офицеры отобедали и, в ожидании гостя, пили в кабинете ликеры, дымя длинными чубуками.

Пестель вошел своим твердым шагом, как добрый товарищ крепко пожал руку Сергею Ивановичу и Бестужеву. Лицо его было особенно гладко выбрито, румяно, виски начесаны волосок к волоску, но вся его подтянутая внешность говорила о том, что, придав себе любезный вид, он все-таки пришел сюда на решительный разговор.

Беседа сразу началась с того, что всех интересовало.

Павел Иванович с невольным восхищением вспомнил всегда живого, вдохновенного Рылеева и благородную готовность Оболенского принять и защищать новую

мысль, какой бы смелости она ни была. Эти двое — истинная опора и душа всему делу на Севере... Не скрыл Пестель и больших несогласий некоторых членов Северного общества с его «Русской правдой», однако желание договориться у каждого есть, почему и необходимо устроить съезд представителей всех управ.

Бестужев спросил тоном, несколько вызывающим от волнения, которое он хотел подавить:

— А сейчас, Павел Иванович, после всего вами рассказанного, что можете вы противопоставить нашему «белоцерковскому плану»? Ведь единственное, чем вы нас с Сергеем Ивановичем до сих пор удерживали, было ваше утверждение, что Северное общество должно идти авангардом. Но, после Петербурга, когда вы убедились, что в Северном обществе все еще нет полного единодушия, неужто останетесь при прежнем мнении? Я уверен, что и предполагаемый вами съезд для окончательных решений о выступлении в двадцать шестом году — тоже вилами по воде писан.

— Напрасно так думаете. Дольше нам ждать нет возможности. Двадцать шестой год — это предел, — хмуро начал Пестель, но Сергей Иванович горячо его прервал:

— Не дотянуть нам, Павел Иванович! Нас перехватают много раньше. Один наш высокопоставленный родственник намедни прислал отцу моему, через руки, известие, что царь превосходно осведомлен о существовании тайного заговора и поименно знает главных его участников. Вот-вот предаст дело в руки Аракчеева... Откладывать без конца выступление — просто нелепо. И, в свою очередь, заявляю я вам, Павел Иванович, — продолжал Муравьев, прямо глядя в непроницаемые черные глаза Пестеля, — открыто вам заявляю: если только я удостоверюсь, что в моих руках несколько полков, пока мне не успеют зажать рот, я, подняв восстание, докажу, какая в русских сердцах таится карающая сила!

Пестель нервно повел плечом, у него чуть было не сорвалось возражение, что, кроме даром пролитой крови, ничего не получится от таких необдуманных доказательств, но он промолчал.

Бестужев, по своей юной пылкости, решил, что Павел Иванович колеблется, и, взглянув на часы, вкрадчиво сказал:

— Сейчас прийти сюда должен полковник Тизенгаузен. Он хотел повидать вас, и по этому поводу у меня с Муравьевым к вам заготовлена некая просьба...

Он быстро повернулся к Сергею Ивановичу, словно ища поддержки. Это вышло непроизвольно, как-то по-детски, и сразу обнаружилось, что он в сущности очень молод, несмотря на свои могучие плечи и крупные, уже тяжелые, черты лица.

— Тизенгаузен нам необходим, — сказал Муравьев. — Весь полк в его руках, он сам — ревностный член нашего Общества. Кроме всего, благодаря ему Бестужев как офицер его полка может свободно пребывать у меня и держать связь между членами всех трех управ нашего Общества — Васильковской, Каменской и Тульчинской.

— Что же я должен сделать с Тизенгаузеном? — спросил Пестель.

— Если будет еще промедление, Тизенгаузен хочет вовсе отступиться, — вырвалось у Бестужева. Сергей Иванович подхватил:

— Короче сказать, «поддайте жару», как говорят в кадетском корпусе, — улыбнулся он. — Этот Тизенгаузен стоящий человек, хотя и чудной... Подумайте только, он сейчас, не моргнув, соглашается на лишение царя жизни, а при одном предположении, что могут случиться беспорядки и грабежи при восстании, так содрогнулся, что предложил отдать, в случае заминки с продовольствием в войсках, все свое имущество, вплоть до гардероба собственной супруги. Подтвердите ему, Павел Иванович, наши уверенья, что с выступлением мы не замедлим.

Пестель не успел ответить: денщик доложил о приходе командира Полтавского полка. Бестужев кинулся встретить его в прихожей и сразу начал что-то с горячностью рассказывать ему по-французски. Они вошли, разговаривая на ходу.

Полковник Василий Карлович Тизенгаузен, обрусевший немец, был много ниже Бестужева ростом и, как ни старался казаться важным, помня, что он командир, невольно смущался перед юношеским наскоком.

Пестель почтительно поклонился полковнику, которого мало знал.

Тизенгаузен с неловкостью застенчивого человека взял поднесенную Муравьевым трубку, стал молча попыхивать ею. Бестужев, продолжая начатую в прихожей речь, указал на Пестеля:

— Вот сам Павел Иванович подтвердит вам, полковник, что все наши силы объединятся уже в двадцать шестом году. Объединятся и двинутся...

Тизенгаузен вынул изо рта трубку и тихим голосом произнес:

— Правительству наши виды известны. Медлить уже нельзя.

— Будьте без сомнения, Василий Карлович, — успокоил Пестель, — мы свои действия откроем раньше всех мер пресечения.

Пестель был истинно убежден, что восстание может свершиться успешно только в том случае, если все тайные общества договорятся между собой и сольются в единое, — а это достижимо, по расчетам Пестеля, никак не раньше 26-го года. Он считал противным здравому смыслу утверждение вождей Васильковской управы о необходимости еще в 25-м году казнить царя в лагерях под Белой Церковью, чтобы начать восстание одними силами Юга, — словом, одобрить их «белоцерковский план». Поэтому Пестель, боясь спугнуть Тизенгаузена, отвечал уклончиво, перевел речь на подготовку не только людей, но и вооружения, для чего особенное внимание советовал обратить на Киевский арсенал. С легкой иронией Пестель заключил:

— Торопливость в нашем деле столь же опасна, как и медлительность. Ведь вот сейчас можно трезво судить, какой ошибкой был бы ваш, к счастью сорвавшийся, «бобруйский план», когда вы наивно считали достаточным для победы только одно: захватив царя, держать его под арестом! Во всяком случае не сидели бы мы, как сейчас, в дружеской беседе. — Пестель объединил жестом всех троих офицеров. — А беседа наша по существу своему клонится к тому, что Пушкину удалось так чудесно выразить всего в четырех строках «Вольности»:

Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

— Прекрасно сказано! — восторженно воскликнул Бестужев и с жадностью спросил Пестеля: — Нового чего не привезли из Петербурга, Павел Иванович? В Каменке я давеча слыхал, что Пушкин много работает в своем михайловском изгнании.

Пестель на мгновение задумался.

— Вот строчки из «Кавказского пленника», в печать не попавшие, которые я узнал от Рылеева, — и он прочел на память:

Свобода! Он одной тебя
Еще искал в пустынном мире...

— Каков? Совсем как мы! — воскликнул Бестужев и с пафосом, ему свойственным, повторил эти сразу запомнившиеся строки:

— Свобода! Он одной тебя еще искал в пустынном мире...

Тизенгаузен, любовно глядя на Бестужева, сказал Пестелю:

— Молодец наш юноша, ведь поляков-то он открыл... А мне, к сожалению, пора уходить. — Он поднялся и, прощаясь с Пестелем, сказал с застенчивостью, так не шедшей к его полковничьему мундиру:

— Павел Иванович, разрешите обратиться к вам... Мне известно лишь краткое изложение основных положений вашей «Русской правды». Не сделаете ли одолжение — дать возможность прочесть эту вашу замечательную работу. Сколь я поражен широтой и глубиной ваших мыслей...

— Ничего сейчас не могу, к сожалению, — сказал Пестель. — Я продолжаю начатую в Петербурге переработку важнейших отделов «Русской правды». В этом втором варианте надо мне про многое сказать гораздо смелей.

Муравьев улыбнулся:

— И первый-то ваш вариант, Павел Иванович, испугал наших северян. Пока не вычеркнете рассуждений о земле, каши вместе с ними не сварите! Трубецкой прямо говорит: «Этот Пестелев земельный параграф — замаскированный призыв к восстанию против дворян»...

— А дворян и вовсе быть не должно, — твердо отрезал Пестель, — я полагаю, само звание дворянское

должно быть уничтожено. И тот, кто звался дворянином, вступая в общий состав русского народа, будет запросто, как всякий иной, приписан к своей волости. Взялись уничтожать самодержавие, так уж надо уничтожать его с корнем. Уж если голову сложить, так не зря, а за настоящее дело, чтоб обидно не было.

И Пестель неожиданно улыбнулся редкой на его суровом лице молодой, озаряющей улыбкой.

— Мне надо бы с Михаилом Павловичем поговорить, — сказал он, обращаясь к Муравьеву.

— Отлично, Павел Иванович, — понимающе отозвался тот, — а я провожу полковника.

Когда остались вдвоем с Бестужевым, Пестель глянул пристально в его глаза и быстро спросил:

— Что у вас с поляками нового?

Он отлично понимал, что поведение Бестужева не соответствовало данной ему строгой инструкции: торопясь начать революцию в России, Бестужев занял в переговорах с Польшей позицию зависимую, а не главенствующую, как предписывал Пестель, что на его своеобразном языке означало утратить над поляками «поверхность».

Бестужев несколько смутился:

— Волконский взялся переговорить с Гродецким, когда попадет в Киев...

— Надо помнить одно: программа «Польского патриотического общества», с которым мы с двадцать третьего года находимся в переговорах, не может вызвать нашего полного сочувствия.

— Да разве и мы, как они, не хотим независимой Польши? — удивился Бестужев.

— Хотим. Но какой Польши? — резко отчеканил Пестель. — Совсем не той, какой хотят некоторые из них, хлопоча об интересах одной аристократии. Их программа: введение «Конституции Третьего мая» с сохранением привилегий шляхты. Да ведь по этой конституции они всегда могут возвести королем Константина, а главное — изменить нашей революции. К тому же князь Яблоновский сказывал, что Англия снабжает их деньгами и оружием, а посему — настойчиво рекомендую осторожность с польскими магнатами. Никаких документов против себя, ни слова писаного...

Бестужев покраснел: он только что передал Волконскому важное по содержанию письмо для Гродецкого и чувствовал себя виноватым перед членами Южного общества и перед Пестелем, которому особенно обещал держаться положений, разработанных в «Русской правде». Действительной заслугой Бестужева было то, что он первый в 23-м году утверждал необходимость связи с поляками, с чем немедленно согласились члены всех трех управ. Бестужев тут же был уполномочен вести переговоры с «Польским патриотическим обществом».

Но оказалось, как и предчувствовал Пестель, Бестужев, стремясь к выполнению своего «белоцерковского плана», решил, что с поляками необходимо поторопиться.

Южное общество в ту пору вело с поляками еще только предварительные переговоры, которые должны были превратиться в договор лишь после их подтверждения верховным польским советом. Но нетерпеливый Бестужев не стал ждать так долго и, на основании одних этих предварительных разговоров, написал Гродецкому бестактное письмо с упреком: «Мы обещание наше выполняем, а вы бездействуете». Полякам дано было обещание в том, что всем им, приезжающим в Петербург, члены тайного общества обязуются оказывать всяческое покровительство и помощь.

Еще хуже было то, что Бестужев с чисто юношеским запалом в том же письме отдал полякам приказ: «Немедленно овладеть Константином и его истребить. Для чего — ждите наших действий»...

Пестель гневался сильно. Он почти кричал:

— По милости Васильковской управы все наше революционное движение попало бы в руки царя! Преступное ребячество, повторяю вам, призывать к убийству Константина в Варшаве, да еще письменно! Счастье ваше, что письмо это мы сожгли. Да вы понимаете ли, сколько бед могли натворить?

Бестужев протянул руку и, виновато глядя на Пестеля голубыми глазами, проговорил скороговоркой:

— Поверьте, Павел Иванович, буду вперед осмотрительней...

Пестель овладел собою, крепко пожал руку Бестужеву.

— Верю, — сказал он уже спокойно. — Сообщайте мне подробно, как далее пойдут у вас переговоры...

Вошел Муравьев. Пестель заговорил с ним о его заветной идее — создать соответственно катехизису православному, который без всякого смысла и пользы солдаты заучивали наизусть, другой, революционный катехизис.

— Усвоив его, наш солдат прозреет политически, — убежденно говорил Муравьев. — Ведь он сразу поймет, что величайший для него авторитет — слово божие — ратует за интересы его, а не царские, больше того — оно направлено против самих царей.

— Любопытно, как справитесь с знаменитым положением «несть власти аще не от бога»? — с легкой усмешкой сказал Пестель, любуясь искренностью Муравьева. Бестужев, упав в кресло, расхохотался от души.

— Разумеется, я делаю необходимый разумный отбор, — вспыхнул Муравьев. — Основанием же революционного катехизиса я взял слова апостола Павла — «не будьте рабы человекам» и доказываю просто и понятно, что царь поступает вопреки воле посланника божия Павла, а следовательно и самого бога. Солдату тогда будет легче идти против царя...

— Ему это станет сразу легко, — прервал Пестель, — когда мы окажемся настолько уверены в себе, что объявим о сокращении срока службы ему и об отмене крепостного права его семье... А потому употребим все наши силы на ускорение победы.

Пестель вскоре попрощался и ушел своим быстрым отчетливым шагом.

— Может быть, Пестель прав и сейчас, как обычно, — сказал печально Муравьев, — но своей мысли о революционном катехизисе я все же не оставлю...

* * *

В августе 1825 года третий пехотный корпус был собран для смотра, назначенного в пятнадцати верстах от Житомира, в местечке Лещин. Восьмая артиллерийская бригада стояла в сосновом лесу, а неподалеку от нее расположен был Черниговский полк.

В просторной палатке Муравьева, или как ее называли — в «балагане», почти непрерывно гостил

Бестужев-Рюмин, для чего благовидные предлоги выдумывал сам его начальник и товарищ по тайному обществу — Тизенгаузен.

Лещинские лагери длились всего две недели, и за этот короткий срок Бестужеву предстояло добиться полного соединения недавно открытого Союза славян с Южным тайным обществом.

Через своего бывшего сослуживца, семеновского офицера Тютчева, Бестужев и Муравьев узнали, что в марте 25-го года в местечке Чернихове состоялся съезд этих славян, и они председателем своего Общества избрали подпоручика восьмой артиллерийской бригады Петра Ивановича Борисова. Окончательная организация Общества будет производиться летом, когда сбор частей в лагери особенно облегчает условия всяких собраний. Узнав об этом, Муравьев и Бестужев решили, что никак нельзя допускать разделения сил, а необходимо добиться слияния со славянами.

— Наше Южное общество уже оформилось, — сказал Муравьев, — и если идеи славян однородны с нашими, к чему же им проделывать лишнюю работу? Пусть примыкают к нашему Обществу.

В свою очередь и славяне заинтересовались южанами, пожелали узнать их поближе. Связующим звеном между обоими Обществами оказался капитан Тютчев. Он был членом Славянского общества и вместе с тем своим человеком среди южан, как бывший семеновец, то есть однополчанин Сергея Муравьева. Он рассказал Муравьевым о возникновении и первых шагах Славянского союза.

Основателями его были два брата Борисовы — Андрей и Петр, сыновья отставного майора, на нищенский казенный пенсион содержавшего большую семью. Несмотря на свое скромное образование, отец Борисовых, прослывший в своей среде чудаком-мечтателем, сумел внушить сыновьям восхищение древними героями-республиканцами, воспетыми Плутархом. Восторг юношей перед «вольностью народоправства», как высшей формой государственного устройства, с годами только окреп от впечатлений жестокого русского быта, создаваемого аракчеевщиной, бесправием солдат, безвыходной нуждой порабощенного крестьянства.

«Мы, преисполненные любовью к демократической свободе и чтобы добыть ее несчастной Родине, поклялись положить свою жизнь», — приводил Тютчев подлинные слова Петра Борисова.

Глубокая устремленность к наукам, неустанное упражнение в самосовершенствовании почиталось братьями Борисовыми необходимой подготовкой к избранному ими служению на благо отечества.

Для подробного разговора о славянах Тютчев был приглашен как-то под вечер в большой балаган к Муравьеву.

Высокие сосны своими красноватыми стволами окружали длинную, сколоченную наспех, лагерную постройку. Денщик Муравьева, опасаясь пожара, вынес далеко на дорогу желтый пузатый самовар, набил трубу сосновыми шишками, усердно раздувал огонь собственным сапогом. Душистые струйки дыма, как воздушные змеи, тянулись по лесу. Поодаль на густых кустах сохли полосатые половички.

Тютчев остановился, огляделся.

— Сергей Иванович ждут вас, — обратился к нему денщик, подымая от самовара вспотевшее лицо, — а входить к нам в балаган пожалуйте напрямки, туда, за старую сосну...

Тютчеву, едва он переступил порог, сразу понравилось это лагерное жилье Муравьева, все украшенное мохнатыми сосновыми лапами.

— Кругом Федор мой расстарался, — улыбнулся Муравьев, приветливо усаживая гостя на пустой ящик, покрытый разноцветной украинской плахтой, и сам сел на такой же. — Чай сейчас будем пить, — сказал он, — а пока, не теряя дорогого времени, сразу и рассказывайте. И прежде всего — откуда у вашего Общества это наименование — Соединенные славяне?

— Именование появилось уже на дальнейшей стадии развития общества...

И Тютчев коротко рассказал о том, как зародился Славянский союз.

Поляка революционера Люблинского привезли закованного в железа в его родной город Новоград-Волынский, куда вышел по службе в артиллерию и Борисов. В маленьком городке это событие вызвало волнение

чрезвычайное, хотя поляка от оков освободили и отпустили к матери, бедной женщине, жившей в своем маленьком домике на самой окраине городка. Люблинский привлек к себе горячие устремления всего кружка братьев Борисовых.

Люблинский поразил всех своей образованностью и уже вполне зрелой революционной мыслью. Возникла идея основать такое тайное общество, которое в первую очередь должно покончить с розныю между братскими славянскими народами и учредить из этих народов всеславянскую федерацию. От Балтийского моря до Адриатического, от Черного до Белого должен простираться этот союз, сохраняя широкую самостоятельность каждого входящего в него народа. Цель этого союза — создание примерного государства для граждан свободных и счастливых под общими справедливыми законами.

— Что же, цель эта весьма привлекательна, — сказал Муравьев. — Ну, а какие у вас измышлены пути для ее достижения?

— То-то, что на практике у нас не все еще разработано, — несколько сконфузился Тютчев. — Вот и будем рады, если вы с нашим Обществом станете едины. Однако есть преимущества и у нас: в области морали на месте не стоим. Освобождение крестьян решено бесповоротно. Кроме того, имеются особые правила поведения...

— Небось мечтаний не оберешься, — ласково улыбнулся Муравьев. — Наверное, из масонских лож притащили всякие символы, клятвы, условные термины! Слыхал я, славяне при встречах обязательно нажимают один другому большим пальцем на ладонь. Условное рукопожатие означает единомыслие или еще что?

— Теперь уже это вывелось, но все же союз носит отпечаток воинственности, — пояснил Тютчев. — Клятва верности произносится не на кресте, а на острие меча. Клянутся отдать все свои силы и самую жизнь на благо и свободу единоплеменников...

— Погодите, — остановил Муравьев, — я в окно вижу — торопится к нам Бестужев, его, конечно, я тоже позвал...

— А за ним следом шествует ваш денщик с пылающим самоваром, — заметил Тютчев.

Бестужев, пропустив вперед денщика, вошел в балаган, радушно поздоровался.

Муравьев, расставив на столе стаканы, обратился к денщику:

— Можешь идти, Федор, займись поблизости дровами, что ли, да смотри, не прозевай, если кто...

— Пребывайте без сумнения, Сергей Иванович, — бойко ответил Федор, — смотреть научены в оба...

Он ушел, прикрыв дверь, но сейчас же заглянул со двора в открытое окно и сконфуженно сказал Бестужеву:

— А коньячка не извольте доискиваться, Михаил Павлович, он до дна поистратился.

— Не без твоей, думаю, помощи, — рассмеялся Бестужев.

Денщик исчез.

— Много вы тут без меня наговорили? — поинтересовался Бестужев. — Я хочу узнать вот о чем: дошли слухи, что славянами выработаны какие-то особые правила поведения. Пока буду чай разливать, расскажите нам, Тютчев.

— Действительно, у нас есть нечто вроде катехизиса или, вернее, взамен его, — ответил Тютчев. — Назову главное: не желай иметь раба, если сам рабом быть не желаешь, будь терпим ко всем чужим верованиям. Необходимо разрушить все предрассудки относительно разности состояний и сословий. Самое же основное, с чем трудно не согласиться, это утверждение, что только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом...

Сергей Муравьев встал, положил обе руки на плечи Тютчева.

— Сказывайте, Алексей Иванович, — сказал он проникновенно, — какой у вас камень за пазухой: может ли что-нибудь стать препоной к слиянию наших тайных обществ? Даже если пустяки какие — говорите.

— А пожалуй, и не пустяки... — протянул задумчиво Тютчев. — Разные уж очень люди — ваши — южные и наши — славяне. Большинство славян — бедные военные небольших чинов, про которых собственные денщики говорят: «Мой-то живет с одного жалованья!» Есть у нас и комиссариатские чиновники и почтальонские дети, иные даже из крестьян.

— А кто имеет деревеньки и собственных крепостных — должен отпустить их на волю, не правда ли? Верно я слыхал? — спросил Бестужев.

— Обязательства пока нет, но добрый и умный человек — Иван Иванович Горбачевский, в пример прочим, едва получил в наследство именьице — крестьянам дал вольную и всю землю впридачу. А сам ведь гол как сокол.

— Этот Горбачевский и Борисов Петр и есть главное ядро славян?

— Они — стержень всего союза! — воскликнул Тютчев, — и Петр Борисов настолько пламенно и всецело посвятил себя делу революции, что это высокое призвание дало ему моральное право отговорить намедни от женитьбы своего близкого друга — Горбачевского. Борисов сказал ему, да и нам заодно повторил, поверьте, словно командир, на всю жизнь дал приказ: у нас, мол, отмеченных судьбой на подвиг, все силы должны пойти только на благо народное. Одна нам любовь — освобождение Отечества.

— Как он сказал? — вспыхнул Бестужев и тут же с чувством повторил: — Одна нам любовь — освобождение Отечества...

Он отошел к окну и задумался... Между стволами сосен, еще горевших от заката, белели солдатские палатки, доносилась негромкая песнь. Лес дышал нагретой за день смолой, на пруду, заросшем яркозеленым аиром, промелькнула узкая лодочка.

Бестужев все эти дни был в особом настроении: он получил письмо от родственника, которого посылал сватом к своим родителям с просьбой благословить его на брак с любимой девушкой. От этого свата пришел печальный ответ, что родители ранний брак Бестужева осудили решительно, вместо благословения наложили запрет и отказываются выделить ему какие-либо деньги, если он захочет настаивать на своем. Слова, только что услышанные Бестужевым, как бы подсказали тот вывод, который ему самому надлежало сделать...

— А разногласия у нас с вами все-таки возникнут, дорогой Алексей Иванович, — сказал Муравьев. Он подошел к Тютчеву, взявшему было фуражку, и на минуту ласково задержал его руку: — Разногласия вижу я

именно в том, что молодые ваши славяне стали слишком близко к солдатам. От преданных мне семеновцев знаю, сколь откровенно ведутся вольные разговоры не только среди фейерверкеров, но и с рядовыми, совершенно неподготовленными принять наши мысли. Это опасно, об этом хочу говорить с Борисовым...

В балаган без стука вошел денщик.

— Ваше высокоблагородие, — обратился он к Муравьеву, — идут к вам кто-то. Издаля видать.

Тютчев стал поспешно прощаться. Главари Васильковской управы дружески пожали ему руку.

— Прошу передать Горбачевскому, — сказал на прощание Муравьев, — я скоро приеду познакомиться с славянами лично, вот только в лагере осмотрюсь.

...Муравьев настолько серьезно отнесся к предстоящей встрече с членами новооткрытого Общества, что тут же поручил Бестужеву срочно переписать имеющийся у него «Государственный завет», недавно написанный под диктовку самого Пестеля. С этими выдержками из основных положений «Русской правды» и решено было в первую голову ознакомить славян.

Глава вторая

Алексея Ивановича Тютчева товарищи шутя прозвали «сватом» за настойчивые попытки скорейшего сближения обоих Обществ. Он устроил так, что Муравьев и Бестужев вскоре приехали знакомиться к Борисову в деревню Млинищи.

Славяне были предубеждены против богатства и дворянского гонора гвардейцев-южан. Им чудилось, что к бедным, незнатным артиллеристам, какими в большинстве являлись славяне, бывшие семеновцы должны отнестись свысока и капитан Тютчев — только счастливое исключение.

Васильковские вожди не застали славянских главарей дома, и сейчас Тютчев, по особому приглашению Муравьева-Апостола, взялся отвезти Борисова и Горбачевского к нему в лагери.

Ехали втроем в полковой бричке. Было начало сентября. Стоял ясный осенний день, и воздух был так

прозрачен и тих, что с окраины деревни, мимо которой проезжали, отчетливо доносился скрип украинского колодца-журавля. На одном конце у него болталось ведро для черпания глубоко стоящей воды, а на другом конце высокоподнятого шеста — грузило. Когда ведро опускалось в колодец, раздавался отчаянный скрип, словно кто звал на помощь.

Палатка Муравьева была издали заметна по высоким георгинам, которые с усердием поливал его денщик. Солдат весело оповестил, что подполковник Муравьев ждет гостей к себе.

Сергей Иванович принял новых знакомых с особым радушием, сразу разрушившим все воображаемые преграды, которые воздвигло между ними провинциальное офицерское самолюбие. Борисов бегло оглядел скромную обстановку палатки — ящики, покрытые украинскими плахтами, земляной пол, устланный полосатыми домотканными дорожками.

За вином и закуской, сноровисто поданными денщиком, разговор сразу пошел искренний и серьезный, и выяснилось незамедлительно, до чего оба Общества необходимы друг другу.

Муравьев умно, спокойно и доказательно обличал бессмыслицу действий славян в одиночку и торопил соединиться немедленно. Бестужев-Рюмин, видимо, сдерживался. Он почувствовал, что вразумительная, спокойная речь Сергея Ивановича для этих людей, уже много думавших и строгих к себе, гораздо убедительней его взволнованного красноречия, которое, знал он, особенно увлекает самых молодых.

Немногословный Борисов, а вслед за ним и Горбачевский никаких окончательных ответов на предложение Муравьева не дали, ссылаясь на отсутствие полномочий от общего собрания членов своего Общества. Расстались на том, что в ближайшее время необходимо встретиться возможно большему числу людей от обоих Обществ.

Вскоре встреча эта и произошла в хате Петра Ивановича Борисова, который стоял лагерем верстах в пятнадцати от Житомира, влево от бердичевской дороги.

Славяне заполнили не только большой кабинет Борисова, но и прихожую, откуда денщик вынес в чулан

вешалку, вместе со всем, что на ней было навешано. Сам он на всякий случай стал на стражу, чтобы о внезапном наезде начальства без промедления сообщить господам офицерам и они бы успели принять вид обычных слушателей лекции Борисова, большого знатока фортификации. Слухи о доносчиках уже волновали членов Общества, и они на случай сборищ заблаговременно условились о маскировке.

Собравшиеся долгое время ждали Бестужева и Муравьева. Их все не было. Молодые волновались, опять готовые заранее обидеться невниманием к ним гвардейцев.

Хата Борисова стояла поодаль от лагерей, и никакой шум военной походной жизни сюда не доходил. В низкие окна гляделись вишневые кусты и, запоздавшие цветением, последние осенние астры. Было везде хозяйственно и чисто, хотя рядом находились конюшня и хлев.

— Конь мирно ржет, свинка хрюкает — все наладились жить, как жили деды и прадеды, еще на тысячу лет вперед, а мы вот, злодеи, собрались потолковать, как скорее взорвать эту мирную жизнь, перевернуть все, — начал было Горбачевский.

— Знаешь, Иван Иванович, — прервал его Борисов, — я тут наших людей к сегодняшней встрече подготавливал, так слова нового мне сказать не пришлось. Сами все знают, к действию так и рвутся, не удержать...

— Бестужев идет! — раздались голоса, и тут же посыпались на него градом укоры за опоздание и нескрываемая досада, что пришел он один, без Муравьева-Апостола.

Михаил Павлович Бестужев, юношески нескладный, был несколько озадачен. Впервые перед ним оказалось сразу столько слушателей, которых предстояло ему во что бы то ни стало завоевать.

От имени Муравьева он извинился перед всем собранием за непредвиденную задержку его по службе. Обведя глазами молодые лица артиллеристов, полных напряженного ожидания, встретился на миг с умным, открытым взглядом Борисова, отметил заросшего волосами Горбачевского, который в нетерпении крутил ус, и заговорил горячо, не скрываясь, без всяких предисловий.

— Я пришел объявить вам о наших целях, пришел с предложением присоединить к нам ваш Славянский союз!

Он вскидывал свою тяжелую голову с несколько грубым профилем римского солдата, низколобого и стремительного; голос его с каждой фразой звучал все увереннее.

Он говорил о силе Южного общества, о готовности начать переговоры, об участии Второй армии, гвардейского корпуса и многих полков...

Он говорил о том, что было в действительности, и о том, чего еще не было, но чего он желал так страстно, что мечта уже казалась ему осуществленной.

Большинство славян уже после первой речи Бестужева сразу согласилось слиться с Южным обществом. Только отдельные голоса упрямо выкрикивали:

— Назовите главных членов Южного общества! Членов тайной Думы!

— Желаем знать дальнейшие планы подробнее...

— Какие меры будут приняты к введению конституции?

Бестужев с готовностью и жаром отвечал на вопросы, однако, помня пристыдивший его разговор с Пестелем, воздержался назвать членов Думы, дабы опять не допустить ребячества.

Он ушел, оставив славянам свой список основных идей «Русской правды» под названием «Государственный завет», и ввечеру всем славянам уже стала известна предполагаемая форма нового русского правления.

* * *

В скором времени состоялось еще совещание в квартире подпоручика Андреевича, тоже члена Славянского общества, — невысокого худенького офицера с лицом смышленого школьника, быстрого в движениях. Он слегка заикался, казался очень юным. Опять Муравьеву в последнюю минуту не удалось выбраться к славянам, и с капитаном Тютчевым снова приехал один Бестужев.

Он уже знал свою аудиторию и, как прирожденный оратор, чувствовал каждого человека. Словно все сердца соединялись невидимыми нитями с его сердцем, и он,

обращаясь к одним, был почти грозен, укорял других в слабости воли, восторженно молил третьих.

— Во имя любви к Отечеству призываю всех, — говорил проникновенно Бестужев, — без дальнейших объяснений, которые породят только новые пререкания, создадут новую отсрочку совместной плодотворной работы, предлагаю вам, друзья, выразить просто неограниченное доверие Верховной думе и соединиться с нами немедленно. Сроки близятся, время лагерей истекает. Возможно ли нам расстаться, не придя к соглашению?

Славяне заразились его волнением, его неистовой верой, и в ответ Бестужеву неслись со всех сторон возгласы согласия. Однако были и такие, которые все еще пребывали в недоверии и скептически настаивали: — Имена членов Думы?

Бестужев не отвечал на вопросы, и едва ли он их и слышал в своей горячке возвеличения Южного общества. Он перечислял разнообразные управы, уже существующие и только намеченные. Прерывистым от напряжения голосом называл эти управы: Каменская, Васильковская, Тульчинская, Московская, Петербургская, Киевская, Виленская, Варшавская...

Он говорил, что в Думу входят благородные люди, которые пренебрегают своим богатством и почестями, сопутствующими их карьере, что они готовы умереть за отечество, что они поклялись освободить Россию от позорного рабства.

В своем стремлении глубже и вернее убедить тех, кто сомневался в мощи Южного общества, Бестужев перечислял роты и полки, принявшие и только еще готовые принять участие в замышляемом перевороте:

— Третья гусарская дивизия Конного полка, многие командиры пехотных полков Третьего и Четвертого корпусов — все наши, — говорил он увлеченно.

Слова Бестужева ошеломили впечатлением грандиозности движения. Он объявил и то, чего, пожалуй, объявлять не хотел: многочисленное «Польское общество» готово разделить с русскими все опасности переворота.

От всех этих сообщений голова у славян пошла кругом. Немногие уже могли противиться всеобщему увлечению, однако Петр Иванович Борисов встал и сказал с внешним спокойствием:

— Мы обязаны посвятить свою жизнь прежде всего освобождению племен славянских, искоренению между ними вражды, и своих обязательств мы не вправе нарушить. Ваше требование подчиниться Думе, членов которой вы нам не открываете, нас смущает. Быть может, Южное общество считает нашу задачу — объединение славян — целью маловажной?

Бестужев стремительно шагнул к Борисову и, не дав ему договорить, взял его за плечо.

— Совсем напротив! — воскликнул он. — Соединение наших Обществ приведет и к желаемому вами великому славянскому единению. Преобразованная Россия ведь откроет и славянским племенам путь к свободе, к благоденствию.

Подняв правую руку вверх, как для присяги, Бестужев провозгласил:

— Россия, освобожденная от тиранства, освободит и Польшу, и Богемию, и Моравию, и прочие славянские страны. Она учредит в них свободные правления и объединит всех в федеративном союзе!

* * *

Горбачевский, придя домой, записал у себя в дневнике про этот замечательный день: «Энтузиазм Бестужева походил на вдохновение. Его уверенность в успехе восторжествовала даже над недоверием и осторожностью Борисова. Вера в силу Южного общества, надежда еще при жизни видеть освобождение отечества и других славянских народов — победили всех. Славяне, в общем пылу благородных страстей своих, согласились соединиться с Южным обществом и с сей минуты его правила почитать своими собственными».

Собирались еще много раз, знакомились ближе. Для удобства связи выбраны были посредники.

— Дух Васильковской управы, — сказал как-то Горбачевский Борисову, — нашел такой отголосок в сердцах наших молодых, что, я боюсь, он раньше времени увлечет их за пределы благоразумия, и малая искра вспыхнет пожаром...

И словно напророчил.

Один из офицеров объявил как-то на собрании, что

новый командир первой гренадерской роты Саратовского полка притесняет своих солдат выше всякой меры. До него этой ротой командовал член Славянского общества, всеми любимый капитан Спиридов. Новый командир, ограниченный и жестокий службист, боясь вредного воздействия на своих солдат, запретил им общение с бывшими семеновцами, а в Саратовском полку, как нарочно, числилось их немало. Как щепотка дрожжей подымает тяжелое тесто, так эти семеновцы вызывали в забитых ротах и полках брожение умов, возмущение жестокой солдатской долей. Юнкер Шеколла, большой черноволосый серб, член Славянского общества, и рядовой Федор Анойченко, бывший семеновец, подняли всю роту на бунт:

— Осадить ротного!

— Нет, совсем сменить его!

И по призыву Анойченко рота как один человек обратилась к полковому командиру с требованием сменить жестокого ротного. Единодушие, уверенность, спокойная твердость солдат произвели нечто совершенно неслыханное в военной среде: полковой командир струсил и поспешил исполнить предъявленные ему требования. Как только он сменил ротного — все успокоилось.

Однако солдаты боялись коварства начальников, тайной расправы с товарищами-саратовцами и были крайне озабочены их дальнейшей судьбой. С последними новостями об этом деле ждали сегодня к Борисову капитана Тютчева с подпоручиком Андреевичем, но Борисову хотелось непременно до их прихода поговорить с Горбачевским, своим ближайшим другом.

Этот Иван Иванович Горбачевский был сыном мелкого провинциального чиновника, служившего в казенной палате. Отец не мирился с крепостным правом и в отвращении к нему воспитал и сына.

Один из крепостных людей Горбачевского, отпущенных им на волю, столяр Василий остался жить с ним, открыл при скромном, но просторном доме Горбачевского столярную мастерскую. Сюда к племяннику Василию и приехал Осип Карпенко, бывший крепостной человек помещика Якушкина. Карпенко стал работать с племянником в мастерской и сам оказался отличным столяром.

Горбачевский, узнав поближе Осипа Карпенко, очень с ним сблизился и собирался хлопотать о прикомандиро-

вании его к Киевскому арсеналу вольнонаемным рабочим, прямо под начало Андреевичу, который в арсенал этот был только что назначен служить.

Горбачевский отправился в столярную, где у него стоял собственный маленький верстачок.

Осип Карпенко и Василий только что окончили работу. Платяной шкаф с резьбой стоял посреди мастерской и словно любовался собой, пока Василий покрывал его лаком.

Бывший партизан Осип Карпенко, покуривая, сидел на верстаке и оживленно что-то рассказывал. Он попрежнему носил бакенбарды, пробривая подбородок до глянца. Выбитый французами глаз прикрывала та же черная повязка, которую он носил еще у Якушкина. И Карпенко и Василий почтительно поздоровались с Горбачевским, который, не желая мешать их оживленному разговору, тихонько пробрался к своему верстаку и стал что-то строгать.

— Продолжай, прошу тебя, Осип, — сказал он, — я тоже хочу послушать. О чем ты?

— Об одной помещице, Иван Иванович, по соседству жила... На портрете красавицей намалевана, цветок нюхает, — поглядишь, мухи не обидит. А ведь такая тиранка была, душегуб — одно слово! Бессонница, вишь, ее одолевала, так ведь что надумала! Пусть под окнами у ней порют, под вопли крепостных к ней будто сон приходил. И что же — пороли... Только нашлись люди — ту барыню обдурили! Виновные сговорились с палачами из дворни, приставленными для сечения, что едва один розгу в руки берет — другой воем завоет. Так вот и пошло у них: розги свистят, человек кричит, а спины — целые. Барыня же свое снотворное получала.

— Ох, и всыпал бы я этой барыне, да горячих! — сказал в сердцах Василий, оторвавшись от работы.

— И без тебя хватило ума, — усмехнулся партизан, — не в очередь эта помещица кучерова сына забрила да раньше того дочь у него утюгом покалечила. Вот поехала барыня в фаэтоне на прогулку, лошади у кучера понесли!.. Да так ловко понесли, что сам он с козел целый спрыгнул, фаэтон — вдребезги, а заместо барыни — мешок костей.

— Так ей и надо, — наставительно сказал Василий.

— Так всем им и будет, — подтвердил злобно партизан.

Горбачевский внимательно выслушал рассказ до конца.

— Чего это ты о помещице вспомнил, Осип? — спросил он.

— А потому, Иван Иванович, что от родных своих письмецо получил из Белой Церкви... Одно к одному и пришлось. Родня моя — крепостные графини Браницкой, Потемкина светлейшего племянницы. Богачка несметная, а жадна. Людей своих норовит в розницу продавать, как ей повыгодней: отца — в одни руки, мать — в другие, детей — кого куда. Ищи, собирай семейство! Вот и надо мне съездить туда, Иван Иванович, помочь чем... Да и мозги мужичкам просветлить...

— А ты бы, Осип, сперва солдатикам в Арсенале просветлил головы, может, дело скорее пойдет? Военные подымутся, да и вовсе от помещиков вызволят...

Осип присвистнул:

— «Доки сонце зийде — роса очи выисть», так по нашей по украинской поговорке говорится, Иван Иванович. Нет уж, съезжу пока сам к госпоже графине.

В мастерскую вошел денщик Борисова, веселый румяный солдат:

— А я к вам, Иван Иванович! Обязательно просит вас мой барин незамедлительно прибыть, ждут к себе капитана Тютчева и поручика Андреевича.

Понизив голос, хотя все тут были свои, денщик добавил:

— По саратовскому делу известия!

— Сейчас иду, — отозвался Горбачевский и обернулся к Карпенко, — прошу тебя, наведайся к Борисову через часок.

Быстрыми шагами прошел он по лесной дорожке к хате Борисова и увидел его на крыльце.

— Что же Тютчев? — спросил Горбачевский.

— А вот должен прибыть с часу на час. Важные вести привезет.

Друзья вошли в хату. Борисов протянул гостю чубук, сел на свою походную койку, а Горбачевский расположился у окна, откинул со лба длинные волосы, задымил.

Первое впечатление он производил смешное: усы, подусники, бакенбарды, длинные волосы создавали впечатление чрезмерной лохматости и не сразу обнаруживались на этом своеобразном лице спокойные прекрасные глаза и умный лоб.

— Невероятна эта история в Саратовском полку, — сказал Горбачевский, — ведь добились-таки солдаты своего, заставили сменить ротного! И пока не слыхать, чтобы кого из них запороли или даже забрали под арест.

— Надолго ли останутся целы? — с тревогой глянул Петр Иванович. — Ты знаешь, как привержен к нам фейерверкер Зенин, с которым на досуге я занимаюсь геометрией? Через него я доподлинно знаю о настроениях всех солдат. Вот вчера он говорит: очень люди взбудоражены, ежели потребуется, все встанем в подмогу саратовцам. А другой фейерверкер — Кузнецов — уже напрямик режет: «Хватит с нас бессрочной солдатской каторги».

Горбачевский встал.

— Какая победа, какая победа! — повторял он радостно.

— Сядь, Иван, смирно, — пригласил Борисов. — Разговор у нас есть важный...

— О слиянии с Южным обществом? — подхватил Горбачевский. — Я, Петя, все эти дни хочу тебя спросить, скажи откровенно, что тебе в речах Бестужева не понравилось? Что тебя заставляет быть против соединения немедленного? Подумай только, какова сила Южного общества: управы его рассеяны по всей южной армии. И все это только часть огромного, охватившего всю Россию заговора, который управляется Верховной думою.

— Мне, к примеру, уж то не нравится, — ответил Борисов, — что когда я спросил Бестужева — кто же именно эту Думу составляет, он мне отрезал: «Правила Общества мне запрещают их обнаружить». Это значит требовать от нас подчинения неизвестным нам людям? Но во всем прочем я весьма южан одобряю. Вот тебе и доказательства...

Борисов взял в руки начатое им письмо к брату Андрею и прочел: «Целью сего Общества есть введение

в России чистой демократии, уничтожающей не только самодержавную монархию, но и все сословия, и сливающей их в одно сословие — гражданское».

— Так чего же еще тебе от них надо? — воскликнул Горбачевский. — Не мы ли сами эту программу мучительно нащупывали? И вот, встретясь с Южным обществом, обрели ее уже в готовом виде. Только вспомнить, какой был недавно, после великих побед двенадцатого года, полет надежд и мыслей, какая жажда просвещения и свободы тогда стояла в воздухе! И чем все это кончилось? Словно ядовитые грибы, вылезли новой формации службисты, и воцарилась фрунтомания. Выразительно ее иллюстрирует исторический парадокс цесаревича: «Плох тот солдат, который дотянет свой срок!»

— Сказано им и покрепче, — печально усмехнулся Борисов. — «Убей двух, поставь одного». Да мало ль у нас замашистых офицеров, от которых только и слышишь — влепить сотню, две, три! Побои — единственный двигатель военного механизма... А давно ли солдаты эти победителями вернулись на родину?

Они помолчали. Борисов с беспокойством думал о том, что ведь в его силах было остановить Шеколлу, предупредить опасный бунт в первой гренадерской роте... Какие-то вести привезет Тютчев?

Горбачевский, отставив потухший чубук, сидел облокотившись на подоконник и задумчиво щурился на давно уж примелькавшиеся домишки деревни Млиници, на косогор, ведущий к речке. Он тоже мучился мыслью — как бы история в Саратовском полку, так удачно свершенная, не повернулась большой бедой, от которой в первую очередь пострадают зачинщики.

В передней раздался деликатный кашель. Борисов подошел к дверям.

— Кто тут? — спросил он. — А, это ты, Зенин! Входи, братец!

Фейерверкер Зенин, старослужащий солдат с нашивками на рукаве, вошел в комнату и поздоровался за руку, как было принято у славян, когда они встречались с нижними чинами без свидетелей.

Большая любознательность к математике отличала этого Зенина, и, занимаясь с ним геометрией, Борисов кончил тем, что «открыл» ему Общество.

— Он не подымет роту, как Анойченко, — сказал Борисов Горбачевскому, кивая на Зенина, — но я уверен, что когда начнется дело — уже не отступит и жизни своей не пощадит... Присаживайся, Иван Никитич, — предложил он приветливо Зенину. — Я рад, что ты пришел, давно хочу тебя за хитрость твою похвалить! С выбором солдат обучаешь. Кому только табличку умножения даешь, а кому и кое-что впридачу. Это правильно. Мне бы самому невдомек так разобраться в людях, как это тебе удалось. Насквозь ребят видишь.

— Без хитрости в таком деле нельзя, — ответил серьезно Зенин. Он был высок ростом, скуласт, похоже — из вотяков. При разговоре острым вниманием буравили собеседника его небольшие, глубоко сидящие глаза. Он скромно подсел к столу.

— Слышал я, Петр Иванович, что капитан Тютчев должны к вам приехать. Очень наши солдатики насчет Саратовского полка беспокоятся.

— О подробностях от капитана Тютчева сам скоро услышишь. Расскажи, что нового у нас? Кого всех лучше солдаты слушают?

— Всех ретивее фейерверкеры Гончаров и Фадеев действуют. Немолодые оба, к четвертому десятку подходят. Крепкие люди. Все военные кампании проделали и разговоры ведут осмотрительно, как вы, Петр Иванович, давеча нам наказывали. Сейчас на одно напираем: держись друг за дружку! Чем плотнее сомкнемся, тем солдатская доля верней изменится, — прямую, значит, связь устанавливаем. Со всем сердцем солдатики соглашаются, потому, говорят, солдату все одно помирать, а тут хоть не задаром ляжем!

— Все-таки немало слабодушных, таких, что горе в вине топят, этих вовсе обходить надо, — строго сказал Борисов.

Зенин выпрямился и ответил скороговоркой, словно отрапортовал:

— Будьте покойны, Петр Иванович, соображение имеем!

Борисов положил руку Зенину на плечо и многозначительно вымолвил:

— Значит, Иван Никитич, ежели бы у нас что-нибудь вправду началось?..

Зенин прямо глянул в глаза ротного командира и твердо ответил:

— Дай-то бог, Петр Иванович, только б начать.

В дверях показался денщик Борисова и, чему-то улыбаясь, спросил:

— Карпенку-партизана прикажете впускать, ваше благородие?

— Пусть войдет, — сказал Борисов, — а ты, братец, на целый вечер свободен, иди куда хочешь.

— Покорнейше благодарим, — еще больше повеселел денщик и, впустив Карпенку, тотчас вышел из комнаты. Через минуту он снова явился и выпалил, как из ружья:

— Гости к нам!

Горбачевский кинулся в сени и принял долгожданного Тютчева в объятия. С ним были еще два члена Славянского союза, совсем еще юнцы, — Яков Максимович Андреевич, подпоручик восьмой артиллерийской бригады, и подпоручик Бечасный — важный, верно от чувства ответственности, — он заведовал солдатской школой и по примеру незабываемого Владимира Раевского составлял ученикам прописи в духе свободомыслия.

Алексей Иванович Тютчев, бывший гвардеец-семеновец, выделялся некоторой франтоватостью среди этих скромных товарищей-артиллеристов и держал себя как старший.

Прежде чем начать говорить о том, что всех интересовало, он внимательно поглядел на Зенина и Осипа Карпенко.

— Свои люди, — объяснил Борисов, — наши помощники. Это мой доверенный. Познакомься. Фейерверкер Зенин.

Тютчев перевел взгляд на Осипа Карпенко.

— А это партизан двенадцатого года — Карпенко. Ума-разума довольно набрался, единых мыслей с нами... Однако не томи нас, Тютчев, все ли у саратовцев благополучно?

Тютчев уселся на табуретку. По обеим его сторонам, как адъютанты, выстроились приехавшие с ним подпоручики. Перед ним, превратившись в слух, стояли Борисов и Горбачевский. По знаку последнего партизан и Зенин тщательно задернули на окнах темные занавески.

— Всем известно, — начал Тютчев, — что по первому зову рядового Анойченко и юнкера Шеколлы вся рота вспыхнула, как порох. Дальше тоже известно: солдаты без шума, без крика двинулись каменной стеной на своего полкового, требуя то и это... И полковой не замедлил все выполнить.

— Ну, а дальше что?!

Тютчев привстал и, не скрывая торжества, сказал:

— А дальше то, что полковой все дело начисто замял. В полку ни дознаний о зачинщиках, ни разговоров о порке — тишь, гладь и божья благодать, как говорится. Начальники струсили, а солдаты, по тайному приказу Муравьева, — все отменного поведения...

— Самое замечательное, — добавил Горбачевский, — что по одному слову Анойченко, словно по щучьему велению, рота встала, а по другому — успокоилась.

— В каких годах Анойченко? — спросил Борисов.

— Ему лет тридцать пять, — ответил Тютчев. — С двенадцатого года в службе. Родом из экономических крестьян. Поспел и в заграничных походах и в семеновской истории отличиться, был в третьей фузилерной роте, которой командовал сам Муравьев Сергей Иванович. Вот недавно Анойченко с ним, старым своим командиром, здесь опять и повстречался. Затяжной бунт в полку грозил смешать все расчеты Южного общества, вот Сергей Муравьев и отдал тайный приказ: прекратить беспорядки в тот самый миг, как только начальство пошло на уступку.

— Этот Анойченко, видать, голова! — воскликнул партизан. — Едва узнал, что большое дело сорваться грозит, сразу солдат урезонил. Коли что — такой и весь полк поднять сможет!

— Скорей бы начать нам, Петр Иванович, — сказал сдержанный Зенин, — ведь и мы готовы костьми лечь за своих командиров...

Осип Карпенко резко прервал Зенина:

— Не за командиров нам помирать, сколь бы они хороши ни были, — за права свои! За то, чтоб людей с собаками не ровняли. Надысь я письмо получил: помещица крепостную семью продала — всех в разные руки...

Подпоручик Андреевич вдруг шагнул к партизану, крепко обнял его и, растроганный, сказал, слегка заикаясь:

— Вот ус-строю тебя к себе в Арсенал, там как раз такой, как ты, нужен.

— Спасибо на добром слове, но совесть мне не дозволит. Я твердо решил своим землякам-мужичкам в первую очередь помочь.

Партизан остро глянул своим единственным глазом в молодое, хорошее лицо Андреевича и с особым чувством добавил:

— А коль скоро ваши будут готовы — может, и мои деревенцы доспеют.

Борисов рассмеялся, пожал партизану обе руки:

— В добрый час, Осип!

И, обратившись к Зенину, добавил:

— Пора идти в роту. Успокой ребят насчет судьбы саратовцев. Да прихвати с собой и кавалера. — Он ласково подтолкнул Карпенку вперед. — Столяр он. Найди ему по вольному найму неотложную работу. Пока здесь — пусть себе на дорогу, а нашей роте на пользу поработает. А про Анойченку расскажи сам кому знаешь.

Фейерверкер, а за ним партизан попрощались с офицерами и ушли.

Оставшиеся в хате Борисова пятеро офицеров взволнованно молчали: горячая приверженность Карпенки и Зенина тому же правому делу глубоко тронула их.

— Т-твой ученик этот партизан? — спросил Борисова Андреевич.

— Обстоятельства собственной жизни его обучили, это еще дороже стоит, — отозвался Борисов. — Когда гвардию поспешно двинули под Вильно в поход, всей его судьбы «поворот вышел», как он сам говорит. Глаза у него открылись.

— В чем же дело? — присоединился Бечасный.

— А вот слушайте. Начальники после семеновской истории, как известно, пуще прежнего лютовать стали. Кроме того — провиант гнилой, в походе и вовсе люди голодали — котлы запаздывают. Рота, где был Осип, не стерпела, стали начальство поругивать. Нашлись гниды, генералу донесли. Подскакал генерал: «Смир-рно!» И приказал яму рыть. «Кто всех громче роптал?» До-

знался. Ну, коротка расправа — засек. Мертвых тут же землей засыпали, а вот у нашего партизана, — как он говорит, — мозги прочистило... Запомнил человек.

Подпоручик Бечасный, сбросив свою напускную важность, дал волю молодому непосредственному чувству.

— И подумать, Петр Иванович, — обратился он к Борисову, — ведь такие люди, как Карпенко, Зенин, Анойченко, — уже не исключение. Члены нашего Общества Кузьмин и Сухинов в своих частях объединили немало солдат.

— И теперь ясно, когда пробьет час, все они пойдут с нами не как рабы, а как боевые товарищи. — Темные глаза Борисова осветились глубокой мыслью, выдавая его заветные мечты.

Тютчев тоже заметно волновался. Чуть ссутулившись, он шагал по комнате взад и вперед, словно собирался с силами. Наконец он остановился перед Борисовым и Горбачевским, встряхнул головой и твердо сказал:

— Скоро лагерям конец. Надо еще в последний раз собраться у Андреевича, и чтобы всем нам — уже без всяких сомнений... А у вас с Горбачевским они еще есть. Надо, чтобы безоговорочно было единое тайное Южное общество.

Борисов бросил взгляд на Горбачевского, который сидел глубоко сосредоточенный, укрытый своими лохматыми волосами, и обратился к нему, отвечая в сущности на слова Тютчева:

— Сомнения нас гложут, Иван! Это точно. Ведь мы же клялись отдать силы на братский союз славянских народов...

Андреевич, заикаясь и краснея, прервал:

— Мы к-клялись, имея в виду мечту, весьма далекую, а нам пред-длагают дело живое — спасать от позора и рабства свою родину, спас-сать без промедления... Да ведь это и нашу цель охватывает. Ведь она же вход-дит в общую задачу восстания...

— Андреевич прав, — сказал Горбачевский, — давай, Петя, больше к этому не будем возвращаться.

— Хорошо, но у меня, должен признаться, есть и другое сомнение, — Борисов говорил спокойно, с уверенностью. — До меня дошло, что Муравьев-Апостол и Пестель считают крайне опасной такую близость с солда-

тами, как это установилось среди нас. Они делят их на «гласных» и «безгласных». С первыми допускается просвещающий разговор, но большинство они полагают вести за собой, как стадо.

Горбачевский гневно сдвинул мохнатые брови:

— Думаю, как и ты, — необходимо, чтобы солдат знал, за что именно пойдет на бой, на смерть!

— Я не устаю твердить моим фейерверкерам, моим друзьям-помощникам, — подчеркнул Борисов, — чтобы они отчетливо внушали солдатам: «Вы — основание всему».

— Еще бы! — воскликнул Андреевич. — На солдатах и дер-ржится правительство, столь к ним тираническое. Стоит солдатам во всю русскую силу пожел-лать его свергнуть — и свергнут.

— И благодаря нашему братскому к ним отношению, — продолжил Горбачевский, — с нами заодно солдаты полков: Саратовского, Тамбовского, Пензенского, Пятнадцатого и Шестнадцатого егерского... И две артиллерийские бригады.

— Друзья мои, вы ошибаетесь относительно руководителей Южного общества, — сказал огорченно Тютчев, — они солдат не чуждаются. Я знаю фейерверкеров, которые весьма усердно ими просвещаются, уже не говоря про Анойченко, готового вождя восстания...

— Федор Анойченко — исключение. Это «гласный». Но будешь ли ты отрицать, что Пестель считает правильным возбудить вольный дух в солдате лишь в самый канун восстания? — спросил резко Борисов.

— Заверяю честью, — вспыхнул Тютчев, — исключительно из осторожности. Пестель знает, как в последнее время следят за нашим движением. Однако вернемся к предложению Южного общества. Не споря о различиях, которые, конечно, в дальнейшем устранимы, возьмем, что у них с нами общего...

— А общее есть! — прервал Горбачевский. — Как мы, так и они не желают тянуть ярмо бессловесных скотов под кнутом самодержавия. Они, как и мы, решили повернуть штыки против этой чертовой власти. Чего же ждать, чего ж медлить? Воедино все силы, и — шагом марш...

— И наша доблесть слав-вян как раз в том и состоит, чтобы взять на плечи труд-днейшее, — сказал, заикаясь,

Андреевич, — для освобождения родины нанести кому надо уд-дар.

— Значит, и сами — на смерть? — Борисов испытующе оглядел присутствующих.

— А что ж, Петр, коли надо, пойдем, — просто ответил за всех Горбачевский.

* * *

Концом, достойно венчающим эти собрания, клятвы и взаимные уверения обоих Обществ, оказался вечер в балагане Муравьева в один из последних дней перед выступлением из лагерей.

Петр Иванович Борисов пришел уже с самыми добрыми намерениями, желая задать только несколько дополнительных, выясняющих устав Южного общества, вопросов. Однако он внутренне сразу съежился: так ему с первого взгляда не понравился командир Ахтырского полка Артамон Захарович Муравьев, родственник Сергея Ивановича. Артамон был несколько грузный, толстощекий человек с круглыми, блестящими, словно вставленными глазами без всякого выражения. Хотя и не новоиспеченный гусар, он, казалось, свою нарядную форму надел впервые, — так кичился ею перед скромными армейцами.

Артамон не говорил, он извергал страшные клятвы, суля собственной кровью добыть России свободу. Ему в азарте не уступал юркий капитан командир 5-й конной роты — Пыхачев.

— Я никому не позволю выступать первому за освобождение отчизны от тирана! — кричал он. — Эта честь принадлежит моей Пятой конной. Да, я начну, я!..

Веденяпин, подпоручик 9-й артиллерийской бригады, худощавый, с лицом, тронутым оспой, человек ума скептического, иронически проворчал:

— Подобны недолговечию ракет сии вспышки геройства. Помолчать бы до дела...

Но Артамон своим сиплым голосом покрывал все возражения.

— В августе двадцать шестого года император будет производить смотр третьему корпусу. Вот тут и решится судьба деспотизма! Ненавистный тиран падет под на-

шими кинжалами! И, развернув знамя свободы, мы двинемся!..

— Москва и Петербург с нетерпением ждут восстания войск, — подтвердил, вскакивая с места, Пыхачев. — Наша конституция навсегда утвердит благоденствие народа, потому что...

Бестужев решительным жестом остановил Пыхачева:

— Новые члены нашего Общества должны узнать: пока конституция не получит настоящей силы, пока она не окрепнет в сознании новых граждан, заниматься внешними и внутренними делами страны будет так называемое «Временное правление».

— Сколь продолжительно? — спросил озабоченно Веденяпин.

— Возможно, и десяток лет, — заметно недовольный заданным вопросом, отрезал Бестужев.

Славяне встрепенулись.

— Какие гарантии предлагаете? Что будет порукой в том, что один из членов «Временного правления», избранного только войском и поддерживаемого штыками, не похитит вновь самовластие?

Бестужев вспыхнул.

— Безобразные мысли! — воскликнул он, сверкая глазами, — поистине безобразные. Мы, которые уберем в некотором роде законного, потерпим ли власть похитителя? Никогда!

Тут спокойный, чуть насмешливый голос Петра Ивановича Борисова напомнил всем пример исторический:

— Хотя сам Юлий Цезарь убит был среди Рима, пораженного его величием и славой, но все же над убийцами его, над пламенными патриотами, восторжествовал малодушный Октавий, юноша восемнадцати лет.

Бестужев-Рюмин поднялся и заговорил с горячим убеждением, как бы втолковывая неоспоримое:

— Только что приведенный пример о замене Цезаря ничтожнейшим, но самовластным правителем ярче всяких слов подтверждает именно необходимость строгой охраны только что завоеванных народом прав, завоеванной молодой свободы. Для этого необходима твердая, единая, неколебимая никакими распрями власть. Эта власть и защитит для народа лучший гражданский образ

существования. Уместно ли, друзья, судите справедливо, торговаться о сроках жизни «Временного правления», когда защиту всего дела свободы мы вручим членам нашего Общества, самым проверенным, самым преданным этой свободе.

Рядом с Бестужевым встал Сергей Муравьев и договорил за него словами, полными задушевности и искренности:

— Заверяю вас, братья, не власти мы ищем, не почета и богатства, — мы хотим единственно счастья народного. За благо моей Родины, за свободу ее, я клянусь положить свою жизнь.

С просветленным лицом он высоко вскинул правую руку. За ним подняли руки все присутствующие.

Бестужев вдруг сорвал с шейной цепочки образок, вышитый его кузиной, со слезами поцеловал его, передал другим. Все целовали образок, клялись.

* * *

Горбачевский в этот день записал: «Невозможно изобразить всей торжественности трогательной сцены... Чистосердечные, торжественные, пламенные клятвы смешивались с криками: «Да здравствует конституция! Да гибнет различие сословий! Да гибнет дворянство заодно с царским саном!»

А Бестужев глубокой ночью заканчивал подробное письмо Пестелю, не замечая оплывающей свечи. Он писал:

«Среди новых наших членов Общества — присоединившихся славян — пятнадцать человек дали подписку: когда понадобится, нанести тирану удар...»

Глава третья

Вятский полк был расквартирован в Линцах, местечке Подольской губернии, принадлежавшем князю Сангушко. Кругом стоял густой лес. Командир Павел Иванович Пестель занимал одноэтажный домик на площади против экзерцирхауза. К прежнему убранству комнат в Туль-

чине прибавились полки во всю длину стен. Здесь вплотную стояли книги, всего более содержания политического.

— Чего только не прочли вы, Павел Иванович, и притом на всех языках, — с восхищением говаривал Пестелю майор Лорер, недавно переведшийся из Петербургского гвардейского полка в Вятский. Имение в Херсонской губернии, полученное им в наследство, было в столь расстроенном виде, что не давало средств для продолжения службы в гвардии. Оболенский, принявший Лорера в Северное общество, посоветовал ему ехать прямехонько к Пестелю, которому отправил письмо о нем с наилучшей рекомендацией.

Новый сослуживец, и притом товарищ по тайному обществу, очень понравился Пестелю с первого раза. При ближайшем знакомстве он стал искренним другом.

Мать Лорера была грузинская княжна Цицианова, а отец — француз, и, по определению товарищей, Лорер счастливо соединял в своей персоне лучшие черты обеих наций. Веселый, общительный, рассказчик с настоящим литературным дарованием, он обладал непосредственным и добрым характером. С детства научившись говорить по-украински у старой няньки, он на всю жизнь сохранил мягкое произношение — приятно «гакал», что придавало легкий юмор и обыденному разговору.

Зная многие иностранные языки, на всех он говорил одинаково плохо, но живописно и талантливо. Писал же он просто превосходно. Повести его, еще не напечатанные, ходили по рукам, вызывая всеобщее одобрение.

В тайное общество привела его не столько логика революционной мысли, сколько горячее чувство протеста против царившего вокруг бесправия. Пестеля майор воспринял, по собственному уверению, «как замечательнейшего человека всех времен и народов», и благоговел перед его «Русской правдой», поняв все ее великое значение.

Пестелю была большой отрадой эта высокая оценка дела его жизни, и когда приходилось ему уезжать, то на руки Лорера сдавал он свою «Русскую правду» на хранение.

— Уж я-то сховаю ваше детище, догляжу его, як добрая нянька, — говорил Лорер, смеясь искрящимися карими глазами.

— Глаза ваши веселые, Николай Иванович, а представьте, до странности напоминают мне совсем другие, пожалуй, даже печальные, глаза красавицы Россет, приятельницы Пушкина, — заметил как-то Пестель.

— Та то ж моя родная племянница, — обрадовался Лорер сравнению, — Александра Осиповна.

При дружеских отношениях у Пестеля с Лорером была в их разговорах тема, которая вызывала сильное раздражение у Пестеля, а у Лорера — тревожное опасение за друга.

Лорер питал непреодолимую антипатию к капитану Майбороде, считая его человеком самых низких душевных качеств, на что не однажды указывал Пестелю. Лореру было известно, что капитана заставили уйти из Московского полка за «штуку», которую он сыграл с одним из товарищей, вручившим Майбороде на покупку лошади тысячу рублей. Майборода, вернувшись из отпуска, уверял, что купленная лошадь внезапно пала, и денег не возвратил... Кроме того, был он с солдатами крайне груб и на жестокие наказания щедр. Предупреждающие слова Лорера, однако, не насторожили Пестеля.

Предатель, уже распознанный членами тайного общества, некий помещик Бошняк, ботаник-любитель, человек вкрадчивых манер, был по своему поведению резко противоположен Майбороде. Вероятно поэтому Пестель, склонный к абстрактным обобщениям, невольно мыслил образ предателя, исходя из качеств этого Бошняка. Неприятные, но чуждые подобному представлению свойства Майбороды не внушали Пестелю подозрений, тем более что Майборода открыто проявлял революционную ревностность и только намедни принял в Общество, как выразился он, «преданного нашим идеям» некоего Старосельского.

Сейчас, приехав из Петербурга, Пестель постарался присмотреться к Майбороде глазами Лорера: огромного роста мужчина, массивный, но вместе с тем всегда подтянутый, ретиво любящий службу, — он, как и раньше, ничего подозрительного не являл собою. Был первобытен по натуре и ограничен, что вовсе не являлось недостатком, если иметь в виду, что Пестель предназначал его для слепого исполнения своей воли. В полку Пестель та-

ких людей решительно считал полезными. Вот почему он и просил генерала Киселева, своего начальника штаба, из 34-го егерского перевести к нему в Вятский полк именно этого штабс-капитана Майбороду. И Пестель с полным доверием дал Майбороде важное поручение:

— Будете нынче в лагере с людьми, действуйте в нашем смысле на умы. Время! — подчеркнул он. — И давайте мне ежедневно отчет о ваших успехах.

Майборода смотрел Пестелю прямо в глаза вовсе не подобострастным, а только готовым к исполнению, понимающим взором. И это тоже располагало Пестеля к нему.

В августе Василий Львович Давыдов получил потрясающее предложение от самого начальника военных поселений на юге, генерала графа Витта, принять его в члены Южного общества. Об этом событии Давыдов тайным образом уведомил Пестеля. Лорер был послан в Тульчин привезти Алексея Петровича Юшневского на общий совет по этому поводу.

Приехал дорогой друг Алексей Петрович, правая рука и верный помощник. С ним и добрая жена его Мария Казимировна, женщина большого сердца, по веселому нраву как бы вечно пребывающая в поре ранней юности. Остановились оба в одноэтажном домике Павла Ивановича.

Алексей Петрович Юшневский, генерал-интендант Второй армии, был знаменит своей неподкупной честностью, явлением редчайшим, особенно в среде провиантских чиновников, куда он попал по службе.

— Он, истинно, у нас белый медведь среди буреньких, — смеясь говорили про него товарищи.

Был Юшневский возрастом старше других членов Общества. Крепко сбитый, смуглый, коренастый, с большими, навыкате, серыми глазами, он никогда не улыбался, даже когда шутил сам. Бороды и усов он не носил, виски зачесывал назад и вверх, что еще увеличивало и без того большой лоб. Характер у Юшневского был серьезный и ровный, он умел привлекать людей, внушая им, как и его жена, особенное к себе доверие.

— Я вас с вашими делами пока оставлю, — сказала Мария Казимировна, — я пойду в город. Так ты, Алеша, одобряешь мой «польский план»?

— Да, да, обязательно возобнови свои знакомства! — сказал Юшневский и, когда она ушла, собрался было пояснить Пестелю, что это за «польский план». Но в комнату вошел денщик Пестеля Степан Савченко с подносом, на котором стояли старинный штоф и две чарки. Юшневский, отведав сливянки, заговорил, когда денщик вышел:

— В городе есть польки — «сестры ордена милосердия», старинные знакомые Марии Казимировны. В случае необходимости эти сестры — вернейшая нам подмога. Они и за границу переправить смогут что надо и кого надо или так укроют, что никакие царские псы не найдут. Как и мы, они ненавидят Александра за двуличность и насилие, плохо прикрытое либеральной фразой.

— Да ты что... — смутился Пестель, — ужели жене открылся?

— Очень я похож на болтуна, — проворчал Юшневский, — помимо устава Общества, налагающего на каждого из нас безмолвие, и сам-то я не жажду обременять жену столь опасными сведениями. Живем ведь как на вулкане. В случае чего, если б и ее допрашивать вздумали, она, по совести, ничего в точности сказать не может. Но вот душой многое чует...

— Правду ты сказал, Алексей Петрович, живем мы на вулкане, — подтвердил Пестель, — вот-вот взорвемся. И тебя я вызвал экстренно, за мудрым советом. Вообрази, не кто иной, как сам граф Витт, набивается к нам в члены Общества. В письме намекает на пользу, которую может принести его участие: сорок тысяч штыков! Да сам прочти, вот присланное Давыдовым письмо.

Пока Юшневский читал, смуглое его лицо не отражало никаких чувств. Дочитав, он сурово вымолвил:

— Все эти сорок тысяч штыков направлены на гибель революции, да и нам, грешным, в спину. Не обольщайся, Павел Иванович, ни минуты, ведь линия эта идет через помещика Бошняка, — ну, а Бошняк ведь известно кто.

— Бошняк мелкий негодяй, генерал Витт негодяй покрупнее, — согласился Пестель, — но сорок тысяч штыков надо бы попытаться перехватить из его рук в свои.

Юшневский со всей свойственной ему силой восстал, не колеблясь, против предложения Витта. Глядя на Пестеля своими выпуклыми светлыми глазами, он выразительно говорил:

— Кроме того, что сватом здесь этот Бошняк, кто не знает коварства Витта? В настоящую минуту он должен отчитаться в нескольких миллионах рублей, вот и надо ему оправдаться по поводу раскраденных сумм. Решил подладиться к правительству, предав нас, связанных как кур, по рукам и ногам, а наше доверие хочет снискать, предавая своих подручных. Ты, Павел Иванович, последнюю строчку прочти повнимательней. Витт предупреждает нас о каком-то изменнике: «Советую быть осторожными, ибо в вашем Обществе есть человек близкий — и предатель».

С пытливостью уставясь на Пестеля, Юшневский спросил его в упор:

— А как, Павел Иванович, выполняет твое поручение Майборода или нет? Узнает он, наконец, каковы в твоем полку настроения? Дух солдат? Ведь близятся крайние сроки, что же тебе он сообщал по этому поводу?

— Никаких нет от Майбороды сообщений, — сумрачно ответил Пестель, — он меня теперь избегает, в разговоре увертывается. И вообще, признаться, капитан этот мне вдруг омерзел...

— Упаси тебя бог показывать ему это сейчас. Его теперь на узде держи. Я уверен, что, говоря о предателе, именно Майбороду, и на сей раз справедливо, указывает нам Витт. Повторяю: пред большим начальством он хочет выслужиться, потопив нас, а для снискания доверия нашего — не прочь утопить эту гнусную Бороду. Надо ожидать, что Витт не замедлит представить царю свой донос, поскольку мы предложение его отклоним. Участие в делах Общества нужно ему было только для получения последних сведений.

— А насчет Майбороды требуется все-таки прямое доказательство, а не только голое предположение, — упрямо сказал Пестель.

— Найдется и прямое доказательство. Чего уж прямей... — И Юшневский вынул из кармана листок записной книжки. — Вот выслушай, Павел Иванович, наш Крюков, Николай Александрович, мне как-то рассказывал, что, будучи в корчме в деревне Махновке, он ругался по адресу шпионов, а Майборода, сидевший неподалеку, со зловещим видом записывал что-то себе в книжку. Крюков и его товарищ Черкасов, подтолкнув друг друга,

пустились на шалость. Подпоили Майбороду, который известен как охотник поесть-попить на чужой счет, и выдрали у него из книжки вот этот листок.

Юшневский прочел мелко исписанную бумажку: «Во время нахождения моего в Махновке услышал я следующий разговор квартирмейстерской части Крюкова-второго и Черкасова, сделавший на меня особое впечатление. Проезжая из Линцы в Бердичев, оба офицера остановились в Махновке и за обедом в трактире увидались со мною. Из них Крюков говорил так: вообразите себе, как распространилось шпионство против Общества, даже в Третьей гусарской дивизии есть шпион — полковник Бринк. А полковник Абрамов постоянно летает в Бердичев, верно там есть у него агенты. Надобно этого каналью Абрамова уничтожить...»

— Самое любопытное, — прервал чтение Юшневский, — это адресок, по которому Майборода собрался свое сообщение отправить. Даже глазам не верится, чтобы предатель мог быть столь неосторожен. Вот уж точно переусердствовал. — Юшневский указал строчку в конце листка, написанную малоразборчивой скорописью. Однако Пестель разобрал: «Предоставляю на усмотрение начальства по чистой совести и святому долгу верноподданного».

— И не то еще, полагать надо, он про нас успел «предоставить», — укоризненно сказал Юшневский.

— Моя это вина! — воскликнул Пестель, шагая по комнате мимо своих многочисленных полок с книгами. — Как преступно я обманулся... Ведь предупреждал меня Лорер. Как преступно...

Он опустился на стул у окна и уперся напряженным взглядом в здание экзерциргауза с унылой полосатой будкой, которая почти целиком отражалась в огромной луже. Прекратившийся было дождь начался снова...

— Покаянием делу не поможешь, Павел Иванович, брось это, — с лаской в голосе сказал Юшневский, понимая, что Пестелю тяжело. — К тому же по существу этот донос — просто вздор. Вся Россия сейчас твердит про тайные общества, и для правительства они не секрет. У Аракчеева давно все нити в руках, и если он тянет, то это значит, что ему надо еще досмотреть кое-что. Против нас одна только и есть главная улика — твоя «Русская

правда». Она действительно может и тебя, и всех нас, и, что важнее всего, наше дело погубить. Вот мы ее и припрячем, да не как обычно, в квартире Лорера, которого тоже могут взять, как всех нас, а гораздо основательней: зароем ее в землю. Выберем местечко.

Пестель слушал внимательно.

— А шестую главу о «Верховном правлении» я для верности просто сожгу! — добавил он. — При лучших обстоятельствах, на которые крепко надеюсь, всегда смогу ее восстановить. Как полагаешь?

— В моем мозгу, как молитва, твое «Правление» отпечатано, — усмехнулся Юшневский. — Будь покоен, мы сожжем, мы и восстановим. Только откладывать этого, милый друг, нам никак нельзя.

— У Крюкова может остаться запись «По земельному вопросу», — вслух думал Пестель. — Вот кого вызови мне срочно, Алексей Петрович! Счастлив, что могу ему верить. А уж тебе-то... — И Пестель крепко обнял Юшневского.

Оба сели рядом на широкий диван, помолчали. Пестель провел рукой по лбу, что-то припоминая:

— Расскажу тебе, Алексей Петрович, презабавный анекдот. Когда я еще был адъютантом у Витгенштейна, корпус наш стоял в Митаве. Там я познакомился с восьмидесятилетним графом Паленом, известным участником убийства Павла. Старик меня полюбил и, учуяв во мне тягу к поступкам вольнодумным, предупредил однажды: «Слушайте, что я вам скажу. Если вы захотите что-либо сделать путем тайного общества, то это — глупость. У меня есть опыт, и я знаю свет и людей. Если вы соберете дюжину человек, ручаюсь вам, что двенадцатый будет предателем». Словно накаркал старик! Но как я мог довериться этому Майбороде? Как изменила мне обычная осторожность? Ведь Бошняка-то я заподозрил первый, когда все ему еще верили. А тут...

Пестель вскочил и заметался по комнате, как зверь, вдруг понявший, что он не находится больше на воле, а незаметно для себя попал в расставленную ему западню.

Юшневский молчал и печально смотрел на друга, который даже при нем впервые необузданно предавался

горю, утратив свою всегдашнюю железную сдержанность.

В комнату вошла вернувшаяся из города Мария Казимировна. Взглянув на друзей, она сразу поняла, что у них какие-то большие заботы и волнения... От знакомых она наслушалась ужасов про южные военные поселения, про необыкновенную подлость графа Витта, полуполяка, полугрека, которого честные люди этих наций не хотели признавать единоплеменником. Ей стало вдруг жутко при мысли, что с этим начальником военных поселений как-то связана сегодняшняя озабоченность ее мужа и друга его Пестеля, — они часто поминали имя Витта в разговорах. Подсев на диван, Мария Казимировна сказала со всей искренностью:

— Ни о чем спрашивать не смею, а тем более знать что-либо важное. Но верьте, все силы готова отдать, чтобы помочь вам.

— Такое ваше отношение — нам лучшая помощь! — И растроганный Пестель встал и поцеловал обе руки Марии Казимировны.

* * *

Юшневские провели в Линцах несколько дней. Алексей Петрович был Пестелю не просто другом, а ценным, настоящим помощником в его заветной работе. Свою «Русскую правду» Пестель сильно переделывал, добавлял совсем новые параграфы и очень дорожил критикой Юшневского. По утрам Пестель должен был уходить в свой полк, а вечера проводил с Юшневским. Степан Савченко без слов понимал, что к полковнику посторонних пускать не надо, и с хитрым добродушием охранял его, приписывая Пестелю то болезнь, то отъезд по делам.

— Ты ведь знаешь, что весь мой труд задуман в десяти главах, — говорил Пестель Юшневскому. — Первая, вторая и бóльшая часть третьей главы мною закончены. Четвертая и пятая написаны начерно, остальные пять глав только в отрывках.

Вдвоем они перечитывали параграфы, изменяли текст, спорили и всегда приходили к единодушию.

Особо важный разговор произошел у них в последний вечер пребывания Юшневского в Линцах.

Пестель своими широкими шагами мерил комнату и бросал отрывисто фразы, словно диктовал итоги долгих дум:

— Прежде всего надо твердо помнить, что Россия не нуждается в бесконечном завоевании новых земель. Россия нуждается в одном — в водворении благоденствия. Рассмотрим, в чем оно должно найти свое выражение... Государству надлежит состоять из частей однородных и однообразных.

— Павел Иванович, — сказал Юшневский, перебирая бумаги Пестеля в развернутом зеленом портфеле, — основную структуру высшей власти надо бы выразить как можно вразумительней. Людям готовое нужно подавать...

— Да уж чего ясней подано! — Пестель остановился и стал загибать пальцы по мере того, как говорил: — Власть законодательная — Народное вече — раз. Два — Верховно-исполнительная — Державная дума. Верховному же собору принадлежит власть блюстительная. «Государственный завет», который я продиктовал Бестужеву, подчеркивает главную роль Народного веча. Его никто не может распустить, оно — воля, оно — душа народа. Право объявления войны принадлежит только ему.

— А само ведение войны — Державной думе, — подхватил Юшневский.

— Я хочу еще, чтобы знали, что́ побудило меня писать «Русскую правду», — сказал доверительно Пестель, и лицо его стало застенчиво. — Я, Алексей Петрович, испытываю просто душевное потрясение при одной мысли, что, несмотря на свершившуюся в восемьдесят девятом году революцию во Франции, несмотря на всю пролитую кровь, народ французский попал снова в ярмо... Так вот, чтобы у нас подобного не свершилось, я, едва в моей голове созрела мысль о необходимости республики, принялся писать свою «Правду» для предупреждения кровавых междоусобий и произвольного захвата власти. Надо не только менять старый порядок на лучший, но тут же создавать ему опору.

— Я тебе завидую, Павел Иванович, — сказал Юшневский. — Ты, как в бога, веришь в необычайную силу воздействия мысли?

— Верю, — ответил с твердостью Пестель, — если она заключает в себе благо народу и Отечеству, она словно гранит — опора всему зданию.

— Истинны твои слова, Павел Иванович, и я верую, что республика — ныне единственно правильное государственное устроение и спасение нации. Тому подтверждение — происшедшее недавно в Гишпании, Неаполе, Португалии. Сколь молниеносно там была «дарована» конституция, и как скоро пришло ее крушение. Да, едва народ, поверив тирану, перестал угрожать ему свержением, монархи-клятвопреступники снова надели народам ярмо, еще тягчайшее прежнего. Но вот поверить так, как веришь ты, Павел Иванович, в логическую силу разума до той степени, что считаешь для нее одной возможным связать и подчинить себе все страсти и всю глупость человеческую, воля твоя, — верить так я не могу.

Условным стуком в дверь денщик Савченко предупредил о приходе кого-то из членов общества. Вошел Лорер. Юшневский и Пестель очень ему обрадовались.

— Кстати пришли, Николай Иванович, — сказал Пестель, — мы здесь кое-что решить хотим окончательно. От вас же секретов не имеется. Вы из Василькова. Ну, как там дела?

— Бестужев вам писал... Произошло соединение со славянами, оказались отличные хлопцы, — весело сказал Лорер. — Бестужев озабочен из их среды создать партию «заговорщиков-исполнителей», и они с большой охотой подписывают свои имена. Впридачу к этим пылким славянам Бестужев поручил мне просить вас набрать и здесь несколько решительных офицеров. Наше дело, как видно, двинулось...

— Опасаюсь пылкости Васильковской управы, — усмехнулся Юшневский. — Подкрепленная к тому же славянами, как бы она не сделала неосторожного шага, который все сорвет. Действовать надо совместно, и руководство должно быть едино.

— Я уже думал об этом, — отозвался Пестель, — и вот предлагаю Сергея Ивановича Муравьева включить в члены Директории.

— Необходимо восстание начинать именно вам, Павел Иванович. У вас в руках «Русская правда», — воскликнул Лорер. — Чем удержать власть? Если не ею,

то — нечем. А прочее все сейчас в порядке: Северное общество, конечно, соединится в движении с Южным. Самое большое и длительное сопротивление нашим планам оказывал Трубецкой со своей отраслью, а сейчас он уехал в Петербург, увозя с собой решение Южного общества — выступать в двадцать шестом году.

— Для начала нашего выступления сил достаточно, — сказал Пестель, — а вместе с Васильковской управой, славянами, с опорой на верных солдат-семеновцев, а там и северян — добьемся полной победы. Согласен с вами, Лорер, начало должно пойти именно от нас, когда мой Вятский полк вступит первого января в караул. Я уже просил Крюкова-второго уведомить членов, служащих в квартирмейстерской части, чтобы они заготовили себе армейские мундиры... Вятский полк должен будет вступить в Главную квартиру, и тотчас надо арестовать главнокомандующего и начальника штаба. Через Заикина передадим приказ не выпускать никого из Главной квартиры.

Пестель с минуту помолчал, переводя взгляд с Юшневского на Лорера. Потом добавил, болезненно наморщившись, — вспомнил Майбороду:

— Но этот план, друзья, надо хранить в глубочайшей тайне. Слишком много предателей...

Лорер схватил Пестеля за рукав.

— Полковнику Ентальцеву, как вы, Павел Иванович, решили, отдан приказ держать свою роту наготове уже с начала декабря. Волконский двинется с теми войсками, которые ему удастся сразу поднять. К нему пристанет Давыдов, и они вместе нагрянут на военные поселения. То-то будет им пышная встреча. Там только и ждут...

— Одно, Лорер, надо крепко держать в уме, — перебил Юшневский, — если после переворота не будут без промедления применены положения Павла Ивановича из «Русской правды», то кровопролитие, все бедствия и труды окажутся напрасными.

— Меня огорчает, — сказал Пестель, задумчиво шагая по комнате, — что иные члены Северного общества все еще не могут до конца понять всего, что хотел я сказать своей «Русской правдой».

— А вы полагали, Павел Иванович, что для признания истины людям достаточно одних логических доказательств, одной силы вашего разума?

— Моя работа написана на пользу всех людей, — сказал со скромным достоинством Пестель. — Менять в ней что-либо в угоду тем, которые не понимают истинных задач, я решительно не имею права...

— Ни слова, ни буквы нельзя в ней менять, — с жаром подхватил Лорер. — Ваша «Русская правда», Павел Иванович, — на благо всех людей. И я чую — потомки высоко оценят в ней как раз то, что иным нашим современникам сейчас не по плечу. Вы в конституционном законе первый сказали о том, что́ необходимо для блага человечества. Вы сказали, что освобождать мужиков от рабства надо не с сумой, а с землей. И эта ваша заслуга останется в веках.

— Ну, Лорер, — весело улыбнулся Пестель, — вы уж слишком высокую ноту взяли.

— А что ж, мне на низах вместе с Матвеем Муравьевым прикажете?

— Любопытно, — сказал Юшневский, набивавший в углу свою трубку, — говори, какие у Матвея соображения?

— А такие, — по-детски рассердился Лорер, — что он «Русскую правду» бранным словом обзывает: ги-по-те-за!

Все рассмеялись.

— Ну да, обзывает. Такая гипотеза, каже, что про нее одному богу известно, чи применима она, чи нет! А по поводу «раздела земель» он зубами скрипит...

— Ну и пусть скрипит, — махнул рукой Юшневский.

— Павлу Ивановичу должна быть памятна иная оценка его работы. Помнишь, что сказал тебе умнейший из членов нашего Общества — Лунин?

— Ну, как же, Михаил Сергеевич! — И лицо Пестеля просияло улыбкой.

— Ознакомившись с твоей рукописью, он сказал: «Храни ее как зеницу ока. Для правительства во всем нашем деле важней всего сыскать «Русскую правду» и сгноить ее в пыли архивов». Этот знал ей цену!

— Вот кого хотел бы я видеть, вот кому сейчас быть с нами! — вырвалось у Пестеля. — Лунин — человек дела, а не слов... Однако ему, как и Чаадаеву, в нашей действительности не было возможности применить свой политический и государственный ум, и он растрачивался на ерунду.

— Но с каким блеском! — перебил Юшневский. — Правда, это было в годы его юности, полные неуемных сил, когда он и Волконский, молодые кавалергарды, стояли летом на Черной речке и пугали полицию своими ручными медведями. В жаркое петергофское лето командир запретил им купаться в море, решив, что публике неприлично будет узреть гвардию обнаженной. И Лунин, завидев как-то коляску командира, взял да и прыгнул в воду, как был — в полной парадной форме, с кивером и в ботфортах. Дерзко отрапортовал: «Купаюсь, выполняя данный вашим превосходительством приказ о приличии».

— Хорош и ответ его государю, — припомнил Пестель, — когда после очередной лунинской шалости Александр при публичной с ним встрече процедил с надменностью: «Про вас говорят, Лунин, что вы не в своем уме».

Юшневский засмеялся, досказал:

— Тогда Лунин отрезал царю: «То же самое говорили и про Колумба». Когда же он подал в отставку, чтобы уехать за границу, Александр с удовольствием отставку подписал, сказав: «Вот это самое лучшее, что Лунин смог выдумать».

— Не любит наш царь слишком умных... — усмехнулся Пестель. — Недаром пришлось Пушкину написать про другого такого умницу, Чаадаева: «Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, у нас он офицер гусарский».

Помолчали, погруженные каждый в свои мысли.

— Дорогие друзья, — сказал внезапно Пестель. — Подобно тому как наш «властитель слабый и лукавый» стал во главе всех темных сил, враждебных духу свободы и благоденствия народов, дадим себе слово, что в случае победы нашего великого дела мы все силы положим на то, чтобы новая Россия стала во главе всего мыслящего человечества. Доблестной целью поставим, чтобы Россия повела к освобождению и народы Европы и Азии...

Глава четвертая

В середине ноября Пестель укрыл свои бумаги. Он сжег главу шестую, самую опасную — о «Верховном правлении». Остальная рукопись в большом пакете вместе со стихами Барятинского и записками «О позе-

мельном вопросе» Крюкова-второго, надежно завернутая и зашитая, была зарыта в землю.

Наступили тревожные дни. О доносе догадывались, чувствовали, что правительство что-то замышляет...

Пестель еще больше замкнулся, подолгу молчал, сидя с Лорером в кабинете. Даже огня не приказывал Степану зажигать, — так казалось лучше обдумывать положение. И, в странном согласии с его настроением, возник как-то вечером в этой полутьме человек, посланный от Сергея Муравьева с запиской: «Общество открыто. Если будет арестован хоть один член, я начинаю дело». На другой день заволновалась Тульчинская управа, все называли имя предателя, и Лорер должен был с печалью удостовериться, что его предчувствие сбылось: имя предателя — Майборода.

Члены тайного общества духом не падали. У них была надежда на всем известную нерешительность Александра. Думали, что он не станет принимать крутых мер, — ведь до сих пор еще не дан ход доносу Шервуда.

Унтер-офицер Украинского полка Шервуд, родом англичанин, вкрался в доверие к пылкому Федору Вадковскому, значение которого для тайного общества Пестель ценил столь высоко, что считал его одним из руководителей организованной им в Петербурге группы молодых.

«Я живу и дышу только той священной целью, которая нас объединяет», — писал Вадковский Пестелю. Но эта пылкость характера повредила не только ему самому, но и всем друзьям его по тайному обществу.

Из футляра скрипки, где хранились у Вадковского секретные документы, Шервуд выкрал список членов тайного общества и, переписав его, представил императору через Аракчеева. Благодаря своей настойчивости он добился свидания личного, но Александр отправил Шервуда обратно к Аракчееву, чтобы тот измыслил, как дальше действовать относительно заговорщиков. Сам же император спешно уехал в Таганрог.

Просочились слухи, что Александр все-таки призвал начальника военных поселений графа Витта для грозного выговора:

— Что делается у вас? Везде заговоры, везде тайные общества, а вы ничего не знаете!

Витт нашелся ответить, что уже знает многое, и перечислил поименно тех же, ранее указанных Шервудом, главных заговорщиков, центром которых объявил Пестеля. Свое промедление с заявлением царю объяснил желанием еще основательней захватить все нити заговора.

С какой быстротой развернулись бы аресты и всяческие меры пресечения, неизвестно. В стране произошли внезапные события.

Александр уехал в Таганрог, сопровождая свою больную жену. Покинув столицу, он чувствовал себя как частный служащий, получивший долгосрочный отпуск и прежде всего желавший хотя бы временно забыть все государственные заботы...

И сейчас, когда тут, на отдыхе, его все же настигло самое неприятное из беспокоивших дел — новый подробный донос Майбороды о тайном обществе, он стал усиленно вызывать к себе «без лести преданного» наперсника.

Аракчеев пребывал в своем новгородском имении Грузино, где он предавался чрезмерной скорби: дворовые люди убили его возлюбленную Настасью Минкину, знаменитую своей жестокостью.

Но, хотя царь написал длинное письмо Аракчееву и направил тайное послание архимандриту Фотию, дабы тот обеспечил его приезд, — ничто не помогло. Аракчеев не двигался из Грузино, где тягчайшими пытками, учиняемыми чуть ли не всей дворне поголовно, добивался узнать имена убийц Минкиной.

Александр, расстроенный поведением своего «любезного друга» и предстоящей необходимостью самому заняться удручающими делами, поехал для укрепления нервов в кратковременную поездку по южному берегу Крыма.

Из Крыма император вернулся в Таганрог совершенно больной. Писали в Петербург его матери Марии Федоровне и врачи и невестка-императрица о жестокой крымской лихорадке. Затем на короткий срок здоровье Александра улучшилось, но это оказалось лишь кризисом смертельной болезни.

Когда, вследствие ужасных дорог и непомерного расстояния, весть об улучшении здоровья царя достигла

столицы, он уже несколько дней, неумело набальзамированный, лежал на столе.

Во время благодарственного молебна о здравии Александра в Петербург прибыл курьер с извещением о его смерти, и без промедления великий князь Николай приказал молебен заменить панихидой. Перепуганный дворцовый священник, только что во весь голос хвативший «многие лета», должен был сразу, без передышки, провозглашать «вечную память».

Царь умер 19 ноября, а в «Северной пчеле» только 28 ноября 1825 года в траурной рамке по всем страницам внутренних известий было напечатано:

«Прибывший 27 сего ноября из Таганрога курьер привез плачевную весть о кончине его величества государя императора Александра Павловича».

При первом известии о сем неожиданном несчастье августейшие члены императорского дома, государственный совет и министры собрались во дворце, где «его высочество великий князь Николай Павлович» сначала, а за ним все собравшиеся чиновники приняли присягу в верности новому «его императорскому величеству, государю императору Константину Первому».

И тотчас портреты этого курносого, как сам Павел, свирепого взором Константина появились в витринах художественных магазинов. По соседству с ним, как бы невзначай, кое-где были выставлены портреты недавно прославившихся вождей испанской революции — генералов Квирога и Рафаэля Риэго.

Еще когда Николай и не помышлял о короне, известная своими «пророчествами» баронесса Крюденер взволновала его однажды загадочным к нему обращением. Пронзая великого князя своим исступленным взором, с фанатизмом, который, как говорили, на некоторое время всецело подчинил ее влиянию императора Александра, придворная пророчица изрекла:

— Препояшьте чресла ваши. Ожидайте знамения свыше.

Баронесса знала, что говорила. Близость к Александру давала ей сведения, сокрытые от всех. Она учла и слабое здоровье царя и неизвестный даже Николаю манифест Александра, где он, минуя старшего брата Константина, передавал отечественный престол Николаю.

Николай, привычно скрывая от всех свои мысли и чувства, стал ожидать «знамения свыше» уже с 19-го года, с того памятного дня, когда Александр, особенно довольный им как бригадным командиром, пришел к нему запросто обедать.

— Вдвойне обрадован твоими военными успехами, — сказал он брату с той сладчайшей улыбкой, за которую в семье и при дворе ему был присвоен титул «ангела». — Я смотрю на тебя как на своего заместителя, ведь Константин формально решил отказаться...

Ни для кого не было секретом, что цесаревич Константин вскоре после 11 марта сказал генералу Саблукову, верному приверженцу Павла:

— Хороша была каша! После того, что случилось, брат может, если хочет, царствовать, но уж я, слуга покорный...

И позднее он говорил Михаилу:

— Я женат, к счастью, не на владетельной, а на простой смертной, да впридачу — польке. Уступаю престол Николаю.

В 22-м году Константин написал письмо о своем отречении Александру. Ответ пришел через месяц: «Уважая причины, Вами изложенные, даю полную свободу следовать Вашему решению».

Наконец в 23-м году этот семейный акт отречения Александр облек силою закона: Филарету, митрополиту Московскому, предложено было написать проект манифеста, который царь и подписал в Царском Селе. В манифесте произнесено, наконец, имя преемника: «Наследником нашим быть второму брату нашему Николаю Павловичу».

Казалось бы, чего естественней: манифест этот обнародовать, приучить к поминовению в церквах Николая наследником и обеспечить ему вступление на престол без всяких потрясений.

Но Александр поступил наоборот: в великой тайне приказано было хранить манифест в Москве, в Успенском соборе. Для Петербурга на списке, сделанном рукою Голицына, Александр начертал: «Хранить в Государственном совете».

И так в обеих столицах хранился втайне документ, определяющий после смерти Александра положение Николая.

Сановники, начиная с адмирала Шишкова, твердили, что такая громадная империя и часу не может пребывать без императора, и Николай после смерти Александра немедленно присягнул, как по закону престолонаследия полагал правильным, своему следующему по старшинству брату — Константину.

Междуцарствие и связанные с ним события возникли в связи с сокрытием манифеста, где указано было имя наследника престола — Николая. Что вызвало такое коварство Александра? Быть может, он знал: несмотря на внешнее добровольное отречение Константина, мысль о русском престоле он не оставил. И пока он держал в руках польскую армию и литовский корпус, опубликование манифеста казалось Александру делом небезопасным.

Николай успел восхитить прусский двор мастерством по части «фрунтовых учений», а всю Европу — огромным ростом и для русского глаза невыразительной, почти классической правильностью своих «аполлоновых» черт. Правда, кое-кто насмешливо прибавлял — «Аполлон с флюсом», намекая на некоторую припухлость его щек.

Царь долго держал Николая в должности бригадного командира и только перед отъездом в Таганрог дал ему дивизионного. Это повышение не помешало Николаю на маневрах в Бобруйске блеснуть отличным знанием ружейных приемов и таким мастерством барабанного боя, что современники этот его талант запомнили для истории.

Едва Николай присягнул Константину, на него накинулась мать, Мария Федоровна, и ей вослед, рыдая, восклицал Голицын:

— Что вы наделали! Волею покойного императора наследник престола — вы. Существует его манифест...

— Который неизвестен ни мне, ни народу, — нашелся ответить Николай.

И началась, по выражению современника, «игра короной в волан». Действительно, с наследием русского престола семья Романовых обращалась как с личной собственностью.

Константина умоляли приехать, заявить об отречении всенародно или написать официальным языком свое прежнее решение, подтверждающее манифест покойного императора.

Но Константин никуда из Варшавы не двигался и только присылал непристойные письма, огласить которые было невозможно. Сидя в Варшаве, Константин злорадствовал: сами кашу заварили, сами и расхлебывайте!

А время шло... Однажды Николай был разбужен в шесть утра для принятия пакета «о самонужнейшем» от начальника штаба генерала Дибича из Таганрога. Такой же пакет послан был и в Варшаву, потому что в Таганроге не знали, кто является новым государем и где он находится. Николай пакет вскрыл, о чем и записал в дневнике: «Дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, отрасли которого распространялись через всю империю, от Петербурга на Москву и до Второй армии в Бессарабии».

И, призвав к себе генерала Воинова, который командовал гвардией, Николай приказал ему собрать в понедельник 13 декабря к нему во дворец всех генералов и полковых командиров:

— Долженствует мне лично им объяснить весь ход происходившего в нашей семье и поручить им растолковать сие ясным образом своим подчиненным, дабы не было предлогу к беспорядку. — Он все еще считал, что вопрос о престолонаследии есть дело семьи.

Между тем император Александр все-таки успел перед смертью дать поручение генерал-адъютанту Чернышеву расследовать историю тайного общества и по указанию предателей арестовать главных зачинщиков.

Генерал-адъютант Чернышев появился в Тульчине.

С отличавшей его самоуверенностью Чернышев объявил командующему войсками, что он поедет по полкам армии, чтобы по имеющемуся у него в руках списку арестовывать всех членов тайного общества. Но граф Витгенштейн, человек просвещенный, сын которого был близок к тайному обществу, решительно пресек служебную прыть Чернышева, объяснив, что на такой поступок надо предъявить «именное повеление».

— К тому же, — присовокупил он, тонко улыбаясь, — всего более опасаюсь в сем случае, как бы войска, пораженные повальным арестом любимых офицеров, не арестовали бы вас самих!

Взамен неудавшегося плана Чернышева дан был приказ о сборе всех полковых командиров в Тульчине.

Пестель не захотел ехать. Он велел уже передать начальнику штаба, генералу Киселеву, что внезапно заболел. Но за ночь передумал.

На рассвете послал он своего денщика Степана за Лорером, прося его немедленно прийти.

У квартиры Пестеля уже стояла, совсем готовая в путь, его дорожная коляска. Сам Пестель, спокойный, как обычно, провел Лорера к себе в кабинет:

— Я еду в Тульчин... Будь что будет. Вот захотел еще раз с вами повидаться. Посидим немного.

Сидели молча на том диване за столом, где столько было переговорено о самом заветном. Сейчас угнетала неизвестность, и тяжкое предчувствие сжимало сердце.

«Неужто, — думал Лорер, — так, без всякой борьбы и сложить оружие?» И, продолжая думать вслух, он тихо сказал:

— Если не ошибаюсь, Павел Иванович, подполковник Ентальцев держит свою конно-артиллерийскую роту наготове с начала декабря...

Пестель, угадывая направление мыслей Лорера, прервал его:

— Вы забыли, что начало действия предполагалось только в январе двадцать шестого года. Оно связано было с назначением моего Вятского полка в караул, как вам известно. Тут и Волконский успел бы подготовиться и поднять всю бригаду, тут, конечно, и Ентальцева рота могла бы кинуться к военным поселениям, рассчитывая на их великое недовольство. Да и мы с вами не сидели бы сложа руки. Но сейчас никому из намеченных командиров и с места не сдвинуться.

— Окружены, — сказал с горечью Лорер. — Спутал царь наши карты. Не только живой, он и мертвый нам навредил.

— Да, — согласился Пестель, — и потому сейчас, если грянет беда, лучше пасть жертвой самому, чем начать бесполезное кровопролитие. Я счастлив тем, что моя «Правда» уцелеет, сделает свое дело...

— И переживет нас всех, — с глубокой верой досказал Лорер.

Товарищи крепко обнялись. И Пестель уехал. Лорер долго стоял на крыльце, глядя вслед давно скрывшейся из виду коляске, потом пошел не к себе на квартиру;

а за город по направлению к дубовому лесу. Вспоминал, что эти последние дни Пестель был особенно внимателен к своим друзьям и все существо его, полное бодрости духа, словно намагничивало всех, его окружавших. Скупой на откровенность, он впервые рассказал Лореру одно происшествие из своей ранней юности, которое сейчас показалось Лореру особенно значительным. В детстве, когда Пестеля со старшим братом Владимиром отец отправлял для воспитания в Дрезден, он в Кронштадте купил для мальчиков два места на купеческом судне. Все уже было готово к отъезду, сыновья простились с отцом, как вдруг по каким-то, ему одному ведомым, соображениям отец надумал на этом судне ни за что не отпускать мальчиков. Они выполнили его волю, хотя немало подивились внезапному капризу отца. Велико же было их удивление, когда, прибыв благополучно в Дрезден, братья узнали, что оставленное ими судно не дошло до места назначения и без следа потонуло в море со всеми своими пассажирами. Рассказав об этом, Пестель, улыбаясь, прибавил: «Истину русская пословица говорит: кому быть повешену, тот не потонет. Вот со мною последнего и не случилось...»

Ужасная тоска охватила Лорера. Он бродил в дубовом лесу, пока не промерз до костей. Вернулся поздно ночью домой, заснул как мертвый.

На другой день доложили Лореру, что из Тульчина привезли закованного в кандалы Степана Савченко, денщика, который сопровождал туда Пестеля.

Лорер, как заменяющий командира Вятского полка, имел право пройти к арестованному.

— Что сделали с Павлом Ивановичем? — спросил он зарыдавшего Савченку.

— Под крепким караулом мой барин. Посадили за решетку в монастырскую тюрьму, что на горе. Не уйти ему...

События развились следующим порядком.

Главнокомандующий граф Витгенштейн отдал дежурному второй армии Байкову приказ такого содержания:

«Коль скоро прибудет к заставе полковник Пестель, велите отвезти его прямо к вам в дом и объявите ему моим именем, что он арестовывается и должен под аре-

стом находиться у вас вплоть до особого распоряжения».

Байков не замедлил выполнить приказ об аресте, о чем прислал графу соответствующее донесение:

«С разрешения и приказания вашего сиятельства поставил на шлагбаум одного жандарма с письмом к Пестелю, чтобы он ехал прямо ко мне на квартиру для получения приказания. По уходе всех бывших у меня лиц я объявил Пестелю арест. Назначил ему одну из моих горниц, куда поставлен был караул с указанием никого к нему не допускать, кроме вашего сиятельства. А сверх того был секретный надзор над моей квартирой от военной полиции. Но так как означенная горница была не только не готова, но и не отоплена, что по холоду и его болезни требовалось, то он весь день находился при мне. Через некоторое время вошел в горницу, где я находился с Пестелем, генерал-майор князь Волконский в полной парадной форме и на вопрос мой ответил, что он прибыл по делам службы...»

На самом деле Волконский сразу понял все обстоятельства и при Байкове не спросил у Пестеля ничего важного. Когда же Байков вынужден был выйти по неотложному делу, ненадолго оставив их вдвоем, тот сказал Пестелю по-французски: «Мужайтесь!» На что получил спокойный ответ:

— Мужества у меня довольно. А вы немедленно уничтожьте все бумаги, всё, что относится к моей «Правде». Обыск у вас неминуем.

Первой мыслью члена Южного общества Александра Поджио, который оказался в Тульчине, было двинуть все силы на освобождение Пестеля. Еще в 24-м году он знал о плане восстания дивизии Волконского и предполагаемом захвате Вятским полком Главной квартиры. А что, если это вдруг удастся и сейчас?

Поджио через Ентальцева передал Волконскому письмо, где были отчаянные слова: «Гибель при открытии Общества неизбежна. Казнь ожидает всех, милосердия не будет...»

Поджио убеждал, заклинал спасти Пестеля. Напоминал о плане 26-го года, ему известном. Приводил слова Пестеля, которые помнил наизусть: «Двинуться с готовыми полками девятнадцатой пехотной дивизии. Присут-

ствия Волконского достаточно к склонению полка первой бригады, а к ней и другие присоединятся... Сделать нападение на Тульчин. Арестовать верхушку Второй армии».

Прежде всего Поджио хотел установить отношение Каменской управы к восстанию. По замыслу Пестеля, Давыдову, главе Каменской управы, предоставлялось широкое действие в военных поселениях, но Поджио натолкнулся на совершенную растерянность и малодушие Давыдова.

— Ты спутал. Революционный план Павла Ивановича упирался прежде всего в Петербург. Там надо начинать, — говорил он. Мы могли здесь только подхватить. Да и Волконский один, сам собой, ничего не значит. Восстание могло быть возглавлено одним лишь Пестелем. Дайте мне Пестеля — дело другое.

Поджио убеждал Давыдова ехать вместе к Волконскому, просил передать Сергею Муравьеву решение о восстании. Давыдов, совсем потерявшийся, все отклонил. От Волконского же, который пребывал с семьей в Умани, пришло письмо, что никакого восстания он без Пестеля начинать не может. И, правда, почти сразу вслед за Пестелем арестован был он сам, а также Барятинский, Юшневский, Крюков-второй. Тульчинская директория перестала существовать.

* * *

Тульчин — город на Подолии, принадлежавший графу Потоцкому, получен был Россией по второму разделу Польши. В центре его стоял роскошный дворец Потоцкого, построенный архитектором Лакруа, с белой колоннадой ионического ордена. Вокруг дворца — широкий парк. За межами графской усадьбы по холмам ютились хатки жителей. Над местечком, на горе, высился древний католический монастырь Бернардинского ордена с крепкой тюрьмой.

В одной из ее одиночных келий Пестель просидел со дня своего ареста до дня, когда его отправили в Петербург, чтобы третьего января предстать перед Николаем в его дворце. За эти три недели у Пестеля было время подумать. И он думал о деле своей жизни, о «Русской правде».

Он знал, что Майборода подал свой донос и, конечно, там было сказано о сокрытии бумаг. Пестель понимал, что «Русская правда» окажется главной статьей обвинения и допросы будут жестоки.

Подготовка к организуемому Пестелем восстанию 26-го года началась летом 25-го года. Велась она в совершенной тайне, потому что в предательстве Бошняка уже не сомневались, Майбороду подозревали, и просочились слухи, что унтер-офицер Шервуд уже явился к царю с доносом.

Опять вспоминались слова Михаила Сергеевича Лунина, сказанные по поводу «Русской правды»: «Храни ее как зеницу ока. Нашему правительству всего важней будет разыскать ее...»

Тогда, ночью, Савченко и Заикин с Лорером упаковали и увезли его бумаги. Но какова их судьба, Пестель не ведал сейчас. Быть может, все уже обнаружено?..

И, словно готовясь к защите своих позиций, Пестель снова и снова пересматривал в уме основные положения своей «Правды».

Из борьбы против крепостной системы родилась борьба против царизма. Надо было научить людей, как им бороться, чтобы победить. Путь к освобождающей победе над государством насилия и произвола и есть «Русская правда».

Встал в памяти, как живой, Лунин, со своей иронической улыбкой говоривший:

— Пестель сперва хочет написать энциклопедию, а уж потом сделать революцию. Да тут двух жизней не хватит...

А вот и неверно. Хватило одной жизни, и очень короткой, чтобы сказать самое главное, самое нужное, что должно быть совершено для освобождения народа.

«Еще немного, — думал Пестель, — и все бы поняли всё до конца. Какая получилась бы силища!»

Вариант «Русской правды», принятый на киевских контрактах 23-го года, был всего только первым. Второй, поистине революционный, еще не получил своего окончательного выражения. Он еще только созревал. Но закончить все десять глав конституции, как Пестель предполагал, он все же не успел.

Он трудился над планом ее каждую свободную минуту, он жертвовал этой работе счастием личным, подав-

лял всякое желание пользоваться теми радостями жизни, которые предоставляло ему его положение в свете, молодость, таланты.

Шагая целыми днями перед решеткой окна своей кельи, Пестель мысленно анализировал свой труд, подводил итог жизненному пути. «Ну что же, — думал он гордо, — я ни о чем не жалею».

...Раньше, когда он стоял еще за конституционную монархию, ему страшно было ломать жизнь, но мысль, начав работать, не унималась, вела дальше. И, придя к неизбежным последним выводам, он принял республику как цель и уже незыблемо оставался верен ей. Что же было исходной точкой морали Пестеля? Что положено в основу всего? Только одно — природа самого человека. В ней одной искал он источник его обязанностей и его прав. Он твердо верил, что цель гражданского общества — благоденствие всех и каждого в отдельности. И потому главная задача «Русской правды» — установить государство на крепких основах. Народ — не чья-нибудь собственность. Народ должен представлять из себя устроенное гражданское общество.

Отвергнув принципы сословных привилегий и имущественных различий, Пестель почитал истиной идеал равенства политического, предоставляя каждому гражданину одинаковый голос в системе государственного управления. И потому он назвал свой труд «Русской правдой».

«Но какую бурю встретит в дворянстве положение «Русской правды», что сословия должны быть уничтожены? Что все люди государства должны быть уравнены в правах гражданских? Что все граждане должны быть равными перед законом?»

Пестель метался по тесной келье, время от времени, забываясь, начинал думать вслух. Спохватывался, озираясь на дверь.

«Да, в позднем варианте «Правды» нет и намека на права дворянства... На права, хотя бы и заслуженные услугами отечеству. Раньше я их мнил сохранить. Теперь же без всяких исключений настаиваю: все сословия должны быть уничтожены. Все!»

* * *

...В низкой келье с толстыми стенами стояла промозглая, какая-то вековая сырость, как в старом склепе.

Сквозь узорную решетку Пестель мог видеть внизу предместье города — белые домики, населенные бедной шляхтой и евреями. Дальше — холмы, поля, лес...

Небо было синее, морозное. Солнце разукрасило бедное местечко так, что оно казалось нарядным со своими оснеженными тополями, похожими на минареты восточного города. Ребята, громко хохоча и толкаясь, скатывались с косогора далеко вниз на ящичке, превращенном в ледышку, зарывались в снег, играли в снежки.

Пестель глядел на них неотрывно. Он так страстно хотел всему забитому нуждой народу не только благосостояния и свободы, но и простой человеческой радости! Сколько надежд возлагал он на то, что при пользовании общественными землями неизбежно родится теснейшая связь между жителями одной и той же волости! Ведь если общественная земля станет источником одинаковых жизненных интересов и надежд, она объединит всех, как мать, сольет в единую крепкую семью. И новым праздником, первым гражданским общественным торжеством станет произнесение присяги отечеству недорослями, достигшими пятнадцати лет. Их вступление в гражданское состояние должно быть обставлено с особой любовью. «Для наших свободных и радостных юношей мы обязаны создать торжественный и пышный «День гражданина», дабы он был им памятен до преклонных лет!»

Пестель забылся, шагнул к толстой двери, дернул ее — массивная дверь была на крепком запоре. В окно, сквозь узорчатую решетку, неизменно виднелись штыки часовых.

Пестель устало опустился на убогую кровать, — острая боль в ноге, раздробленной под Бородином и плохо залеченной, заставила его прекратить хождение. Но мысли роились в голове, мозг его продолжал свою работу: пояснить — то ли судьям, то ли самому себе, то ли будущему поколению это громадное дело всей его жизни...

«У моей «Русской правды» два лица. Поймут ли это?.. Одно лицо, которое известно Южному обществу, — самый ранний план конституции. Другое — то окончательно

додуманное, что напряженно и неустанно созревало с двадцать четвертого года. Этот последний, гораздо более смелый, вариант так и останется, видимо, лишь моим собственным достоянием да немногих друзей, — с грустью подумал Пестель, но тут же лицо его прояснилось: отрадно было вспомнить, что все-таки успел продиктовать Бестужеву «Государственный завет», где имеются хотя бы основные положения республики и гражданского равенства. Их уже усвоили и южане и примкнувшие к ним славяне. — Кто-нибудь сохранит. Мысль, высказанная до конца, уже существует в умах людей отдельно от меня. У нее уже своя судьба...»

По ночам болела голова. Сырость становилась еще пронзительнее, чем днем. Мысли не повиновались. Сами собой, непрошенные, вставали образы... Вот склонный к вольнодумству начальник штаба, генерал Киселев, в своем кабинете внимательно слушает отрывки из «Русской правды», порой одобрительно кивает с лукавым восклицанием по адресу Пестеля: «О, Макиавелли!» Мог ли Киселев думать, что так скоро придется ему делать обыск у восхищавшего его автора, унизительно шарить в ящиках его письменного стола, рыться в огороде в поисках этой рукописи, весьма ему знакомой?

«Ничего не найдете, генерал, — усмехнулся своим мыслям Пестель. — Все, все сожжено или зарыто, кроме разве личных писем, среди которых и ваше, очень дружеское, в котором есть такие строки: «У вас сильная воля, Макиавелли, и пред вами все возможности применить ее хорошо к делу — женитесь и покинете службу, чтобы жить в созерцании...»

Для читающего с подозрением не покажется ли нечто странное в этом письме начальника штаба, выходящем за уровень узаконенной формальности? Особливо, когда докопаются, что этого генерала прочили на первые места в новом республиканском правлении.

Пестель спал короткие тревожные часы. Однажды ему приснился давно забытый Пажеский корпус и он сам — камер-паж в расшитом золотом мундире. На мраморной доске золотыми буквами выводят его имя, фамилию и год выпуска, когда он удостоен этой великой чести.

Проснулся, подумал, что ведь на мраморной доске он не во сне, а действительно был отмечен золотом после

экзаменов в присутствии государя в 1811 году. Испытания выдержал первым по списку... Вдруг вспомнил, что ведь и Александр Николаевич Радищев был тоже пажом, учился в том же высшем военно-дворянском корпусе.

Быть может, те же тяжкие впечатления от придворной жизни и вызвали в обоих первый протест против неравенства...

«А мраморную доску с моим золотым наименованием, — иронически подумал Пестель, — правительство, увлеченное своей местью, уж, конечно, теперь разобьет. Ну, и пусть разбивает...»

Пестель поднялся, подошел к окну. Через узкие просветы решетки виднелась холодная луна. Под окошком поблескивали штыки сторожей...

«Радищев присужден был к смертной казни. За что? За смелость мысли. Но разве возможно удержать мысль в оковах?.. Прошло полвека, и мысли Радищева воскресли с новой силой. Моя «Русская правда» для царской власти так же опасна, как в свое время оказалось «Путешествие» Радищева для Екатерины».

* * *

И целыми днями томительного одиночества сверлила Пестеля тревога: «Что в Петербурге? Как Сергей Муравьев, Бестужев? Что с товарищами?..»

Глава пятая

Что же происходило в тайном обществе в эти последние месяцы 1825 года?

Никита Муравьев взял длительный отпуск и уехал с женой в свое орловское имение. Ближайшими помощниками Рылеева теперь остались Николай Бестужев, Оболенский и Александр Бестужев, который уже несколько лет издавал вместе с Рылеевым альманах «Полярная звезда».

Все многочисленные Муравьевы состояли между собой в родстве, ближнем или дальнем. Но Бестужев-Рюмин и члены Северного общества — четыре брата Бесту-

жевых — в родстве между собой не состояли, а были только однофамильцами. Эти две старинные русские фамилии играли большую роль в заговорах Севера и Юга.

Второй из семьи Бестужевых — Александр, блестящий гвардеец, адъютант герцога Вюртембергского, несмотря на свою порой обременительную военную службу, выдвинулся в первые ряды русской литературы под псевдонимом — Марлинский.

Это имя он избрал себе потому, что, когда начал печататься, полк его стоял в Петергофе, а сам он жил в знаменитом Марли.

Александр Бестужев носил нарядный мундир, вел светскую жизнь, богатую романами, служебными удачами и дуэлями. И вместе с тем он находил время для серьезного самообразования, редактировал с увлечением свой альманах и немало трудился над созданием нового литературного языка, такого же нарядного, приподнятого, каким был он сам. Впридачу к большой одаренности, полный кипучих жизненных сил, Александр Бестужев по своему общественному развитию стоял в ряду с первыми людьми тайного общества. Он легко взрывался каскадом свободолюбивых речей, умело хлестал сарказмом насилие и несправедливость, которые составляли основу жизни всего аракчеевского быта, но Оболенский и Рылеев, несмотря на истинную к нему дружбу, возмущались, как часто он утомлялся иными теоретическими рассуждениями, спорами о преимуществах той или иной конституции и пригодности ее для России. Александр Бестужев, словно задорный мальчик, любил дразнить: «Вы мечтатели, а я солдат! Пусть вам мысль — мне свершение ее».

Другой помощник Рылеева и член Думы Оболенский, страстно приверженный идеям республики, однако, когда приблизилась пора действий, стал иногда задумываться, угнетаться сомнениями.

* * *

Пасмурным ноябрьским утром в кабинете Рылеева сидел Оболенский и, глядя на участливое лицо друга, говорил невесело:

— Счастливец ты, Кондратий Федорович, тебя никакое сомнение не гложет!

— А ты сформулируй точно свое сомнение, может, оно, как дым, и рассеется, — горячо отозвался Рылеев. — Попробуем вместе. Что собственно тебя грызет?

— Вот подходит время ближе к действию, и стал я себя все чаще спрашивать: имеем ли мы право, мы — частные люди, едва заметная единица в огромном нашем отечестве, — предпринимать государственный переворот? Насильственно предписывать свой образ воззрения на жизнь, на быт тем людям, которые довольствуются настоящим или хотят лучшего будущего, но путем безболезненного исторического развития? Имеем ли право...

Рылеев прервал, возмущенный:

— Зачем ты тогда вообще в тайном обществе, если отрицаешь в основе его самую сущность? Ведь мы и есть те люди, которые решили заставить других людей стать умнее, добрее, справедливее, чем они есть. Что дает нам это право, спрашиваешь ты? Отвечу: мы увидели и осознали все, что является необходимостью для благополучия общего. Идея рождается и развивается свободно в каждом мыслящем существе. Если идеи эти бескорыстны, а про это каждый внутри себя знает с несомненностью, то это и есть ручательство, что они направлены на пользу общую, они есть выражение немногими лицами того, что большинство людей чувствует, но выразить не может. Тебе нужны доказательства? Вот, хорошо: едва такая всем нужная идея коснется слуха большинства, оно ее примет, как безводная пустыня, жаждущая дождя. Разве не наблюдал новичков, вступивших в наше общество?

В кабинет вошла Наталья Михайловна, жена Рылеева, сказала примиряюще:

— Идите спорить в столовую; завтрак на столе.

Однако на этот раз спор не затянулся.

Едва сели за так называемый «рылеевский русский завтрак», где по традиции непременно подавалась кислая капуста с большими ломтями черного хлеба, как в дверях появилась высокая фигура Трубецкого, нежданно приехавшего из Киева. Он уехал в Киев ранней весной, а приехал только сейчас, в половине ноября. Был он как-то по-новому важен, сосредоточен, словно у него в руках таился главный, нужный, недостававший всем

ключ. Наталья Михайловна, пригласив Трубецкого к столу, тактично вышла из комнаты.

— На Юге у нас выработан окончательный план, — со значительным видом вымолвил Трубецкой. — Два корпуса уже несомненно в наших руках.

Остро глянув в темные глаза Рылеева, он выразительно спросил:

— А что же предложит Северное общество для содействия Южному?

Оболенский вспыхнул:

— За время вашего отсутствия, Трубецкой, Общество очень выросло численно, вы же, как мне известно, на свою ответственность еще никого в члены не приняли. А вот мы не побоялись...

И он стал перечислять поименно новых, им лично принятых офицеров. Рылеев тоже поспешил добавить:

— Я со своей отраслью могу подняться хоть сейчас.

— Мало набрать новых людей, — несколько надменно сказал Трубецкой задевшему его Оболенскому. — Надо их основательно и подготовить.

— В этом направлении на Оболенского нажимать не приходится, — мягко заступился Рылеев. — Уж чего ревностней он обрабатывает новичков у себя в Коломне? Недавно «неодолимого спорщика» одолел...

Оболенский действительно усердно собирал офицеров в большом кабинете собственной квартиры. Здесь толпились кавалергарды, офицеры Московского, Финляндского, конно-гвардейского полков. Эти сборища посещал и сослуживец его по Генеральному штабу, живший в том же доме, — Яков Иванович Ростовцев, которого Рылеев и назвал «неодолимый спорщик».

У этого человека было странное, запоминающееся лицо: сжатый в висках лоб, глаза потухшие, без живого взгляда, всегда глядевшие куда-то в сторону, а не на собеседника, и совершенно скрытый усами узенький рот. Ростовцев пописывал стихи, был образован и радовался встречам в квартире Оболенского со столь известным уже поэтом Рылеевым. По началу Ростовцев держался убеждений монархических и, сверх того, выражал особенную приверженность к великому князю Николаю, которого Оболенский знал хорошо и ненавидел непримиримо. Тем энергичней Оболенский хотел открыть глаза

Ростовцеву на всю возмутительность самодержавия. Он не жалел слов, чтобы перестроить весь склад мыслей Ростовцева согласно программе тайного общества. Последнее время Оболенскому казалось, что Ростовцев уже достоин вступить в Общество. Он сам его и принял в надежде, что постоянное общение с вольномыслящими товарищами оздоровит и укрепит новичка. «До весны 26-го года ему хватит времени стать полностью нашим», — надеялся Оболенский.

Но срок для восстания тайного общества наступил раньше предполагаемого. Для Севера и Юга давно было решено считать смерть Александра общим сигналом к началу движения. Обстоятельства сложились так, что убивать царя не пришлось, он умер сам. О смерти царя члены тайного общества в Петербурге узнали только 27 ноября, а уже с 25-го, едва прослышали о плохом состоянии его здоровья, на квартире Рылеева стали обсуждать план восстания.

Старые и новые члены Общества толклись в тесноте маленьких комнат Рылеева денно и нощно, к ужасу и горю бедной жены его, которая сердцем чуяла, как горестно обрушится на судьбу ее мужа тяжким ударом все, что сейчас замышляется в его кабинете.

Приехали из Москвы Иван Иванович Пущин, друг Пушкина, и уже немолодой барон Штейнгель, после отставки державший в Москве отличный пансион для юношества. Как буря влетел в квартиру кавказский знаменитый офицер, капитан Якубович. Он давно грозился при первой возможности убить Александра, стремясь отомстить ему за обиду — несправедливый перевод из гвардии в армию. Общими силами капитана до времени удерживали от этого плана. Сейчас Якубович с горящими глазами, казацкими толстыми усами и с черной шелковой повязкой на лбу, пробитом чеченской пулей, гневно рычал в кабинете Рылеева:

— Дождались, что царь умер сам. Это вы у меня его вырвали!

Трубецкой — подтянутый, с тем своим обличьем царедворца, в котором никак нельзя было открыть заговорщика, сообщил, что гарнизон и правительственные учреждения вслед за Николаем присягнули Константину.

Страшно смущенный, он невразумительно толковал о том, что ему сейчас надо бы ехать в Киев...

Внезапная, уже осознанная необходимость действовать без малейшего промедления, очевидно, привела его в смятение.

Члены тайного общества, старые и молодые, окружили Рылеева, забросали вопросами: «Каков план? Когда начнем действовать?»

Рылеев с вдохновенным лицом, с неколебимым убеждением высказывал свою заветную мысль:

— Выступление необходимо! Нас грядущие поколения назовут подлецами, если мы пропустим этот случай и не свершим переворота. Сейчас минуты дороги: надо готовиться возможно полнее, чтобы содействовать Южному обществу, которое вот-вот подымется...

План восстания вырабатывался в непрестанных горячих прениях на квартире Рылеева, в борьбе мнений.

Якубович, сверкая возбужденными глазами, вскакивал с места и, пугая Настеньку, игравшую в соседней детской, кричал:

— Я знаю наш народ! Пусть валят в церковь, подымают хоругви, идут брать дворец. Клянусь, что возьмут!

Трубецкой приходил в ужас от криков Якубовича.

— Что это вы проповедуете? Да вы знаете ли состав населения столицы? Дворян всего сорок тысяч, а дворовых больше чем вдвое. А крестьян сто тысяч... Начнут сводить с господами давние счеты, и получится не революция, а черный бунт, пугачевщина.

Каховский сердито и неодобрительно твердил:

— Крови бояться не должно! Разить, да и только.

Но так велики были в этой революционно-дворянской среде боязнь движения народного, недоверие к самому народу, незнание и непонимание его, что все предположения об участии народа в восстании были единогласно отвергнуты.

Вызвало улыбки и совсем наивное предложение Трубецкого: восставшие войска вывести за город и начать мирные переговоры с правительством.

Трубецкой спохватился и стал настаивать на ином варианте: движение восставших полков идет-де от казармы к казарме, и лишь когда наберется большое войско, командиры приведут его на Сенатскую площадь.

Рылеев, чтобы прекратить споры и положить конец разногласиям, думая только о часе, когда все разговоры должны будут отпасть и начнется действие, предложил избрать вождя военных сил.

— Не нам же с вами, фрачникам, брать власть военную? — обратился он к Ивану Ивановичу Пущину и барону Штейнгелю. — Диктатором надо избрать человека военного.

— Да, тут нужен крупный военный с чином, с блестящим боевым прошлым, с важными эполетами, — согласился Пущин. — Вот если бы наш Михаил Федорович Орлов сохранил свой былой революционный пыл — лучше его и не надо!

— То-то, что «если бы»! — сказал печально Рылеев. — Сейчас наш орел курицей стал. Как обрезали ему в Кишиневе крылья — других крыльев у него не нашлось, а женитьба ручным сделала. Кто б мог подумать! Ведь по началу было не так.

— Карикатуры на него по Москве ходят, — отозвался с горечью Пущин, — на одной он изображен в детском передничке, словно писать учится: на доске мелом выводит слово «конституция», а жена ему пальцем грозит. А то еще: сидит паинькой, грузный такой, на деревенском безделье разжирел, на растопыренных руках шерсть держит, а жена в большой клубок ее сматывает. Подписано: «Досуги Орла». Можно ль было такого от него ждать?

Рылеев поднялся с места.

— Если человека связать по рукам и ногам, то одно из двух: либо он впадет в апатию, либо наберется еще большей силы и порвет свои путы! — Он на секунду задумался, поискал глазами Трубецкого и, не найдя, продолжал: — Мы все-таки от имени всего Северного общества напишем Орлову... А пока, на ближайшие дни... Ведь в лучшем случае, если б Орлов немедленно выехал, он только девятнадцатого к нам может поспеть... Для немедленных действий предлагаю в диктаторы Трубецкого. Сегодня надо не ждать, надо найти среди нас. Кого же еще?

— У Трубецкого за плечами Бородино, — веско поддержал Пущин. — Он полковник, его храбрость личная — без упрека... Однако, — задумчиво добавил он, — ведь

храбрость на поле брани одно, а доблесть гражданская — совсем иное. Но ты прав, выбора другого у нас нет.

Рылеев поручил своей отрасли — двум Бестужевым и Каховскому — вместе с ним упросить Трубецкого. Присоединился со своими офицерами и Оболенский. Трубецкой голосованием был выбран диктатором.

Среди разнообразных предложений, как и чем начать восстание, внезапно воскресло идейное присутствие Пестеля: начать с «Манифеста русскому народу», подписанного Сенатом!

Пестель, еще будучи в Союзе благоденствия, выдвигал эту идею. Она подробно разработана была тайными обществами. На этой идее объединился Север и Юг, приняв ее без каких-либо разногласий.

— Александр умер, царя нет, Константину еще не присягнули — вот момент для восстания! — восклицал Рылеев.

— Кроме того, всем известно, что Николая гвардия ненавидит за грубость, за то, что всех, тянущихся к просвещению, он иронически обзывает «философ» и сулит таковых «загнать в гроб чахоткою»...

— Из-за отсутствия царя само собой возникает понятное для народа наше обращение к Сенату, — говорил Штейнгель, — не царя заставим дать конституцию — царя пока нет. И вот я думаю необходимо написать введение к «Манифесту». Оно начнется в таком роде: «Храбрые воины! Император Александр скончался, оставя Россию в бедственном положении. В завещании своем он предоставил наследие престола Николаю Павловичу. Но великий князь отказался, объявив себя к тому неготовым, и первый присягнул императору Константину. Ныне же получены известия, что и цесаревич решительно отказывается... Итак, они не хотят, они не умеют быть отцами народа...»

Рылеев взмахнул рукой, как бы останавливая, пересекая кому-то путь:

— Посредством Сената созвать Великий собор, и до его съезда арестовать царскую семью!

Александр Бестужев крикнул:

— Можно забраться во дворец, я поведу, я знаю все ходы-выводы! Захват Зимнего дворца неизбежен, если мы положили арестовать царскую семью. И сделано это

должно быть гвардейским Морским экипажем. Подкрепить может Измайловский полк, благо у него старые счеты со своим бывшим бригадным командиром, ныне претендентом на престол.

* * *

Трубецкой написал «Манифест». Надлежало заставить Сенат подписать этот «Манифест». Трубецкой перечислил в «Манифесте» все семь параграфов, в которых заключалось главное содержание нового управления, новой жизни русского народа.

На собрании в той же квартире Рылеева он своим глуховатым голосом прочел с большим волнением:

— Временному правлению поручается привести в исполнение следующее:

«Уравнение всех прав сословий. Образование местных волостных, уездных, городских и областных правлений. Образование внутренней народной стражи. Образование судебной части с присяжными. Уравнение рекрутской повинности между всеми сословиями. Уничтожение постоянной армии. Учреждение порядка избрания в палату выборных представителей, кои долженствуют утвердить на будущее время имеющий существовать порядок правления и Государственное законоположение».

Трубецкой перевел дыхание, обвел взглядом присутствующих.

— Вот какой «Манифест» должен подписать и всенародно оповестить Сенат! — торжественно закончил диктатор, и присутствующих на собрании охватило такое чувство, будто они с мертвой точки бездействия сдвинулись, перешагнули вдруг пропасть между словом и действием, и долгожданное началось...

— Кроме Зимнего дворца, нам во избежание беспорядков необходимо занять банки, почтамт и другие важные для жизни города пункты, — сказал поручик Финляндского полка барон Розен.

— Петропавловскую крепость захватят лейб-гренадеры, — командовал Рылеев, — их казармы на берегу Большой Невки, совсем вблизи крепости.

— Подтверждаю Рылеева,— воскликнул Бестужев,— именно гренадеры! Ведь вторая и третья фузилерные роты их полка занимают сейчас караулы в крепости.

— Я настаиваю, — сказал громко Трубецкой, перекрывая голоса, — чтобы войска, после выполнения Сенатом наших требований, обнародования «Манифеста к русскому народу», вышли за город и стали вокруг него лагерем. Тут и будут они ожидать собрания губернских депутатов. Я полагаю, что именно лагерное, отнюдь не казарменное, положение будет держать войска в боевом напряжении.

Пущин рассмеялся:

— А я полагаю, что само содержание «Манифеста» — сокращение срока службы солдата и отмена крепостного права крестьянам — вспрыснет войско такой живой водой, что его не удержишь!

Барон Штейнгель не без озорства предложил самую, по его мнению, умеренную и не кровопролитную меру: объявить конституционной монархиней жену Александра — Елизавету Алексеевну.

— Договориться с женщиной нам будет легче, — улыбаясь, пояснил он. — Очень скоро от всякой власти императрицу можно будет заставить отказаться. Поднесем ей, наконец, титул «Мать Свободного Отечества» и поставим еще при жизни монумент...

Одни смеялись, некоторые неуверенно поддержали. Однако в конце концов взяло верх решение Рылеева: держать всю царскую фамилию под арестом, пока Великий собор не решит ее окончательной судьбы.

Все бесспорно понимали одно: более благоприятного состояния войска, народа, всего столичного населения, чтобы начать восстание, быть не может. Надо действовать теперь, в дни этого странно затянувшегося междуцарствия...

* * *

Семнадцать дней продолжалась эта «игра короной в волан». Оба великих князя титуловали друг друга «ваше величество», но Константин не хотел отказаться от российской короны настолько официально, чтобы Николай мог ее на себя возложить.

Острили: есть государь названый, но нет действительного, и еще неизвестно, кто таковым окажется.

И еще лучше: вот живем без царя и того не замечаем, может, и вовсе обойтись без него?

Все упорнее носились и крепли слухи, что есть твердо выраженная покойным императором Александром воля, чтобы царствовал после него второй брат — Николай, минуя старшего — Константина. Для успокоения умов, конечно, необходимым казался приезд этого законного наследника русского престола Константина и новое, свежее, самоличное его отречение. Но члены царствующего дома дело, касавшееся судеб всего государства, продолжали рассматривать как обстоятельство исключительно «семейное», поскольку Россия была для них только вотчиной. Константин, как и братья его, воспитанный в тех же правилах совершенного отсутствия ответственности перед страной, долга своего не ощущал вовсе. Он цинично и упрямо твердил свое, не двигаясь из Варшавы: «Пусть их, сами расхлебают!»

Николай решил переехать в Зимний дворец и стал фактически править государством.

Солдаты волновались все сильнее. По казармам шли совещания, крепла уверенность в справедливости пущенных слухов, будто скрывают завещание Александра потому, что в нем есть параграф о сокращении срока солдатской службы, и другой, где крестьянам объявлена вольная...

Учитывая это солдатское встревоженное настроение, Рылеев с двумя братьями Бестужевыми — Александром и Николаем — решили начать подготовку к восстанию, не в силах оставаться дольше бездейственными.

По ночам они ходили теперь по всем караулам, останавливали каждого встречного солдата, обращались с горячей речью к часовым, к караульным, со всеми говорили языком простым, отчетливо внушая стремление отстаивать свои права. С прокламациями члены тайного общества уже опоздали, да и живая, убежденная и понятная речь показалась сильней печатного слова.

Холод декабрьской ночи, пронизанной особой промозглой петербургской сыростью, наградил Рылеева жестокой простудой горла, приковавшей его к постели. Но и в лихорадке, обмотанный фланелями, потерявший голос, он продолжал оставаться центром своего штаба восстания и его руководителем.

Наконец окончательный план переворота был выработан и сообщен всем видным членам тайного общества.

Споров он больше не возбуждал. По этому плану восставшие полки, то есть те, которых удастся отклонить от присяги Николаю, собираются на Сенатской площади под военную команду диктатора. Угрожая оружием, войска заставят Сенат подписать «Манифест к русскому народу» с объявлением отстранения царского правительства от власти. Крестьянам объявлена будет воля, войскам — сокращение срока службы и всеобщность воинской повинности. Пока не соберется Великий собор, власть переходит в руки Временного правительства.

Далее по этому, всеми принятому, плану занимают Зимний дворец моряки-гвардейцы вместе с измайловцами и берут под арест царскую семью. Между тем Финляндский полк и гренадеры овладевают Петропавловской крепостью. Окончательную судьбу царской фамилии определит Великий собор, он же выработает для России конституцию. Для охраны восставшей столицы войска выведены будут за город.

Очень много было разговоров о том, что крови надо пролить возможно меньше. Впрочем, у большинства членов тайного общества крепла уверенность, что обойдется и вовсе без крови, потому что русские войска в своих стрелять не станут, а начнут присоединяться к восстанию целыми полками.

Заговорщики полагали, что выводить восставших на площадь после завершения второй присяги — присяги Николаю — будет поздно. Краткий срок до предстоящей присяги Николаю является наилучшим и, по мнению Трубецкого, «законным» временем для выступления и предложения Сенату подписать «Манифест народу», оставленному без верховного управления.

Чтобы узнать заблаговременно о дне и самом часе назначенной второй присяги, необходимо было иметь тесную связь с дворцом и точные оттуда вести.

И связь была: капитан Якубович частенько выпивал вместе с генерал-губернатором Милорадовичем, про которого недаром говорили, что он «язык на привязи не держит»; секретарь Сперанского был ревностным членом тайного общества, наконец, сам Трубецкой как полковник гвардии связан был с Генеральным штабом и, кроме того, имел обширное родство при дворе.

Присягнув Константину, Николай на самом деле «вцепился в корону» и лихорадочно ждал от брата отречения формального, которое можно было бы обнародовать. Наконец 12 декабря пришел из Варшавы возбудивший радостные надежды пакет от Константина. Но это опять оказались одни только частные письма цесаревича, пересыпанные свойствеными его нраву грубостями, которые можно было только скрыть в семейном архиве. Николай вышел из терпения и, не ожидая больше приглашения официального, вступил на российский престол самовольно.

Утром 13 декабря Николай подписал манифест о вступлении своем на престол, намеренно пометив днем вчерашним — двенадцатым числом. На восемь часов вечера в воскресенье 13 декабря назначено было во дворце особое собрание Государственного совета, а на другой день утром — всеобщая присяга новому императору Николаю Павловичу.

Через несколько часов после события старший Бестужев Николай Александрович первым узнал от секретаря Сперанского об этом решении Николая.

Бестужев помчался на квартиру к Рылееву, где происходило очередное совещание.

— Все решено. Четырнадцатого назначена новым царем присяга. Надо принять к сведению.

— Необходимо проверить — точно ли? — насторожился Рылеев.

— Знаю наверняка, — подтвердил и Трубецкой, которому то же известие только что привез на дом член Общества, обер-прокурор Сената.

Сильнейшее волнение охватило людей. В общем гуле голосов выделялась отчетливая, полная глубокого убеждения речь Николая Бестужева:

— Четырнадцатого декабря мы дадим сигнал к восстанию. И силою оружия Сенат подпишет составленный нами «Манифест».

— И навеки рушится проклятое крепостное право! — воскликнул Пущин.

Раздались возбужденные голоса:

— Чиновников заменят выборные по губерниям! Долой лихоимство! Да здравствуют свободные депутаты!

Вбежал лейтенант Арбузов — передать Якубовичу от офицеров гвардейского морского экипажа просьбу принять над ними командование.

Якубович поднялся во весь свой громадный рост и несколько театрально сказал:

— Я завтра покажу им, как стоять под пулями!

Он был внушителен со своей черной повязкой на лбу, горящими глазами и громкой речью.

Рылеев объявил, что из первых рук получил новое свидетельство того, что военные поселения, особенно Старорусские, доведены до сильнейшего негодования и при первом случае готовы присоединиться к восставшим.

Кто-то усомнился, следует ли в случае неудачи втягивать и поселения?

Николай Бестужев высказал вдруг замечательную, до него никем еще не выраженную мысль: в случае неуспеха, если останется хоть часть войска, ретироваться на военные поселения и стараться их поднять. Если и это не удастся, то уже идти до конца, идти в глубину России и объявить вольность крестьянам.

Трубецкой дрогнул и побледнел, — он даже в «Манифесте к русскому народу» побоялся употребить слово «вольность» из опасения крестьянских волнений. Со своей всегдашней сдержанностью он предложил все-таки попытаться от имени всего собрания вызвать из Москвы Михаила Федоровича Орлова.

— Если я окажусь полезен Обществу в ближайшие дни, — сказал он, — то Орлов еще полезнее может оказаться в дальнейшем.

— Правильно! — раздались голоса. — Орлов не для завтрашних действий, ибо он не успеет доскакать — все тут у нас уже загорится!

Заговорили о необходимости известить обо всем Пестеля и Сергея Муравьева с тем, чтобы скорее перекликнуться с Южным обществом.

— Хорошо если в две недели до них доскачешь, — горестно сказал Рылеев. — Между тем одновременность восстания Севера и Юга — такой залог победы!

Оказалось, что спешно едет из Петербурга на юг, к своим братьям Сергею и Матвею, третий, младший Муравьев-Апостол, Ипполит.

— Он только что произведен в офицеры, прапорщик квартирмейстерской части, и довериться ему можно. Я письмо Сергею напишу, — обещал Трубецкой.

* * *

Еще за несколько дней до выступления заговорщики, проверив свои силы, обнаружили: таких, на кого они твердо могли рассчитывать, — немного.

Трубецкому так и не удалось привлечь командира Семеновского полка, бывшего члена общества Союза благоденствия, а командир второго батальона Финляндского полка выразительно ответил на все предложения Николая Бестужева:

— Я не намерен служить орудием и игрушкой в руках других в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах!

План привлечения артиллерии тоже был под сомнением.

Сейчас Трубецкой сидел у Рылеева, лежавшего в своем кабинете на диване, все еще очень слабого после болезни.

Охватив двумя руками голову, опершись на стол, заваленный книгами и бумагами, Трубецкой, не скрывая отчаяния, говорил:

— Зря, зря надеялись, что можно обойтись без кровопролития! Ведь по началу я только хлопотал, чтобы войска не произвели «буйства», надеялся, что одним своим количеством они заставят правительство считаться с ними, выслушать их волю. Ведь я только хотел вооруженного давления, а не боя!.. Неутешительный подсчет действительных сил восстания приводит меня к заключению...

Рылеев приподнялся, преодолевая слабость, глаза его гневно вспыхнули, он сказал с непреклонной твердостью:

— Неутешительный подсчет действительных сил должен привести к единственному выводу: успех может быть обеспечен только внезапностью нападения на дворец и крепость. Осуществить это надо тотчас после сбора войсковых частей. Сколько б ни было их — все во дворец!

Застать врасплох, тогда и с малым количеством людей можно сделать большие дела.

Трубецкой нервно прошелся по небольшому кабинету, подошел к дивану, взял Рылеева за обе руки, сказал тихо:

— Лучше всего — отложить... Не отказаться, говорю, а только отложить! А меня Общество должно отпустить немедленно в Киев для связи со Второй армией.

Рылеев отнял руки:

— Вас? Хотите уехать из Петербурга? Сейчас?

Не сводя с Трубецкого удивленных глаз, он беспощадно вымолвил:

— Вы необходимы нам здесь. Ипполит Муравьев раньше вас передаст Южному обществу все, что надо. Он уже в пути. А нам всем — назад хода нет... Все корабли сожжены.

Трубецкой помрачнел:

— Вы полны мечтаний, я же, как военный, отдаю себе отчет в действительном соотношении сил. Мало толку, если несколько офицеров поднимут несколько рот. Иное дело, как мы недавно мечтали, если бы солдаты целыми полками отказались присягать Николаю... Но надежды на это уже нет. Уговаривать их поздно, да и едва ли возможно.

Рылеев закрыл глаза, поморщился, как бы превозмогая боль.

— Нет, Трубецкой, не мечтанья я полон, — сказал он тихо. — Я чую истину, я знаю ее, несмотря на всю неблагоприятную видимость. Вы сказали: «Мало толку, если несколько офицеров поднимут несколько рот». Неправда! Очень много толку, даже если горсточка храбрецов выйдет на площадь и крикнет этой в веках проклятой царской твердыне: «Конец твоей власти! Ты будешь разрушена!»

Обессиленный волненьем, он откинулся на подушки дивана, но через миг снова тем же убежденным, но тихим голосом продолжал:

— Да, твердо верю, что если не нами, то другими, эта злая власть разрушена будет. И надо гордиться, что мы первые начнем бой. Вот она, наша задача, если большей сейчас не поднять. Вот почему выступление с какими бы то ни было силами необходимо, как начало великой борьбы. Это начало — наша победа.

* * *

Сознание своей слабости перед большой военной силой, пусть недовольной правительством, но все еще крепко сколоченной законами привычной железной дисциплины, охватило не одного Трубецкого в решающие дни перед выступлением. Немало душевных сил и пламенных слов понадобилось Рылееву, чтобы окрылять и убеждать колеблющихся.

От Рылеева не отставал Александр Бестужев. Он как никогда был полон энергии, сверкающей жажды деятельности. Попрежнему в качестве адъютанта обедал он у своего герцога, ночью писал статьи для журнала, а рано утром, появляясь на пороге Рылеевского дома, у Синего моста, кричал, заявляя боевую готовность:

— Переступаю через Рубикон, то бишь, руби кон, руби все, что попало!

Горячую уверенность Рылеева уже не могла поколебать никакая неожиданность: ни то, что поручик Финляндского полка барон Розен вдруг сказал, что вместо предполагаемого восстания всего полка он может ручаться только за тот стрелковый взвод, которым командует сам; а на ротных командиров, как дошло до настоящего дела, рассчитывать и вовсе нельзя...

Даже то отвратительное и неожиданное, что в самый канун восстания произошло на квартире Оболенского в Коломне, не лишило Рылеева необходимого присутствия духа.

Ростовцев, тот самый офицер Генерального штаба, которого, как все полагали, переубедил Оболенский и, торжествуя победу, уже принял в члены тайного общества, — оказался предателем. Он написал письмо Николаю, предупреждал о грозящей ему опасности, если не будут приняты меры, чтобы сорвать подготовленное восстание. Но имен Ростовцев будто бы не называл...

Он сам рассказал о своем поступке Рылееву и Оболенскому, пытаясь дать ему благородное толкование:

— Я хотел спасти вас всех от гибели, а отечество — от ненужного потрясения. Пока не поздно — откажитесь от вашего безумия!

Он говорил драматическим шепотом, по обычаю глядя не на собеседника, а куда-то вбок.

Рылеев и Оболенский молчали, ошеломленные. Ростовцев бегло скосил глаза на обоих и с вызовом добавил:

— Я поступил по совести, а вы, если хотите, вольны меня убить.

Оболенский побагровел от гнева, кинулся на Ростовцева, но тот с неожиданной юркостью увернулся и исчез.

— Как собаку его... — бормотал Оболенский, яростно выдвигая ящики письменного стола, расшвыривая бумаги в поисках пистолета.

Рылеев остановил его, взял за плечи.

— Брось, Оболенский, — сказал он с силой. — Вспомни, что вся энергия нужна нам сейчас на одно... Ведь уже выступаем! Вини самого себя, что, не разобрав, доверился подлецу. Впрочем, большого вреда он сделать не может. Царю и без него все известно...

Вошедшему Николаю Бестужеву рассказали о Ростовцеве, и он определил, не колеблясь:

— Ростовцев ставит свечку зараз и черту и богу. Николаю открывает заговор, а перед нами умывает руки «чистосердечным» признанием. Нельзя доверять его словам, будто никаких имен названо не было, как по честности своей склонен верить Рылеев, надо не пристрелить как собаку, что порывается сделать Оболенский, а надо, чтобы прочие члены тайного общества ничего не узнали об этом письме Ростовцева. Нам должно всем этим пренебречь и выступать. Лучше быть взятым на площади, нежели в постели!

— Ты прав, — подтвердил Рылеев. — Нас могут схватить тайком, и никто не узнает, где мы, за что пропали. А наш выход на площадь правительство уже не сможет скрыть, замять, и весь мир узнает, что самодержавие имеет яростных и мужественных противников, что крепостные имеют своих заступников. Весь мир узнает, чего мы добивались для родины!

...Чем ближе подходил срок выступления, тем сильней задумывался Рылеев над целесообразностью другого плана: до того, как вывести войска на площадь, — негласно, без шума устранить Николая. Ему казалось, что тогда дальнейший путь возможно будет свершить и без кровопролития...

Эта мысль о необходимости цареубийства уже тесно связывала Рылеева с одним необыкновенным человеком, отставным поручиком лейб-гвардии гренадерского полка Петром Григорьевичем Каховским. Рылеев отметил в своей памяти Каховского, еще когда он, совсем юный, подобно Байрону, стремился сложить голову за освобождение Греции. Пылкость и решительность этого характера увлекали поэта, и он прозвал Каховского — «русский Занд», в память о том германском студенте, который в 1819 году кинжалом заколол шпиона Коцебу.

В глуши Смоленской губернии, где проживал, выйдя в отставку, Каховский, он познакомился с девицей аристократического круга — Салтыковой, ставшей впоследствии женой Дельвига, друга Пушкина. Начался роман, который для девицы был деревенским развлечением, для Каховского же ее отказ выйти за него замуж оказался трагедией, заставившей его навсегда отказаться от личного счастья.

Но это крушение надежд юности не только не разбило волю Каховского, а, напротив, закалило ее, помогло Каховскому выйти из узкого круга интересов личных. Когда Каховский появился в 24-м году в Петербурге, он уже всецело был предан одному революционному движению. По своему умственному развитию он стоял наравне с первыми членами тайного общества, и Рылеев не только принял его в Общество, но в скором времени доверил ему все главные положения, скрытые от большинства. Между прочим, высказал и свои соображения о необходимости уничтожения царской фамилии. Из ответа Каховского Рылеев понял, что тот давно взлелеял такой же план.

— Это правильно, — сказал задумчиво Каховский, — ведь надо предотвратить междоусобную войну. И потому в устранении царя и его фамилии ради блага общего вижу не преступление, а только подвиг. Не вы ли, дорогой Рылеев, воспевши Брута, подняли подобный поступок до наивысшего самоотвержения, доступного человеку? От всего сердца согласен с вами!

Такой революционный пыл у невзрачного с виду поручика поражал всех. Люди только и замечали, что его смешно оттопыренную верхнюю губу, придававшую его

лицу мальчишескую дерзость. Всем были известны его неудачное сватовство к светской девице, его нелады по службе, его крайняя бедность, и никто не догадывался о его беззаветной способности к подвигу...

Рылеева влекло к Каховскому, он сочувствовал ему, но вместе с тем держался с ним настороже: его пугала какая-то исступленность, безрассудная решительность этого характера.

Каховский был самолюбив, хотел, чтобы на него смотрели как на избранника, чье самоотвержение, как светоч во тьме, поведет за собой вперед. Каховский отнюдь не страдал самомнением, нет, но он чувствовал себя выразителем высшей воли всего тайного общества. Он искренно верил в эту свою роль и потому требовал от Рылеева отчета во всех планах и начинаниях Думы. Могут ли быть секреты от человека, который ради блага всех обрек себя на бескорыстнейшую из жертв?

У Рылеева в досаде на неуместные претензии Каховского порой вырывались обидные слова:

— Зря ты возомнил о себе! Ты не более как рядовой член Общества. Для своих действий ты должен ждать указаний тех, кто тебя старше. Во всяком случае в решениях Думы ты еще не участник.

— Выходит, я на подвиг к вам напрашиваюсь, а вы прикидываете, как меня похитрее использовать? — оскорблялся Каховский.

— Через тебя мы соединимся с целым лейб-гренадерским полком. Мало тебе?

Каховскому этого было мало.

— Я не кинжал в твоей руке, — гордо заявлял он, — погибнуть добровольно за благо отечества — согласен, а быть превращенным лишь в слепое орудие убийства,— нет...

Они то ссорились, то снова мирились. Только одно было неизменно: Каховский в своем бывшем лейб-гренадерском полку работал неустанно — расширял умственный горизонт офицеров, насаждал в их среде вольные мысли и усердно принимал в члены Общества хорошо проверенную им молодежь.

И вот теперь наступил час, когда, по мнению Рылеева, подвиг жизни, намеченный себе Каховским, стал окончательно необходим для всего дела тайного общества.

Тринадцатого декабря, когда на последнюю ночь перед восстанием назначено было в квартире Рылеева большое собрание, предварительно сошлись в сумерках в его кабинете только ближайшие сподвижники Верховной думы: Пущин, Оболенский, Николай и Александр Бестужевы. Поодаль, на своем любимом месте у окна, сидел Каховский с трубочкой в руках.

— Последние часы нашей штаб-квартиры у Синего моста истекают, — сказал полушутя Александр Бестужев. — Завтра с утра — центром сбора уже будет Сенатская площадь.

— Под памятником великого Петра, — подхватил в тон ему Оболенский, — вот бы побеспокоился: слез с коня для правого дела и взял бы команду над войском...

— Ждешь поддержки от самодержца? — усмехнулся Рылеев и добавил уже серьезно и строго: — Трубецкой сумеет двинуть солдат, куда и как полагается. Друзья, — обратился он к присутствующим, — не дадим сомнениям ходу! Я рад сообщить вам ободряющую весть: приезжие с юга подтвердили слухи, что у Южного общества точно имеется сто тысяч войска, готового встать! И еще я счастлив, — говорил, сияя глазами, Рылеев, — что сбывается заветная мечта Пестеля о соединении всех сил, поднявшихся на защиту и освобождение Родины. Одна мысль о южных войсках — нам большая опора, а наш завтрашний выход на площадь будет им сигналом для начала действий и могучей поддержкой...

— А сам Павел Иванович Пестель, — с горячим чувством подхватил Оболенский, — сам он как бы во главе всего нашего движения сделает первый, самый важный шаг, когда мы по его давнишней программе заставим Сенат подписать и обнародовать «Манифест к русскому народу»!

— Да, именно так... — раздумчиво вымолвил Рылеев. — Но вот что мне покою не дает... Друзья, — повысил он голос, — меня терзает мысль, что мы имеем в руках верное средство предупредить всякое кровопролитие и междоусобие народное...

Все насторожились, с особым вниманием воззрились на Рылеева. Пущин и Николай Бестужев тотчас же прервали разговор, что вели между собой. Рылеев, взволно-

ванный, вышел из-за стола, за которым сидел, прошелся по комнате, сбираясь с силами, и стал у окна, рядом с Каховским. Внезапно, обращаясь к нему, он вымолвил:

— Не арест царя, а полное истребление вместе с семьей, вот что нужно! Только после этого все партии поневоле объединятся, все войска двинутся, и дело наше наверняка победит! — Рылеев стремительно обнял Каховского и воскликнул:

— Открой нам путь. Убей императора!

Каховский, отбросив трубку, вскочил на ноги, и в эту минуту уже никому не казался невзрачным поручиком, хотя лицо его дергалось и он с трудом удерживал слезы.

Все кинулись к нему, выражали восторг перед его готовностью свершить подвиг.

— Передаем жизнь царя и удачу восстания в твои руки, — торжественно заключил Рылеев.

Ночью того же дня в квартире Рылеева собрание было многолюдно, и, как заметили сами участники его, все находились в каком-то лихорадочном состоянии, выражая крайнее напряжение душевных сил...

Вместо грозной силы намечавшихся к восстанию полков, последняя проверка выявила одни разрозненные роты. Но напрасно Трубецкой попытался воззвать к отступлению, молодые беззаветно верили в удачу, увлеченные и очарованные пламенем Рылеева.

Бледное лицо Рылеева светилось чувством, похожим на восторг. Обводя присутствующих горящим взглядом, как бы собирая их в один общий порыв, он говорил уверенно:

— Важней всего нанести первый удар! А там замешательство неминуемо охватит всех сразу. Всех, кроме нас. Тут обстоятельства подскажут дальнейшие действия. Не репетицию же нам делать перед восстанием?

— Или победим, или умрем! — крикнул Александр Бестужев.

А Рылеев продолжал:

— Запомните, друзья, что самое главное в нашем завтрашнем событии даже не обилие восставших войск, не военная удача, а то, против чего мы выйдем на площадь, сколько бы нас ни оказалось. Друзья, наша история знает немало дворцовых переворотов, когда меняли одного неугодного царя на другого, но возмущения против

власти всякого царя — до нас еще не было! В самый первый раз объявлена будет в России война царю и его произволу. И завтра это сделаем мы!

Молодые члены Общества, прерывая друг друга голосами, дрожавшими от волнения, декламировали последние стихи Рылеева, которые писал он урывками, между двумя бурными совещаниями. Стихи дышали свежестью и высоким гражданским сознанием. Они восхищали, отпечатывались в сердцах, их повторяли от всей души, как собственное исповедание:

Нет, неспособен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья...

Разошлись по домам поздно ночью тринадцатого с тем, чтобы встретиться четырнадцатого утром уже прямо на площади. Расстались с восторженной верой в то, что царские войска, даже не подготовленные к принятию чувств и мыслей восставших, мгновенно присоединятся к ним, а если нет, то во всяком случае в своих стрелять не станут.

Твердо договорились, как и было решено раньше, на том, что Якубович и Арбузов с моряками должны поднять измайловцев и все вместе по Вознесенскому проспекту выйти на площадь. Пущину Михаилу надлежало присоединить к ним конно-пионерный эскадрон. Николаю Бестужеву и Рылееву — находиться при моряках роты Арбузова. Михаилу Бестужеву предписано было поднять московцев и вести их по Гороховой улице на площадь.

Братья Бестужевы — Николай и Михаил — вышли от Рылеева вдвоем. Им предстояло идти в разные стороны, но часть пути они решили пройти вместе. Братья были дружны, а сейчас встречаться по-семейному им приходилось редко.

— Как прекрасен был сегодня Рылеев, — тихо сказал Николай. — Обычно он говорит негладко и лицом совсем нехорош, а вот как преображает его любовь к родине. Я не переставал любоваться им. Он был как бледный лик луны в бурных волнах моря, кипящего страстями. Я сидел рядом с Сутгофом, Рылеев во время передышки подошел к нам, взял нас за руки и сказал:

«Мир вам, люди дела, а не слова! Вы не беснуетесь, как Якубович, но я уверен, что именно вы отлично справитесь».

— Я с ним совершенно согласен, — поспешно сказал Михаил Бестужев, — мне, знаешь, очень не по душе этот кавказец с огненными очами.

— В своем деле храбрец, говорят, — попробовал защитить Николай.

— Возможно, но каков он в государственных тайных делах, — кто же проверял? Почему-то и брат Александр про него говорит: «Завтра Якубович непременно придумает, как бы похрабрей нам изменить...» Да черт с ним, с Якубовичем, — отмахнулся Михаил. — О Рылееве моя забота. Знаешь, Николай, я гляжу на него, и все мне вспоминаются его стихи. Помнишь, когда я заболел и остался у него в квартире у Синего моста, он кончал свою «Исповедь Наливайки»?

— Отличная вещь, — кивнул Николай, — ну и что?

— А то, что однажды входит он сияющий, говорит: «Поздравь меня, Мишель, я окончил. Да прослушай хоть это»... И прочел мне строки. Вот о них все и думаю. Не оказаться бы им пророческими...

— Скажи, коль запомнил, — попросил Николай Бестужев.

И с чувством Михаил продекламировал:

Известно мне, погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа.
Судьба меня уж обрекла,
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной;
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Я жребий свой благословляю.

— Какая сила духа, — восхищенно прошептал Николай, — ведь если Рылеев отождествляет свой жребий с судьбой Наливайки — в победу нашего дела он верит!

Михаил шел задумавшись, щуря глаза на дальние очертания Невы.

— Я помню слова, — вымолвил он наконец, — которые Рылеев сказал, заметив, как потрясли меня тогда его

стихи. Слова эти, несмотря на их страшный смысл, остались в сердце моем не как унылая обреченность, а как благородное знамя того дела, во имя которого мы завтра пойдем на Сенатскую площадь...

Братья замедлили шаги. Николай ждал, строго сдвинув брови.

— Я запомнил слова Рылеева совершенно точно и навеки, — повторил Михаил Бестужев и отчеканил: — «Если даже суждено нам погибнуть, нашей кровью мы должны добыть России свободу. Коль постигнет неудача, она — тоже необходимость для пробуждения спящих россиян».

Глава шестая

Вторую половину ночи на четырнадцатое декабря, после ухода друзей и единомышленников, Рылеев долго еще сидел, задумавшись, в своем, вдруг непривычно затихшем, кабинете. И странным казалось ему глубокое безмолвие после споров и шума, еще так недавно наполнявших все вокруг. Только теперь почувствовал он, как сильно устал и как необходимо собраться с мыслями одному, без всякой помехи. Он перебрал в уме только что закрепленный план завтрашних действий, нашел, что все решено правильно и должна быть удача, если не явятся неодолимые препятствия. А сколько может быть непредвиденного?

Но чем бы завтра практически дело ни кончилось, Рылеева при одной только мысли, что войска самовольно, с оружием в руках выйдут на площадь, охватывало торжество. Впервые будет сделана русскими людьми попытка открыто заявить самодержавству свои человеческие и гражданские права.

Участие матросов в захвате Зимнего дворца не возбуждало у Рылеева сомнения. Сейчас ночует у Александра Бестужева, живущего в этом же доме, брат его младший, мичман Петр. Вчера пришел он на собрание с точным подтверждением, что в Морском экипаже все в порядке и решение выступать неизменно.

При воспоминании о братьях Бестужевых сердце Рылеева сжалось той особо острой тоской, какая охваты-

вает при мысли об опасности, грозящей самым близким. Страшась этой тоски, последнее время он вовсе гнал от себя мысль о жене и дочке Настеньке, — тревога за них леденила душу.

Рылеев сжал голову руками, заставил себя думать о деле. Но перед глазами вдруг возникла мать Бестужевых. На днях у нее в уютной квартирке на Васильевском острове собралась к обеду вся семья. Позвали и его с Пущиным. Сыновья — все пятеро — сидели за столом рядом с тремя сестрами и матушкой. Какая гордость, какой покой на лице у матери! С какой любовью она переводила глаза с одного сына на другого и говорила: «Вот уже и прославился Александр, а по мне Николай умнее его и писатель не плоше, — про Голландию-то читали, как написал? А Михаил — этот в Исландии плавал...» Петра и Павла она считала еще детьми, а Петр уже член тайного общества, как и трое старших Бестужевых. И вот завтра все ее сыновья будут на площади, а все ли вернутся домой — неизвестно...

Неудержимо захотелось Рылееву взглянуть на жену и Настеньку, тихонько, чтоб не проснулись, — к чему лишние слезы?

Он так осторожно открыл дверь в спальню, что Наталья Михайловна, обычно спавшая чутко, даже не шевельнулась. Она очень измучилась за последние дни, когда друзья ее мужа, заговорщики, — это она давно поняла, — почти не покидали их дом, а муж, поглощенный своими тайными от нее делами, при редких встречах и в глаза не смотрел, словно не узнавал ее. У изголовья спящей жены лежала хорошо знакомая Рылееву книжка — его первые стихи... Он все понял и растрогался — Наташа читала и перечитывала посвященные ей строки:

> Как счастлив я, когда сижу с тобой,
> Когда любуюся я, глядя на тебя,
> Твоею милою, любезной красотой,
> Как счастлив я!

Настенька во сне улыбалась. Рылеев поспешно вышел из спальни, боясь выдать себя, вернулся обратно в кабинет.

...Всего пять лет тому назад он, отставной подпоручик конно-артиллерийской роты, стал женихом, а Наташа, единственная горячо любимая дочка своих

родителей, — его невестой. Так недавно и вместе с тем так страшно давно по всему пережитому. Пожалуй, только и было у Наташи счастья, когда жили с ней вместе первое время в деревне. Уже через год пришла к нему нежданная слава. Появилось его стихотворение «К временщику», которое вызвало всеобщее восхищение своею смелостью, принесло ему лавры признанного поэта, а бедную Наташу охватил трепет перед гневом и местью Аракчеева. Дальше пошли огорчения еще глубже; и вот уже Наташа часто в слезах — у нее нет прежнего внимательного мужа, нет семейной жизни: все его время, которое не отдано службе, забрали его товарищи, совещания с ними да споры все дни и ночи...

«Бедняжка, — подумал Рылеев, — как мало радости тебе было со мной, а что еще предстоит... Может, и в этом прав Пестель, не связавший судьбу свою с женщиной?»

Еще затемно осторожным стуком дал знать о себе Оболенский. Рылеев отворил ему сам.

— Я верхом, коня привязал к дереву у Мойки, — сказал Оболенский, — надеюсь, никто не уведет его. А впрочем, лучше выйдем вместе на минутку. Возьми ключ от входных дверей.

— Все равно уже не уснуть, — сказал Рылеев. Он быстро оделся и вышел с Оболенским на пустынную заснеженную улицу.

— Я заехал узнать, нет ли у тебя новостей. — Голос Оболенского звучал бодро. — Я спешу в конно-пионерный к Михаилу Пущину. Боюсь, что он не выведет свой эскадрон, все будет оглядываться на измайловцев, ведь они рядом...

— Иван Иванович Пущин ручался за брата своего Михаила, — сказал Рылеев, — но лучше, конечно, съезди.

— Какой тихий сейчас город,— сказал Оболенский.— Единственное живое и ночью существо — Нева — закована льдом. Замечаешь, как нынче похолодало... Морозец!

— Да, тишина, — сказал, поеживаясь от холода, Рылеев, — и никто не знает, что будет на этих площадях завтра...

— Вот езжу верхом и как бы прощаюсь со старым городом, — сказал Оболенский, — все в нем, мне кажется, завтра будет новое, иное.

— Будет, друг, — пожал ему руку Рылеев.

Оболенский ускакал, Рылеев вернулся к себе. Еще не входя в комнату, он встретил на внутренней лестнице жившего над ним Александра Бестужева. Вместе вошли в кабинет. Бестужев был бледен и расстроен.

— Случилось что-нибудь? — нахмурился Рылеев.

— Только что у меня был Якубович. Он наотрез отказывается вести моряков на площадь.

— Как?! — вскричал Рылеев. — Несколько часов тому назад не он ли клялся, что сумеет показать морякам, как стоять под пулями. Не он ли принял от Арбузова предложение возглавить восстание Экипажа?

— А в три часа ночи совсем другое, — развел руками Бестужев. — Якубович говорит: «Вернулся я с собрания у Рылеева в самом бодром и решительном состоянии духа и вдруг — необоримые сомнения и терзания совести! Ведь если мне с моряками брать Зимний дворец, их не остановить... В суматохе помнут и семью и самого царя могут прикончить. А мне Николай ничего худого не делал, личная месть у меня была не к нему, а к Александру...»

— А до пользы дела общего Якубовичу, конечно, не подняться? — разгневался Рылеев. — Да ты ему объяснил, что он с первых же шагов зачеркнул наш план?

— Только что не избил его, так был взбешен! Ничего не помогло: «Хоть убей меня, говорит, людей не поведу! Сам же на площади буду, и чему подвергнетесь вы, тому подвергнусь и я...» Да черт с ним, действовать надо без промедления!

С минуту помолчали, обдумывая положение, и решили: через лейтенанта Арбузова восстановить связь с моряками и все намеченное выполнить. Этот лейтенант только в начале декабря сблизился с Рылеевым, бывал у него на совещаниях, появился однажды и у Оболенского. Всем своим видом и поведением он внушал к себе доверие, и когда поклялся, что выведет на площадь человек четыреста, ему поверили. Арбузов разъяснил своим морякам необходимость восстания, передал им все, что постиг сам, и заручился их горячим сочувствием делу борьбы за свободу родины.

— Сам я, как штатский, никак не смогу взять команду над моряками, — печально сказал Рылеев.

Бестужев успокоил его:

— Я пошлю сейчас записку к брату Николаю с моим мичманом Петей. Хоть и недавно принял Петю в Общество, но ручаюсь за него головой...

Александр Бестужев привел сверху младшего брата, наскоро изложил ему дело, приказал предупредить в казармах Арбузова об изменении плана, найти старшего брата Николая и вручить записку с назначением его вместо Якубовича.

Петр, один из младших братьев Бестужевых, служил уже пять лет во флоте, отличался по службе, в жизни был молчалив, любил поэзию. Душа его жаждала подвигов героических. Братья хотели спасти его от участи, которая могла угрожать им самим, хотели сохранить его для матери, но он настоял на своем и накануне восстания явился из Кронштадта.

Петру удалось выполнить поручение: в Морском экипаже он нашел Арбузова, передал ему сведения о смене начальника, а старшего брата, Николая, встретил, едва вышел из казармы Экипажа. Николай уже шел от Рылеева, где узнал о своем назначении, и Петр дополнительно рассказал ему все, что мог приметить нового в Экипаже, — там, кроме Арбузова, он видел еще нескольких молодых офицеров. Все они говорили о том, что матросы рвутся в бой и проволочка недопустима.

Радуясь, что разрыва с моряками не произошло, Николай Бестужев спокойно вошел в казарму. Он знал: его приход не будет неожиданностью, раньше он был назначен только в помощь Якубовичу, но сейчас все полномочия перешли к нему, и теперь он являлся единственным офицером, ответственным за выход матросов на площадь.

Николай Бестужев посмотрел на часы. Девять часов и четыре минуты — таково было время, когда тускло взошло солнце четырнадцатого декабря 1825 года.

На рассвете, бледном и холодном, Рылееву суждено было пережить еще один удар. Каховский, который, как все полагали, ушел вчера с твердым решением убить Николая, — от этого своего решения тоже отказался.

Сам Рылеев не видал Каховского. Возбужденный до предела, Каховский забежал на минуту к Александру Бестужеву заявить о своем отказе и, минуя квартиру Рылеева, исчез. Бестужев рассказал, что за ночь Каховский

ский опять пришел к тем же мыслям, которые вызвали осенью ссору у него с Рылеевым. Он повторял те же слова: «Собой я готов жертвовать, но быть превращенным в простой кинжал для убийства в чьих-то руках — решительно не желаю! Тем более, если при этом я буду выброшен вами из Общества»... У Рылеева был план — свершить уничтожение царя так, чтобы это приписано было руке неизвестного, кого-то, стоящего в стороне. «Каховский, мы от тебя отречемся, но дадим тебе средства бежать из России», — говаривал Рылеев.

— Ясно, что Каховский мог только временно пойти на это твое предложение, — волновался Бестужев, — он вчера, в минуту всеобщего пред ним восторга, растрогался сам и с готовностью обрек себя на жертву. Но сейчас одумался.

Рылеев глядел пасмурно.

— Большое осложнение, — сказал он раздумчиво, — брать дворец, когда там уже нет претендента, или брать дворец с живым царем и целой его фамилией.

Заглянул Трубецкой. Бестужев сразу же рассказал ему все о Якубовиче и Каховском. Рылеев не отрывал глаз от лица Трубецкого: ему показалось, что Трубецкой едва сдерживает радость.

«Неужто он струсит? — подумал Рылеев, и ужас подкрался к его сердцу. — Неужто Трубецкой изменит?..» Но вот появился капитан Финляндского полка и подтвердил свою готовность содействовать выходу солдат на площадь. Доверие к Трубецкому вновь вернулось к Рылееву, когда тот диктаторским тоном говорил капитану:

— Только скорее, не мешкайте. Сенаторы еще не присягали, но уже начался их съезд. Посудите, можем ли мы на них воздействовать, если площадь будет пуста, как сейчас? Когда соберутся войска, — к ним приду и я.

* * *

Все существо Рылеева было проникнуто боевым восторгом: точно и быстро он отдавал приказы, рассылал с заходившими то и дело молодыми офицерами записки в ближайшие казармы и на Васильевский остров к барону Розену, полк которого стоял там. Всех пламенно

сочувствующих командиров он призывал к немедленным действиям...

Проснулась Наталья Михайловна. Она одевала Настеньку и прислушивалась — кто у мужа в кабинете. Узнала голоса Пущина и Бестужева. Удивилась — что так рано? Или Кондратий Федорович совсем не ложился? А она-то спала беспробудно... Очень измучилась за эти дни. Кондратий Федорович так простужен, так слаб, а они со своими вечными спорами. Вот и сейчас, чуть свет пришли...

Наталья Михайловна, не в силах совладать с беспокойством, кинулась в прихожую, где уже все надевали шинели, готовясь выйти на улицу. В ужасе она схватила за руку Николая Бестужева.

— Не уводите моего мужа на погибель! Я ведь чувствую... Настенька! — бросилась она в детскую. — Моли папеньку не покидать нас!

Рылеев, с бледным лицом, подхватил на руки потерявшую сознание жену и бережно положил ее на диван, позвал горничную. Судорожно на ходу обняв недоумевающую Настеньку, которая молча, с выражением ужаса в голубых глазах, смотрела на него, он выбежал из дому, не оборачиваясь. Его спутникам тоже было очень тяжело: каждый в эту минуту подумал о своих близких, дорогих сердцу.

Рылеева и Пущина, как штатских, караулы не пропустили ни в какие казармы, и они вышли на Петровскую площадь. Она была все еще пуста. А из дверей Сената то и дело выходили старцы в треуголках с плюмажем, в шинелях с бобрами.

— В этом здании только что решена или еще решается судьба империи, — сказал мрачно Рылеев. — Присягнут Николаю, и конец. Не помешали мы им!

Пущин широким взмахом руки обвел площадь:

— Хоть шаром покати. Придется обойтись без Сената. Как явятся войска, пусть диктатор сразу ведет их всех на дворец.

Еще раз оглянув пустую площадь, Пущин и Рылеев направились в дом Лаваля, где жил Трубецкой. Это было совсем близко от Сената, парадное крыльцо дома с двумя каменными львами выходило на Английскую набережную.

На роскошной гранитной лестнице в коврах ранних гостей встретил степенный лакей и, ничего не спрашивая, видимо уже предупрежденный, провел их прямо в кабинет Трубецкого. Трубецкой поспешил навстречу и со смущенным видом объявил, что конная гвардия уже присягнула царю. Николай с ней особенно торопился, потому что шефом ее был Константин.

— А также и сенаторы...

Трубецкой протянул пахнущий свежей типографской краской манифест Николая о его вступлении на престол.

— Вот только что отпечатан в Сенатской типографии.

— Значит, манифест нашего Общества, адресованный через Сенат народу, так и останется лежать в кармане у Штейнгеля? — спросил с раздражением Пущин.

— Все свершим и без Сената, — сурово отрезал Рылеев, — когда войска возьмут Зимний дворец, обстоятельства сами подскажут, как нам быть дальше. Стоит сделать только первый шаг, он за собой потянет второй.

— Что можем мы предпринять, если взбунтуются всего две-три роты? — спросил вяло Трубецкой. И, глядя в сторону, словно думая вслух, забормотал: — Опоздали мы, вовсе опоздали...

— Трубецкой, теперь мы увидимся с вами на площади! — твердо, тоном приказа, сказал Рылеев, поклонился и заторопил Пущина идти навстречу войскам. — Проверим казармы, — я уверен, что многие роты в пути, если уже не на месте...

— Князь Трубецкой, — непривычно торжественно обратился к диктатору Пущин, — я полагаю... — он помедлил и, пронзительно глядя на Трубецкого, договорил: — Я полагаю, там, на площади, обязаны находиться и вы, избранный нами, членами тайного общества, диктатор?

Трубецкой хотел что-то ответить, но раздумал и только низко склонил голову; было ли это знаком согласия или выражением охватившего его уныния — Рылееву и Пущину разбирать было недосуг. Все силы, все внимание предстояло устремить на то, чтобы без промедления вывести на площадь как можно больше солдат.

— Моя надежда на братьев Бестужевых, — сказал Рылеев уже на улице, — эти не дрогнут...

Он был прав. В то время как Николай воодушевлял гвардейский Морской экипаж, второй брат, Александр, приехал в Московский полк.

«Только бы вывести войска на площадь, а там они уже и сами поймут, на что поднялись», — думал Александр Бестужев, отдавая солдатам приказ брать с собой боевые патроны.

Рота Михаила Бестужева двинулась первая, за ней — рота Щепина-Ростовского. Спохватились, что впереди нет полкового знамени. Вернулись за ним. Когда же со знаменем все вместе двинулись к воротам — уже появились полковой командир и бригадный. Они остановили солдат у ворот и пытались успокоить их и вернуть в казармы. Щепин, которого Михаил Бестужев всю ночь горячил своими речами о свободе, выхватил саблю и ударил ею полкового командира Фредерикса. А другого генерала, принявшего участие в задержании войска у самого выхода из казармы, Щепин хватил плашмя пониже спины. Солдаты громко смеялись, когда грузный генерал, подняв руки, побежал с криком: «Меня убили!»

Наконец восемьсот человек вырвались на Фонтанку и с громким «ура» двинулись на Петровскую площадь. На Гороховой улице Бестужев с удивлением увидел, как внезапно возникший Якубович, тоже с криком «ура», побежал вслед за солдатами, высоко воздев головной убор на обнаженную саблю.

В Московском полку было много старых солдат, участников геройских боев двенадцатого года. Переименован он был в Московский за успех в подмосковных боях. В этом полку, когда он еще именовался Литовским, начинал свою военную службу Пестель. И то, что этот доблестный полк вдруг пренебрег окриком не только полкового, но и бригадного командира и, самовольно захватив знамена, непреклонно устремился на площадь, — произвело на военное начальство потрясающее впечатление. С выражением крайнего ужаса сообщил начальник штаба императору Николаю:

— Государь, Московский полк окончательно взбунтовался. Он двинулся к Сенату...

Николай скомандовал:

— Немедленно вызвать конную гвардию!

Когда Московский полк подходил к Петровской площади, она была еще пуста. Александр Бестужев, идя впереди, своим острым взглядом писателя невольно отметил, как сейчас значителен великолепный памятник Петра, такой непривычно одинокий над Невой. Неистово вознесся чугунный конь на скалу и, словно вздрогнув, внезапно замер, остановленный властной рукой всадника в лавровом венке, пронзающего очами века и пространства.

«Напрасно, великий самодержец, ты нас встречаешь распростертой дланью. Для боя мы вышли сюда с самодержавством». — Такая мысль мелькнула у Александра Бестужева, когда он, вместе с братом Михаилом, выстраивал солдат вокруг памятника Петру боевым построением каре.

— Помнишь, Михаил, — мимоходом бросил он брату, — Павел Иванович Пестель прекрасно назвал по-русски эту возможность наступательных действий со всех четырех сторон. Вместо иностранного *«каре»* он предложил *«всебронь»*.

— Знаешь, — отозвался Михаил, — я тоже думаю о Пестеле. Вот кому бы сейчас быть вместе с нами, вот кому по праву быть диктатором.

Московцы заняли и въезд в Сенат с Исаакиевской площади.

Выделили заградительную стрелковую цепь, команда над ней поручена была поэту Александру Одоевскому.

Настроение у солдат было бодрое, боевое. С шуточками заставили вернуться обратно генерала, которого Николай послал за конной гвардией. А другого генерала — Бибикова, стремившегося пробиться сквозь живую заградительную цепь, избили прикладами. Однако боевой порядок быстро восстановили офицеры, одетые как на параде — в мундирах, шарфах и киверах.

Александр Бестужев скинул шинель, бросил ее в сани, остался в мундире, белых лосинах, гусарских сапогах, словно на балу. Лихим движением он выхватил саблю из ножен и принялся точить лезвие о гранит Петровой скалы.

— Хочешь набраться удали от героя Полтавского боя? — улыбнулся брат его Михаил.

— Ваше благородие, долго ль будем стоять? — спросил унтер-офицер, с умными смелыми глазами. — Солдатики жалуются — морозец пощипывает.

— Ждем приказа князя, — ответил Александр Бестужев. — К нам примкнуть должны еще лейб-гренадеры, гвардейский экипаж, да и не только они...

Несколько дней перед четырнадцатым декабря стояла оттепель, накануне похолодало, а сегодня с утра держался крепкий мороз при ясном небе.

По городу ходили слухи о новой присяге, о каких-то необыкновенных событиях. Толпы народа еще затемно хлынули к казармам, с рассветом народ повалил к Сенатской и Дворцовой площадям. Люди переходили с одной площади на другую, собирались толпами, спорили, волновались. Город глухо бурлил, был как вулкан, готовый к извержению, а начальник города генерал-губернатор Милорадович все еще ничего не предпринимал для его успокоения. Этот генерал отличался храбростью в боях и необыкновенным легкомыслием и беззаботностью в делах управления столицей. Еще вчера, когда адъютант выразил ему свое опасение относительно волнений в войсках, Милорадович самонадеянно обрезал его словами: «Сам знаю все на свете!» И, хвастливо хлопнув себя по карману, добавил: «Здесь у меня шестьдесят тысяч штыков. Опасаться нечего...» Он ограничился только тем, что отдал распоряжение об увеличении числа разъездных полицейских да об усилении дежурных в канцелярии.

Милорадович вышел из дому в полной парадной форме, с голубой Андреевской лентой через плечо. Высокую грудь его покрывало множество орденов и звезд русских и иностранных.

— Неспокойно в городе, — доложил ему адъютант.

Но генерал-губернатор программы своего дня не изменил и прежде всего забежал к балерине Катеньке Телешовой, которой дал слово быть запросто на утренней кулебяке.

В одиннадцать часов утра, когда Милорадович появился перед Николаем на Дворцовой площади, роскошный мундир его был расстегнут, лента измята.

— Государь! — воскликнул он, — это стрелковое заграждение мятежников привело меня в такой истерзан-

ный вид, но сейчас я с солдатами поговорю! Я их усмирю. Я найду слова. Я...

Вскочив в первые попавшиеся извозчичьи сани, Милорадович приказал адъютанту стать на запятки и велел извозчику пробираться через Исаакиевскую площадь.

Но это было уже невозможно, — толпа народа стояла стеной. Объездом, по Вознесенскому, по Мойке, через Поцелуев мост, Милорадович с адъютантом подъехали к конногвардейским казармам. Адъютант побежал торопить конников, но у них проявилась подозрительная медлительность: ссылаясь на всевозможные предлоги, они оттягивали выезд. Прискакал командир полка Алексей Орлов со своим адъютантом, спешился на конном дворе, тоже требовал немедленного выхода конников, но полк оставался на месте.

Страшно выругавшись, Милорадович схватил у кого-то коня, сел верхом и умчался. За ним пешком убежал адъютант.

Однако, несмотря на свою неудачную попытку вызвать на площадь конную гвардию, генерал-губернатора не покидала самоуверенность. Он подъезжал к восставшему полку, стоящему в боевой «всеброне» вокруг памятника Петру, с убеждением, что у него хватит красноречия для усмирения солдат и восстановления порядка. С большим трудом продравшись сквозь толпу, Милорадович подъехал к правому фасу и остановился шагах в десяти от восставших. Он раз пять раскатисто скомандовал «смир-р-но», пока не добился того, что солдаты приготовились его слушать. Милорадович обладал убедительным даром слова, умел цветисто говорить, производить впечатление. Искусным ораторским приемом он вызвал в памяти старых солдат картины победоносных походов, пройденных с ним вместе. Речь его грозила поколебать их твердость.

Оболенский предложил Милорадовичу удалиться и, чтобы осадить назад его коня, ткнул его штыком, задев при этом и ногу генерал-губернатора. Однако Милорадович, уверенно взяв тон отца-командира, продолжал увещевать солдат и уже заставил многих сочувственно к себе прислушиваться. Тогда Каховский выстрелил в Милорадовича. Пуля пробила голубую Андреевскую ленту и грудь, увешанную орденами. Милорадович свалился с лошади, подхваченный своим

адъютантом. Никто из солдат ему не помог, адъютант один дотащил его до манежа и положил прямо на снег. Криком и пинками принудил он, наконец, четверых солдат поднять Милорадовича и донести его до конногвардейских казарм. Здесь его положили в комнату уехавшего в отпуск офицера.

После Милорадовича Николай послал парламентером к войскам генерала Воинова. Воинов двинулся было верхом, но его стащили с коня у самого края площади. Испуганный примером и участью Милорадовича, он шел к солдатам медленной, неуверенной походкой, говорил невыразительно и тихо, словно дело шло о каких-то будничных пустяках. И когда ему из гущи солдат крикнули: «Извольте отойти, генерал, здесь вам не место!» — он жалобно отозвался: «Побойтесь бога!» — и тихонько ретировался. Однако кто-то из толпы ему вдогонку запустил полено, так что с головы генерала слетела шапка.

Николаю между тем стало известно, что на подмогу восставшим двигаются еще войска, и он срочно, как последнюю надежду, послал на площадь духовенство. Петербургский митрополит Серафим должен был разъяснить солдатам законность присяги Николаю, а не Константину.

Серафим в придворной церкви только что надел парадное облачение и уже собрался начать благодарственный молебен по случаю благополучной присяги императору Николаю Первому. С ним готовился служить и киевский митрополит Евгений, облаченный в пунцовую бархатную ризу. Но генерал-адъютант, как буря ворвавшийся в церковь с приказом царя, заторопил митрополитов идти на площадь.

— Скорее, время не терпит! Увещевайте...

Такая поспешность вызывалась страхом, чтобы к восставшим не присоединились другие войска. Николай полагал, что если митрополиты уговорят первых, пришедших на площадь, то повернет обратно в свои казармы и подоспевшая к ним подмога.

Подгоняемые духовные отцы собрались спешно, прихватив с собой двух дьяконов. Сели в карету, на запятки к себе принявшую генерала. Мятежое каре, шум толпы, уже несметной, грохот выстрелов устрашили престарелых отцов, и они повернули было обратно. Но Николай,

сам испуганный насмерть, не допустил отступления и послал генерал-адъютанта с полицмейстером «слезно умолять владык свершить увещевание».

— С кем же я пойду? — озираясь на толпу, растерянно спросил Серафим.

— С богом, батюшка, с богом! — посоветовали из толпы.

Митрополиты вышли из кареты и двинулись к мятежникам.

Зрелище, по своей живописности, было необычайное: на белом снегу, запорошившем площадь, ярко расцвели облачения духовенства — зеленый и пурпурный бархат, засверкали на утреннем солнце золотые кресты с бриллиантами и парчевые стихари на дьяконах, сопутствующих владыкам.

Несмотря на все великолепие и внушительность картины, едва заговорил вышедший вперед митрополит Серафим, из солдатских рядов раздались крики:

— Не прежняя пора... не обманете!

Митрополит стал уговаривать «не лить кровь одноземцев». К нему быстрыми шагами подошел Каховский и гневно сказал:

— Нас правительство к тому вынуждает! Уговорите лучше царские войска не нападать на нас, и мы спокойно выскажем все наши требования! Мы хотим порядка законного...

Митрополит пытался еще говорить, но его вовсе слушать не стали, глушили голос барабаном. Напирающая толпа угрожающе гудела.

Вдруг восторженное «ура!» раскатилось по площади: к восставшему Московскому полку подоспело подкрепление — это поручик Сутгоф привел свою роту лейб-гренадер прямо по льду Невы. Преодолев сопротивление царского войска, уже выстроившегося у реки, лейб-гренадеры при громком сочувствии огромной толпы народа примкнули к восставшим, подойдя к ним справа. Митрополиты с дьяконами заспешили влево, сквозь разломанную ограду — к Исаакиевскому собору...

Только у Синего моста, не помышляя о своей карете, духовные парламентеры нашли двух извозчиков и вернулись в Зимний дворец.

Придворные кинулись к ним за вестями: «Чем нас утешите, что там делается?»

— Обругали и прогнали, — лаконично и уныло ответили митрополиты.

Когда на площади появился бодрый, мужественный Сутгоф, Каховский торжествовал:

— Каков мой Сутгоф!

— Великолепно! — восхищался Оболенский. — Очень хорошо!

Он примкнул к Московскому полку, когда полк еще только вели на площадь двое Бестужевых и Щепин-Ростовский. Охваченный восторгом, Оболенский вступил в ряды солдат и дал клятву: при любом исходе борьбы — не уходить с площади.

Вскоре за Сутгофом на площади показался идущий с Галерной улицы гвардейский Морской экипаж во главе с Николаем Бестужевым.

Когда до моряков донеслись залпы ружей Московского полка, отбивавшего конную атаку, Николай Бестужев скомандовал:

— На площадь! Выручай своих!

Экипаж со знаменем, в боевом порядке, без колебаний двинулся за ним. Придя к памятнику Петра, моряки выстроились в «колонну к атаке», между каре московцев и Исаакиевской площадью, двумя взводами: один — лицом к Адмиралтейству, другой — к манежу конной гвардии.

Рылеев стремительно подошел к Николаю Бестужеву, обнял его:

— Вот она, минута нашей свободы! Мы дышим ею. За один такой миг отдать можно и жизнь!

Арбузов, возбужденно смеясь, сказал:

— Я было приказал своим зарядить ружья, а у них уж без спросу заряжены...

Николай Бестужев обвел площадь глазами.

— Сейчас войск на площади тысячи две-три, — сказал он с уверенностью. — Можно, не теряя времени, начинать. Если Сенат нами упущен, двинемся на дворец! Где наш диктатор?

— Удобные условия для появления войск в Сенате и предъявления требований были да сплыли, — ответил Александр Бестужев, — и во дворце сейчас уже не пре-

тендент, а царь, узаконенный присягой, Николай Первый. Да и времени упущено порядочно. На дворец сейчас уже надо идти, как на штурм вражеской крепости! Задача моя: привести вместе с братом Михаилом первый революционный полк на площадь — уже выполнена. А сейчас, как добрый военный, я желаю подчиниться избранному нами военному диктатору. — Подчеркивая каждое слово, Александр Бестужев добавил:

— Полагаю, что в этом всеобщем подчинении диктатору — единственный залог успеха. Действовать должно по обстоятельствам, а распоряжения, во избежание беспорядка, могут принадлежать только ему.

— Но где же он? Где Трубецкой?

— Когда мы с Рылеевым были у него сегодня утром, — заметил Пущин, — он обещал явиться на площадь, едва соберутся войска. Только что бегал к нему Кюхельбекер и уже не застал его дома. Никто не знает, куда он скрылся. То войск не было — диктатор был, а сейчас — наоборот.

— Я пойду за ним, — решительно сказал Рылеев, — я ручаюсь, я уверен — он явится...

Всеобщее ликование охватило войска, когда на площади появился маленький ростом, худенький поручик Панов во главе двух партий лейб-гренадер, пришедших почти полным составом.

Панова обступили офицеры, выспрашивали, как ему удалось со своими лейб-гвардейцами вырваться из казармы.

— Порыв моих солдат ничто не могло ослабить, — рассказывал Панов. — Я с обнаженной шпагой вышел вперед. «Ребята, за мной!» — и мы опрокинули полувзвод, охранявший выход из казармы. Полковой командир Стюрлер был нами оттерт, и как огненная лава пронеслись мы сквозь двор Зимнего дворца. Я было подумал, что дворец уже взят нашими, и чуть не попался: на враждебные войска наскочили. Царь крепкий караул приставил к главным воротам. Смяли его в рукопашном... У Главного штаба сам Николай кричать нам изволил: «Стой!» Кавалерия нас окружила. А я вперед выбежал, опять кричу: «За мной, ребята! Это не наши, коли!» Вот штыками и пробрались к вам.

Панова обнимали, жали ему руки...

* * *

Огромная толпа народа была истинным участником событий на площади. С самого того дня, когда пришло известие о смерти Александра, улицы и площади стали многолюднее. Особенное оживление вызвала в городе весть о том, что первая присяга недействительна, а состоится вторая присяга, — уже не Константину, а Николаю. Носились упорные слухи: в момент исполнения вторичной присяги объявлены будут всяческие льготы и сокращение срока солдатской службы.

К полудню все три площади — Адмиралтейская, Дворцовая, Петровская — и прилегающие к ним улицы были забиты людьми. Народу, казалось, было больше, чем солдат.

Исаакиевский собор строился. У его подножья лежали груды бревен, гранитные плиты. Народ взбирался на камни, на штабеля бревен, зорко наблюдал за необычным поведением войска и очень скоро понял сущность происходящего на площади.

События толковали по-своему:

— Волю дать народу полагается по завещанию Александра, а норовят утаить!

— Вестимо, обязаны волю дать за двенадцатый год. Чужой народ своим горбом освобождали, а домой раненые пришли — одно старое ярмо получили!

— Это господа офицеры, жалея народ, солдат против второй присяги ведут...

— А солдаты, которые с ними, многие в двенадцатом воевали, как им, родным, не встать за свое-то право.

Оболенский прислушивался к этим разговорам, вспоминал слова Лунина: «Наш народ мыслит, несмотря на свое молчание...»

Оболенского заинтересовало, из кого состоит толпа. Он обвел глазами нестройные, бурлящие ряды: много было рабочих, строивших собор, много дворовых, ремесленников. Немало было и крепостных, пришедших в город на заработки, простых женщин с ребятишками на руках.

И все они стояли вовсе не праздными зрителями, они были полны волнения и сочувствия.

В толпе шли споры, слышались крики и смех. Передавали друг другу, что одного и того же купца «за

Николая» побили у дворца, а «за Константина» — у Сената.

Полиция была бессильна перед этим стихийным наплывом народа и уже не пыталась навести порядок.

Тем временем по приказу Николая на Сенатскую площадь все больше стягивали правительственные войска.

План окружения мятежников подсказан был царю его генералами тотчас, как расположился вокруг памятника Петру Московский полк. Царь вызвал пехоту и кавалерию, а позднее и артиллерию. Роте, стоявшей на карауле во дворце, царь велел зарядить ружья и скорым шагом сам провел ее через дворцовый двор к главным воротам. Однако вызванные войска все не появлялись, и страх подсказал Николаю театральный прием для психологического воздействия на толпу, которая все прибывала.

Он вышел на площадь, красуясь своей видной фигурой, и со всем унаследованным от матери актерством стал отчетливо и внушительно читать собственный манифест. Когда ему доложили, наконец, что прибыл батальон Преображенского полка, он передал манифест в руки адъютанта и подошел к преображенцам.

Возглавив батальон, он сам повел его мимо заборов достраивавшегося дома министра финансов, к углу Адмиралтейского бульвара. Страх уже отпустил его: он увидел Алексея Орлова, который вел на площадь конногвардейцев. Под командой Орлова полк, обогнув Исаакиевский собор, выехал на Петровскую площадь, построился спиной к дому князя Лобанова. Отсюда Николаю легко было отправить конную гвардию дальше на площадь. Уже вполне овладев собой, он зычным голосом отдал приказ:

— Выстроиться так, чтобы пресечь мятежникам, елико возможно, сообщение с тех сторон, где их можно окружить!

Орлов приказал первым двум рядам конников ударить в атаку.

Рейтары рванулись вперед, но люди из толпы бесстрашно бросились к конникам, хватали лошадей под уздцы... Четыре раза эскадрон шел в атаку и четыре раза был остановлен выстрелами восставших и живой лавиной людей.

Николай подскакал к углу бульвара, хотел сам командовать. Из толпы ему крикнули с грубой руганью:

— Подойди-ка сюда, самозванец... Мы тебе покажем!

Николай поворотил коня.

И всякий раз, когда царь пытался приблизиться к монументу Петра, из толпы летели камни и поленья. Сломав палисадник напротив собора, люди вооружились кольями, смерзшимися комьями земли и снега.

Принц Вюртембергский, племянник старой императрицы, опасливо сказал, едва увернувшись от летящего камня:

— Чернь принимает близкое участие в беспорядках!

Толпа сочувственно переговаривалась с солдатами, просила дать оружие:

— Доброе дело!.. Кабы вы нам ружья, — помогли бы и мы, одним духом переворотили бы!

А командующего восстанием, диктатора Трубецкого, все еще не было.

Восставшие войска, с утра стоявшие на площади в ожидании прихода других сочувствующих полков, попали в трагическое положение: они не могли двинуться с места и сейчас, когда на площади собралась почти трехтысячная армия, потому что военной команды некому было дать.

Не теряя последней надежды, строя всяческие предположения, оправдывающие отсутствие Трубецкого, ждали его с минуты на минуту.

* * *

Рылеев метался в поисках Трубецкого и сотни раз перебирал в уме все разговоры и решения последних дней. Как могло случиться, что именно на этого человека пал общий выбор? Да ведь он был одним из основателей Союза спасения и Союза благоденствия! Он — участник общества Северного. А его большие военные заслуги? Двенадцатый год, доблестное командование под огнем. Да, Трубецкой хорошо известен солдатам.

Но тут же рядом вставали, смущая, иные мысли; и только сейчас Рылеев понял, что они-то и есть важней-

шие, они показывают неправильность сделанного выбора...

Трубецкой — ярый противник Пестеля. Осторожен до гражданской трусости: сам он не принял ни одного человека в тайное общество, не сделал для этого ни единого шага.

Его страшила республиканская закваска не только Пестеля, но всей отрасли Рылеева... И не была ли настойчивость Трубецкого — непременно начинать с обращения к Сенату — желанием соблюсти и в восстании какую-то «законность»? Это была просто трусость, попытка переложить на Сенат ответственность в деле, где все надлежало брать только революционной силой...

— Его нет нигде! Я диктатора не нашел, — как-то виновато сказал Рылеев шедшему ему навстречу Пущину. — Но я его найду... Я приведу его.

— Спрятался Трубецкой, воробьиная душа! — презрительно отозвался Пущин.

И действительно, Трубецкой не имел сил ни выйти на площадь, ни, также, далеко от нее уйти. Недвижимо, как зачарованный, пребывал он в двух шагах от восставших полков, но никому и в голову не могло прийти искать его тут. Он сидел в тоске и унынии в здании Главного штаба, прямо против Зимнего дворца, который, по его последнему, вчерашнему приказу, уже должен был находиться в руках восставших.

Князь Трубецкой все видел из этого обозревательного пункта и ожидал наступления на дворец с Сенатской площади, но наступления все не было. Наконец мятежников тесным кольцом окружили царская пехота и кавалерия.

Когда Трубецкой убедился, что вчерашний план восстания окончательно не удался, он отправился к своему свояку Лебцельтерну в Австрийское посольство, оставив навсегда в умах современников и грядущих историков недоуменный и грустный вопрос: почему он, доблестный и храбрый военный, не побоялся навлечь на себя страшнейшее из обвинений — в трусливой измене своему делу?

Между тем к мятежному каре Николай послал третьего парламентера — великого князя Михаила. Ему только что удалось привести к присяге оставшихся в казарме

солдат Московского полка, и Николай питал надежду, что как шеф этого полка, составляющего главное ядро восстания, брат его будет иметь успех.

Николай подъехал к стоянке Михаила перед манежем, около канала, и приказал ему «увещевать» восставших солдат.

Михаил до московцев не доехал. Он остановился перед колонной моряков, которая стояла впереди каре, изготовившись к атаке. Михаил важно, но невразумительно заговорил о законности присяги Николаю. Его не слушали, солдаты намеренно заглушали его слова. Пущин, глянув на пистолет Кюхельбекера, сказал, указав на Михаила:

— Ссади-ка его!

Кюхельбекер выстрелил.

Пистолет дал осечку.

Каховский сказал стоявшим рядом с ним:

— А я и не стану стрелять, потому что это уже зря. Мы окружены.

Николай пустил в атаку не только конную гвардию, но кавалергардов и конно-пионерный эскадрон.

И удивительно было, что почти три тысячи отменных конников, испытанных в своем деле, оказались не в силах смять меньшее число пехотинцев, упорно сохранявших строй вокруг памятника Петру. Решающую роль здесь, конечно, играло неосознанное сочувствие к восставшим, а у иных, впрочем, оно было и сознательным.

— Дайте срок, стемнеет, мы все к вам перейдем!

— По своим стрелять не станем!

Солдаты все одинаково страдали от своего ужасного быта, и правы были члены тайного общества, когда говорили: «Можно надеяться, что солдаты поймут свою пользу и окажутся нашей опорой».

Теперь царские войска, быть может готовые слиться с восставшими, если бы они двигались в атаку, недоумевали, видя, что Московский полк, построившись на площади с одиннадцати утра, бездействовал до двух часов дня.

Они не знали, что восставший полк не мог выступать в одиночку, ему необходимо было ждать, чтобы на площадь подоспела подмога, чтобы стянулись все войска, сочувствующие борцам за свободу.

Вынужденное бездействие восставших, кроме того, что расхолодило тайно сочувствующих, дало силы врагам. Николай успел своими войсками как бы замкнуть восставших в кольцо.

После того как Михаил уехал ни с чем, как смертельно ранен был командир лейб-гренадерского полка Стюрлер, слишком настойчивый в своем намерении восстановить порядок, Николай снова возобновил атаку конницей со всех сторон: от Адмиралтейства к Исаакиевскому мосту поскакала конная гвардия, со стороны манежа — кавалергарды. Началась атака и с угла Сената, со стороны Невы, где был расположен конногвардейский эскадрон.

И все-таки мятежники выдержали этот натиск, хотя среди них росло и крепло волнение.

Рылеев же Трубецкого не нашел. Надо было срочно выбрать нового диктатора. Называли имя человека, вызывавшего глубокое уважение и любовь: Николай Бестужев! Кроме того, после Трубецкого, это был штаб-офицер, старший в воинском чине.

— Но ведь я моряк, — сказал скромно Бестужев, — на море я бы мог быть командиром, а вот на суше — понятия не имею.

Упрашивали Оболенского: как старший адъютант командующего всей гвардейской пехотой, он был солдатам очень известен. Его слушались беспрекословно: он остановил огонь против конно-пионерного эскадрона в момент его продвижения мимо заднего фаса каре. Он же скомандовал — взять на прицел ружья, чтобы защитить толпу народа от атаки конногвардейцев.

Оболенский тут же на площади попытался прежде всего собрать военный совет, но тщетно. Его товарищи уже считали положение безнадежным и не видели пользы ни в каких экстренных совещаниях. Все же Оболенский не уклонился от ответственности: на последнее предложение сдаться восставшие ответили отказом и отвергли обещанное им помилование. И генерал Бибиков, которого солдаты Московского полка избили за его попытку пробраться сквозь заградительную цепь, доложил Николаю:

— Оболенский предводительствует толпой!

Николай лично ненавидел Оболенского. Кроме того, страх его и раздражение все возрастали. Ему чудилось,

что тайным заговором охвачены все войска и ждут только наступления темноты, чтобы соединиться против него, завладеть дворцом, крепостью, городом.

Он уже давно послал гонцов за артиллерией, но она прибыла только сейчас, и как в насмешку — без снарядов, хранившихся в лаборатории.

«Нарочно задержали! — с ужасом подумал Николай. — Все они в стачке против меня!»

Измайловский полк пришел поздно. А Николай был шефом этого полка и весь день четырнадцатого декабря пребывал в его мундире. Он дал команду измайловцам зарядить ружья и стать в резерв к дому Лобанова. А последнему пришедшему на площадь полку — лейб-егерскому — просто выразил недоверие: поставил его совсем вдали, против Гороховой улицы, за пешей гвардейской артиллерийской бригадой.

Сумерки наступили как-то внезапно, солнце зашло уже в три часа дня. Погода стала невыносимой: пронзительный ветер леденил людей, так долго неподвижно стоявших на открытой площади. С каждой минутой все сильней забирал мороз, а снегу было мало.

С надвигающимися сумерками толпа все чаще делала активные попытки перейти к действиям. Множество рабочих — участников постройки собора, вооруженных строительным материалом, все смелее метали в сторону Николая и его свиты палки, камни.

Полено угодило под ноги царской лошади так, что она шарахнулась в сторону.

— Бунт каждую минуту может перекинуться к черни... — дрожа от злобы и страха, сказал Николай.

— Ваше величество, здесь не обойтись без картечи! — угодливо подсказал Васильчиков, выражая затаенную мысль царя.

Николай решился:

— Пусть Сухозанет им объявит: сейчас сложить оружие, или — картечь! — сказал он твердо.

Сухозанета, начальника всей гвардейской артиллерии, в войсках ненавидели. Он не успел доехать до колонны моряков, как был встречен градом ругательств и ружейными залпами. Прильнув к лошади, он спешно ускакал. Следом за ним неслись перья его султана, сорванные выстрелом.

На повторное предложение Николая — сдаться, переданное по всей площади, восставшие дали один ответ:

— Стреляйте!

Голосом, чересчур твердым от волнения, которое он подавлял всеми силами, Николай, наконец, отдал приказ:

— Пальба орудиями по порядку! Картечью! Правый фланг, начинай!

Но выстрела не последовало, хотя приказ — «первая!» — был повторен командующим батареей. Солдат правого орудия не захотел положить запал:

— Ваше благородие!..

Офицер выхватил фитиль у фейерверкера и сам дал первый выстрел.

В ответ со стороны памятника Петру грянул ружейный залп.

Ранены были люди, лепившиеся на карнизах Сенатского дома, вокруг колонн, на крышах соседних домов. Разбитые стекла со звоном летели из окон.

Стало совсем темно, и вспышки орудийного огня мгновенно, как молнией, освещали на снегу тела убитых, здания и памятник, окруженный все тем же, словно уже навеки от него неотделимым, каре восставших...

Всего было дано семь залпов картечью. В течение целого часа продолжалась пальба. Восставшие войска не выдержали наконец. Многие кинулись на лед Невы.

Михаил Бестужев тщетно пытался восстановить под огнем боевое построение войск. У него мгновенно вырос план: занять Петропавловскую крепость с Невы, обратить пушки на дворец и начать переговоры с Николаем. Построенная Михаилом Бестужевым колонна была почти готова, но вдруг раздались отчаянные вопли:

— Тонем! Помогите!

Картечью разбило лед, он в нескольких местах треснул. На реке под тяжестью ступившей на лед массы людей внезапно образовалась огромная полынья. Кое-кто выкарабкался на берег, многие побежали к зданию Академии художеств и только собрались укрепиться во дворе Академии, как налетел эскадрон кавалергардов.

Братья Бестужевы — Николай и Александр — тоже не сдались без боя: у узкого въезда на Галерную улицу они

остановили несколько десятков человек, чтобы в случае натиска конницы дать ей отпор и защитить отступающих.

Очищая площадь от трупов, полиция сбрасывала в проруби и мертвых и раненых...

Бенкендорф с шестью эскадронами конной гвардии отправлен был «собирать спрятанных и разбежавшихся». После облавы сгоняли пленников на Петровскую площадь и строили их рядами для отправки в Петропавловскую крепость. И оказались эти пленники у того же величественного памятника Петру, где только несколько часов тому назад стояли они же, полные мужества, великих надежд и жажды победы.

В Петропавловскую крепость пленных мятежников конвоировал Семеновский полк нового состава, заменившего тех, которые восстали еще в 1820 году и были раскассированы в армии.

В опустевшем Зимнем дворце, где-то на золоченом диванчике, сидели «как монументы», по выражению Карамзина, два недавних сановника: министр юстиции престарелый князь Лобанов-Ростовский, откинув трясущуюся голову назад, как бы объявляя нечто преважное, застыл рядом с Аракчеевым, только что приехавшим из своего Грузина и никому здесь уже не нужным. Сидели совсем потерявшиеся — один от старости, другой от трусости...

А в своей опочивальне, окруженная плачущими невестками, старая императрица Мария Федоровна то падала в обморок, то билась в истерике с причитанием:

— Что теперь скажет про нас Европа? Какое кровавое начало царствования!

У Синего моста, в доме Российско-американской компании, в последний раз сошлись в квартире Рылеева несколько участников отныне исторического четырнадцатого декабря.

Наталья Михайловна, пребывавшая в полном отчаянии, уже считая мужа погибшим, была несказанно обрадована внезапным его появлением.

Но радость ее была недолгой. Глянув в постаревшее лицо мужа, на его усталые, но полные странной силы глаза, она ни о чем спросить его не посмела и только бесшумно двигалась, стараясь угадать, чем можно ему

помочь. Сразу поняла, что надо сейчас же растопить в кабинете камин. Не вызывая слуги, сделала это сама. Рылеев благодарно улыбнулся, поцеловал ее, хотел что-то сказать, она не дала:

— Я все понимаю, обо мне не беспокойся.

Вышла из кабинета и закрыла дверь.

Рылеев выдвигал ящики письменного стола, копался в тайниках, где хранились бумаги, которые сейчас могли быть опасны и ему и другим, жег их в камине.

Скоро зашел Штейнгель, за ним — Каховский, бледный, изможденный, нахохленный. Он забился в уголок, за оконным столиком, подергиваясь, нервно топорща верхнюю губу, рассказывал полусонному немолодому Штейнгелю, как он на площади сказал митрополиту Серафиму: «Мы явились сюда не для пролития крови одноземцев, а для истребования законного порядка от Сената...»

Не в силах сдержать возбуждения, Каховский рассказывал без остановки, как стрелял в Милорадовича и в полкового командира лейб-гренадер Стюрлера, как ранил неизвестного ему свитского офицера. Протянув Штейнгелю свой кинжал, он крикнул: «Вот он, возьмите на память обо мне!» И, будто совершив последнее важное дело, глубоко задумавшись, умолк.

Рылеев был словно один в комнате. Ни на кого не глядя, ничего не слыша, он перебирал бумаги и жег их в камине. Вошел отставной штаб-ротмистр Оржицкий. Рылеев оживился:

— Вы немедленно поедете в Киев, — внушительно, как имеющий власть, сказал он, — расскажете Сергею Муравьеву обо всем, что произошло на Сенатской площади.

Это было самое последнее распоряжение Рылеева по тайному обществу.

— Павлу Ивановичу Пестелю, — добавил он, беря Оржицкого за обе руки, — мой братский привет. И еще... — он горестно вздохнул, — еще передайте, что во многом он был прав!

Этой своей последней заботой и мыслью о Южном обществе, упоминанием о Пестеле он, Рылеев, хотел, казалось, объединиться с ними последними планами, чаяниями, надеждами.

— Быть может, южане еще существуют... — он хотел еще что-то добавить, объяснить, но не нашел слов и замолчал.

Оржицкий ушел. Наталья Михайловна внесла мелкие дрова для камина. Рылеев безмолвно кивнул ей, но не задержал, и она вышла, пряча слезы. Он продолжал пересматривать записные книжки, сжигать листки. Каховский ходил взад и вперед перед неподвижным Штейнгелем. Остановился, спросил нервно:

— О чем думаете, Штейнгель?

Штейнгель поднял глаза, удивившие Каховского спокойным выражением:

— Я думаю о том, как героически отбивало все атаки наше каре. Посчитать только — наших было всего-навсего тысячи три, а Николай выдвинул против нас девять тысяч пехоты и три тысячи сабель кавалерии. — Он помолчал, словно затрудняясь подвести итог, и, растягивая слова, не веря себе, вымолвил:

— Две-над-цать тысяч против трех! Да еще артиллерия...

Рылеев быстро обернулся. Лицо его, порозовевшее от камина, опять помолодело. Он гордо сказал:

— Да, мы не струсили!

Бросив каминные щипцы, он выпрямился, подумал и заговорил уже другим голосом, с большой горечью:

— Но сколько мы сделали ошибок! Да, гибельных для дела... Мы не решились начать атаку, что было, я вижу сейчас, необходимо. Что удержало нас?

Штейнгель молча кивал тяжелой головой. Каховский мрачно смотрел в окно.

— А что вышло из этой нерешимости? — звенящим голосом продолжал Рылеев. — Наша неподвижность парализовала сочувствующих, помешала им перейти к нам.

— Сочувствующих было очень много, — сказал, хмурясь, Каховский, — но ведь мы не могли допустить участия толпы, народа, новой пугачевщины, стихийность которой вырвала бы управление из наших рук и превратила бы революцию в обычный бунт.

Вдруг, спохватившись, он спросил:

— А где Бестужев, где Оболенский?

— Про Бестужева не скажу ничего, — ответил Штейнгель, — а Оболенский, я видел, примкнул к морякам,

сохранившим строй и под картечью, и с ними ушел в казармы.

— Мы сделали, что могли, и сделали, как сумели, — сказал Рылеев, — может быть, это немного. Но самое главное — это начало! А есть начало — будет и продолжение и победа. В руки Южного общества передадим свои полномочия...

* * *

В те самые часы, когда в квартире Рылеева в последний раз виделись на свободе участники восстания, в залах Зимнего дворца начались первые допросы, и тут же установлено было, что штаб-квартира мятежников была у писателя Рылеева.

Царь вызвал флигель-адъютанта Дурново и приказал ему привезти сейчас во дворец «сочинителя Рылеева живым или мертвым».

Николай писал длинное письмо Константину, когда вошли с донесением, что на основании первых полученных показаний можно сделать вывод, что на Севере душою всему делу был Рылеев. Николай приписал:

«...у меня имеется доказательство, что делом руководил некто Рылеев — статский».

Глубокой ночью к дому Рылеева подъехал флигель-адъютант Дурново и потребовал, чтобы его впустили, ибо он прибыл по приказанию самого государя... В переднюю Рылеева вошел караул, сопровождающий Дурново, — шесть солдат Семеновского полка. Рылеев быстро оделся, обнял жену, дочь не велел будить. Он был так спокоен, что Наталья Михайловна не сразу поняла весь страшный смысл происходящего...

Когда Рылеев сел в сани рядом с Дурново, его вдруг охватило чувство необыкновенной легкости: что бы ни ждало его впереди, он уже свершил все, что надлежало свершить, — войска вышли на площадь против царя и его самодержавия. Начало положено!

* * *

Всю ночь горели вокруг дворца бивуаки, караулы заняли все мосты и проезды. Полиция чистила и скребла площадь, велела дворникам засыпать свежим снегом пло-

щадь, чтобы у нее был чистый, невинный, спокойный вид и ничего не напоминало бы кровавое начало царствования нового русского царя.

Николай дал также приказ срочно оштукатурить изрешеченные пулями стены Сената.

Но один из современников отметил, что еще и 15 декабря на Сенатской площади было множество следов крови. Он устрашился записать это по-русски и начертал в своем дневнике на бесстрастной латыни: «Sanguinis multa signa».

Глава седьмая

Среди славян, после Лещинских лагерей и соединения их общества с Южным, началась большая и серьезная работа по подготовке к восстанию. Особенно ревностно занимались привлечением солдат и разъяснением им необходимости революционного движения против самодержавной власти два ротных командира Черниговского полка — Соловьев и Шепило. Все свободное время они проводили в беседах с фейерверкерами и выборными из рядов о смысле и цели затеваемого Обществом государственного переворота.

Душа Славянского союза — Петр Иванович Борисов, по своей дальновидности, стал проверять состояние орудий и дал поручение особо преданному делу Общества Андреевичу, прикомандированному к Киевскому арсеналу, озаботиться, чтобы в артиллерийских ящиках произведена была замена негодных старых зарядов новыми.

О том, что в Петербурге четырнадцатого декабря было начато восстание и на той же площади через шесть часов подавлено, — об этом важнейшем событии в жизни и судьбах всего тайного общества еще ничего не было известно на юге. До славян в эти дни дошло только одно письмо Бестужева-Рюмина из Киева, где он с обычным своим пафосом писал: «Нам скоро представится случай умереть за свободу Отечества! Может быть, в феврале или марте 26-го года голос Родины соберет нас вокруг хоругви свободы».

Однако события заставили поднять эту хоругвь свободы много раньше...

Дальность расстояния и плохая дорога на десять дней задержали известие о смерти Александра в Таганроге.

Вместе с этой вестью до Черниговского полка дошли и слухи, что в час чтения присяги объявлено будет царское завещание об отмене крепостного права и сокращении срока солдатской службы.

Черниговский полк стоял на зимних квартирах в городке Василькове, в тридцати верстах от Киева. Городок был небольшой: дома одноэтажные, с вишневыми садочками, с нарядными, как дивчата в праздники, махровыми мальвами, с непросыхающими лужами и несколькими постройками в два и даже в три этажа, где размещались присутственные места и военные учреждения.

В доме, перед которым стояла черная с белыми косыми полосками казенная будка, укрывавшая во время дождя дежурного ординарца, жил командир полка — Густав Иванович Гебель. Он был из числа тех ограниченных службистов-немцев, которые отличаются большой тупостью ума и мелочно-придирчивым характером, особенно ненавистным русскому солдату. И полк не любил его.

Гебель только что получил из Могилева от командующего армией сентенцию, по которой двое провинившихся рядовых присуждались к наказанию кнутом. Одновременно пришла и бумага о приведении солдат к присяге императору Константину Первому.

Гебель решил для удобства выполнить оба эти предписания без ненужной проволочки, одно незамедлительно после другого. Не два же раза подряд собирать ему полк и звать священника с крестом!

Для парадов, торжеств и всяческих экзекуций была в городе и соответствующая площадь, утоптанная солдатскими сапогами. На ней не росло ни травинки, и в дни летних смотров и парадов столбом вздымалась легкая южная пыль. Здесь же, в сторонке, стояла деревянная «кобыла» для наказания кого кнутом, кого плетьми.

Сейчас, в начале декабря, на этой площади, чуть запорошенной снегом, выстроился Черниговский полк для принятия присяги новому царю.

Полковник Сергей Иванович Муравьев, командир второго батальона Черниговского полка, стоял в полной

парадной форме пред своими солдатами. Сергей Иванович заметно осунулся за эти последние дни тревог и бессонных раздумий о том, что могли предпринять северяне, узнав о смерти Александра. Поодаль стоял полковой священник, сверкающий на солнце золотом креста и богатством ризы, недавно дарованной ему помещицей Браницкой. Эта помещица, несмотря на неслыханную скупость, время от времени, для спасения души, делала щедрые подарки — то на ризы духовенству, то на железо для цепей ссылаемых в каторгу.

«Тоже, по своему разумению, поддерживает государственный порядок», — подумал о ней Сергей Иванович и, переведя глаза на позорные столбы, вдруг увидел, что палачи уже привязывают к ним солдат, оголенных до пояса.

Муравьев понял, что священник находится на площади не только по случаю присяги. Ее предварит экзекуция...

Сергею Ивановичу всегда нестерпимо было это варварское наказание, свершаемое с благословения священника, под защитой церкви и приводившее солдат к увечью и даже к смерти.

Сейчас, когда наступил срок выступления против ненавистной тирании, это отвратительное ее проявление было особенно непереносимо.

Палачи, ожигающие плетьми голые спины, брызги крови, нечеловеческие крики терзаемых, а рядом сверкание золотых риз и креста — привели Муравьева в состояние страшной ярости. Казалось, он сейчас бросится вперед, схватит палача за руку...

Но железная дисциплина, ставшая таким же законом тела, как дыхание, удержала на месте. Бледный, с закрытыми глазами, Муравьев напряженно думал:

«Надо сберечь себя для восстания! Вот здесь, на этой самой площади, быть может этим самым священником, будет прочтен иной катехизис, созданный им, Сергеем Муравьевым. Этот новый катехизис рассеет, как солнце мглу, вековой туман. Замученные люди подымут головы, постигнут истину и возьмут свои права. Истина победит. Он, Сергей Муравьев, сам поведет вчерашних рабов...»

Он невольно сделал несколько шагов вперед, вдруг покачнулся и упал без чувств.

Сбивая строй, не повинуясь окрикам Гебеля, к подполковнику, распростертому на земле, бросились солдаты. Муравьев очнулся под их взглядами, все понимающими, полными сочувствия. Глубокой радостью забилось его сердце...

Между тем присяга новому царю, после некоторого выжидательного безмолвия, вызвала в солдатских рядах глухой, но грозный ропот: жадно ожидаемого объявления льгот по службе и отмены крепостного рабства вовсе не последовало.

* * *

Едва Муравьев оправился после этого случая, как получил от Пестеля через Крюкова второе письмо с извещением, что опасность обнаружения тайного общества растет, — надо бы повидаться...

Он стал собираться на это свидание, но, словно пламя по сухолесью, сжигая на пути чаяния и надежды, пришла страшная весть: арестован Павел Иванович Пестель!

Сергей Иванович вдруг оказался в глубочайшем одиночестве, с сознанием необходимости немедленно действовать, но с неуверенностью — что именно предпринять. Он узнал о безуспешной попытке Александра Поджио поднять для освобождения Пестеля 19-ю дивизию при помощи Волконского, узнал о беспомощных восклицаниях Давыдова: «Если бы Пестель был с нами! Что мы без него?!» — и понял, что и Каменская управа прекратила свое существование.

В сочельник, 24 декабря, Сергей Муравьев отправился без промедления в Житомир, сказав, что он скоро вернется, только испросит у корпусного командира отпуск Бестужеву к умирающей матери. Бестужев, как бывший семеновец, а ныне штрафной, лишен был обычных отпусков.

На пути в Житомир Муравьева ожидало новое потрясение: от сенатского курьера узнал он во всех подробностях о событиях в Петербурге. Поражение северян вызвало у Муравьева такое волнение и ожесточение, что утраченная было твердость духа вернулась к нему с лихвой, мысли сразу приняли новое направление: для будущего России важен и этот первый шаг, пусть даже

и неудавшийся... Если Рылеев и Пестель в тюрьме, а он, Муравьев, еще на свободе, то знамя восстания поднимет он.

* * *

Муравьев хотел немедленно отправить из Житомира в Петербург Бестужева — для связи. Сам же надеялся через знакомых поляков наладить связь с Пестелем, который продолжал сидеть в тюремной келье Бернардинского монастыря в Тульчине под двойной стражей.

С представителем тайного «Польского патриотического общества» предстояло тоже очень важное свидание — разговор о совместном выступлении. В ожидании этого представителя Сергей Муравьев решил под видом хлопот по делу Бестужева пойти к своему высшему начальнику, командиру 3-го пехотного корпуса, Логину Осиповичу Роту, который питал к нему особое благоволение за его аристократическое происхождение и прекрасный французский язык. Этот Рот мог невзначай сообщить еще какие-нибудь новости о событиях в столице.

Генерал-лейтенант Рот, чистейший француз-эмигрант, служил у принца Конде и от него перешел в русские войска. У него был природный ум, но никакого образования, кроме светской выучки. Был он до крайности самолюбив, жесток и хвастун. Считая, что подражает в солдатском остроумии Наполеону, кричал на седого генерала, отпустившего длиннее, чем полагалось по форме, волосы:

— Буду приказывать постригать вас на барабане!

Или другому генералу грозился при солдатах:

— Буду садить вас на пушку!

Генерала Рота ненавидели и офицеры и солдаты. А он презирал всех русских, кроме высокорожденных, как Муравьев, напоминавших ему своей речью незабвенный Париж.

Случайно Рот был приобщен к секретным розыскам генерала Чернышева о тайных обществах. Через руки Рота еще 26 ноября Майборода представил пространный донос государю. Бумагу Рот переслал по назначению, не учитывая ее важности, и о содержании доноса настолько забыл, что, радушно угощая Муравьева изыскан-

ным обедом, с упоением передавал этому слушателю, способному оценить его французское красноречие, все подробности о дне 14 декабря.

Итак, Рот, командир 3-го пехотного корпуса, еще чуть ли не за месяц был извещен о том, что соучастниками «злонамеренных» являются некоторые чины 9-й пехотной дивизии, но, по свойственному ему легкомыслию, не только не учел всей важности полученных им сведений, но сейчас, наливая шампанское Муравьеву, самоуверенно хвастал:

— Я только что отправил письмо начальнику штаба генерал-адъютанту Дибичу. Я ему гарантирую, — он сделал широкий жест рукой, — да, я ему гарантирую полное спокойствие, повиновение, покорность войск моего третьего корпуса. И по этой причине я совершенно уклонился от принятия каких-либо предохранительных мер против приснившихся им заговорщиков. Ха-ха-ха! Им грезится великая французская революция! В России? Но где, спрашивается, у них Мирабо? Где у них культура?

Муравьев машинально отодвинул бокал с шампанским.

— Отчего вы всё говорите «у них»? — резко прервал он. — Я понимаю, что в числе «злонамеренных» вы можете меня не считать, но все же я, как и вы, — русский офицер.

Слова Муравьева дышали достоинством, и Рот несколько сконфузился, но тут же нашел кучу других тем для разговора и, между прочим, стал с блеском доказывать, каким образом люди, вышедшие на площадь 14 декабря, могли бы взять дворец и захватить всю столицу, вместо того чтобы топтаться несколько часов на Петровской площади. Он распрощался с Муравьевым, весьма довольный собой.

Свидание с Мошинским, представителем «Польского патриотического общества», произвело на Сергея Ивановича удручающее впечатление: этот представитель уже знал все подробности разгрома восставших на Петровской площади, знал про арест Пестеля, Рылеева и многих участников заговора и крайне вежливо, но решительно, от имени поляков заявил, что сейчас они выступать не станут, а займут выжидательную позицию.

— Вы должны понять, — сказал он с печальной укоризной, — что Польша рисковать зря не может. Нам надо или побеждать, или умирать.

Через Мошинского Сергей Иванович познакомился с сестрами католического ордена «Милосердие» и просил сестер доставить о событиях 14 декабря пространный отчет Пестелю в его келью-тюрьму Бернардинского монастыря в Тульчине. Сам же вместе со своим братом Матвеем покинул Житомир.

Едва Сергей Муравьев уехал, вечером, в тот же сочельник, все ротные командиры Черниговского полка, рассеянные со своими ротами в окрестностях Василькова, получили приказ от Гебеля — срочно привести эти роты в штаб полка для вторичной присяги другому императору, теперь уже Николаю.

Славяне собрали свои роты в полной походной и боевой амуниции и стали совещаться, не возмутить ли им тотчас солдат и не повести ли их, вместо Василькова, прямо на Киев?

Толчком к такому волнению послужило уже ставшее широко известным выступление Северного общества 14 декабря в Петербурге на Петровской площади.

— Наша честь обязывает также и нас сделать попытку восстания — доказать, что идеи тайного общества живы и в нас!

Так говорил Петр Иванович Борисов, и друзья поддерживали его. Но когда на другой день рано утром все роты Черниговского полка объединились в Василькове, первоначальную решимость славян сменило раздумье:

«А если в Киеве не встретим сочувствия? Не повредим ли общему делу, не расстроим ли план, уже составленный Тайной думой, тот общий план, который скоро будет известен и нам?»

И славяне решили не предпринимать самостоятельного выступления и дожидаться возвращения Сергея Ивановича.

Вторая присяга, так скоро последовавшая за первой, вызвала у всех нескрываемое отвращение. Солдаты стояли с мрачными лицами и не только не повторяли за священником слов присяги, но даже не слушали его. Офицеры негодовали открыто: «Сегодня одному присягали, завтра другому?» Недовольство стало всеобщим.

Ждали событий необычных. Казалось, вековая твердыня царской власти, сковывавшая умы и волю, заколебалась.

Присяга Николаю свершена была в десять часов утра 25 декабря, и полк тотчас же распустили по квартирам. Члены общества сговорились остаться в Василькове. Солдат же после присяги отпустили на праздники по деревням, наказав по первому зову явиться в полной боевой и походной амуниции. К большому моральному торжеству славян солдаты отвечали:

— Где укажете, там и объявимся! Будьте покойны, ваше благородие...

Вечером этого же дня, по случаю полкового праздника, полагался бал у полкового командира Гебеля. Им были приглашены все офицеры, знакомые горожане и помещики округа. Гостей оказалось чрезмерно много, потому что помещики явились на бал, прихватив с собою всех дочерей и домочадцев, а горожане — своих собственных друзей. Изо всех сил старался военный оркестр, без устали кружились и танцоры...

Всем хотелось забыться и вернуть былое и привычное настроение, те маленькие радости и понятную, добрую суету, которые составляли обычный фон провинциальной жизни. Со дня смерти Александра вопросы государственной важности заслонили дела и думы провинциального муравейника. Под нажимом событий привычное, покойное, будничное уступило место какому-то общегосударственному волнению, всем тягостному.

— Уж как стояла земля на трех китах, так бы и век ей стоять! — выражая общее мнение, говорила городничиха, смущенная повторной присягой, тревогами и толками.

Сейчас на балу у командира полка все хотели только веселья и полного отдыха от треволнений. В пляс пустились и молодые и старики. Не менее танцующих оживлены были и сидящие за зелеными ломберными столами, раскинутыми во множестве в диванной, соседней с залом.

Даже многочисленные члены Славянского общества, явившиеся на бал в парадной форме, во избежание подозрений, держались беззаботно и так же охотно, как васильковские городские щеголи, следили за тем, чтобы ни одна разряженная девица не сидела на месте. Побывав-

шие в столице подпоручики, соперничая со стариками, откалывали в мазурке замысловатые фигуры, страшно топая каблуками, звеня шпорами, вызывая всеобщий восторг.

Веселые гости не поверили собственным глазам, когда распахнулись двери и на пороге, как мрачные статуи, возникли две фигуры в шинелях и жандармских касках с гребнем. Оркестр продолжал греметь, никем не остановленный.

— Ряженые! — взвизгнула дородная дама в голубом.

— Ах, я, кажется, вас узнаю! — кокетливо шепнула жандарму другая.

— Не имею чести, — ответил коротко жандарм и, окинув вопросительным взглядом военных, строго спросил:

— Кто является командиром Черниговского пехотного полка?

— Это я, подполковник Гебель, — виновато отозвался с конца зала Густав Иванович, совсем как школьник, застигнутый врасплох на месте преступления.

Гости в смущении и страхе попятились к стенам. По блестящему, сразу опустевшему паркету Гебель неуверенно прошагал к жандармам. Члены Славянского общества, сгруппировавшись, стояли в молчаливом ожидании.

Старший жандармский офицер сказал Гебелю:

— Имею к вам секретное важнейшее дело.

Гебель сделал знак музыке, она на полутакте оборвалась. Наступила напряженная тишина. Оба жандарма вслед за хозяином проследовали в его кабинет.

Через некоторое время Гебель с теми же жандармами опять прошел через весь зал, в передней облачился в теплую шинель, и все трое умчались в санях на край города — делать обыск у Сергея Муравьева.

Как растревоженный грубою рукой улей, зал загудел от волнующей вести. Гебелю вручен был приказ об аресте самого видного офицера в Черниговском полку — Сергея Ивановича Муравьева.

Многие из гостей Гебеля уважали и любили Муравьева, окружные помещицы мечтали выйти замуж за столь видного жениха, или выдать за него своих дочерей.

Раздавались возгласы:

— Какое счастье, что он уехал! Быть может, скроется за границу!

Члены Общества соединенных славян, бывшие на балу, не имели возможности предупредить Бестужева-Рюмина, ночевавшего в квартире Муравьева, чтобы он припрятал опасные бумаги...

* * *

Положение членов тайного общества было очень затруднительным: то ли идти без промедления на Киев, подняв сколько можно полков — и будь, что будет? То ли дождаться вестей об участи Муравьева?

Дня через два примчался из Киевского арсенала Андреевич и привез письма из Петербурга от очевидцев столичных событий. Славяне были удручены ужасными подробностями, которых еще не знали: новый император картечью бил солдат, побежавших по невскому льду, от чего лед проломился, и потонули сотни людей.

Письма, адресованные Муравьеву, Андреевич хотел передать ему лично и, не отдыхая ни минуты, пустился по его следам в новый путь.

И вот по Житомирской дороге, в погоню за Муравьевым, помчались сани Гебеля, Бестужева-Рюмина, Андреевича...

А Сергей Муравьев подъезжал к местечку Любар, где находился со своими гусарами его двоюродный брат Артамон Муравьев, недавно получивший Ахтырский полк.

Сергей Иванович ехал вместе с Матвеем Муравьевым в тесном возке, зябко кутался в шинель, жался к плечу старшего брата. Колючий снег больно хлестал в лицо.

— Я на чудеса, Сережа, не рассчитываю, — говорил печально Матвей. — И не думаю, что наш кузен Артамон возьмет и подымет завтра свой полк. Да и сам Артамон не из героев...

— Не допускай, Матвей, чтобы сомненье заглушило жар твоего сердца, — сказал Сергей Иванович, — сомненье — смерть подвигу! Вспомни только, какой могучей силой в устах нашего Рылеева звучало одно слово —

дерзай! Оно сейчас самое необходимое, только оно — условие победы.

— Хорошо помогло это одно слово нашим товарищам на Петровской площади под пушками нового царя! — горько усмехнулся Матвей. Но брат словно не слышал. Он крепко сжал его руку и сказал твердо, с глубоким убеждением:

— Мы должны как можно скорей поднять три гусарских полка. Они все тут близко. К Ахтырскому, конечно, примкнут и Александрийский и Алексопольский. Я двину полки на Житомир и внезапно, пока правительство не успело спохватиться, мы арестуем всю корпусную квартиру...

Приехали в Любар. Возок остановился перед домом полкового командира.

Артамон Муравьев сам открыл двери. Он заметно осунулся, потерял обычную франтоватость. Лицо его, несколько пухлое, той слащавой красоты, за которую прозвали его «купидоном», поблекло, глаза испуганно бегали. Ни одна черта во внешности этого недалекого человека не обличала ни мужества, ни энергии.

Сергей Иванович глянул на него, словно увидал его впервые, и, опустившись в кресло, молча облокотился на стоявший рядом курительный столик. Матвей Иванович сел напротив и с угрюмой тоской смотрел, как поспешно Артамон кидает в горящий камин какие-то бумаги.

«Верно, для того и денщиков всех услал, то-то двери сам открывает, — мелькнуло у него в голове, — свидетелей боится. Поздние предосторожности!»

Наконец молчание прервал Сергей Иванович. Он заговорил каким-то не своим, строгим голосом:

— Ты, конечно, понимаешь, Артамон, с каким предложением мы к тебе приехали? Пробил час исполнить обещанное. — И с жестом, отстраняющим всякие возражения, Сергей Иванович, встав с кресла, повторил: — Да, пробил час. Подымай немедленно твой Ахтырский полк! И вот две записки, — он протянул два листка, — Спиридову и Тютчеву. Они этого только и ждут. Сразу приведут своих. Посылай с верным нарочным...

Сергей Иванович тряхнул листками, настойчиво ткнул ими в грудь Артамона. Тот машинально взял их... Вдруг

лицо его дрогнуло, он всхлипнул и бросил обе записки в камин.

— Я не могу! — завизжал он, закрыв лицо руками. — Я не могу вести людей на верную смерть! Четырнадцатое декабря открыло мне глаза на наше безумие!

Сергей Муравьев страшно побледнел, для чего-то взял в руки каминные щипцы. Матвей быстро шагнул к брату, зная, как бурно тот может вспылить. Но Сергей Иванович только с силой швырнул щипцы на пол и глухим голосом спросил Артамона:

— Как же ты столько раз обещал то, чего от тебя и не требовали, — хвалился быть первым? Говори, что собрался делать?

Артамон заговорил, захлебываясь словами, всхлипывая:

— Я еду сейчас в Петербург. Я все расскажу государю об Обществе... С какой благородной целью оно основано, чего мы хотели... Я уверен, узнав патриотические наши намерения, государь нас оставит при наших местах. И найдутся заступники в Петербурге... Четырнадцатое декабря все, все погубило...

Зарыдав, Артамон повалился на диван, а Сергей Иванович словно окаменел.

Матвей презрительно сказал:

— Мы обманулись в тебе, Артамон... Между нами все кончено.

Не прощаясь с Артамоном, братья Муравьевы уехали в том же самом возке.

Лошади мчались, взрывая снежную пыль. Сергей Иванович теперь сидел уже безмолвный — рухнула еще одна надежда, столь внезапно, столь грубо смятая оробевшим Артамоном.

Поднять Ахтырский полк, увлечь за ним Александрийский и Александрийский, захватить врасплох всю верхушку Главной квартиры в Житомире и двинуться на Киев, а нарочных послать в Петербург и Москву — это был единственный безошибочный план. Надо, конечно, сейчас же заменить его другим... Но кто вернет упущенное время?

Однако, когда Матвей Иванович, для которого неравная борьба с правительством, уже победившим в Петербурге, была страшней самой смерти, сказал, обняв

брата за плечи: «Сережа, надо понять — все, все потеряно! Начинать ли восстание, чтобы зря пролить свою и чужую кровь? Стоит ли? Давай лучше предварим нашу участь, застрелимся сами...», Сергей Иванович встрепенулся. Слова Матвея Ивановича вызвали вдруг совсем обратное действие. Человек, за минуту до того сломанный судьбой, воспрянул сразу духом, вновь наполнился восторженной энергией.

— Нет, Матвей, не умирать нам, а побеждать! — с таким счастьем сказал Сергей, что унылый брат его вздрогнул в испуге — не обезумел ли несчастный от потрясения? Но Сергей Иванович твердо и разумно продолжал:

— Борьба, до последнего вздоха — борьба! И не может оказаться ни капли даром пролитой крови, как ты сказал, Матюша, потому что кровь, за правое дело пролитая в бою, — всегда победа. Если не сейчас, то в будущем. Ведь жизнь с нами не кончится. Так я верю, больше того — так я знаю. И ни слова малодушия!

Во тьме он заглянул в лицо Матвея, припал к его плечу.

— А сейчас, Матвей, надо спешить к моему Черниговскому полку. Он возьмет на себя роль полка Ахтырского, и предательство Артамона будет искуплено мною. Восстание подымем мы, черниговцы...

* * *

Этого призыва к восстанию с нетерпением ждали от Муравьева оставшиеся в Василькове офицеры и очень обрадовались, когда поздно ночью из деревни Трилесы, где стояла рота Кузьмина, явился рядовой этой роты с запиской поручику Кузьмину от Муравьева:

«Анастасий Дмитриевич, я приехал в Трилесы и остановился в вашей квартире. Приезжайте сами и скажите барону Соловьеву, Шепило и Сухинову, чтобы они тоже без промедления ехали ко мне в Трилесы».

Предположение, что Муравьев может быть арестован раньше, чем они приедут в Трилесы, заставило офицеров принять предосторожность: двое поехали большаком и двое — проселочной дорогой. Иного сообщения, кроме этих двух путей, у Василькова с Трилесами не было.

Это местечко, куда устремились по вызову Муравьева черниговские офицеры, было большой деревней, верстах в пятидесяти от Василькова. От густых лесов, давших когда-то деревне название «Трилесы», сейчас и помину не осталось. Деревья вырубили, а новые сажать поленились.

Сюда Гебель недавно перевел пятую роту Черниговского полка, считая ее по состоянию солдат мятежной, а командира роты — поручика Кузьмина — и вовсе неблагонадежным. В такое беспокойное время, как последние недели, Гебель считал благоразумней держать его подальше от Черниговского полка.

Братья Муравьевы приехали в Трилесы вдвоем. С дороги Бестужева-Рюмина отослали известить полковника Пыхачева, командира артиллерийской конной роты, о начале восстания.

Братья спокойно расположились в хате Кузьмина. Она состояла из большой светлой комнаты и кухни, занятой караулом, при котором находился и его начальник, седоусый фельдфебель Михей Шутов.

Это был замечательный человек: он знал, что произведен в офицеры, что приказ об этом производстве уже находится в дивизионной квартире, и тем не менее принял самое деятельное участие в подготовке к восстанию, стал настоящей опорой офицеров Черниговского полка.

Многолетняя жестокая солдатчина не согнула его, не сломила. Дождавшись, наконец, вожделенной свободы и независимости, Михей Шутов сейчас добровольно отдавал их борьбе за свободу отчизны.

Сергей Муравьев очень любил Шутова и верил, что пятая рота будет служить опорной точкой восстания. Она, конечно, подымет Черниговский полк, и это будет начало. А доброе начало — половина дела.

В хате Кузьмина, ночью, в хорошем разговоре с Шутовым снова возникли надежды, доверие к собственным силам, вера в поддержку солдат. Повеселел даже Матвей Иванович, всегда склонный к сомнению.

Сергей Иванович в ожидании офицеров из Василькова заснул с легким сердцем, как в юности после удачного экзамена. Но сколь странно и неожиданно было пробуждение!

Ему приснилось, будто в лесу он завидел костер. Но только захотел подсесть к нему ближе, как вдруг, освещенный огнем, встал с земли полковник Гебель... Проснувшись в тот же миг, Муравьев увидел пред собою живого Гебеля, в теплой шинели, с зажженной свечкой в руке.

Муравьев со сна еще не успел сообразить, в чем дело, как Гебель поставил свечу на стол, взял лежащий тут же заряженный пистолет и, покрутив его, смахнул порох. Пистолет положил обратно и начальнически сказал:

— Здесь не место заряженному пистолету. Разбойников, надеюсь, не имеется?

Через минуту голосом построже торжественно возвестил:

— Подполковник Муравьев, вы и ваш старший брат по высочайшему повелению арестованы!

В хату вошел высокий жандармский офицер Ланг. Он приехал с Гебелем вместе, имея на руках предписание об аресте Бестужева-Рюмина. Зная о тесной дружбе Бестужева с Муравьевым, Ланг не без основания решил начать поиски в соединении с Гебелем. «Где Муравьев, там ищи и Бестужева», — решил он.

Гебель, закуривая от сигаретки Ланга, подмигнул ему на своих арестантов и сказал самодовольно:

— Хотя по русская пословица отнюдь не рекомендуется двух зайцев поймать в один раз, мы с вами покажем совсем новый пример, потому что будем ловить этих зайцев сразу по три штука!

И захохотал.

Скоро Сергею Муравьеву стало даже интересно наблюдать, какие глупые ошибки свершает Гебель, не имеющий понятия об истинных отношениях своего арестанта с солдатами.

Гебель приставил к нему и к его брату Матвею караул из 5-й мушкетерской роты. Эти солдаты были предназначены для самой первой шеренги на случай восстания. А Михей Шутов, седоусый фельдфебель, поставленный Гебелем начальником всего караула, не хуже лучших членов тайного общества сознавал необходимость борьбы за свои права, жизнь готов был отдать за свободу. Ведь знал отлично, что в случае неудачи ждут его

двенадцать тысяч палок да вековечная Сибирь, если после экзекуции выживет.

Вот каков был «надежный караул» под всеми окнами и перед дверями дома, где пойманы были и посажены под арест «государственные преступники».

Не подозревал Гебель и того, что еще до его приезда в Трилесы Муравьев отправил с черниговским офицером в Васильково записку с просьбой без малейшего промедления ехать к нему в Трилесы. Гебель был весьма доволен, что приказ об аресте Муравьевых так благополучно выполнен, и спокойно расселся на диване, чтобы пить чай. Между тем Шепило и Кузьмин, первые из четырех офицеров, выехавших из Василькова, добрались до Трилес.

Подъезжая к своей квартире, увидев стражу, поставленную Гебелем, Кузьмин сказал:

— Так и вышло, как я предполагал. Гебель еще здесь, но и арестованные им, к счастью, тоже здесь...

— Убить этого Гебеля! — предложил Шепило, но Кузьмин остановил:

— Пока не приедут сюда Сухинов и Соловьев, необходима полная выдержка.

Гебель встретил обоих офицеров строгой нотацией. Кузьмина бранил за отлучку от роты, стоявшей здесь, а другого — Шепило — напротив, за то, что явился сюда непрошенный.

— Это есть безобразие, — выговаривал сердито Гебель, — делаю вам порицание!

Он смутно чувствовал что-то неладное и старался своей воркотней задержать офицеров у себя до прихода Ланга, посланного им поторопить лошадей.

Офицеры стояли перед Гебелем навытяжку, он их не приглашал садиться, сам медлительно тянул чай с ромом.

Чуть приоткрылась дверь, и рядовой роты Кузьмина, как было условлено, знаком показал ему, что приехали ожидаемые офицеры. Гебель не заметил, как Шепило выскользнул встречать прибывших, и перед ним в крайне почтительной позе остался стоять один только Кузьмин.

— Я начальником караула поставил вашего фельдфебеля Шутова, — сказал Гебель, подливая рому в чай. — Можете ручать за него головой?

Кузьмин, не моргнув, уверенно ответил:

— Как за себя самого, ваше высокоблагородие.

— Он уже есть почти прапорщик, — смягчился Гебель, — я видел бумага об его производство.

Пока Кузьмин, убаюкивая бдительность Гебеля, изобретал благонадежные аттестации унтер-офицерам и рядовым своей пятой роты, Шепило за воротами встретил Сухинова и Соловьева.

— Гебель собирается арестованных братьев Муравьевых увозить дальше, — сообщил он офицерам. — Уже лошадей заказал...

— А мы этого Гебеля самого — штыком, как собаку, коли понадобится, — в бешенстве сказал Сухинов и пошел к хате. За ним пошли и остальные.

Увидев офицеров, Гебель испуганно вскочил на ноги, но, чтобы не показать своей растерянности, стал грубо кричать, мешая русские ругательства с немецкими. Соловьев, Кузьмин и Сухинов, не обращая на него внимания, удалились на кухню, где стоял караул, чтобы объявить ему и страже о начале восстания. Гебель рванулся было за офицерами, но Шепило заслонил собою дверь и захлопнул ее перед самым носом Гебеля. Тот вдруг перестал ругаться и, уже не скрывая своего испуга, через дверь умоляющим голосом просил Шепило:

— О, любезный поручик Шепило, одумайтесь! Остановите ваших камраден, если они нечто плохо задумали. Я есть ваш командир, ваш военный отец. Если я вас браню, как детей, — это одна чистый польза.

На большой кухне, отделенной от первой комнаты длинными проходными сенями, три черниговских офицера объявили солдатам, что сейчас пробил, наконец, час поднять восстание, о котором им столько говорили, и начать его надо с ареста командира Гебеля.

— Давно пора его! — отозвались солдаты.

— Куда вы, туда и мы. Не отступимся!

Шепило и Соловьев вышли из кухни в длинный коридор, чтобы наскоро обсудить предстоящие действия, как вдруг из входных дверей показался жандармский офицер Ланг. Он спешил к Гебелю с докладом насчет лошадей.

Сухинов, решив, что он их подслушивал, схватил ружье и нацелился в жандарма штыком.

— Не убивай его, — остановил Соловьев, — довольно с него и ареста.

Ланг, перепуганный насмерть, ловко выскочил из сеней и побежал. Офицеры настигли его и при помощи рядовых заперли в подвале. Шепило, оставив Гебеля одного, вышел узнать, что происходит в доме.

Между тем Гебель принялся громогласно звать Ланга. Ответа не было. Тогда Гебель осторожно прошел из комнаты в караульню и наткнулся на Шепило и Кузьмина. Оба, разбив солдат на два взвода, отдавали приказания о начале действий...

Гебель пришел в ярость, стал было снова осыпать офицеров грубой бранью. Но тут Шепило уже не выдержал и всадил в него штык, а Соловьев свалил на землю. Сергей Муравьев, не теряя времени, разбил кулаком стекло и через окошко выпрыгнул во двор.

Бросив бесчувственного Гебеля, полагая его мертвым, офицеры Черниговского полка поспешили к солдатам... В суете и шуме не заметили, как Гебель пришел в себя, дополз до дороги, где и был подобран проезжающими. Его отвезли в корчму, откуда немедленно переправили к лекарю для оказания ему скорой помощи. Даже нашлись охотники доставить израненного командира Черниговского полка в городок Васильков, на собственную квартиру.

Перед тем как лечь в госпиталь, Гебель собрал все силы и успел дать своему заместителю строжайший наказ — усилить в Василькове караулы и сажать под арест взбунтовавшихся, как только они покажутся в городе. Заместителем Гебеля был майор Трухин, знаменитый в военном мире своим пристрастием к вину. Трухин принял командование над Черниговским полком. Перепуганный насмерть, он перепугал и жителей тем, что удвоил городские караулы. Во все роты, рассеянные по окрестным деревням, он отправил приказ: собраться всем в Василькове.

Соловьев и Шепило, ехавшие по приказу Муравьева к своим ротам через Васильков, остановились у полкового квартирмейстера.

Трухин, узнав про это, взял отряд внутренней стражи, городничего и дежурного по караулам — поручика Быстрицкого, офицера, негласно приверженного делу

тайного общества, и пришел в дом, где находились в ожидании свежих лошадей Соловьев и Шепило.

Вздернув кверху утиный красный нос, предательски обличавший его страсть к возлияниям, Трухин торжественно объявил:

— Поручик Быстрицкий, приказываю вам немедленно ехать в деревню и принять роту поручика Соловьева! Вы замените его, как недостойного! Вы приведете его бывшую роту в Васильков, без промедления!

— Что нам и требуется, — прошептал Соловьев, но так, что Быстрицкий услышал и незаметно кивнул ему головой.

На главной гауптвахте, куда велено было посадить Соловьева и Шепило, от майора получили строжайший приказ: никого к арестованным не допускать, ни слова с ними не говорить и стрелять в них без промедления при первой попытке к бегству.

— Зачем бежать вашим благородиям? — усмехаясь, сказал один из стражников. — Как подойдет сюда полковник Муравьев, всем караулом и с вами вместе к нему и пристроимся.

И, обступив офицеров, караульные стали жадно расспрашивать о подробностях происшествия в Трилесах...

Муравьев в это время уже находился в деревне Ковалевке, в тридцати пяти верстах от города Василькова. Он призвал к себе фельдфебеля и унтер-офицеров второй гренадерской роты, чтобы узнать о намерениях и настроениях солдат. Когда получил ответ, что все единодушно готовы идти за ним, Муравьев приказал собираться в поход.

Послано было уведомление к славянам: приказ Муравьева, чтобы члены тайного общества 8-й артиллерийской бригады и 8-й пехотной дивизии тоже подняли оружие.

И в 17-й егерский полк, что стоял в Белой Церкви, направлен был толковый унтер-офицер Какауров с приказом, чтобы один из офицеров, член тайного общества, явился в Васильков для получения дальнейших распоряжений.

Михаил Бестужев-Рюмин приехал в Ковалевку. Он побывал в ближайших полках и заручился согласием многих командиров примкнуть, когда Муравьев кликнет клич.

Силы стягивались в Ковалевку. Пришел и поручик Кузьмин с частью своей роты. Он боялся оставить Муравьева без прикрытия и вот явился с солдатами, которые случились под рукой, не дожидаясь, пока вся его 5-я мушкетерская рота, рассеянная по деревням, окажется в полном составе. Перед уходом из Трилес Кузьмин призвал фельдфебеля Шутова, спросил:

— Приведешь остальную команду прямым путем в Васильков?

— Так точно, приведу, — с готовностью ответил Шутов.

— Самого черта встретишь — не сворачивай!

— Так точно, не свернем! — весело отчеканил Шутов.

Рано поутру 30 декабря Сергей Муравьев с 1-й гренадерской ротой и большей частью мушкетерской выступил из Ковалевки, намереваясь в один переход сделать тридцать пять верст, отделяющих его от городка Василькова.

Когда об этом узнал майор Трухин, он приказал бить тревогу и 4-й мушкетерской роте, стоявшей в караулах, приготовиться к бою. Население городка охватил ужас, все попрятались по домам, закрыли ставни. Город мгновенно вымер.

В три часа дня авангард войск Муравьева, никем не остановленный, спокойно вошел в город под командой поручика Сухинова и без всякой задержки достиг площади.

Веселый, миролюбивый вид восставших войск вернул горожанам мужество и возбудил сочувствие и любопытство. Все потянулись на площадь.

Трухин, для храбрости изрядно хватив вина, с вызывающим видом в сопровождении барабанщиков подошел к «мятежному авангарду» и с почтительного расстояния стал держать перед солдатами речь о необходимости повиновения только законному начальству.

Он и просил и грозил, но когда услышал в ответ смех — рассердился и подошел со своей назидательной проповедью так близко, что Бестужев и Сухинов, подшучивая над его пьяной важностью, втолкнули его в самую середину колонны. Настроение солдат внезапно изменилось. Нарушив строй, они подхватили Трухина, сорвали с него эполеты, стащили мундир, изорвали в клочья.

Плохо пришлось бы майору Трухину, если бы не подоспел Сергей Муравьев. Он остановил солдат и приказал отвести майора на ту самую гауптвахту, куда Трухин, незадолго до прибытия в Васильков восставшего полка, посадил черниговских офицеров. Майор совсем протрезвел от злости и изумления, когда в этот миг на его глазах 4-я мушкетерская рота, стоявшая на карауле, и 6-я, пришедшая к ней на смену, появились на площади под предводительством арестованных им, Трухиным, поручиков Соловьева и Шепило и при общем смехе и ликовании присоединились к Муравьеву.

Ошеломленного Трухина повели на гауптвахту.

К довершению радостей этого счастливого дня приехал из Белой Церкви подпоручик Вадковский, младший брат Федора Вадковского, который был предан унтер-офицером Шервудом.

Подпоручик этот доложил Муравьеву, что один батальон егерского полка готов, и сейчас он, как только вернется в Белую Церковь, приведет его сам в Васильков.

Муравьев беспрепятственно овладел всем городком. Он вызвал к себе на городскую площадь почетных граждан и объявил им цель и причину восстания, которое никак не угрожало их личной и имущественной безопасности. Уверил ласковой и благородной речью, что порядок и тишина в городке будут строжайше соблюдены, и просил доставить солдатам съестных припасов и водки.

Жители успокоились. Молодежь пришла в восхищение. Припасы доставляли без промедления. Солдаты разместились по квартирам, сперва окружив город военной цепью и обеспечив заставы сильным караулом.

Этот день первой победы завершен был еще одним радостным событием: в восемь часов вечера пришел в Васильков фельдфебель, седоусый Михей Шутов. Он привел остальных рядовых 5-й мушкетерской роты, оставленных на его ответственность поручиком Кузьминым.

Сергей Муравьев поражен был речью Шутова: такой гордостью звучал его голос, когда он стал рассказывать, что произошло с ним в пути.

— Так что, не доходя семи верст до Василькова, вдруг нагоняет нас генерал Тихановский, командир девятой дивизии, ка-ак закричит на меня, да таково грозно:

— Стой! Куда идешь с командой?

— Так что, ваше превосходительство, отвечаем, идем к своей части в Васильков.

— А знаешь, что делается у вас в полку?

— Так что вполне знаем, ваше превосходительство. Потому именно туда и идем. На соединение, значит.

Генерал стал красный, да ка-ак гаркнет:

— Поворачивай команду на дивизионную квартиру!

Седые усы Шутова дрогнули веселой усмешкой.

— Что же вы ответили Тихановскому? — любуясь старым солдатом, спросил Муравьев.

— А генералу Тихановскому ответ дали мы, ваше высокоблагородие, в таком смысле, что не можем нарушить обещания нашему уважаемому ротному, поручику Кузьмину, и опять-таки высокоуважаемому батальонному командиру, то есть вам лично, Сергей Иванович.

— А генерал?

— Увещевать стал, потом грозил, каждому по двенадцати тысяч шпицрутенов посулил, а мне уж — веревку на шею. Да не дрогнули солдатики. Все до единого пришли со мной в Васильков... Я, ваше высокоблагородие, — прибавил доверительно Шутов, — хотел было того генерала Тихановского арестовать, да не посмел, не имея на то приказания от вас.

Муравьев с минуту помолчал.

— А известно ли тебе, Шутов, — сказал он, и голос его дрогнул от волнения, — известно ли тебе, что ты произведен в прапорщики? Приказ о том, еще не объявленный, находится в дивизионной квартире.

— Так точно, известно, — бодро ответил Шутов, — приказ от третьего декабря 1825 года. Однако сейчас уж он будет без последствий, ваше высокоблагородие.

— А наказание какое понесешь в случае общей нашей неудачи, тоже знаешь? — тихо спросил Муравьев.

— Известное наказание — расстрел. А ежели по конфирмации закона будет замена, то не менее двенадцати тысяч шпицрутенов, как генерал хвалился...

Муравьев крепко обнял старика, потряс ему руку.

— Как же ты решился? Как ты себя не пожалел?

— А так же, как и вы, ваше высокоблагородие, — сказал простодушно Шутов и, словно стесняясь дольше задерживать на себе внимание командира, заторопился в роту по неотложным делам.

— Какой человек, боже мой, какой человек! — говорил офицерам Муравьев, с восторгом думая о старом фельдфебеле.

— Какие люди, вернее сказать, Сергей Иванович, — поправил Сухинов, — не один у нас Михей Шутов. Есть и Федор Анойченко, есть и Клим Аврамов и многие простые рядовые...

Глава восьмая

Бестужев присоединился к отряду Муравьева еще перед входом в Васильков, участвовал в занятии города и сейчас делал свой доклад на срочно собранном военном совете восставших офицеров.

Главный вопрос поставлен был так: идти ли немедленно на Киев или выполнять план первоначальный — двинуться на Житомир через Брусилов?

— В Брусилове стоит Кременчугский пехотный полк, его командир Набоков — старый семеновец, на него можно бы рассчитывать, — докладывал Бестужев на собрании членов Общества.

— Он тебе что-нибудь положительное обещал? — спросил Сергей Иванович.

Бестужев замялся.

— Собственно говоря, нет, — ответил он неуверенно, — все колеблется, сколь я его ни убеждал... Но вот Пыхачев, командир пятой конно-артиллерийской роты, — это гранит. И у него пушки. Вспомни только, как горячо он клялся летом в лагерях, что честь первого выстрела за свободу отечества принадлежит ему! Ужели все вместе мы не увлечем Набокова?

— Наконец, около Житомира восьмая бригада, — сказал Муравьев. — А в Киеве нас встретит полная неизвестность. Необходимо предварительно разузнать все про Киев.

Все согласились с этим доводом, и Муравьев, не откладывая, предложил Мозалевскому ехать в Киев разведчиком:

— Возьмете с собой трех надежных людей, — приказал Муравьев, — переоденьтесь в крестьянское платье или во всяком случае снимите погоны. Письма, которые я вам вручу, доставьте по назначению. И разбросайте, где будет приметнее, вот это... — Он подал Мозалевскому экземпляры своего катехизиса, в чудодейственную силу которого продолжал верить всей душой. — И все восставшие роты киевлян должны вместе с вами явиться в Брусилов, — сказал он в заключение.

— Счастлив вашим доверием, — восторженно отвечал Мозалевский. Тут же решили, что он поедет в сопровождении трех верных делу рядовых и унтер-офицера.

Вечером тридцатого декабря Муравьев дал приказ, чтобы из квартиры полкового командира вынесены были знамена и переданы нижним чинам. Сбор всего войска назначен был на той самой площади, где совсем недавно принимали, одну за другой, две присяги двум царям.

Назавтра на этой площади войскам будет во всеуслышание прочитан новый революционный катехизис. Сергей Муравьев верил: каждому откроется вся праведность, даже святость начатой борьбы против правительства, в каждом вспыхнет тот неугасимый пламень, которым горело его собственное сердце. То, что Матвею Муравьеву казалось лишь прекрасной, но совершенно детской мечтой, для Сергея Муравьева было несомненной, осуществимой реальностью. А то, что происходило в эти дни в Василькове, — пусть еще не победа, но уже всеобщее несомненное торжество.

В самом деле: быстрый переход из Трилес в Васильков, где удалось собрать все присоединившиеся к восстанию роты, был хорошим началом воплощения смелой революционной мечты. И Сухинов оказался отличным помощником Муравьеву: он поддерживал в войсках строгую дисциплину, а приказ — не чинить обид жителям — неукоснительно соблюдался всеми: от населения города никаких жалоб не поступало.

Муравьеву было приятно сознавать, что он правильно выбрал Васильков местом сбора: отсюда пути открыты и на Киев, и на Белую Церковь, и на Житомир. И пра-

вильно, что послан в Киев Мозалевский узнать о революционных настроениях в гарнизоне и среди жителей, а главное — какие командиры назначены правительством против восставших. Это последнее соображение Муравьев поведал зашедшему к нему вечером Сухинову.

— Я очень надеюсь на знакомых командиров, — сказал он задумчиво. — При встрече с нами они, конечно, заставят свои полки перейти на нашу сторону.

— Сергей Иванович, — сказал с упреком Сухинов, — вы все еще плохо понимаете: разве рядовые в нашем деле значат меньше командиров? Неужто вам мало примера Шутова? Да с такими людьми, как он, если вдруг командира снимут, ничего не изменится: что затеяли — солдаты выполнят сами. Но все это, заметьте, — в нашей восьмой артиллерийской бригаде, где было влияние славян. Однако может оказаться совсем иное положение в других полках, если начальство снимет тех офицеров, которые с нами мыслят заодно, и вдруг заменит их новыми, враждебными нашей цели. Нам нельзя медлить...

— Завтра на площади назначено чтение революционного катехизиса, а затем мы выступаем на Мотовиловку, — сказал Муравьев. Не давая Сухинову что-либо возразить, он протянул ему заветные листки и просительно добавил:

— Вот изучите хорошенько, — мы вместе с Бестужевым написали. Завтра будете мне помощником и в этом. Кому не будет вразумительно, прошу вас — разъясните!

Сухинов отвел глаза, помолчал.

— Не осудите, Сергей Иванович, за правду, — сказал он наконец. — Мне самому ваш катехизис кажется не слишком-то вразумительным. Читал я...

— Что же именно в нем невразумительно? — по-детски растерянно спросил Муравьев.

— Сам-то я вас понял, — мягко улыбнулся Сухинов, и по засветившимся глазам его было видно, как сильно любит он Муравьева,— ведь вы хотели в немногих словах показать смысл всего нашего восстания. Все вопросы и ответы вашего катехизиса подчинены одной этой цели. Не так ли? Но что солдату до библейского царя Саула, до отношения самого бога к монархии, когда в первую голову ждет он прямого слова о сокращении своей каторжной службы и освобождении крепостных?

— Не представление о будущих выгодах должно двигать человеком, а неиссякаемая жажда свободы, сознание своих прав, — сказал Муравьев с такой чистой верой, что возражение замерло на устах Сухинова.

Ему Сергей Муравьев был не совсем понятен, но весь он выражал такую готовность к высокому подвигу, что Сухинов молча поклонился.

— Будьте покойны, Сергей Иванович, я солдатам разъясню, как сумею, — сказал он примирительно и унес с собой листки катехизиса.

Муравьев задумчиво поглядел Сухинову вслед, мысленно продолжая убеждать его.

«Русский солдат сильно привязан к религии, и для его освобождения надлежит не ослаблять, не разрушать это чувство, а только дать ему совсем противоположное направление, перевести его в революционное русло... Чтение библии с объяснениями, полезными делу, может внушить ненависть к правительству, это вода на нашу мельницу. Некоторые главы катехизиса содержат прямое — от бога — запрещение избирать царей и повиноваться им. Только надо разоблачить священников, которые все перекроили для своей выгоды и в угоду царям. Надо только довести до сознания солдат истинное повеление божие, и тогда они, не колеблясь, поднимут оружие за свободу и против царя. Если я им доказываю, что религия не противна свободе, ведь этим я множу их силы, а не ослабляю. Сухинов и многие другие славяне считают, что никакой религии не надо. Но это может быть так — для них, а для солдат?»

Тут перед Сергеем Ивановичем вдруг возникло седоусое и вместе с тем молодое лицо Михея Шутова, вспомнилась его готовность арестовать самого генерала, если бы это нужно было для дела...

Сергею Ивановичу стало жутко при мысли, что он ошибся и, может быть, славяне верней, чем он, смотрят на просвещение солдат. И все-таки он не отменит своего намерения — чтение политического катехизиса завтра, перед выступлением в поход...

Ночь прошла в этих мыслях без сна. Под утро принесли бумаги, отобранные у двух арестованных на городской заставе жандармских офицеров. Один из них оказался Несмеяновым — тем самым жандармом, кото-

рый омрачил веселый бал у полкового командира Гебеля, предъявив ему предписание об аресте Муравьева. В бумагах оказалось то же самое повторное распоряжение властей. Муравьев устало улыбнулся.

Офицеры Черниговского полка всю ночь с 30 на 31 декабря срочно готовились к походу. Добывали солдатам продовольствие, проверяли ружья, патроны, всю амуницию. С вечера дан был Муравьевым приказ — всем ротам собраться 31 декабря к девяти часам утра на площади.

Пять рот пришли в полной боевой готовности. Во главе их стояли все те же, преданные всем существом делу восстания и лично самому Муравьеву, командиры Сухинов, Кузьмин, Соловьев и Шепило. Были на площади, разумеется, и Бестужев-Рюмин и старший брат Сергея Ивановича отставной подполковник Матвей Муравьев.

Сергей Муравьев в своем кабинете давал прапорщику Мозалевскому последние указания и письма киевским членам общества.

Во время сбора Черниговского полка на площади внезапно показались сани с Ипполитом Муравьевым в блестящем обмундировании, очевидно он только что был произведен в офицеры гвардии. Матвей Муравьев, несмотря на радость встречи, побледнел от мысли, что и этот младший брат, последний в семье, должен будет разделить с ними все опасности похода, более чем вероятный разгром и ту страшную кару, которая не замедлит обрушиться на мятежников.

Но Ипполит был в состоянии полного юношеского восторга.

— Эта торжественная картина первого общего сбора восставших рот здесь на площади заставляет забыть даже провал четырнадцатого декабря в Петербурге! — говорил он Матвею. — Может быть, вам, южанам, удастся большее, чем северянам. Но знай, Матюша, если я обманусь еще раз в своих надеждах, я не перенесу этой второй неудачи. Клянусь честью, я готов вместе с вами победить или пасть мертвым на поле битвы! — говорил он, порывисто пожимая руки офицерам. Поручик Кузьмин весь вспыхнул:

— Клянусь и я, меня живого не возьмут! Свобода или смерть!

Ипполит бросился к нему на шею. Они крепко обнялись и как бы побратались, поменявшись пистолетами.

На площади появился Даниил Кейзер, молодой священник, только три месяца тому назад принявший сан и начавший свою службу в Черниговском полку. Сергей Муравьев сумел убедить его в необходимости всенародно прочесть революционный катехизис, «возмутительный», по позднейшему определению властей.

Наконец, верхом на коне, перед солдатами и офицерами предстал Сергей Иванович Муравьев. Строй по его команде выравнялся, каждое лицо выражало возбуждение, радостное ожидание.

«Бог создал всех нас равными, — начал Даниил Кейзер голосом, трепещущим от страха, — и Христос избрал себе апостолов из простого народа, а не из знатных и царей. Стало быть, бог не любит царей? Нет! Они прокляты суть от него, как притеснители народа. Отчего же русский народ и русское воинство несчастны? Оттого, что они покоряются царям!..»

Муравьев жадно следил за выражением солдатских лиц. И увидел: по мере чтения они становились казенно-почтительными, равнодушными — такими, какими бывают всегда при обычных церковных обрядах. Ризы священника, аналой, протяжная церковная манера произносить слова не доводили до их сознания новое, революционное содержание катехизиса. Иные кое-что поняли, но и на их лицах Муравьев прочел больше удивления, чем сочувствия.

«Сухинов прав, — подумал, опечалясь, Сергей Иванович, — нужны не эти слова, и не в этой старой форме, с которой у них прочно связаны совсем иные представления...»

С трудом сдерживая гарцующего коня, он обвел горячим взглядом собравшихся на площади и заговорил с таким вдохновением, которое с первых же слов захватило людей, наполнило лица восторгом:

— Ребята! Поздравляю вас с началом победного похода! Отныне прославлен вами этот маленький город, с которого началось великое дело освобождения нашей несчастной родины от тиранов, несправедливости, зла!

Нас было всего две роты, когда мы выходили из Ковалевки. Здесь их уже пять. Черниговский наш полк подымет весь корпус, к нему пристанут несметные полчища. И вольность, которую мы сейчас провозглашаем, пронесется по всей России. Взойдет и засияет солнце свободы и горячими лучами испепелит позорные цепи рабства. Ребята, будьте же верны великому делу! Победа за нами!

И ответила площадь одним дыханием:

— До последней капли крови!

— Победа или смерть! — выкрикнул Кузьмин, за ним эти слова повторил Ипполит и многие молодые офицеры...

Войска двинулись в Мотовиловку.

К Сергею Муравьеву подошел начальник караула с вопросом, что же делать с арестованными жандармами.

— А черт с ними, выпусти, — сказал на ходу Муравьев, — не с собой же нам таскать их?

Жандармов освободили, и они прямехонько кинулись в Киев и были первыми вестниками восстания Черниговского полка.

Дорогой в Мотовиловку Ипполит рассказывал братьям про события в Петербурге, о первоначальном плане, который был сорван Якубовичем, и об отказе Каховского убрать Николая. Рассказал, дрожа от негодования, про то, как Трубецкой не пришел на площадь.

— Он трус и изменник...

— Нет, Ипполит, Трубецкого не надо называть столь позорным именем, — остановил Сергей Муравьев, — я знаю его близко. Видимость его поступка, не спорю, отвратительна, но он не изменник и не трус. Разберем хорошенько: если бы точно был трус — он мог бы еще до событий убежать при помощи австрийского посла Лебцельтерна, который ему родня. Он вовсе мог бы скрыться, а он пребывал где-то рядом и ждал, наступит ли минута, когда количества восставших будет достаточно, чтобы над ними взять команду и повести на штурм. Он только военный командир, а не революционный вождь. Велика его вина, но все же он не подлец.

— Сколько б ни собралось войск, он на дворец их все равно не повел бы! — сказал с гневом Ипполит.

— А разве он когда скрывал, что республики принять не может? — быстро возразил Сергей. — Виноваты те, кто, забыв про убеждения Трубецкого, избрали его диктатором!

— Но он должен был выйти на площадь, куда пришли его товарищи, солдаты и толпа народа, полная сочувствия к восставшим! — не уступал Ипполит.

— Успокойся, — мягко взял его под руку Матвей, — зато здесь вышли мы! Да, Ипполит, Север и Юг — одна сила, одна воля. Как мечтал об этом дорогой наш Пестель! Ужели он не чувствует, что сбываются его мечты?

* * *

31 декабря, в два часа дня, Черниговский полк под командой Сергея Муравьева вступил в Мотовиловку — унылую деревню с обилием колодцев-журавлей. Пред ним выстроились пришедшие раньше, посланные сюда Муравьевым, две роты — первая гренадерская с капитаном Козловым и первая мушкетерская.

Здесь среди офицеров не оказалось ни одного члена тайного общества. Но Сергея Муравьева это не остановило. Он спешился, подошел ближе.

— Я надеюсь, — сказал Муравьев, — вы не оставите своих товарищей?

Солдаты молчали, смущенно поглядывая на Козлова. К Муравьеву подошел Шепило.

— Я уверен, — сказал он тихо, — что солдат отклонил от нас капитан Козлов. Он неизменный наш противник. Арестуйте его, и тотчас в солдатах произойдет перемена.

— Довольно насилия, — решительно заявил Шепило Муравьев. — В таком деле, как наше, принуждение унизительно. — И, повысив голос, глядя в лицо Козлову, отводившему глаза в сторону, добавил:

— Я угадываю ваши мысли, солдаты, вы не можете быть нашими товарищами. Возвращайтесь на свои места!

Гренадеры, возглавляемые капитаном Козловым, тотчас ушли, мушкетеры присоединились к восставшим.

В тот же день, 31 декабря, к полночи, загнав лошадей, прискакали в Киев отпущенные Муравьевым из-под ареста майор Трухин и жандармские офицеры.

Той же ночью прибыл в Киев и Мозалевский.

Все в городе было тихо, словно здесь и не знали о восстании черниговцев. Но едва Мозалевский успел повидать кое-кого по адресам, данным Муравьевым, как во всех частях города забили тревогу. Мозалевский кинулся в предместье Киева, Куреневку. Минуя заставы, хотел пробраться большаком в Брусилов. Но его все-таки схватили и как подозрительного человека привели к командиру 4-го корпуса князю Щербакову. Здесь, к удивлению своему, он увидел майора Трухина и тех самых жандармских офицеров, которые еще с 25 декабря гонялись за Муравьевым, чтобы арестовать, и сами угодили на Васильковскую гауптвахту. Мозалевского арестовали, отправили в Главную квартиру Первой армии.

Слабость Муравьева, освободившего из-под ареста врагов восстания, привела и к другим зловещим последствиям — бегству из Трилес штабс-капитана Ланга, посаженного в погреб без приставленного к нему караула. Весь обмерзший, явился Ланг в дивизионную квартиру, в Белую Церковь, и рассказал о «бунте Черниговского полка» начальнику дивизии, тому самому генералу Тихановскому, с которым повстречался Михей Шутов, шедший с солдатами мушкетерской роты в Мотовиловку к Муравьеву.

Тихановский послал курьера к генералу Роту в Житомир. И понеслись донесения дальше, от генерала к генералу, до города Могилева, прямо к командующему Первой армией.

Стоявший в Брусилове со своим Кременчугским полком Набоков получил от Рота приказ срочно привести полк в Житомир. И Набоков, хотя и сочувствовал восставшим, был все же рад, что ему теперь ни бунтовать вместе с Муравьевым, ни выступать против него не нужно: его полк был взят на подозрение.

Большие надежды, которые Муравьев возлагал на 5-ю конно-артиллерийскую роту Пыхачева, в конце концов тоже не оправдались. В Лещинском лагере этот Пыхачев на общем собрании Соединенных славян и Южного общества клялся во всеуслышание, что «никому не уступит первого выстрела в борьбе за свободу отечества!»

Генерал Рот направил Пыхачеву приказ: покинуть Брусилов и немедленно скорым шагом передвинуться в местечко Паволочь, где Пыхачев и был арестован.

Да, с Мотовиловки началась горькая расплата за все допущенные ошибки...

* * *

Дневка в Мотовиловке, на первое января, объявленная Сергеем Муравьевым, вредно расхолаживала солдат, но Муравьеву для дальнейшего движения необходимой казалась киевская разведка Мозалевского, а он все не возвращался...

Разве мог Сергей Иванович знать, что Мозалевский, не успевший сделать самого главного, уже арестован? что 17-й егерский полк выводят из Белой Церкви, что арестован Пыхачев? что жандармские офицеры и Трухин, выпущенные Муравьевым из-под ареста, сделали свое дело раньше, чем он собрал свои военные силы? что не дремал и Ланг, легко выбравшийся из погреба?

Муравьев ничего этого еще не знал и всеми силами старался поддержать бодрое настроение в войске. Он сам много говорил с солдатами, с большой заботой расспрашивал об их нуждах и делал все возможное, чтобы снабдить в поход теплой одеждой и продовольствием.

Когда Сергей Муравьев проверял караулы, его окружил народ, шедший в праздничных нарядах из церкви. Крестьяне, казалось, чувствовали все благородство намерений и бескорыстие восставших. Муравьеву со всех сторон говорили волнующие слова:

— Да поможет тебе бог, избавитель наш!

Внимание Муравьева привлек высокого роста пожилой крестьянин военной выправки с черной повязкой на одном глазу. У него, видимо, было какое-то свое дело к Муравьеву: он старался протиснуться сквозь густую толпу, окружавшую Сергея Ивановича, и что-то говорил находившемуся с ним рядом фельдфебелю Михею Шутову.

Наконец Шутов пробрался к Муравьеву.

— Ваше высокоблагородие, Сергей Иванович, — сказал он тихо, — тут один человек важный вопрос до вас имеет. — И указал на одноглазого крестьянина. — Он к нашей роте привязался еще в дороге, как проведал,

что мы к вам в Мотовиловку идем. От своих мужичков будто послан, белоцерковских...

— Любопытно, — заинтересовался Сергей Иванович, — приведи-ка его сейчас ко мне на квартиру.

Как только Муравьев перешагнул порог дома, денщик сразу же доложил о приходе Шутова с неизвестным дядькой.

— Зови обоих!

Одноглазый человек по-военному отдал честь и отрекомендовался: «Осип Карпенко».

— Они партизаны двенадцатого года, — почтительно добавил Михей Шутов и скромно вышел.

— А ведь я про тебя, Карпенко, уже слышал от поручика Горбачевского, — сказал ласково Муравьев, — ты ведь жил у него, приехав от Ивана Дмитриевича Якушкина. Не так ли?

— Так точно, — козырнул бывший партизан. — А от поручика Горбачевского уехал я к родственникам под Белую Церковь, в одну из экономий графини Браницкой. Тут по всей округе эти экономии разбросаны, несметны богатства сей помещицы! Вот я от тамошних мужичков к вашей милости...

Муравьев подтолкнул партизана к стулу.

— Ты усаживайся, усаживайся. До меня дошли слухи, — сказал он, — что в какой-то экономии Браницкой управляющий вооружил палками мужиков против нашего полка, ложно их осведомив, будто наши черниговцы поднялись для грабежей. Так ли?

— Было такое, да только я не зевал, — с добродушным самодовольством сказал партизан, — мозги людям прочистил. Давно уж разъяснил я мужичкам, Сергей Иванович, что вы все против рабства идете, за их мужицкие права. Многому-то они не верят, от дворян ведь не густо добра видели, а помещица у них — сущий зверь! Однако есть мужики, которые с пониманием: вот с ними мы сговорились встать против помещицы Браницкой. Допекла она их. «Жизни, говорят, не пожалеем, только б ей досадить!» Огромная сила эти крестьяне, ежели встанут.

Сергей Иванович остановился перед партизаном и, ясно глядя в его единственный, горящий умом и энергией глаз, спросил:

— А ты, Осип, можешь за них поручиться, что если встанут, то прежде всего не сожгут барской усадьбы?

— Обязательно сожгут, — с удовольствием сказал партизан. — А неужто жалко? Нельзя же им, чтобы душу не отвести. А уж как примкнут к войску, заодно с вами пойдут. Мужик-то ведь — он умный. Большая от него подмога будет, Сергей Иванович, вашему делу.

— Наше дело — не грабеж, — сухо ответил Муравьев и помрачнел: — Сила, которая может перейти в голую месть дворянству, вместо защиты тех идей вольности и равноправия, за которые встали мы, — плохая нам помощь. Удержать в ней порядок нам будет труднее, чем сражаться с царскими войсками.

— А пожалуй, не больно-то много придется сражаться, — сказал с грустью Осип, — у вас всего близко к тысяче штыков, а у царя — дивизии да корпуса. Не сегодня-завтра задушит он вас! Вот ежели опорой возьмете деревню, да мужичкам объявите волю — все встанут, все пойдут... А коли податься на военные поселения — как порох от искры взорвутся! Старое вытопчут, новина вырастет. А без мужичков, скажу тебе прямо, Сергей Иванович, не имеется у вас и надежд на победу!

За окном послышалась музыка, крики «ура». К Муравьеву вбежал Кузьмин и, сияя радостью, объявил:

— Быстрицкий ведет к нам вторую роту!

Муравьев и партизан поспешили на улицу и сразу попали в поток людей, двинувшихся навстречу солдатам. День выдался солнечный, с голубым небом, небольшим морозом. И от этого бодрящего дня еще праздничнее, веселее казалась входящая с другого конца местечка вторая рота во главе с очень юного вида подпоручиком, румяным от быстрого движения. Немного позади шагал всем знакомый унтер-офицер — Клим Аврамов.

Недавний командир этой роты барон Соловьев, отставленный Трухиным за «мятеж», кинулся к своим. Он был вне себя от радости и торжества, обнимал унтер-офицера, солдат. Втайне он все-таки опасался, что рота не будет приведена Быстрицким, еще даже не членом тайного общества. Тяжелый пример измены таких старых заговорщиков, как Артамон Муравьев с его Ахтырским полком, а на Севере история с Трубецким, Якубовичем породили сомнения, подозрительность...

Сергей Муравьев велел хорошо угостить роту, а с собой увел Быстрицкого, унтер-офицера Аврамова и Осипа Карпенко.

В квартире Муравьева Быстрицкий рассказал, как, прежде чем решиться на выступление, он опрашивал всю роту, готовы ли они действовать заодно с восставшими? — Кроме того, говорил вот с ним, с нашим любимым Аврамовым, — и он пожал унтер-офицеру руку.

— Помнишь, Клим, спросил я тебя, можно ли решиться на такое дело?

— Не только можно, но и должно, сказал я его благородию, — бойко глянул на Муравьева унтер-офицер. — Стыдно нам будет, говорю, в таком деле отстать от товарищей.

— Откуда известна тебе цель нашего восстания? Кто посвятил тебя? — спросил Муравьев. Аврамов взглянул на него с упреком:

— Да наши же, члены Славянского общества. Вся рота знает, за что встали. И ручаюсь вам головой за своих.

Муравьев молча обнял Аврамова и, повернувшись к партизану, сказал:

— Вот видишь, какова она, помощь? Привели всех в порядке, в строю. И все вместе пойдем за благо и право народа. А кровопролития хотим избежать. Но времени лишнего у нас нет, чтобы установить такой порядок и в мыслях ваших и во всей массе справедливо возмущенных людей и направить их гнев на общее дело. А если включить в наше войско, как ты хочешь, твоих крестьян, — что внесут они, кроме зверств и развала, в наш строй?

Партизан покачал головой.

— Эх, барин, — сказал он с укоризной, — повторяю тебе, народ наш умный, он и сам разберет, что к чему... Ну вот, хочешь я хоть из нескольких экономий соберу мужиков, сколочу их военным строем, как, бывало, в двенадцатом году сколачивал, и приведу к тебе? Те же солдаты окажутся, только что в домотканных свитках да в лаптях.

— Будь по-твоему. Только мало привести их строем, надобно еще и удержать в строю, — улыбнулся Муравьев.

Партизан поднялся с места, крепко пожал протянутую ему руку Муравьева.

— А ты заместо палок нам всем ружьеца припаси... Значит, Сергей Иванович, до свидания в Белой Церкви?

Быстрицкий с Аврамовым тоже потрясли руку Карпенке, отозвались в один голос:

— В Белой Церкви!

* * *

Не получая никаких известий от Мозалевского, Муравьев все не решался идти к Киеву. Зная, что от первой встречи с врагами, от последствий этой встречи зависит все дальнейшее, он повел своих солдат туда, где победа казалась ему возможной, — к Белой Церкви. Там, надеялся Муравьев, еще квартировал 17-й егерский полк, без помощи которого, знал он, ему не пробиться к славянам.

Второго января в девять часов утра Черниговский полк вышел из Мотовиловки.

Теперь у восставших уже не было того победоносного, бодрого вида, с каким они совсем недавно вступали в Васильков. Надежды на присоединение полков и дивизий рассеялись, и все поняли: сил у противника неизмеримо больше. Снижало боевой дух и то, что выбирать маршрут пришлось с унизительным расчетом, избегая встречи с вражеской артиллерией. У восставших ее не было вовсе...

И все-таки Сергей Муравьев ехал впереди своих рот браво, ловко сидел в седле, и когда оборачивался — солдаты видели на его лице ободряющую, добрую улыбку. А на сердце у него скребли кошки, терзали мысли о совершенных ошибках, об упущенных возможностях: «Если бы Черниговский полк сразу двинулся на Житомир, арестовал корпусную квартиру раньше, чем генерал Рот узнал о восстании, противодействие правительственных войск на время было бы парализовано. И главное — удача первой атаки укрепила бы дух солдат, ободрила сомневающихся, а внезапное соединение со славянами в Житомире превратило бы этот город в опорный пункт восстания».

Сергей Муравьев все еще не знал, какой последний удар грозит его планам: 17-й егерский полк был в эти

дни уже перемещен, а подпоручик Вадковский через которого налажена была связь, — арестован.

В четыре часа дня второго января Сергей Муравьев занял деревню Пологи. Попозднее, когда уже совсем стемнело, Сухинов, составив небольшой конный отряд из самых надежных солдат, отправился в Белую Церковь — на разведку.

За полторы версты до усадьбы Браницкой он наткнулся на эскадрон казаков, которых помещица выпросила у губернатора для охраны ее экономий: уже по всей округе был пущен слух, что Муравьев со своими ротами идет на разграбление.

Сухинов пустился на хитрость. С ним было всего несколько человек, перед ним — эскадрон отлично вооруженных врагов. Сухинов со своими людьми спрятался в чаще кустарника и, когда казаки подошли близко, внезапно выскочил, выхватил саблю и бросился вперед с криком: «Ребята, за мной!»

Казаки рассеялись, одного же Сухинов прихватил с собой.

Его доставили к Сергею Муравьеву.

— Чего это ты сдуру против своих воевать пошел? — спросил его Муравьев. — Слепой ты человек!

Он приказал унтер-офицерам толково разъяснить казаку причину и цель похода, выспросить, что он знает. Казака хорошо накормили, еще лучше — напоили, и казак рассказал все, что знал. Рассказал и про то, что связанных веревкой мужиков заперли в амбаре помещицы. Была у них с казаками стычка, во главе мужиков оказался некий одноглазый человек — Осип. Дозорщики выследили, как он, крадучись задами, возвращался из Мотовиловки. Управляющий приказал казакам схватить его. И хотя Осип оборонялся как черт — двоих ножом уложил на месте, самого его в свалке пристрелили.

— А ведь наш это партизан, Осип Карпенко! — сразу догадался Михей Шутов, — а мужички, видно, те самые, что он военным строем привести к нам хотел...

Всё, что узнали от казака, доложили Муравьеву.

Подавив сердечную тревогу, он заставил себя верить в самую последнюю надежду — в славян.

* * *

Весть о событиях 14 декабря пришла в Новоград-Волынский только двадцать шестого. Горбачевский и Борисов с общего согласия решили: в ожидании Сергея Муравьева готовить ему солдат — основное ядро, надежную опору, на которую можно до конца положиться.

Вербовка людей началась с 8-й бригады, где служили Борисов и Горбачевский. На их призыв откликнулись и другие войсковые части. Связь со всеми, пожелавшими стать участниками восстания, держал старший брат Петра Ивановича Борисова — Андрей Иванович, отставной поручик.

Солдатам, теперь уж не только фейерверкерам, но и простым рядовым, объясняли необходимость переворота и вслед за переворотом — немедленного осуществления насущных задач: свобода крепостным, сокращение срока солдатской службы.

В разговорах, перекличках, сборах провели четыре дня. Муравьев все не появлялся. Забеспокоились...

Известие, что в Трилесы за Муравьевым отправлена погоня, заставило славян изменить свои планы. Они решили собраться и выступить самостоятельно.

Если бы славяне могли узнать, как отчаянно чувствовал себя Сергей Муравьев в Мотовиловке, если бы знали, как необходима была ему помощь в эту пору, они без всякого промедления кинулись бы к нему в Мотовиловку.

Но расстояния создали роковую невозможность быстрого общения. И предоставленные самим себе, стремясь поступить всего разумнее, славяне бросили все силы не на Мотовиловку, а на Старо-Константинов. Ночью со второго на третье января они решили двинуться в этот городок для связи с полками — Пензенским и Саратовским.

Основания для такого решения были немалые: из-под Житомира Петр Иванович Борисов получил от брата Андрея записку: «С нами пойдет почти весь Пензенский полк. При мне послали за патронами».

Пришло известие, что и Саратовский полк с нетерпением ожидает сигнала к восстанию, а в Тамбовском принято в члены Общества пять ротных командиров,

Обращались к Петру Борисову и не члены Общества. Один поручик сетовал: «Я несчастлив, что не заслужил вашего доверия. Я не член вашего Общества, но будьте уверены, что при первом указании я поведу свою роту...»

* * *

Правительственные войска между тем не дремали. Получив сведения, что Муравьев взял направление на Брусилов, генерал Рот, не теряя времени, выступил на рассвете с шестью эскадронами гусар «для искоренения возникшего возмущения».

Не вникая в причины этого «русского бунта», он был задет больше всего «коварным лицемерием Муравьева», которого так недавно угощал обедом и шампанским, развлекал известиями о происшествиях четырнадцатого декабря.

— Совершенно независимо от оценки этого прискорбного происшествия, я просто как француз-стратег высказывал при нем возможность победы мятежников, а этот Муравьев мог молча слушать! — восклицал Рот. — Муравьев не был тронут моей доверчивостью!

Кроме того, что Рот был возмущен Муравьевым лично, он хотел отличиться, хотел первым изловить преступников, чтобы прекратить толки, возникшие в Главном штабе, о попустительстве бунту.

* * *

В четыре часа утра, в полной еще темноте, Муравьев вывел роты из деревни Пóлоги и к одиннадцати часам привел их в деревню, показавшуюся ему странно знакомой. Когда он увидел старую церковь с долговязой колокольней, домики с яркими ставнями, у него защемило сердце. Он понял: «Боже мой, да ведь это Ковалевка! То самое местечко, откуда шесть дней тому назад начался поход восставших рот. И вот мы опять вернулись туда, откуда вышли...»

Вокруг него солдаты и смеялись и роптали: «Как овцы на одном месте кружили!»

Однако мужество и на этот раз не покинуло Муравьева.

В полдень он двинул солдат в дальнейший поход. Для сокращения пути Муравьев выбрал дорогу прямо через степь и опять не рассчитал: если бы роты пошли по лесистым холмам, правительственным войскам было бы много затруднительней их преследовать. А тут, по открытым полянам, роты Муравьева двигались прямо на жерла вражеских пушек.

Но Сергей Муравьев ехал впереди колонны — спокойный, гордый сознанием, что он вместил в себя чаяния, веру, революционный дух Пестеля и Рылеева, самоотвержение лучших членов тайного общества и этих вот героев-солдат, идущих за ним, несмотря на все невзгоды.

Муравьев думал: «Там, в Петербурге, горстка почти безоружных вышла против царских войск и картечи, а здесь вышли мы... Ну что же, достойная перекличка! Что бы ни ждало нас дальше, благодаря Северу и Югу над Россией, как вихрь, возникло дыхание свободы».

Повернувшись к седоусому фельдфебелю Михею Шутову, он сказал:

— Запомни, Михей, первое выступление против самодержавной власти свершено!

* * *

А правительственные войска тем временем подходили с трех сторон, с пушками, заряженными картечью.

Когда раздались первые выстрелы, Муравьев, а за ним и все его люди еще упорствовали в сознании, что это идут свои, которые, встретившись лицом к лицу, станут в единую шеренгу и повернут дула своих пушек против общего врага.

Войска Гейсмара подошли совсем близко, завизжала картечь. Муравьев, на мгновение оцепеневший от горького разочарования, сразу же построил своих в каре и, взяв ружье наперевес, сам пошел прямо на орудия. Соловьев, также стремясь подать пример солдатам и вдохновить их своей храбростью, показывал явное презрение к смерти: он становился под самые картечные выстрелы, призывал солдат к стойкости. Но все уже было тщетно — люди, побросав ружья, кинулись кто куда...

А Муравьев все еще хотел верить в победу.

Когда кругом стали падать на землю его солдаты, сраженные картечью, когда один из рядовых крикнул ему яростно: «Нас обманули!» — Муравьев и тут все еще не понимал, что это конец. Даже когда свалился, раненный в голову осколком картечи, облитый собственной кровью, он, уже теряя сознание, не понял, всеобщее ли это поражение или только ранен он сам, а его роты победили?

Все до конца осознал Сергей Муравьев только в Трилесах, в большой низкой комнате корчмы, лежа на соломе,— сюда гусары по повелению Гейсмара свезли пленных и раненых.

Рядом с собой он увидел Матвея Муравьева, в углу сидел страшно бледный поручик Кузьмин. Сергей узнал обоих. Хотел спросить, где младший брат Ипполит, хотел заявить всем как можно громче, что сейчас нельзя отчаиваться, сейчас надо доказать врагам последнее — что действовали они не как мальчишки и если не победили сами, — другим дали пример...

Однако ни одного слова не удалось ему произнести внятно. Отчаянная боль в голове сковала его речь, помутила сознание. Он успел только услышать звук выстрела, показавшийся ему громовым ударом. Это пулей из припрятанного пистолета размозжил себе голову Анастас Дмитриевич Кузьмин, не найдя в себе силы пережить поражение.

А Ипполит Муравьев, даже не успев измять в бою своей нарядной, только что надетой гвардейской формы, лежал мертвый в сарае, в двух шагах от корчмы: он убил себя в ту минуту, когда понял, что правительственные войска победили.

В том же сарае рядом с Ипполитом лежал поручик Шепило, зарубленный самим Гейсмаром. Лицо Шепило и сейчас хранило печать мужества. Пальцы, сведенные на эфесе сабли, гусарам так и не удалось разжать.

Кузьмина, Ипполита Муравьева и Шепило зарыли в общую яму...

В девять часов утра пленных отправили в Белую Церковь.

По дороге из расспросов гусары отряда Гейсмара поняли истинную причину восстания Черниговского полка, сразу изменили свое обращение с мятежными ротами и очень жалели, что не узнали правду раньше, а поверили

в версию, будто бы Муравьев повел свои роты на грабеж, на бунт.

Сергея Муравьева и Бестужева-Рюмина охраняли порознь. Матвея и прочих офицеров — вместе. Нижние чины размещены были в избах. Всех заковали в кандалы: сто пудов железа пожертвовала на это дело графиня Браницкая — не пожалела.

В ночь с одиннадцатого на двенадцатое января Муравьев и другие офицеры в железах, по предписанию начальства, отправлены были в город Могилев.

Горькое сознание неправильности многих действий так сокрушало Сергея Муравьева, что он совсем не мог спать, рана его не заживала и болела мучительно. Недоумевая, страдая, досадуя, он сотни раз спрашивал себя: почему 25 декабря в Трилесах не прикончили Гебеля, этого гнусного командира Черниговского полка? Сколь удачно попал он в руки восставших вместе со своими жандармами! Кого упустили, кого освободили? Злейших своих врагов, которые без промедления нанесли великий вред всему делу. Непостижимая, преступная мягкость, сентиментальность... А пьяница Трухин, а Ланг и другие? Так легко можно бы убрать всех их с дороги!

И только одно известие просочилось к Муравьеву истинным бальзамом: через стражей, через товарищей случайно узнал он о молодом Быстрицком, до конца не изменившем своему благородству.

Его тоже привезли в Могилев. Начальник штаба генерал Толь, разбирая дело о роте, приведенной Быстрицким в Мотовиловку к мятежникам, сказал ему:

— Вы могли поступить иначе. Не приводить солдат, куда им идти было не след; а, напротив того, — удержать их в законных границах. Тогда вместо предстоящей вероятной каторги вы заслужили бы себе большую награду.

— Ваше превосходительство, — ответил Быстрицкий, — я, быть может, могу сделать глупость, но подлость — никогда!

Так ответил этот молодой офицер с румянцем на щеках, как у девушки.

Узнав о поведении Быстрицкого, Муравьев впервые за эти тяжелые дни улыбнулся, посветлел. «Добрые семена, упав в землю, не гибнут. То, что посеяли мы, даст в свое время великий урожай», — подумал он с гордостью.

Глава девятая

Через десять дней после ареста, еще в Тульчине, Пестель по тридцати девяти заданным ему вопросам понял, что правительство очень многого не знает о тайном обществе, и ответил:

— Я никакому тайному обществу не принадлежу, ни о каких членах ничего не ведаю, а следовательно, не могу ничего объяснить, что касается их преднамерений, действий и соображений.

Третьего января Пестель был привезен в Петербург. Николай собственноручной запиской генералу Сукину, коменданту Петропавловской крепости, отдал приказ посадить Пестеля в Алексеевский равелин, в знаменитую тюрьму, про которую издавна было известно, что из нее люди не выходят, а их выносят. Побег из равелина был невозможен: глубокий ров с подъемным мостом и высокой каменной стеной являлись надежной охраной. Караулов полагалось здесь много, и на каждом шагу стояла стража, неусыпная и беспощадная.

Первые недели в равелине были особенно ужасны сознанием своего бессилия перед государственной машиной, перед холодом и безмолвием могилы, наступившим раньше действительной смерти.

Но мало-помалу, как после зимы в природе вновь воскресают замершие жизненные силы, так и человек, скованный потрясением, как бы оживает, становится способным к борьбе и вдруг находит себя самого возродившимся, собранным. В нем вновь вспыхивают чувства и мысли. Так бывает с сильными духом, так было с Пестелем.

Когда внезапно открывалась дверь его каземата, на пороге появлялся безносый плац-майор Подушкин с двумя сторожами и, завязав Пестелю глаза носовым платком, уводил его на очередной допрос Следственной комиссии, Пестелю казалось, что он должен перед началом какой-то ему неизвестной, новой жизни заново пережить собственную биографию, глубже осознать ее и сделать выводы. Жизнь Пестеля так тесно была слита со всеми этапами развития тайного общества, что думать о них — значило думать о себе.

Давая свои показания, Пестель так ярко вспоминал прошедшие годы, будто переживал их вновь. Вот начало

17-го года; им заложен первый кирпич Общества — написан «Устав истинных и верных Сынов Отечества». Но едва он по делам службы уехал с графом Витгенштейном в Митаву, как члены Общества, втайне с ним несогласные, перекроили революционный устав. Три поездки Пестеля в Петербург с целью связать воедино разбросанные силы тайного общества — сейчас превращены Следственной комиссией в грозное обвинение. Собрание, на котором ему пришлось по просьбе членов Общества делать доклад о сущности двух правлений — монархического и республиканского, Комиссия уже именует «известным заседанием у Глинки», где, оказывается, Пестель словно по волшебству превратил всех собравшихся, против их воли, в республиканцев!

Узнав в процессе допросов о показаниях ряда людей, Пестель с горечью и досадой убеждался в том, что кое-кто немало растерялся. С глубоким уважением вспоминал он Владимира Федосеевича Раевского, гордого, сильного человека, который уже пять лет томится в крепости Тирасполя и никого не оговорил, ничего не выдал. А как он пламенно чувствовал, как хорошо все понимал! Сам Пушкин позавидовал его стиху:

Как истукан, немой народ
Под игом дремлет в тайном страхе.
Над ним бичей кровавых род
И мысль и взор казнит на плахе...

Где-то он сейчас? Ведь его первого мечтал Пестель освободить в случае удачи...

Пестель знал, что арестованы и ближайшие друзья — Юшневский, Барятинский, Волконский, — и все сидят здесь же, в крепости... А где Лорер? Показал ли он, что «Русская правда» сокрыта? В памяти всплыло открытое лицо Лорера с весело искрящимися глазами... Нет, этот не выдаст.

Лорера привез в Петербург сам генерал Чернышев четвертого января на рассвете, когда в окнах уже светились огни. Как нарочно, карета проехала мимо дома дядюшки Лорера — князя Цицианова, где молодой Лорер немало повеселился. Знакомый подъезд, у которого Лорер уже не мог остановить карету, и то, что Чернышев перед явкой во дворец запретил Лореру побриться

собственноручно, были первыми острыми ощущениями утраченной свободы...

Когда Лорера привезли на главную гауптвахту в Зимний дворец, он сразу начал бушевать в караульной. Столько раз он, бывало, сам дремал здесь, развалившись в кресле, как сейчас этот дежурный офицер, принявший его — арестанта!

Когда фельдъегерь, вбежавший с испуганным лицом, завопил: «Арестанта к государю!» — и вокруг Лорера выстроился конвой с саблями наголо, он вспыхнул и сказал тоном приказа:

— Ни шагу с конвоем! Пока я еще майор и ношу мундир. Стыдитесь, вы из дворца сделали съезжую!

Начальнический окрик даже со стороны человека, бесправного в эту минуту, оказал свое магическое действие: Лорера без конвоя впустили к генералу Левашову в эрмитажную комнату, торжественно освещенную.

Левашов немедленно заявил Лореру, что государь недоволен его упорным молчанием, и почтительным жестом указал на дальнюю дверь, из которой шествовал сам гневный царь. Николай был в измайловском сюртуке, застегнутом на все крючки и пуговицы, смотрел оловянными мертвящими глазами.

— Знаете, какая участь ждет вас? — закричал он и, не ожидая ответа, объявил сам: — Смерть!

Он красноречиво обвел рукой вокруг собственной шеи.

И все-таки никаких показаний Лорер не дал, вследствие чего вызванному фельдъегерю вручен был пакет с черной печатью, и Николая Ивановича весьма быстро примчали к крепостным воротам.

Под аркой ворот арестованного встретило глухое эхо, в котором ему почудился единый вздох всех жертв, доставленных сюда до него. В каземате, когда захлопнулась, скрипя на ржавых петлях, тяжелая дверь, Лорер огляделся: убогая койка, привинченный к стене столик, отвратительная «параша». Изношенный халат и огромные туфли, чтобы шлепать в них три аршина в длину и три в ширину, лежали на койке. Окошко — маленькое, очень высокое — было так замазано мелом, что даже в полдень свет в камеру проникал с трудом.

Как-то ночью явился в каземат плац-майор Подушкин со сторожем, несущим форменную тюремную

одежду. Лорера с крепко завязанными глазами вывели во двор. Он шел как слепой, жадно глотал свежий воздух. В ярко освещенном зале квартиры коменданта крепости с лица Лорера сняли повязку.

Этот переход из мрачного каземата к торжественному великолепию орденоносного судилища, состоящего из двадцати генералов, почитался властями хорошей психологической мерой для устрашения узника. Однако Лорер нимало не устрашился. И когда его грозно спросили: «Где же «Русская правда» полковника Пестеля?» — он гордо повторил свое:

— Долг чести и клятва, данная товарищу, не позволяют мне открыть это.

Со всех сторон генералы хором вскричали:

— В колодки его! В железá!

Лорера увели.

Только на самом последнем допросе, когда Чернышев с раздражением протянул Лореру документ, написанный несомненно почерком самого Пестеля, где тот говорил о передаче «Русской правды», с целью ее сокрытия, поручику Крюкову и штабс-капитану Черкасову в присутствии майора Лорера, Николай Иванович подписал: «Действительно так».

Из-за нежелания выдать «Русскую правду» попал, между прочим, в Алексеевский равелин и человек, не отягощенный никакой другой крупной виной, — Николай Васильевич Басаргин, старший адъютант Киселева.

И его, как Лорера, из темного каземата с окошком, замазанным мелом, привели с повязкой на глазах в ярко освещенный зал, наполненный генералами в орденах. Басаргин обстоятельно запомнил порядок, в котором они сидели.

Посредине восседал президент Татищев, налево от него — Голицын, начальник штаба граф Дибич, Чернышев, Бенкендорф. А направо — Левашов, Потапов, Адлерберг и другие. Делопроизводство вел Дмитрий Блудов, былой остроумный член «Арзамаса», достаточно известный своим свободомыслием. Облокотившись на спинку его стула, стоял великий князь Михаил, бездумно щуривший глаза на огни люстры. В глубоком кресле у мраморной колонны дремал генерал Павел Кутузов...

Чернышев, бывший особенно не в духе, бесцеремонно наскочил на Басаргина:

— Что знаете о «Русской правде», только без отговорок!

— Ничего не знаю.

— Вас заставят говорить. У нас есть средства... Вас закуют в кандалы!

Крик Чернышева заставил пробудиться захрапевшего было генерала Кутузова, и со сна он угрожающе зашамкал: «Да, да, в кандалы...»

— Ваше превосходительство, — сдерживая возмущение, сказал Басаргин, — вы были так утомлены, что уснули, и, значит, не можете судить, о чем меня спросил генерал Чернышев, между тем разделяете его гнев. Справедливо ли это?

Великий князь Михаил, после фрунтовой выправки всего более ценивший остроумные положения, усмехнулся. Генерал Дибич недовольно сказал Чернышеву:

— Нельзя же всех заковать в кандалы! Тем более что, может быть, поручик Басаргин говорит правду.

— Вам пришлют вопросы, — крикнул Басаргину несколько смущенный Чернышев, — ответите письменно!

* * *

В тиши томительного одиночества заключения, неослабно думая о своей «Русской правде», Пестель решил наконец, что она, лишенная надзора загнанных в Сибирь членов Общества и при всеобщей затравленности оставшихся на свободе, окажется, пожалуй, сохранней в подвалах государственного архива, чем похороненная где-то в земле. В этом государственном архиве «Русская правда» и долежит до более счастливых времен. На основании этих соображений Пестель и дал свои показания...

Теперь в часы допросов Пестель испытывал порой внутреннее торжество, доходящее до восторга. Это случалось, когда ему приходилось давать подробное изложение своего плана государственного устроения, пронизанного столь истинным демократизмом, какого и вообразить себе не могли представители власти. Сейчас по должности они были обязаны выслушивать речи непостижимые и пугающие.

— Изъясните чистосердечно перед Следственной комиссией, чего собственно вы домогались вашими вольно-

думными прожектами?— каменным голосом спрашивал генерал Левашов, издавна знакомый Пестелю как командир лейб-гусар и знаток лошадей. — Извольте изложить...

И Пестель излагал. В залах Эрмитажа, под картинами Сальватора Розы и Доменикино, торжественно звучали неслыханные здесь слова:

— Я хотел полного равенства граждан. Я хотел наибольшего благоденствия всех и каждого — вот основная идея моей «Русской правды»!

Свои речи Пестель неизменно сопровождал столь официальной подчеркнутой учтивостью, что она уже походила на издевательство: «Если уважаемая Комиссия примет к сведению... Если уважаемой Комиссии угодно меня выслушать...»

И после этого любезного предисловия он произносил слова, пугающие судей непримиримой твердостью:

— Всякое постановление, нарушающее равенство всех перед законом, я почитаю за нестерпимое зловластие. Всякое зловластие должно быть уничтожено, ибо оно ведет к жестокой несправедливости против наибольшей части народа.

С особой силой нападал Пестель на крепостное право, прямо глядя в тупые, бездушные лица придворных, творивших над ним суд и расправу, придворных, владеющих многими тысячами рабов. Свои собственные обвинения и приговор предъявлял он каждому, как бы пригвождая к позорному столбу:

— Рабство — это постыдно, противно человечеству, закону, противно самой религии, которую исповедуют крепостники.

И как естественную и разумную истину спокойно излагал свое знаменитое положение о земле:

— Земля — собственность всего рода человеческого, а не частных лиц, а посему не может быть в полном владении некоторых людей...

Внутренне остолбеневшие, но сохраняющие привычную важность члены Следственной комиссии внешне бесстрастно выслушивали речи о новых условиях существования русского государства. И единственным путем к переустройству русской жизни оказывался военный переворот с целью предоставления власти Временному правлению для свершения необходимых реформ. Наказом

этой власти, охранной грамотой, ее советчиком и являлась «Русская правда».

Пестель опять чувствовал себя сильным и крепким, словно помолодевшим, ему казалось — он отлично сдает экзамен перед всей родиной.

«Да, все так, все было намечено правильно, оставалось только выполнить! Но уж, разумеется, ни одно из его слов не отложится убеждением в мозгу вот этих людей».

Пестель обводил глазами членов Следственной комиссии, придворных, задерживал взгляд на благообразном лице Адлерберга, товарища по Пажескому корпусу. В корпусе Адлерберг шел первым, пока поступивший на последний курс Пестель не отодвинул его на второе место. Сейчас этот Адлерберг был его судьей... Он присутствовал на заседаниях и допросах государственных преступников не как член Комиссии, а как ближайший личный друг Николая. Раньше всех официальных докладчиков он рассказывал царю все, что угадывал, слышал, видел: был ли допрашиваемый трепетен или дерзок, раскаивался или упорствовал, как злодей, в своем нежелании быть искренним.

У судей и властей впечатление о Пестеле было единодушным. С каждым допросом Пестеля выяснялось, что он неколебимый, глубокий враг самодержавия. Стойкость его убеждений и богатство ума выделяли его из числа обвиняемых. Отсюда проистекал прямой вывод: Пестеля первого необходимо предать смертной казни. Разве может найтись какое-либо снисхождение для этого человека после всего, что он высказал хотя бы здесь, перед лицом Следственной комиссии? Разве не признал он, что настаивал на необходимости именно республики, а не ограниченной монархии на том основании, что перед его глазами стояли столь недавние примеры вероломного восстановления абсолютизма в Испании и Португалии. И дальше, развиваясь по пути железной логики, мысль этого человека приводила к неизбежности цареубийства, более того — к истреблению всей августейшей фамилии...

Странная запись о личности Пестеля составлена была протоиереем Мысловским, священником, приставленным для «духовной связи» преступников с властями:

«Пестель есть отличнейший в сонме заговорщиков, как по данному ему воспитанию, так и по твердости духа.

Быстр, решителен, красноречив в высшей степени. Математик глубокий, тактик военный превосходный... Никого из подсудимых не спрашиваем в Комитете более его, никто не выдержал столько очных ставок. Везде и всегда он равен самому себе. Ничто не колебало гордости его, казалось, он готов один вынести на плечах своих тяжесть двух альпийских гор. Комиссии он всегда отвечает с видимой гордостью, с каким-то самомнением».

* * *

Однажды на допросе Пестель невольно вздрогнул, когда судьи предъявили ему показание Александра Поджио, которое стало фундаментом обвинительного сооружения: Поджио, член Южного общества, смелый человек, настолько преданный Пестелю, что, не задумываясь, пытался организовать освобождение его из Бернардинского монастыря, вдруг, неизвестно по каким причинам, рассказал Комиссии о том, что происходило только между ними, с глазу на глаз. «Уж не пытали ль его?» — промелькнуло у Пестеля.

— Вы хладнокровно, по пальцам, перечисляли имена царской фамилии. Дойдя до числа тринадцать, вы привели Поджио в ужас, помедлили и с жестоким злорадством продолжали этот ваш счет по пальцам...

Генерал Левашов говорил с верноподданническим гневом вместо обычного бесстрастия. Щеки его дрожали. Сидевший рядом член Комиссии тонким голосом повторял присказку из добродетельной повести:

— Признавайтесь чистосердечно!

С печальным недоумением Пестель сказал:

— Да, так я говорил с Поджио, когда в сентябре двадцать четвертого года он был у меня, однако без всяких театральных жестов, мне не свойственных. И не жестокость и злорадство руководили мною, а необходимость вести начатое до конца, сохраняя сколько возможно жизнь народу. Я же лично никого не ненавидел. Но я люблю свою родину и до последней капли крови хотел ей служить. Честь имею доложить: я имел намерение приносить родине только благо. Я видел, что благоденствие и злополучие народов зависят всецело от существующего правительства. Это сознание родило во мне склонность к наукам,

которые об этих предметах толкуют и указывают правильный путь к моей цели.

О своих планах и действиях Пестель на допросах говорил много и подробно. Относительно же других — был скуп на слова. На коварный вопрос Комиссии о принадлежности к тайному обществу «вышних лиц» решительно отрицал связь с Мордвиновым, и со Сперанским, и с кем бы то ни было.

Между тем до Николая уже дошло, что Сперанского и Мордвинова члены тайного общества прочили во Временное правление. Больше того — царю донесли, будто Сперанский, которому намекнули об этом проекте заговорщиков, загадочно улыбнувшись, сказал: «Такие вещи можно предполагать лишь *после* несомненной удачи свершения».

И вот по проекту императора именно Сперанский должен был создать Пестелю вину «особую, вне всяких разрядов состоящую».

* * *

В свое время попытка Сперанского ввести в государственное управление ряд важных реформ вызвала возмущение в среде старого дворянства. Карамзин разрешился таким афоризмом по адресу Сперанского: «Министр есть только рука венценосца, а рука не более головы». И еще прошелся насчет неприятных ему нововведений Сперанского: «Он шьет нам кафтан по чужой мерке, новая форма его законов чужда русским».

Труды Сперанского в те годы были встречены в штыки. Придворная знать кричала, что он хочет будущее ввести в настоящее. Она не могла понять, что реформы Сперанского — лишь политика малых уступок и малых поправок во имя сохранения привилегий того же дворянства, во имя предотвращения революции. А сам Сперанский в докладной записке о предполагаемых реформах выразился так: «К 1811 году Россия восприметновое бытие и совершенно во всех частях преобразится».

Но вышло иначе...

Ненависть к Сперанскому, как к выскочке, не имела пределов среди знати, но еще большее число врагов прибавили ему два указа, направленные против безделья и безграмотности чиновников, которых он заставил, невзирая на возраст, заново держать экзамены.

До мнительного Александра доведены были все язвительные на его счет слова, сказанные якобы Сперанским. Тщеславие царя было так уязвлено, что он не стал особенно защищать своего неблагодарного статс-секретаря от обвинения его в измене и в тайных сношениях с Наполеоном.

Сперанского, ославленного изменником, Александр решил убрать подальше, и вчерашний советчик царя, полновластный статс-секретарь, отправлен был сначала в Нижний Новгород, а позже — в Пермь.

Даже в те славные дни, когда Наполеона изгнали из России и отечество торжествовало победу, опальному вельможе было отказано в его просьбе вернуться в Петербург к горячо любимой единственной дочери. Более того, его вдруг назначили генерал-губернатором Сибири, где пришлось ему в труднейших условиях, в борьбе с лихоимством чиновников, провести года два и совершенно расстроить здоровье.

Александр в измену Сперанского никогда не верил, даже говорил, расписываясь в своей слабохарактерности: «Но я же не мог противостоять силам, заставившим меня расстаться с ним».

Чтобы вернуться в столицу, Сперанскому оставалось поклониться Аракчееву, все прибравшему к своим рукам. Он поклонился и был возвращен. Но прежняя близость к Александру уже не возобновилась...

Сейчас Сперанский опять понадобился. Новому царю нужен был его гибкий ум и великая опытность знаменитого статс-секретаря прошлых лет, чтобы придать несправедливому, беззаконному делу форму какой-то законности. Когда же Николай узнал, что имя Сперанского значилось чуть ли не первым в списке членов предполагаемого заговорщиками нового Временного правления, он и вовсе не стал церемониться со Сперанским.

Царь вызвал его к себе, недвусмысленно дал ему понять, что пришло время доказать на большом государственном деле свою преданность венценосцу и что царская воля относительно декабрьского мятежа такова: самое пристальное изыскание вины подсудимых, самые строгие отсюда выводы о необходимости высшей кары.

И Сперанский нового царя понял и дал свое согласие вести это дело. За плечами у него уже был тяжелый опыт

царской немилости, разбитое ссылкой здоровье, и новая разлука с дочерью казалась непереносимой. К тому же, в случае отказа, ввиду особых надежд на него со стороны членов тайного общества, сам Сперанский немедленно из обвинителя превратился бы в обвиняемого.

Работа в Следственной комиссии жестоко угнетала Сперанского. Тем более что многих заговорщиков он знал лично, дружил с их семьями, сами они чуть не с детства бывали в его доме.

В эти мучительные месяцы от непрерывных душевных терзаний Сперанский превратился в собственную тень, и дочь неоднократно слышала, как он по ночам рыдал в своей спальне. А днем, послушный и верноподданный чиновник, он изыскивал тяжелую вину Пестеля, которого юридически было труднее всех прочих подвести под высшую кару, ибо он не был, как другие, схвачен с оружием в руках, на площадь не выходил, а уже 13 декабря без всякого сопротивления арестован у себя в Тульчине.

Но Следственная комиссия работала неустанно, и нужные обвинения для состава особой вины Пестеля накапливались...

Сперанский свел все дело к распределению подсудимых по разрядам согласно степени их виновности. Избранная для этого специальная «разрядная» комиссия под его руководством принялась измышлять материалы для определения глубины преступления каждого. И когда дело приняло привычную канцелярскую форму, Сперанскому стало легче.

* * *

23 февраля 26-го года Иван Борисович Пестель выбрался из своей Смоленской губернии в Петербург, но свидания с сыном добился не сразу. Через пастора Рейнбота, который как лицо духовное имел свободный вход в казематы, он узнал подробности о сыне. В своей наивной манере, трогательно стараясь хоть немного рассеять великое горе жены и дочери, старик написал им: «Павел Иванович находится в 13-м номере Алексеевского равелина... Не в пример прочим, его комната большая и светлая, хотя и с решеткою перед окном. Воздух в ней чист... На Павле Ивановиче был шелковый летний халат, у стены стояла кровать с опрятной и приличной постелью, стол,

стулья... На постели лежал другой, ватошный халат. Сам он был выбрит, казался здоров. Пастор Рейнбот не заметил никакой перемены в его наружности».

Этот Рейнбот, давнишний друг старика Пестеля, пользуясь правом входа в казематы, помогал узнику воссоздать картину происшествий, участником которых Пестель не был и очень мало мог о них узнать ввиду своего раннего ареста. Пестелю теперь стало возможно воссоздать в своем воображении и день 14 декабря и черниговское восстание...

* * *

Многих товарищей повидал Пестель на очных ставках и горестно убедился, сколь изменило их одиночное заключение.

Предстояла очная ставка с Сергеем Муравьевым.

Этот человек, взятый «с оружием в руках», оказавший правительственным войскам безумно дерзкое сопротивление, после которого для него и сомнений быть не могло в роковом приговоре, сохранил и в тюрьме все свое благородное достоинство. Сколько его ни донимали в Следственной комиссии, умело выпытывая показания против Пестеля, Сергей Иванович коротко и просто говорил одно:

— Я и он, мы больше всех прочих членов Общества имели влияние своими речами.

Встреча в тюремных стенах с Муравьевым-Апостолом потрясла Пестеля. Сергей Иванович стоял перед ним худой, очень бледный, с головой, еще затянутой бинтами, но глаза его смотрели все так же честно и бесстрашно.

Пестель во время очной ставки, когда Левашов что-то долго разъяснял какому-то генералу, воспользовался минуткой и шепнул Муравьеву одними губами:

— По-братски соединим наши участи, дорогой друг!

Сергей Иванович светло улыбнулся, чуть кивнул забинтованной головой.

* * *

Басаргина поместили в такой сырой каземат, что он вскоре заболел. Следственная комиссия, боясь, чтобы кто-либо из подсудимых не умер под следствием, перевела его в каземат посуше. Здесь соседом его оказался Бесту-

жев-Рюмин, и Басаргин стал невольным свидетелем последних недель его жизни.

Бестужева держали в цепях, бороду брить не дозволялось, и он так густо оброс волосами, что сейчас ему никак нельзя было дать его двадцати трех лет. Он был просто страшен, когда, гремя цепями, шел по коридору. Его то и дело водили на допрос, забрасывали вопросами, мучили очными ставками... По впечатлению Басаргина это был мягкий, добрый, даже простодушный юноша. Весной, когда следствие близилось к концу, над Бестужевым уже навис смертный приговор. Его стали выпускать на прогулку, как и всех, в крошечный садик, и однажды предложили побриться. Он добродушно удивлялся, почему вдруг стали проявлять такое внимание к нему, — мысль о смертной казни ему совсем не приходила в голову вследствие ложных, но утешающих слов, расточаемых протоиереем Мысловским. Император был заинтересован, чтобы весь разбор дела о восстании 14 декабря протекал и завершился как можно глаже.

Бестужев предполагал, что его увезут куда-нибудь в заточение, и мечтал об одном: остаться неразлучным с дорогим ему Сергеем Ивановичем. Он так и говорил Басаргину:

— Хоть на всю жизнь, но только неразлучно!

* * *

Перед самой «сентенцией» несколько ослаблен был надзор за узниками. Они обменивались записками через старого ефрейтора или просто один выбегал в коридор в ту минуту, когда другого выводили на прогулку.

Бестужев-Рюмин нашел случай сказать Басаргину:

— Прошу вас, если увезут меня в заточение на всю жизнь, дайте знать обо мне друзьям и родным. Оправдайте меня перед теми, о которых я должен был что-то говорить на следствии. Вы ведь знаете, как измучила меня Комиссия.

К концу следствия сторожа перезнакомились с заключенными и до такой степени расположились к ним, что один из сторожей — Соколов умудрялся приносить из Милютиных лавок превеликое баловство — свежие фрукты: апельсины, груши, лимоны. За это угощение он

не желал брать денег, уверяя, что продавец не принимает от него и четвертака, узнав, для каких «господ заключенных» в крепости предназначается этот гостинец.

В каземате совсем рядом с Пестелем сидел мало ему знакомый офицер Михаил Бестужев, тот, который первым вступил 14 декабря на Сенатскую площадь со своим батальоном Московского полка. Неустанно думая о своем старшем брате Николае, Михаил Бестужев стал как-то насвистывать его любимую песенку, и велика была его радость, когда в соседней камере мотив был подхвачен таким же свистом. Немедленно влетела озабоченная стража. Братья умолкли, но связь была установлена, они обнаружили друг друга и стали усиленно перестукиваться. Николай Бестужев — умница, всесторонне талантливый человек — скоро изобрел такую простую и легкую азбуку, что братья, выбрав подходящий час, ежедневно вели длинные разговоры при помощи легчайшего стука и великолепно понимали друг друга.

Николай рассказал брату про свое любопытное свидание с царем:

— Привели меня со столь туго связанными руками, что веревки буквально впились в тело. Я только из гордости не кричал, но со злостью сказал самому: «Ваше величество, если вы хотите, чтобы развязался мой язык, прикажите прежде всего развязать мне руки и дайте мне поесть, я двое суток не ел». — К изумлению Николая Бестужева, ему был дан придворный обед с шампанским.

Михаил Бестужев, выслушав рассказ брата, расхохотался.

Смех этот возбудил подозрение стражей, и пришлось отложить продолжение разговора до завтрашнего вечера. Михаил с гордостью думал о брате, был уверен, что и на самого «льва», как и на всех, он произвел неотразимое впечатление своей твердостью, спокойствием и прямотой.

И, вероятно, так оно и было, потому что вечером следующего дня, когда братья возобновили перестукивание, Николай рассказал необыкновенные вещи. Царь неожиданно сказал ему: «Как самодержавный государь, я на себя одного могу взять решение судьбы любого из моих подданных. Могу казнить или помиловать. И если я буду иметь уверенность, что отныне ты станешь мне верным слугой, я тебя помилую. Отвечай!»

Дежурный, глядя в глазок, обеспокоился и постучал в стеклышко. Михаил выскочил из своего «переговорного угла» и зашагал по камере, с волнением думая о том, что мог ответить царю его брат. И как, должно быть, царь, когда делал ему свое предложение, упивался безграничностью своей власти, уподобляющей его самому господу богу! В ту минуту он, вероятно, действительно готов был на милость, ожидая великой благодарности, и уж конечно в ответе не сомневался...

— Говори скорей, что же ты ответил царю? — постучал Михаил брату, как только опять стало возможно разговаривать.

— Государственный преступник Николай Бестужев обманул августейшие ожидания, — иронически выстукал старший брат, — он сказал «льву» с укоризной: «Ведь мы как раз на то и жалуемся, что у нас государь может все, для него нет закона. Поймите, судьба всех людей не может зависеть от ваших капризов или минутных настроений».

— Горжусь тобою, Николай, горжусь... — зачастил в стенку Михаил. — А дальше что?

— А дальше то, что Николай Бестужев, не заслужив царской милости, попал в Алексеевский равелин, рядом с братом своим Михаилом с одной стороны и Сашей Одоевским — с другой.

— А еще кто здесь близко? — спросил Михаил.

— Кондратий Рылеев. Надо нам до него достучаться, хотя бы через Одоевского.

Но все усилия обучить Одоевского перестукиванию оказались напрасными. Он так бурно и непонятно громыхал в ответ, что пришлось прекратить общение с ним, тем более что Одоевский, видимо, не знал наизусть и подряд все буквы русской азбуки.

А как важно было достучаться до Рылеева! Товарищи, глубоко его уважавшие и любившие, опасались, чтобы он, в своей безмерной доверчивости, не попался на хитрую удочку Комиссии, и главное — самого царя.

Николай Бестужев ломал голову, как связаться с Рылеевым, но счастливый случай помог ему увидеть его самого.

Посреди безмолвного кладбища равелина, в самой середине его, был крошечный треугольный садик с чахлой

березой и кустами черной смородины. Туда государственных преступников по очереди водили гулять. Рылеева — всегда почему-то во время ужина. И вот однажды ефрейтор, унося столовую посуду от Николая Бестужева, открыл дверь в ту самую минуту, когда Рылеев проходил мимо.

Они бросились друг к другу, но едва успели обняться, как насмерть перепуганные сторожа схватили Бестужева, втолкнули обратно и захлопнули за ним железную дверь.

Горько рыдал всегда сдержанный Николай Бестужев, не мог сдержать слез и Михаил, когда брат поздно ночью отстукал ему про эту встречу, про то, как сильно исхудал Рылеев, как потухли его глаза, когда-то так ярко горевшие.

Оба глубоко любили Рылеева и очень страдали, убеждаясь по ходу допросов, что по существу он всю вину берет на себя. Одного себя делает источником всех «преступных действий». За себя он бы не испугался, если бы ему грозила даже смертная казнь! Но, по счастью, казнь не грозит никому... Так думали почти все заключенные в крепости.

Один только Пестель не сомневался, что расправа предстоит лютая. Очень скоро он угадал настоящее решение Николая по их делу. Тупая уверенность царя в своем божественном праве на власть и вытекающие из этой уверенности готовность, необходимость, даже священный долг покарать людей, злоумышлявших цареубийство, диктовали царю единственное решение: смертная казнь всем, посягнувшим на царский трон.

Кроме унаследованного от отца коварства, у молодого императора оказался и недюжинный собственный дар — умение актерствовать и интриговать.

Боясь упустить нити заговора, не доверяя никому при охватившей все его существо подозрительности, Николай сам добровольно сделался во время процесса над государственными преступниками их следователем, тюремщиком и судьей. Он входил в мельчайшие подробности следствия, кому присуждал «давать чай», кому «выдавать табак за мой счет», кому «желе́за, и содержать как последнего злодея». Для того чтобы выжать признание, он не стыдился надевать разнообразнейшие маски.

Какие находил он актерские способы обхождения! От отеческой сердечной взволнованности, как это было при допросе Каховского, он переходил к грозному устрашающему окрику, как, например, при первой встрече с немолодым уже, солидным бароном Штейнгелем:

— И ты среди них? Знал и не сказал?

— Я не мог дать право назвать себя подлецом, — ответил Штейнгель.

— А теперь... как мне тебя называть?!

Или с Якушкиным, на которого кричал особенно грубо, раздраженный его выдержкой и достоинством:

— Если не хотите, чтобы с вами обращались как со свиньей, забудьте ваше мерзкое честное слово, данное товарищам. — И, наконец, царское раздражение переходило в неистовый крик: — Заковать так, чтоб и шевелиться не мог! В ручные! В ножные железа! Содержать как последнего злодея!

Он определял вину не по поступкам, а больше по выражению лица узника, по его независимому поведению, по отсутствию верноподданнического трепета.

Иных подсудимых, людей мягкого характера, можно было поймать на удочку царского великодушия. Сами доверчивые, благородные, они не могли не поверить сердечным словам царя... И Николай, глубоко скрыв свою ненависть и отвращение к арестованному, умел превосходно играть благородную роль человека, который горит жаждой служения родине и ждет от своих узников помощи и совета, как ему, царю, лучше выполнить великий долг.

Этой своей искусной игрой Николай добился того, что иные члены тайного общества поверили ему, а поверив, тут же решили, что прямой их долг — спасти товарищей, предупредить дальнейшие действия: милосердие и благородство царя казались несомненными...

— Но где же еще замышляется восстание? Кто эти несчастные, ослепленные? Кому надлежит скорей, по-товарищески открыть глаза? Пусть узнают, что на троне ждет их искренний друг, а не враг. Я жду союза с ними, но с кем же именно? — вкрадчиво дознавался император.

Из старых доносов Шервуда, Майбороды, Ростовцева, из данных следствия он уже знал многое и не скрывал

этого от допрашиваемых, добиваясь подтверждения имен и фактов, вылавливая новые нити.

И нашлись доверчивые, не искушенные во лжи и притворстве души...

Поняв по вопросам отечески озабоченного царя, что он уже осведомлен о движении на Юге, Рылеев не счел нужным прятать правду.

— Я долгом совести и честного гражданина почитаю открыть, — говорил он со своим честным взором и вдохновенным лицом, — что около Киева в полках действительно существует тайное общество. Трубецкой может назвать главных.

И Трубецкой называл...

В ответ Николай сердечно заверял, что наказания просто-напросто не будет, что ему, горящему одной любовью к родине, важней всего узнать как можно скорее ее раны, чтобы стать ее лекарем.

Свои благородные речи царь как бы подтверждал и некоторыми примерами. Он выпустил из крепости сыновей генерала Раевского, вовсе не арестовал молодого Витгенштейна, Шипова. Помиловал генерал-майора Орлова, помиловал, то есть сделал то, от чего столь надменно отказался Николай Бестужев...

Некоторые заключенные видели при въезде в крепость Михаила Федоровича Орлова. Он сидел у окна в одной из комнат, расположенных над воротами, курил трубку.

Брат его, Алексей, командир Конного полка, показал себя 14 декабря ярым приверженцем Николая, и царь считал себя обязанным ему навеки. Алексей Орлов многократно умолял Николая простить Михаила Федоровича. Имея свободный вход к брату в камеру, Алексей Орлов диктовал ему соответствующие ответы на вопросы Следственной комиссии. Наконец он выбрал удачный момент, когда Николай шествовал к причастию. Алексей Орлов пал в ноги царю и снова запросил прощения брату. Император ощутил прилив державного великодушия и помиловал генерал-майора Михаила Орлова. Глубокой ночью к крепости подкатил закрытый возок, остановился у офицерского помещения, и два сторожа, униженно кланяясь за щедрое «на чай», подсадили в возок именитого узника, плотно запахнувшегося в шинель с бобрами. Орлов

тотчас уехал в предписанное ему пожизненное изгнание — в собственное имение, к собственной семье.

Оставшиеся в крепости говорили о нем без всякой зависти, но с большой горечью и удивлением. Особенно раздосадован был Иван Дмитриевич Якушкин.

В последний раз он виделся с Михаилом Федоровичем в памятный вечер, когда в Москве собирали совещание о том, как бы успешнее поднять московские войска на помощь Петербургу. Получено было взволновавшее всех письмо Пущина с такими словами: «Нас назовут подлецами, если мы сейчас не поможем». И все готовы были, если даже помощь Петербургу опоздала, выступить, чтобы до конца выполнить обещание, данное тайному обществу и товарищам.

Внезапно стало известно, что в открытых санях, прямо от Николая, примчался к генерал-губернатору гонец с эстафетой: «У нас только что потушили пожар, примите меры, чтобы у вас не случилось подобного». Тотчас в Успенском соборе Филарет вынес из алтаря золотой ящичек с судьбой России — завещанием Александра в пользу Николая. Вся Москва присягнула тогда Николаю. Вслед за этим у членов московского тайного общества сразу возникли сомнения: следует ли теперь генералу Фонвизину подымать войска в Хамовнических казармах? Нужно было принять по этому поводу решение, и Якушкина послали пригласить на собрание генерала Михаила Федоровича Орлова, который жил близ Донского монастыря...

Орлов оказался в парадной форме — с лентой и при звездах, и можно было подумать, что он только что вернулся от присяги, если бы он не поспешил заявить: «Ни на какое собрание я ехать не могу, я сказался больным, чтобы не присягать. Берите-ка с собой на собрание вот его, — и он указал на приехавшего только что Муханова, — он знает лично всех деятелей четырнадцатого декабря...»

Муханов — рыжий, неприятных манер человек, доселе не знакомый Якушкину, показался ему легковесным хвастуном, когда развязно объявил:

— Надо сейчас же ехать в Петербург и убить Николая. Можно в эфесе шпаги заложить совсем маленький пистолет и выстрелить в упор...

Якушкину, строгому и прямодушному, очень все это не понравилось, и с невольной иронией он, поклонившись, сказал Орлову:

— При теперешних обстоятельствах связь со мной может подвергнуть вас опасности. Я обещаю никогда вас не посещать...

Сейчас Якушкин, оскорбленный тайным освобождением Орлова из крепости, невольно противопоставил ему Михаила Сергеевича Лунина, которого недавно привезли сюда же. Уже все знали, что великий князь цесаревич Константин настоятельно предлагал ему уехать за границу, сам принес необходимый паспорт и снабжал средствами, но Лунин отказался наотрез, сказав: «Я разделяю убеждения моих товарищей и сейчас, когда они в крепости, разделю их участь».

Между тем император, продолжая свою расчетливую и коварную игру, всеми хитроумными мерами старался возбуждать в узниках чувство доверия и благодарности. Проявления царской милости носили самый разнообразный характер. Жене Рылеева, жившей в нужде, он послал от себя лично две тысячи рублей, а императрица подарила дочери Рылеева Настеньке на именины — тысячу. Оболенскому, обожавшему своего старого отца, измученному отсутствием от него вестей, внезапно передано было письмо. Но всего совершеннее удалось царю сыграть свою роль перед Каховским. Николай изучил и усвоил его речи, понял романтическую натуру. Он говорил с Каховским как истый друг и единомышленник. В заключение, проливая кроткие слезы, обнимая Каховского, Николай вымолвил: «А ты... а вы.... всех нас хотели зарезать?»

Сердце Каховского дрогнуло, и он, как и многие другие, поверил, что молодой монарх живет готовностью стать слугой родины, отцом своих подданных.

На самом же деле у Николая не было и тени великодушия, ни малейшего сомнения и колебания по поводу приговора всем обласканным им узникам. Императрица-мать к тому же торопила принять самые крайние меры, дабы надежно искоренить революционные настроения.

И Николай не медлил. Уже шестого мая он набросал черновик приказа об учреждении Верховного уголовного суда, а двадцать девятого мая военный министр Татищев сообщил Сперанскому: «Государю императору благо-

угодно, чтобы ваше превосходительство прибыли в Царское Село, дабы представить бумаги по Верховному уголовному суду».

Еще до начала деятельности этого суда Николай бесповоротно решил завершить процесс смертною казнью главарей заговора. Жестокой кары требовало и его собственное самодержавное достоинство, столь сильно оскорбленное на Сенатской площади 14 декабря.

Третьего июня, когда еще никаких официальных приговоров не было, Николай пишет брату Константину: «В четверг начался суд с десяти утра до трех пополудни, затем наступит казнь. Предполагаю произвести ее на эспланаде крепости...»

Все действия и выводы Верховного уголовного суда оказались строго предопределенными. Даже председатели ревизионной комиссии были поставлены в точные рамки. Членам суда запретили вступать в объяснения с подсудимыми, а ревизионная комиссия должна была предложить каждому подсудимому только три одинаковых для всех вопроса и добиться получения на них утвердительных ответов. Вопросы были такие: «Рукою ли самого подсудимого написаны его показания?», «Добровольно ли они подписаны?», «Была ли предоставлена очная ставка?»

Юридический фундамент под эти распоряжения Николая измыслил и подвел Сперанский. Его же рукой написаны были черновики всех судебных актов и рескриптов самого Николая.

* * *

По данным допросов, учиненных Пестелю и другим членам тайного общества, и очных ставок воздвигли обвинение, необходимое для осуждения на смертную казнь. В окончательном виде виновность Пестеля предстала примерно в такой форме: «...беспрерывно и ревностно действовал в рядах Общества с самого его появления до своего арестования. Он не только самовластно управлял Южным обществом, но имел решительное влияние на дела и Северного. Он господствовал над сочленами своими, обворожил их обширными познаниями, увлекал их словами. Намерением своим полагал преступно разрушить существующий образ правления, ниспровергнуть престол и лишить жизни августейших особ».

Словом, Пестель был главой Общества и основной пружиной его действий.

Установив одиннадцать разрядов степени виновности каждого, Верховный уголовный суд выделил вне всяких разрядов пятерых: Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина, Рылеева и Каховского.

Между тем узники Петропавловской крепости все еще не ведали об этом. Заседания Следственной комиссии велись теперь все реже, и самое последнее время придворные судьи держались с оттенком как бы отеческого добродушия.

Один из членов Комиссии сказал как-то Лореру:

— Согласитесь, майор, все ваши вольнодумства вы почерпнули из вредных книг. А вот я за всю жизнь ровно ничего не читал, кроме святцев, — то-то и ношу на груди целых три звезды!

Случилось даже так, что один из подсудимых развеселил всю Комиссию, когда, утомленный однообразием допроса, воскликнул, обратясь к старым генералам, украшенным орденами:

— Были бы вы сами сейчас поручиками, непременно оказались бы в числе членов тайного общества!

Словом, настроение узников стало много бодрей. Надзор стражи, привыкшей к своим заключенным, сильно ослабел. Сторожа теперь сами переносили записки и слухи из камеры в камеру. Из города в крепость, кем-то измышленная, долетела и такая радужная весть: судить будут в Сенате, при открытых дверях!

Даже и те, которые не поверили этой новости, ободрились. Никто не сомневался в том, что на суде будет, конечно, дано право защищать себя. Так много сделал Николай для укрепления версии о его милосердии, которым он посулил «удивить Европу».

И действительно удивил...

Как-то утром под окнами казематов послышался необычный шум — топот коней двух жандармских эскадронов. Мигом взобравшись на свои окна, защищенные решеткой, узники сквозь замазанные стекла с трудом разглядели вереницы карет с сенаторами и духовенством, которые величаво двигались к подъезду комендантского дома.

Терялись в догадках — что бы это могло означать. Вскоре открылись двери одиночных камер, и сторожа, предводительствуемые неизбежным безносым плац-майором Подушкиным, внесли арестованным их собственные одежды. Затем, обычным порядком, узников повели в дом коменданта. Там, в небольшой комнате, куда их вводили поодиночке, один из сенаторов, предъявляя каждому запись его собственных показаний, вежливо предлагал расписаться в их подлинности, ибо «государю благоугодно проверить беспристрастие действий комитета».

Узников оказалось более сотни, сенатор торопил, расписывались, не перечитывая документов, тем более что сенатор не выпускал «дело» из своих рук и можно было только наскоро перелистать его.

И никому из заключенных не пришло в голову, что эти подписи — последнее, чего от них домогались получить перед объявлением приговора.

* * *

Пятерых «внеразрядных» суд приговорил к четвертованию, а подсудимых, отнесенных к первому разряду, — к отсечению головы.

Причина подобного решения была определена следующими словами:

«Превосходя других во всех злых умыслах, силою примера, неукротимостью злобы, свирепым упорством, хладнокровной готовностью к цареубийству они стоят вне всякого сравнения».

Судьи не додумались бы до столь жестоких казней, но им сверху дано было понять, что «царю желателен приговор самый крайний по строгости, дабы, смягчив его, он тем явственней мог проявить свое милосердие».

Председателю Верховного уголовного суда князю Лопухину было передано письмо, где ясно выражалась воля государя: его величество, оказывается, «не давал соизволения» ни на четвертование, ни на расстреляние, ни на отсечение головы — словом, ни на какую смертную казнь, «с пролитием крови сопряженную».

Не беря пера в руки, не касаясь бумаги, через своего генерал-адъютанта Николай проявил обещанное милосердие: четвертование заменено было повешением, а отсе-

чение головы — каторгой навечно. Остальным десяти разрядам только незначительно сокращены были сроки ссылки.

Таков оказался приговор, вынесенный узникам без всякого суда, без всякой защиты и самозащиты, по одному лишь произволу царя.

Первыми должны были выслушать смертный приговор пятеро, поставленные вне разрядов...

Пестеля, Рылеева, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского, окруженных вооруженной стражей, медленно повели по всему ряду комнат комендантской квартиры — к большому залу, где до сих пор происходили заседания Следственной комиссии.

Дверь зала была плотно закрыта. Когда узники подошли близко, два чиновника с преднамеренным расчетом эффектно распахнули перед ними дверь.

Глазам вошедших представилось торжественное зрелище: в длинной комнате стоял «покоем» огромный стол, празднично покрытый красным сукном. В центре сидели четыре митрополита с бриллиантовыми сверкающими крестами на белоснежных клобуках. По обеим сторонам — члены Государственного совета и генералы в орденах и регалиях. Вокруг стола, кроме того, сидели сенаторы. На красном сукне горело золотом и радужно переливалось неизбежное «зерцало». Окна в старинном зале с низким потолком были закрыты наглухо. Июльское солнце пекло, и генералы задыхались в своих парадных мундирах.

Подсудимых выстроили в шеренгу, лицом к сенаторам и духовенству. Рылеев оказался между Пестелем и Сергеем Муравьевым. Радость встречи захватила их так сильно, что помешала услышать первые слова читаемой вслух бумаги.

Муравьев чуть коснулся руки Бестужева и посмотрел в его постаревшее, измученное полугодовым заключением лицо с такой любовью, словно передавал ему свою силу и бодрость. В эти тяжелые минуты он стал мощной поддержкой своему юному другу: глаза Бестужева-Рюмина, совсем было потухшие, опять, как прежде, засветились отвагой.

Каховский стоял сумрачный, полный гнева и горечи. Он не переставал тяжко переживать весь ужас актерского

коварства царя, наконец ему раскрывшийся. Он негодовал на себя: как мог, словно разнеженный отцовской лаской юноша, дать завлечь себя в подставленную ловушку и с полной откровенностью рассказать все, что знал! Как искренно поверил он царю, что эта откровенность была необходима для блага родины! Царь же все выведал, ограбил его душу и бросил палачам.

Глазами, измученными бессонницей, Каховский угрюмо смотрел на большой пюпитр — как аналой, вынесенный в церкви для молебна. Пюпитр был установлен впереди стола, за которым восседали блестящие мундиры. Казалось, лиц над этими мундирами вовсе не было.

На судейском аналое лежала огромная книга. Белокурый щеголеватый чиновник раскрыл ее театральным жестом и стал читать тот самый приговор, который, по воле царя, Верховный суд вынес обвиняемым без всякого судебного разбирательства.

Щеголеватый чиновник, как актер перед большой публикой, поглощен был только тем, чтобы отменно сыграть свою роль. С многозначительными паузами, с пафосом оглашал он все виды преступлений каждого из стоящих перед ним подсудимых...

— ...Рылеев Кондратий умышлял цареубийство и назначал к совершению сего члена тайного общества...

Каховский дернулся, поднял голову. Казалось, он сейчас крикнет: «Неправда! Сам я вызвался. Никто меня не назначал. Я полагал свершить подвиг, высший подвиг гражданина, а не разбойничий акт по приказу Рылеева!»

Но, окинув горящими глазами всех сидевших вокруг стола, он ничего не сказал и только до крови закусил губу. Лица высшего духовного сана и сенаторы привставали с мест, чтобы лучше разглядеть «преступников», — сверкавшее на столе «зерцало» слепило глаза, мешало смотреть. А белокурый чиновник, голосом выражая крайнее возмущение, читал о причинах, заставивших суд выделить пятерых в особый список.

— ...Превосходя других во всех злых умыслах силою примера, неукротимостью злобы, свирепым упорством, хладнокровною готовностью к цареубийству, они стоят вне всякого сравнения. Суд приговорил их к смертной казни...

Осужденные стояли молча, не проявляя никакого потрясения. Казалось — они не слышали ни одного из этих мертвящих слов.

Рылеев даже улыбнулся, шепнув Пестелю: «Теперь уж вместе!»

Пестель улыбнулся в ответ, а Муравьев словно присоединился к обоим, глянув на них глазами, засиявшими глубоким чувством.

Щеголеватый чиновник, помедлив, с особым удовольствием договорил, растягивая слова:

— Приговорены к смертной казни — че-твер-то-ва-ни-ем.

Генералы, судьи, сидевшие амфитеатром, и духовенство зашевелились. Кто-то охнул...

Осужденные стояли, не дрогнув. Они, казалось, недоумевали — так нелепо прозвучало старинное слово, прочитанное чиновником. Разум отказывался принимать смысл и значение этого приговора. Просто — это их не касалось.

Бестужев-Рюмин вспомнил вдруг Емельяна Пугачева: ведь вот его приговорили к четвертованию! Вспомнил, что палач пожалел народного героя и, вместо страшного длительного мучения, отхватил ему вмиг буйну голову... Тот палач пожалел, а эти?

Чиновник выждал паузу для вящего впечатления и торжественно провозгласил:

— Решение о смягчении приговора, сообразуясь с высоким монаршим милосердием, следующее: Пестеля Павла, Рылеева Кондратия, Муравьева-Апостола Сергея, Бестужева-Рюмина Михаила и Каховского Петра присуждено *повесить*.

Пестель подумал об отце, старом вояке: надо, чтобы он не узнал про уготованную его сыну виселицу. Старику легче было бы узнать про расстрел... Муравьев крепко сжал руку Бестужеву, молча призывая его к полному самообладанию. Каховский презрительно глядел в сторону. Рылеев задумчиво рассматривал картину на стене...

Поведение приговоренных не доставило никакого удовлетворения судьям. Ожидаемых рыданий, обмороков и мольбы о пощаде не последовало.

Без всякого дела остались и медики, предусмотрительно вызванные тюремными властями, по высочайшей

инструкции обязанные сохранить в целости здоровье государственных преступников, дабы не нарушился порядок и ритуал казни, обдуманный самим царем.

Пятерых «внеразрядных», пребывающих внешне в совершенном спокойствии, стража отвела обратно в казематы.

Дверь зала закрылась за ними. Через небольшой промежуток времени она с новым эффектом распахнулась на обе половинки, чтобы впустить теперь большую группу осужденных по первому разряду...

Еще стоя за дверью в ожидании, когда их впустят в зал, они успели поговорить.

Якушкин оказался рядом с Бестужевым-Марлинским и Кюхельбекером и не мог удержать веселой улыбки, когда эти два друга, связанные литературной работой в «Полярной звезде», крепко обнялись: Кюхельбекер был и сейчас в своем изодранном полушубке, в меховой шапке и валенках, его взяли зимой в Варшаве. Бестужев-Марлинский, адъютант принца Вюртембергского, оказался здесь в новом парадном мундире. Все дружно обрадовались Пущину, отрастившему себе огромные усы.

За него товарищи боялись: в казематы просочились слухи, что Пущиным особенно раздражена Следственная комиссия, которой он не только отказывался назвать, кто именно принял его в общество, но еще издевался над судьями, измышляя какие-то несуществующие имена.

Сейчас, дорожа выпавшими на их долю минутами свидания, торопились расспросить друг друга обо всем самом главном.

— Надеюсь, Пушкина нет в казематах? — испуганно прошептал Кюхельбекер.

— Только о том и думаю, — взволнованно отозвался Пущин. — Ведь накануне декабрьских событий я написал ему в Михайловское, чтобы он тайно приехал в Петербург. Он ведь там под надзором, в изгнании... Но, к счастью, что-то ему помешало приехать, не то, конечно, он вечером тринадцатого попал бы к Рылееву на последнее наше собрание и четырнадцатого вместе со мной оказался бы на площади, а значит и в крепости... Впрочем, в крепость-то он, к сожалению, еще может попасть, — с грустью заметил Пущин. — Мне Басаргин давеча сказывал... Его каземат рядом с казематом Бестужева-Рюмина. Им по-

следнее время удавалось перекинуться словом, и Бестужев рассказал, какой у Комиссии большой материал против Пушкина. Пытают всякого — откуда, от кого идут подобные вольные стихи...

— Я знаю, что на следствии особенно интересовались «Кинжалом» Пушкина, как особым оружием членов Южного общества, — прервал Кюхельбекер. — Ну, такой услуги царь Пушкину вовек не забудет!

— А знаете, какой с «Кинжалом» курьез вышел у поручика Громницкого, члена Славянского общества? — вмешался Якушкин. — Когда Громницкий узнал, что царь приказал изъять из «дела» вольные стихи, он, словно сдуру, на вопрос о том, что́ «вольнодумное» он читал, написал на опросном листе, не указывая автора, этот пушкинский «Кинжал» целиком. Приказ изъять его оказался невыполним: молодой наш товарищ расположил стихотворение на оборотной стороне своих показаний.

Все засмеялись.

— Навек закрепил!

— Закрепил не только бессмертные стихи поэта, но и бессмертную глупость властей, — добавил Кюхельбекер.— Военный министр, зачеркнув пушкинские стихи, приписал: «С высочайшего соизволения *помарал* военный министр, председатель Следственной комиссии, Татищев». Себя и помарал, а из памяти русских людей пушкинского стиха не вымарал!

— Меня пугает, к чему могут приговорить Пестеля, Рылеева и Муравьева? — тихо спросил Пущин.

Но Якушкин успокоил его — он был убежден священником Мысловским, что смертная казнь если и будет кому объявлена, то несомненно фиктивно.

Уверенность Якушкина заразила и других, и «первый разряд» спокойно вступил в большой зал, только что покинутый пятерыми «внеразрядными».

Из уст того же щеголеватого чиновника узники вдруг узнали, что приговором Следственной комиссии они присуждены к смертной казни — отсечению головы:

— Капитан Якушкин за то, что умышлял цареубийство...

— Капитан Никита Муравьев за то, что участвовал в подобном же умысле...

Почти все «перворазрядники» осуждались за разные варианты того же «умысла» или «приуготовления к мятежу».

Затем, после многозначительной паузы, в тех же торжественных тонах была объявлена «милость» царя первому разряду — замена отсечения головы вечной каторгой...

Николай Бестужев, когда чиновник окончил чтение, вспыхнул гневом и, как всегда смелый и гордый, выступил вперед с вопросом:

— На каком юридическом основании произнесен этот приговор? Ведь над нами и суда еще не было!

Судьи на него замахали, зашикали. Подскочила стража, надерзившего поспешно увлекли вон из зала. За ним вывели прочих.

Пока «перворазрядников» вели из зала коменданта обратно в крепость, они могли еще немного поговорить.

— Своим жестоким приговором правительство только послужит успеху нашего дела, — сказал Пущин. — Оно сделало нас в глазах народа страдальцами за наши убеждения. Это возбудит всеобщее к нам сочувствие и двинет благородные сердца по нашему пути.

— Наше дело не замрет, его теперь уже не задушат. Оно войдет в историю, — подхватили голоса.

— И первым запомнят имя Павла Ивановича Пестеля, — с волнением сказал Лорер. — Я счастлив, друзья, я успел его обнять...

— Когда? Где?

— Вы заняты были разговором о Пушкине, а дверь приоткрылась в другую комнату, и я на миг увидел их всех пятерых. Я кинулся к Пестелю, успел сказать ему: «Я дал показание о вашей «Русской правде» только после того, как увидал ваше собственное признание. Верьте, иначе я молчал бы». «Верю, друг», — ответил он мне.

* * *

После объявления приговора узникам переменили жилье. Павел Иванович Пестель вошел в свой новый каземат, обвел глазами сырые, в подтеках, стены и крохотное окно под самым потолком.

«Пока шел допрос, надо было беречь мое здоровье, а теперь уже все равно, скоро конец, — подумал он с усмешкой и почти облегченно вздохнул. — Вопросов больше не зададут, не потащат на очные ставки. Силы беречь незачем... Бедная мать, сестра Соня...»

Больше месяца тому назад у Пестеля было свидание с отцом. Горе скрутило старика, он одряхлел... Только привычная военная выправка еще держала его.

Отец стал вдруг жалко хорохориться при коменданте, этом непременном свидетеле всех тюремных свиданий. Не утерпел, сказал с гордостью:

— Моего сына в столице жалеют, как наидостойнейшего!

Однако, прощаясь, ослабел и расплакался.

Пестель был разбит видом отца и решил, что свиданий этих не нужно. Самое желанное из дома было при нем: отец передал листок, исписанный дрожащей рукой матери. Вот он, всегда на груди...

— Дар, самый дорогой для сердца, — прошептал Пестель, целуя записку, в которой были только любовь и благословение.

Пестель хотел сейчас написать матери, но непривычные слезы заволокли глаза. Он встал, начал ходить по каземату, сильно прихрамывая на одну ногу. От тюремной сырости давно болела старая рана.

«Это теперь тоже недолго», — подумал Пестель и перенес мысли на человека, давшего ему в заточении большое утешение. Это был денщик его, Степан Савченко.

Жена Юшневского, через своих польских родных, нашла возможность передать ему письмо еще в Тульчине, когда Пестель сидел в келье Бернардинского монастыря. Письмо было о показаниях, которые дал на допросе денщик Степан, арестованный вслед за Пестелем и привезенный тоже в Тульчин.

«Уж конечно с тем глуповатым видом, который он любил принимать, когда хотел кого-либо одурачить», — подумал Пестель, вспоминая текст письма. Этот необыкновенно сметливый и преданный ему человек докладывал на допросе, что все, бывавшие на квартире его полковника, неизменно говорили по-французски. Язык этот он, Савченко, ничуть не понимает. И только однажды за обе-

дом господа офицеры говорили по-русски. Он запомнил этот разговор слово в слово и может привести в своем показании. «Офицеры очень сожалели покойного государя, когда собрались на обед к полковнику после присяги. А полковник Пестель сказал, так в голове у меня и засело: «Аж дышать от горя не могу, прослышав о кончине их императорского величества!»

Пестель улыбнулся с нежностью: «Плохо помогла нам обоим твоя наивная дипломатия».

Растроганный мыслью о Савченке, простом русском солдате, Пестель подумал о многих тысячах таких же, как он: «Когда-нибудь они поймут наше дело, дорастут до него и уже сами примутся за свое освобождение. Тогда и будет победа...»

Успокоенный, с просветленной душой, Павел Иванович сел писать свое последнее письмо матери:

«...До какой степени я любил вас всю мою жизнь... И ваше благословение — истинное утешение для меня. История моей жизни заключается в нескольких словах: я страстно любил мое Отечество, я желал ему счастья. Я искал этого счастья в замыслах, которые и привели меня...»

Пестель оборвал письмо. Он не мог написать матери, что заветные мысли и чувства привели его к виселице.

Просидев несколько минут в глубочайшей задумчивости, он заставил себя дописать письмо: «Смерти я не боюсь. Смерть я даже почту за счастье в сравнении с вечным заключением».

Глава десятая

12 июля 1826 года во всех частях столицы раздалась барабанная дробь, и наряд от каждого гвардейского полка двинулся к Петропавловской крепости.

Войскам было свыше предписано присутствовать при церемонии «исполнения сентенции» над членами тайного общества, осужденными на каторжные работы навечно и на различные сроки. После выполнения этой церемонии те же солдаты должны были оцепить площадку, на которой стояла виселица с пятью веревками.

По соизволению царя палачам, привезенным из Финляндии, на этих веревках предстояло повесить пятерых «внеразрядных».

Обряды для первой церемонии — «исполнение сентенции» и второй — «смертная казнь через повешение» — Николай измыслил сам, о чем и написал начальнику штаба барону Дибичу собственноручную записку с добавлением:

«Я хочу, чтобы казнь произошла около пяти часов утра, дабы они успели выслушать раннюю обедню».

* * *

Первые лучи июльского солнца еще не разогнали предутренний невский туман, и крепость со своим бесконечным шпилем казалась лишь легкой тенью.

Призраками казались и люди, выводимые стражей из их камер. Узников вели через мост, отделяющий Алексеевский равелин от крепости. Лица их поражали бледностью и болезненным истощением.

Обросшие бородами, друзья, впервые встретившись за время заточения, не сразу узнавали друг друга. Долговязый Кюхельбекер, от худобы казавшийся еще длиннее, приглядевшись близорукими глазами к неясным в сумраке фигурам, вдруг узнал Александра Бестужева и тотчас с восторгом кинулся его обнимать.

Бестужев-Марлинский в своем блестящем мундире странно выделялся в толпе осужденных и особенно подчеркивал всю нелепость фигуры Кюхельбекера: последний так до самого июля и остался в рваном меховом полушубке и в стоптанных валенках.

Узники не успели перекинуться и словом, стража повела их на площадь к собору, месту окончательного сбора всех осужденных.

Александр Бестужев пристально оглядывал площадь. Здесь в прошлом стояла при гауптвахте деревянная лошадь с острой спиной, а рядом с ней — столб с цепью. Вокруг столба земля утыкана была спицами. Провинившихся солдат сажали на лошадь, либо заставляли стоять на спицах. Отсюда за этой площадью надолго сохранилось веселое название «плясовая». Бестужев с Рылеевым хотели написать «веселую» песенку про эту площадь. Так

и не собрались тогда с Кондратием... Но где он? Что с ним сделали?

Тоска охватывала Бестужева все сильней, по мере того как стража приводила сюда, на площадь, новых и новых заключенных из прочих куртин крепости, а Рылеева все не было...

Узников оказалось гораздо больше, чем каждый мог предположить. Многие лица были и вовсе незнакомы Бестужеву. Встреча с другими оказалась полной неожиданностью.

Избегая бдительных стражей, они осторожно продвигались друг к другу.

Михаил Бестужев, все еще румяный, не сводя восхищенных глаз с брата, говорил ему тихо:

— Надо полагать, Саша, ты не попадешь, как мы, в тайгу. Будешь, наверное, рядовым на Кавказе и, хоть спалит тебя тамошнее солнце, да талант твой спасен! Ты должен еще много сделать, Саша...

— Едва ли успею, — ответил мрачно брат, — уж царь позаботится, чтобы вышло со мной по пословице: «Хрен редьки не слаще»! Одного я опасаюсь: с тобой и братом Николаем не разлучили бы. Однако сейчас не моя судьба меня занимает. Все отступило перед ужасной мыслью: что ждет Рылеева, Пестеля, Муравьева и тех двух?

— Мне угрызения совести не дают покоя, — сказал Михаил. — Подумать, что за несколько дней до восстания жизнь Николая была в моих руках!

— Как так? — удивился Александр. — Ведь мы накануне четырнадцатого всей семьей обедали у маменьки... в последний раз в жизни, — добавил он про себя, — а ты ничего не рассказал.

— Не до того было. Сейчас слушай. Я был дежурным во дворце, охранял покой насмерть перепуганного Николая. Ему уже донесли о заговоре, и он приказал, чтобы дежурный офицер сам производил смену часовых у его дверей. Коридор темный, без света — тусклая лампа в самом конце. Один часовой должен сойти с круглого матика, а другой взойти. Впотьмах ружья скрестились, курки ка-ак звякнут! «Сам» так и выскочил неодетый. Испуга скрыть не может, от страха язык заплетается: «Кто это... курком щелкнул? — Однако узнал меня: — Бестужев, будь начеку!»

Тут я подумал: он вовек не простит, что я его трусом видел. И впрямь, на первом же моем допросе выбежал злой, кричит Чернышеву: «Видишь, как молод, а уже совершенный злодей! Без него такой каши не заварилось бы. Но, всего лучше, именно этот меня караулил в самый канун бунта!» Схватил клочок бумаги и написал про меня коменданту: «В железá».

Александр сжал руку брата и с мýкой в голосе сказал:

— Ищи Рылеева, я близорук... Он должен, должен быть здесь. Не хочу, не могу верить ужасным слухам.

— И правильно, — отозвался доселе молчавший Якушкин, — священник Мысловский меня клятвенно убеждал — не верить даже собственным ушам, если о смертном приговоре услышим. Ведь нам, первому разряду, тоже посулили спервоначала отсечение головы, однако произвели замену...

Якушкин помолчал. Пытаясь укрепить собственные, дрогнувшие от сомнений, надежды, добавил:

— Возможно, эти негодяи протянут моральную пытку пятерых до самой виселицы, но казни... нет, казни не будет.

Туман растаял, словно его и не было, и с беспощадной отчетливостью обозначились изможденные лица узников, маскарадное разнообразие их сборных одежд.

Никита Муравьев взял за руку своего двоюродного брата Лунина.

— Такие, дорогой, слухи пущены, — сказал он, понижая голос, — будто сам Константин убеждал тебя уехать за границу. Известна его особая к тебе склонность, да и страх, верно, был у него за собственную шкуру. Не торопился ведь он с отречением...

— Уж не знаю, из каких побуждений, но цесаревич действительно настаивал на моем побеге, — ответил Лунин, — сам принес мне готовенький паспорт и дружески прохрипел: «Убирайся подобру-поздорову. Братец мой так вцепился в российскую корону, что всем посягателям — карачун!»

— Ты отказался от паспорта? — Никита не сводил глаз с лица Лунина, невольно подумав, что про него справедливо говорят друзья: «писан кистью Ван-Дейка».

Лунин вымолвил с обычной для него простотой:

— Разделяя убеждения арестованных моих товари-

щей, я считал необходимым разделить и их участь. Паспорта я не взял, но испросил отпуск на три дня, под честное слово, что к сроку вернусь... ну и поохотился напоследок! Вернулся, как обещал, минута в минуту. Константин даже говорил: «Спать, мол, в одной комнате с ним опасно — зарежет, а слову его верить можно».

— Узнаю тебя, — засмеялся Муравьев. — Только бы нам быть неразлучно, где ни придется...

— Царь уж найдет, куда нас запрятать, — отозвался Лунин. — Из всех Романовых этот, оказывается, самый лютый. Константин хоть звероват, да отходчив, а у Николая глаза медузы, и любит, чтобы перед ним каменели, а то в порошок сотрет. Но куда б он нас ни загнал, если с тобой вместе, Никита, мне бы истинное счастье. Ты один — кладезь мудрости, целая академия! Кстати, что ты ответил на идиотский вопрос Следственной комиссии: «Где получили воспитание вольных мыслей?» Я на этот вопрос написал им: «Свободный образ мыслей сложился во мне с тех самых пор, как я начал мыслить».

Никита усмехнулся:

— Иными словами, свободолюбие и мышление между собой неразлучны для всякого, у кого не дурья голова! А я придумал взбесить самодержца, сказав с наивным видом, что виновник моих либеральных идей — не кто иной, как покойный Александр с его выступлением в Варшаве и посулами конституций.

— Рассадник вольнодумства, выходит, сам царь. Ну и ловко!

Подошел старый приятель Никиты Якушкин, крепко стиснул руки ему и Лунину.

— Вот уж не думал вас увидать, Михаил Сергеевич. Радовался, что хоть вы с Тургеневым спаслись от когтей самодержца.

— Тургеневу, конечно, глупо было бы возвращаться, раз уж он живет за границей. А мне от опасности удирать не к лицу. И на охоте не плоховал перед вепрем.

— А ты что надерзил на допросе? — спросил Никита Якушкина, — мне сторожа доложили по секрету, что по царской записке приказано коменданту содержать тебя как «самого злодейского злодея».

— Ничего я не дерзил, — сказал с усмешкою Якушкин, — допрашивали меня в Эрмитаже, в огромном зале,

где портрет папы Климента. В углу ломберный стол, за ним — генерал Левашов, старый знакомый, «лошадник», что учил нас еще в манеже. Вежливо пригласил сесть, просил назвать имена: «Еще кто из товарищей присутствовал, когда вы в восемнадцатом году самолично вызвались нанести удар? — Покрутил усы, добавил: — На то есть у нас пытка. Заставим назвать». — «Тем более, говорю, не заставите». Вызвали в другой зал, где «Блудный сын» Сальватора Розы, век его не забуду. Ну и мечтал я, взирая на чудесную добрую корову, что на переднем плане: «Скрыться бы за ее тушей — и в лес!» Угроза пытки меня, признаюсь, устрашила... Однако вызванный вновь перед лицо царево, пылавшее каким-то ледяным гневом, я, не смутясь, повторил то же самое и даже не опустил век под его оловянным взором. Это, верно, и взбесило царя. Он неприлично затопал ногами и закричал: «В железа его! И чтобы шевельнуться не мог!»

— Участь наша хотя и плачевна, но все же ясна, — сказал Лунин. — А вот что ждет дорогих наших — Пестеля и Рылеева?

Он вдруг вздрогнул и стремительно кинулся к стражам, которые в эту минуту привели на площадь самую последнюю партию арестантов. Среди них оказался Николай Иванович Лорер. У него было такое бледное, гневом и болью искаженное лицо, что Лунин резко спросил:

— Что еще случилось?

Лорер безмолвно указал на гласис крепости.

Два здоровых молодца в красных рубахах стояли на помосте у врытых в землю столбов. Вверху этих столбов была перекладина, и с нее свисали пять толстых веревок. Молодцы, словно балуясь, повисли вдруг на веревках, быстро крутясь.

— Прочность веревок пробуют... — оцепенело вымолвил Лорер. — Из Финляндии палачей привезли, у нас подходящих не нашлось. Мой сторож все знает...

— Палачи ряженые! — гневно воскликнул Якушкин.

— Р-равняйсь! — скомандовал плац-майор и сделал знак сторожам плотнее окружить узников. Их повели дальше — на луг, где против крепостного вала шеренгой стояли войска.

Направо, в самом конце Троицкого моста, бушевала, стремясь проникнуть ближе к крепости, толпа народа, которой преграждал путь кордон солдат.

Царь так боялся большого скопления людей при церемонии «исполнения сентенции», а особенно при свершении смертной казни, что приказал распустить слух, будто все это произведут на Волковом поле. Туда и двинулись объятые ужасом люди.

А здесь собрались лишь немногие, близко живущие, приметливым взглядом усмотревшие необычное движение в размеренном крепостном быту.

На лугу, окруженном войсками, солдаты разложили большие костры и неослабно поддерживали высокое пламя.

И странно было осужденным думать, что совсем рядом, за высокой крепостной стеной течет Нева, что на другом ее берегу стоят великолепные дворцы, где приходилось им часто бывать на блистательных балах, а чуть подальше, на Фонтанке, в особняке братьев Тургеневых, — собираться по делам тайного общества. Какой короткой оказалась дорога от дворцов в эту крепость!

Войска стояли, как полагается, окаменелые, зажав в руках ружья. За ними надзирало начальство. Грозно хмуря густые брови, стараясь придать важность своей незначительной фигуре, объезжал луг новый военный генерал-губернатор Голенищев-Кутузов, заменивший Милорадовича.

Солдаты подтягивались, ели глазами начальство, но, когда генерал отъезжал, переводили взгляды на пеструю толпу узников — в блестящих мундирах, черных фраках, халатах, и лица их становились суровы и печальны. Крепко стиснутые зубы выдавали внутреннее волнение. Многие из осужденных офицеров были им знакомы, иные горячо любимы как добрые начальники, освобождавшие их от порки, стоявшие грудью за солдатские интересы.

«Почему они против нас с ружьями, когда в глазах у них сочувствие к нам? Кто виною тому?.. Боже мой, да мы сами, — горько думал Александр Бестужев. — Я ведь только и сумел, что привести московцев на Сенатскую площадь, а там держался в бездействии, когда они рвались в бой. Не нашлось общего языка. Может быть, нам

следовало объяснить им все то, что знали мы сами? Они поняли бы, как вот сейчас понимают, кто прав...»

Он залился краской, вспомнив, как в парадном мундире, в белых лосинах выхватил свою саблю и стал точить ее о камень пьедестала памятника Петрова. «Да, мы виной, только мы, — говорил он себе, — не дозрели мы до полного доверия и братства к мужику и солдату. И вот... хоть и сочувствуют, а коли приказано, и стрелять и вешать нас будут».

Никита Муравьев кивнул на костры.

— Культ огнепоклонников, — иронически сказал он Лунину. — И сколь картинно ты освещен!

Пламя ближнего костра ярко озаряло высокую, статную фигуру Лунина в гусарском одеянии и в тюремных шлепанцах вместо лакированных сапог.

Лунин взглянул на свои ноги и улыбнулся:

— Сапоги украли, и плац-майору не сыскать виновного. А костры эти должны быть для вящего нашего позора: ведь раньше, чем превратиться нам в вечных каторжников, необходимо, по царскому убеждению, нас шельмовать — сиречь над головой каждого ломать шпагу и бросать обломки в огонь. Этакое средневековье развели.

И, внезапно дав волю гневу, заговорил с бешенством:

— Сколь мерзки все эти комедии! Суд, следствие, казнь... Я найду слова рассказать об этом потомкам! Для этого стоит сохранить свою жизнь и в каторге. Я и оттуда найду способ продолжить наше дело! Я крикну всему миру о том, что мы шли на гибель, только ища свободы нашему народу. Клевета, что мы, как авантюристы, как оперные злодеи, только и замышляли, что гибель династии. К черту ее! Она мешала только как бревно на пути. Сбросить мимоходом — и все... Но надлежит восстановить истинный смысл нашей великой задачи. Я раскрою всему миру, как, укрывшись за подлыми исполнителями, их действиями дирижировал еще подлейший из всех — Николай!

Горбачевский, услыша гневную речь Лунина, подошел и сказал вполголоса:

— Мерзость нашего самодержавия так велика, что России ее не выдержать! Упекут в Сибирь нас, восстанут другие... Слушайте, Лунин, я сейчас из окна моего каземата увидел такое, что вовек не забыть, что одно вопиет о мщении.

Весь обросший длинными волосами, освещенный огнем костра, он был страшен.

— Вы из самой последней партии? — спросил Лунин.

— Да, всех увели сюда, а я еще сидел у себя на Кронверке. Было уже часа два ночи. Слышу под окном бряцанье кандалов. Влезаю на окошко, гляжу — каре павловских гренадер ведет пятерых. У Бестужева-Рюмина запутались цепи. Он дальше ни шагу... Унтер стал распутывать... Вошел ко мне сторож, мы с ним приятели. «Куда их?» — спрашиваю. «В церковь, на заупокойную: царь еще живых отпеть приказал». У сторожа в глазах ужас... А Россия? Ужели Россия забудет?

По волосатому лицу Горбачевского текли слезы. Лунин положил руку на его трясущееся от рыданий плечо.

— Их гибель — победа грядущих, — торжественно произнес Лунин. — Поверьте, причина нашей политической смерти станет условием гражданской жизни поколений... — Он взобрался на кочку, чтобы еще раз перебрать зоркими глазами знакомые и незнакомые лица. Он все еще надеялся приметить в толпе крепкую фигуру Пестеля, словно отлитую из чугуна, или худенького Рылеева с огромными горящими глазами, или Бестужева-Рюмина с его профилем римского центуриона...

Нет, ни одного из пятерых здесь не было.

Последний этап церемонии «исполнения сентенции» наступил.

Осужденных разделили на две группы. Гвардейцев построили в небольшое каре, прочих отвели в армейские части. Моряков посадили на баркас и увезли в Кронштадт. Исполнение над ними приговора должно было свершиться на адмиральском корабле.

— И тут табель о рангах, — сказал старший Борисов, оказавшийся рядом с Горбачевским. Он поднял свое смуглое цыганское лицо, блеснул насмешливыми глазами: — И в самом позоре гвардейцам больше почета, чем нам!

Приблизился чиновник с грамотой, стал, как дьячок, читать циркуляр, разъясняющий смысл предстоящей государственным преступникам «политической казни». Никто этого чиновника не слушал.

Осужденных офицеров выстроили перед их ротами. Фурлейты по команде подняли шпаги. Шпагу надлежало

сломать над обнаженной головой офицера в знак позора и бросить обломки в костер.

Для удобства, чтобы шпаги ломались сразу, их заранее подпиливали.

Церемония началась с Якушкина. Она казалась ему нестерпимо глупой. И когда фурлейт, плохо подпиливший шпагу, ударил Якушкина по голове, он рассердился не на шутку:

— Этак и убить недолго, черт возьми!

Голенищев-Кутузов гарцевал перед строем, делая знаки, чтобы с осужденных лихо срывали ордена и мундиры и бросали их в пламя.

Царь и его присные полагали, что истребление мундиров должно было переживаться офицерами, осужденными в каторжные работы, как потеря чести, как нестерпимый позор, а костры, пожиравшие былые знаки отличия и почета, явятся как бы живой аллегорией того, что все права, мечты и надежды этих офицеров превращены в пепел навсегда.

Николай ждал, что и «исполнение сентенции» станет поучительной картиной моральных потрясений, раскаяния, что осужденные будут рыдать, быть может падать в обморок, пораженные стыдом и позором. Он дал распоряжение — в час лишения офицеров воинской чести присутствовать на площади походному лазарету. Цирюльник и врач стояли, однако, в бездействии.

«Государственные преступники» выражали только насмешливое презрение к производимой над ними церемонии. В их спокойной осанке было столько достоинства, что невольно потупили взоры командующие экзекуцией, куда-то вбок отъехали на своих конях генералы.

По снятии мундиров всех осужденных облачили в полосатые тюремные халаты.

Халаты раздавали наспех, многим они оказались не по росту: у одних волочились по земле, другим едва закрывали колени...

В конце деревянного Троицкого моста росла толпа. Люди махали руками, потрясали снятыми шапками.

— Спасибо народу, — сказал Горбачевский, — он с нами. Душой чует своих заступников.

Лунин сделал знак рукой, — его обступили со всех сторон.

— Сейчас, — сказал он, — в этих полосатых халатах нас, как шутов гороховых, проведут для срама мимо чванного сброда, милостиво допущенного поглазеть на наше, предполагаемое царем, отчаяние. Пойдемте же поступью древних героев, шествующих за лаврами в Капитолий.

И когда стража вела узников обратно в казематы мимо кучки высокопоставленных лиц, те с жадным любопытством приставили лорнеты к глазам. «Государственные преступники» во главе с Луниным шли с величественной осанкой, спокойно, ведя между собой дружеский веселый разговор.

Высокопоставленные лица, как и Николай, ждали от них выражений горести и упадка духа и были несказанно поражены видом независимого, гордого шествия людей в тюремных одеждах.

Один из служащих иностранного посольства, ухитрившийся стать зрителем всего этого события, написал в свое государство:

«Что это за люди? Ведь только что они лишились всего, чем так дорожат в мире, — положения, имущества, карьеры, счастливой жизни в кругу семьи...»

* * *

Те пятеро, которых на площади тщетно искали в толпе узников, в эту последнюю ночь были заключены в Кронверкскую куртину.

Это был коридор со сводами; деревянные камеры по обе стороны его походили по размерам и устройству на клетки.

Узников рассадили по этим клеткам, разрешили написать родным и получить последнее в жизни свидание с ними.

Рылеев от свидания отказался, не желая подвергать жену еще одному жестокому испытанию, а себя — лишать сил, необходимых, чтобы встретить казнь спокойно.

Сергею Муравьеву, по настоянию сестры его Екатерины Ивановны Бибиковой, дано было свидание с нею. Но она так билась в рыданиях, что вскоре ее, обессиленную, полуживую, унесли обратно в карету.

У остальных трех осужденных ни с кем свидания не состоялось.

Здесь, в каземате Кронверкской куртины, стояла особенная, мертвая тишина. Камеры разделялись только дощатой перегородкой с большими щелями. И сторожа сделали последнее послабление: узники могли переговариваться почти свободно.

Камера Сергея Муравьева оказалась рядом с камерой Бестужева-Рюмина. Муравьев несказанно обрадовался этому: можно будет поддержать Бестужева, вдохнуть в него мужество, чтобы помочь юноше встретить смерть с гордостью.

Муравьев наставлял Бестужева взойти на помост с высоко поднятой головой. Несмотря на свою собственную молодость, он наставлял, как отец, как учитель, жить в эти последние минуты мыслью только о будущем России, держать в сердце и голове лишь одно упование на справедливый суд потомства.

А жить всем пятерым оставалось лишь несколько часов...

Пришел все тот же плац-майор, сопровождая сторожей с новыми кандалами: приказано было заковать всех в особо тяжелые цепи, как будто по пути на виселицу еще можно было убежать...

Пестель взял замочек от ножных кандалов, поднес его к глазам:

— Это что же, нарочно для нас заказали?

Подушкин глянул на замок, смутился.

— Замочки, точно, перепутаны, — и крикнул тюремному слесарю: — Дурак, это же для первого разряда, которым в Сибирь идти... Сюда несите другие, без надписи!

— Что же, и для первого разряда превесело, — усмехнулся Пестель.

На замочках были выбиты слова поговорок — невинная затея торговцев, заинтересованных в бойкости торговли скобяными товарами:

«Кому дарю — того люблю».

«Ах, не дорог мой подарок, дорога моя любовь».

Когда внесли кандалы в камеру к Рылееву, он в последнем письме жене добавил: «Прощай, велят одеваться...»

Даже одеревеневший в тюрьме Подушкин был так поражен самообладанием смертников, их спокойствием, что

проникся к ним уважением и с непривычной вежливостью спросил каждого — нет ли особых пожеланий?

— Есть у меня пожелание, — сказал Пестель, — скажите правду: здесь ли находится сейчас майор Владимир Федосеевич Раевский?

Подушкин сделал страже знак выйти из камеры, сам, задержавшись на минуту с Пестелем, почти шепотом сказал:

— Как только началось ваше дело, этого Раевского привезли сюда из Тираспольской крепости. И как он до вашего дела не касаем, ибо найдено, что к злоумышленному Обществу он не причастен, то и суд будет над ним полегче. А сейчас — двигайтесь вперед.

— Спасибо, — сказал с тихой радостью Пестель и, поддерживая цепи, пошел...

Цепи громко гремели по каменному полу коридора. Рылеев крикнул:

— Прощайте, братья!..

В ответ узники неистово застучали в двери своих камер — его услышали.

Пестель шел, тяжело волоча ноги, но на душе у него было светло. Он думал о Владимире Раевском.

Из того, что сказал сейчас Подушкин, Пестель понял, что Раевский так и не выдал своей принадлежности к тайному обществу и, как в 22-м году, заключенный в Тираспольской крепости, имел право повторять мужественные строки своего стихотворения:

> Я судьбу свою сурову с терпеньем мраморным сносил.
> Нигде себе не изменил!

Пятерых смертников вывели из Кронверкской куртины.

Взвод павловских гренадер окружил их и повел в крепостную церковь. Здесь, волею царя, священник в погребальном облачении отслужил по ним заупокойную обедню.

Еще живые, они услышали собственное отпевание.

По выходе из церкви на них надели белые саваны с черными завязками, затянули черные кожаные пояса, на которых было выведено большими буквами: «Злодей. Цареубийца». Далее, по неистощимой фантазии царя, пятерых, для назидания, провели вдоль войска, выстроенного на площади. После небольшого дождя виселицу надо

было привести в исправность, и приговоренных решили не уводить обратно в казематы. Их повели мимо виселицы в оказавшийся поблизости просторный погреб. Этот «погреб ожидания» с крохотным грязным окошком в глубине вала напоминал склеп. Пестель тихо сказал Рылееву:

— Ужели все-таки мы не заслужили хоть какого-нибудь уважения и лучшей смерти? Доказали, кажется, что не боимся ни пуль, ни ядер. Бородинский бой, кроме раны, наградил меня и саблей «за храбрость».

Пестель устало опустился на один из длинных узких ящиков, наваленных друг на друга. Это были гробы, заготовленные для смертников. Сергей Муравьев, чтобы Бестужев не понял, что это такое, поспешно обнял его, заслонив собой страшные ящики.

Все молчали. Только молодой Бестужев горько плакал. Ему было еще так немного лет, ему так хотелось жить...

Сергей Муравьев ласково гладил его по голове, казалось, совсем забыв о своей собственной судьбе. Каховский смотрел на них с тоской в провалившихся глазах.

И вдруг Рылеев, охваченный тем огнем, который вдохновлял его жизнь, его творчество, сказал проникновенным голосом:

— Друзья, прошлое наше кончено. Настоящее не в нашей власти и так гнусно, что мы вольны его не принять. Уйдем же мыслями в прекрасное грядущее... А что оно непременно будет прекрасным, в том порукой сочувствие солдат, пригнанных смотреть на наше позорище. Нам порукой и та, для нас нежданная, готовность простого народа присоединиться к нам, когда мы стояли на Сенатской площади.

— И толпы крестьян в Мотовиловке! Ведь они хотели нас поддержать, — добавил Муравьев-Апостол, — но я им не доверился, я их не понял, — с горечью сознался он.

— Мы не поняли, поймут те, что пойдут за нами, — *молодые*.

Рылеев произнес эти слова с глубокой верой.

— Ведь с нами на площади хотели умирать и кадеты и моряки. Когда Михаил Бестужев спешил со своим батальоном и проходил мимо каре, обращенного к Неве, он внезапно увидал бежавших ему навстречу юношей из первого кадетского корпуса и морского училища. «Мы — депутаты от товарищей... — говорили они. — Мы просим,

чтобы вы приняли нас в ваши ряды». Бестужев минуту колебался: эти птенцы рядом с гренадерами-усачами... Но он удержался от искушения, не захотел подвергать опасности жизнь молодых героев. Он им тогда сказал: «Поберегите себя для новых подвигов, они будут очень нужны России». И дети обещали... Так вот, друзья, — Рылеев вскинул голову, и его большие глаза засветились, как бывало, ярким вдохновением, — пойдемте в последний путь с мыслью об этих юнцах, которые наше дело подхватят и завершат. Я их вижу, я их приветствую! Новые всходы посеянных нами семян вольности!

— Да будет так! — сказал Пестель и, гремя цепями, встал во весь рост.

И все повторили:

— Да будет!

В погреб вошли палачи. Надели на головы осужденным белые колпаки, закрывшие не только голову, но и лица, туго связали руки веревкой и повели к виселице...

Самого Николая в эти часы не было в городе. Он уехал в Царское Село, и к нему каждые полчаса летал фельдъегерь со свежим донесением.

В толпе, оттесненной за вал, прошел слух, что Бенкендорф намеренно тянет время, что в последнюю минуту будет помилование смертникам. Говорили, будто бы он не отрываясь глядит в сторону, откуда можно было ждать царского вестника.

Но фельдъегери мчались только в Царское Село. Оттуда ни один не спешил с доброй вестью.

Приговоренным, наконец, накинули на шеи петли.

Священник сошел с помоста, обернулся и с ужасом увидел, что на веревках повисли только двое. Остальные трое выскользнули из петель, своею тяжестью проломили тонкие доски помоста и упали в глубокую яму. Это были Рылеев, Муравьев-Апостол и Каховский.

Муравьев, падая, разбился. Соскользнувший колпак открыл его лицо, залитое кровью. Он воскликнул с горечью:

— Бедная Россия! Даже повесить у нас порядочно не умеют.

Каховский грубо выругался. Рылеев гневно закричал Чернышеву:

— Дай палачу твой аксельбант, он крепче веревки!

Все заглушил бешеный вопль генерал-губернатора:

— Вешать снова!

Чернышев подскочил к палачам с какими-то распоряжениями. Бенкендорф, ужаснувшись зрелищем людей, сорвавшихся с петли, лег ничком на шею своей лошади и зарылся лицом в ее гриву.

* * *

Похоронили пятерых за Смоленским кладбищем, на острове Голодае, где стояла гауптвахта. Солдатам этой гауптвахты велено было не допускать народ на могилу казненных. Но народ повалил...

Тогда решили обмануть людей — сказали, будто тела казненных брошены в воду крепостного канала. И там, у канала, целый день стояла бурливая и печальная толпа.

На другой день гром пушек возвестил о каком-то чрезвычайном торжестве. На Сенатской площади, по приказу Николая, производилось парадное очистительное богослужение. Служил сам митрополит вкупе с высшим духовенством. Святой водой кропил места, где в декабре стояли восставшие части, дабы самые камни не сохранили следов мятежа.

Но настоятель Казанского собора надел черную ризу и стал служить панихиду по убиенным...

Екатерина Бибикова, сестра Сергея Муравьева, зашла в собор помолиться о брате и остановилась, пораженная: священник в черном одеянии, захлебываясь слезами, произносил дорогие имена:

— Сергия, Павла, Михаила, Кондратия и Петра...

* * *

Пророчество Рылеева о новых всходах из посеянных декабристами семян вольности сбылось скорее, чем он мог мечтать.

Юноша, почти отрок, Александр Герцен подхватил знамя свободы, сброшенное жестокой царской рукой, и вознес его высоко.

Идеи декабристов, возмутительная, мученическая казнь первых политических борцов за свободную Россию

и бессрочная каторга для их товарищей разбудили Герцена.

Впоследствии на страницах издаваемого им в Лондоне русского журнала «Полярная звезда» он рассказал, как произошло это светлое пробуждение. Журнал носил на своей обложке медальон с профилями пяти повешенных революционеров, как знак нерушимого с ними единения и продолжения начатого ими великого дела освобождения родины...

Герцен присутствовал на молебне в Кремле через день после страшной вести о совершенной казни.

«...Победу Николая над пятью торжествовали молебствием. Середь Кремля митрополит Филарет благодарил бога за убийства. Вся царская фамилия молилась, около нее Сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, коленопреклоненные, без кивера, и тоже молились. Пушки гремели с высокого Кремля. Никогда виселицы не имели такого торжества.

Николай понял важность победы.

Мальчиком четырнадцати лет, потерянным в толпе, я был на этом молебствии и тут, перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить за казненных, я обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками».

Герцен клятву свою сдержал...

* * *

Оправдалось и другое предвидение Рылеева, его вера в революционную доблесть друга и великого поэта.

За месяц до восстания 14 декабря Рылеев писал Пушкину: «На тебя устремлены глаза России, будь поэт и гражданин!»

Пушкин этот наказ выполнил с честью. Какое утешение, какую великую поддержку получили декабристы, когда в тесных казематах читинского острога, в каторжных кандалах, они слушали стихи Пушкина, им посвященные.

Иван Иванович Пущин, его «друг бесценный», получил от жены Никиты Муравьева, приехавшей к мужу, листок, исписанный знакомым, дорогим почерком. Тайно,

через решетку тюремного двора, в дрогнувшие радостным волнением руки Пущина перешел этот листок.

Пущин вслух читал товарищам по заключению:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

О том, как выполнял Пушкин завещанный ему высокий наказ Рылеева, Герцен сказал замечательные слова:

«Душой всех мыслящих людей овладела глубокая грусть. Одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений. Эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос отдаленному будущему».

1950—1953

СОДЕРЖАНИЕ

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

ПЕРВЕНЦЫ СВОБОДЫ

Часть первая

Часть вторая

Ольга Дмитриевна
ФОРШ
Собр. сочинений, т. 3

Редактор Р. Софронова
Художник Л. Хижинский
Художественный редактор
А. Гайденков
Технический редактор
Л. Чалова
Корректор И. Кузнецова

Сдано в набор 22.II.1956 г. Подписано к печати 19.VI.1956 г. М-00751. Тираж 75000 экз. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$ — 33,5 печ. л. — 27,47 усл. печ. л. Учетно-изд. л. 30,06. Заказ № 376. Цена 11 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 2-я типография „Печатный Двор" имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.